

Исхак Машбаш

Собрание сочинений в двадцати томах

Исхак МАШБАШ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВАДЦАТИ ТОМАХ

ОАО «Полиграф-Юг»
Майкоп
2015

Исхак МАШБАШ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВАДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ X

ОАО «Полиграф-Юг»
Майкоп
2015

УДК 821.352.3-31
ББК 84(2=602.2)6-44
М 38

Машбаш И. Ш.

М 38 Собрание сочинений в двадцати томах. Том
десятый. Два пленника. Исторический роман. – Май-
коп: ОАО «Полиграф-Юг», 2015. – 464 с.

В собрание сочинений вошли стихотворения,
поэмы, романы, публицистика Исхака Машбаша,
народного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, лауреата Государственных пре-
мий СССР, России, Адыгеи, Российской литературной
премии М. А. Шолохова.

ДВА ПЛЕННИКА

Исторический роман

ISBN 978-5-7992-0833-2
ISBN 978-5-7992-0836-3

© Машбаш И. Ш., 2015

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Летний день был теплым и благостным. Ничто не вызывало тревожных предчувствий у весело купавшихся в реке русских солдат, когда на противоположный берег вдруг выскочили три черкесских всадника.

Солдаты, будто выброшенные могучей волною, оказались на берегу, схватили ружья.

Всадники рассмеялись — уж очень смешны были нагие и потому удивительно нескладные и беспомощные люди с оружием в руках. А еще им стало смешно потому, что пули из тех ружей не могли достать их.

Старший из черкесов с черной бородой, став строгим, даже суровым, сказал младшему:

— Растолкуй им, зачем и с чем мы приехали! — и он указал плеткой на связанного, закованного в колодки невольника, лежавшего на коне поперек седла.

— Как я скажу, если не знаю их языка? — отозвался младший и растерянно глянул на него.

— Скажи, как тебя учили! — нахмурился старший и хлестнул плеткой по голенищу сапога.— Слово в слово скажи.

— Какое еще слово? — недовольно поморщился Сабех, пытаясь вспомнить чему его учили.

— Какое-какое! — не выдержав, вмешался в разговор третий всадник.— Тебя ж вчера учили.

— А-а! Вспомнил! — воскликнул Сабех и закричал во всю глотку на ту сторону: — Ви-куп, ви-куп, викуп!

«Ви, ви, ви!» отозвалось эхо в дальнем лесу.

— Ну! Чего они там молчат?! Языки что ли проглотили? — начинал сердиться Жакыз.— Дудай, ссади с лошади невольника. Только не отвязывай веревку, а то еще удрать может!

— Шагу не сделает! — уверенно сказал Дудай.
— Знаю я этих гяуров. От них чего хочешь ждать можно.

Отвязали пленника, спустили с лошади. Он, пошатываясь и припадая на левую ногу, сделал несколько шагов, потом подошел к берегу, чтобы его лучше видели солдаты.

— Я сказал, не пускай к воде гяура, Дудай! Натяни веревку, — опять озлился Жакыз.

— Куда он в колодках? — робко возразил Сабех. Ему очень не нравилась затея отца, не нравилось, когда он гневался так, что наливались глаза кровью.

— Не болтай, парень! — одернул его Жакыз. — Волк он и есть волк, за ним смотри да смотри... Говори своим, говори, — требовал он от пленника, — объясни им, что я отпущу тебя за тысячу рублей серебром, а то у меня все быстро и коротко бывает. Не успеешь опомниться, как ты в аду очутишься.

— Они спрашивают, кто я такой, — на ломанном черкесском языке ответил пленник.

— Объясни все хорошенько, и про тысячу рублей серебром не забудь. А ты парень, не пяль глаза на голых гяуров! Фу, какие бесстыдники!

— Братушки! Сродники мои, православные христиане, — с дрожью в голосе начал пленник. — Я — Анаскевич Федор, сын Данилов, рядовой тридцать третьего Ярославского полка. Прошлым летом в плен к черкесам попал...

Дудай дернул Федора за веревку:

— Чего замолчал? Говори!

— Сейчас я, сейчас... — успокаивался Федор. Помолчал, потом продолжил, обращаясь к своим: — Черкесы требуют выкуп за меня. Тысячу рублей серебром. Христом Богом молю вас: передайте в Ярославский полк мою смиренную просьбу выручить меня. Я честный солдат, верный царю-батюшке, это могут подтвердить сами черкесы...

— Хватит болтать! — оборвал его Жакыз. — Пусть они говорят. Деньги, пусть деньги дают, серебром!

— Они говорят, что здесь уже нет моего Ярославского полка, говорят, его отправили в Чечню и Дагестан.

— Мне наплевать, где твой полк! — выдохнул, свирепея, Жакыз. — Думают они тебя выкупать или нет?! — громыхнул он кинжалом.

— Отец! — не выдержал Сабех.

— Помолчи, парень! — прикрикнул на племянника Дудай, опасаясь, как бы не вспыхнула ссора между отцом и сыном.

— Они говорят, — продолжал Федор, — если вы подождете, то доложат своему начальству.

— Сколько ждать? — не унимал свою вспыльчивость Жакыз.

— Сказали — недолго.

— Как это — недолго? День, год?!

— Сказали — сейчас.

Тем временем солдаты стали торопливо одеваться. Шарили по своим карманам и бросали в шапку на траве деньги, у кого сколько было.

— Эй, черкесы! Вот и наш начальник штаба едет. Тут все сейчас и разрешится. Все будет добром!

Подскакал офицер. Посмотрел на своих солдат, на адыгов¹ и строго спросил:

— Что тут происходит? Что за переговоры с противником затеяли, кто велел?!

— Да вот... наш солдат попал в плен. Из Ярославского полка.

— Так Ярославского же, а говоришь — наш.

— Русский, говорю, православный христианин, ваше благородие. Братушка наш.

— Отставить! Не надо в плен сдаваться! — оборвал его офицер.

— Так, ваше благородие, — растерялся солдат, — беда ведь она штука лютая, с каждым может приключиться. Может, он и не виноват, может, за зря пострадает душа православная.

— Отставить!.. Стыд-то какой — нагишом стоите. Приведите себя в надлежащий порядок!

— Чего этот индюк при золотых погонах хорохорится?! — вскричал Жакыз и выстрелил из ружья в воздух.

Офицер пригнулся. Солдаты — тоже.

Офицер дал шпоры коню, проскакал вдоль берега, потом остановился и, картинно подбоченившись, спросил:

¹ А д ы г и — самоназвание народа (адыгейцев, кабардинцев, черкесов), издревле их называют черкесами.

— Какое у вас к нам дело, господа басурманы?
Дудай закинул ружье за плечи, мол, я с миром:
— Ты видишь, Жакыз, какой мерзавец этот золотопогонник? Он не воин, даже не мужчина.
— При чем тут офицер! Сабех, скажи ему это слово. Только скажи погромче, поразборчивее.
— Викуп, викуп! — безнадежно прокричал Сабех. Ему все больше и больше не нравилось, как вел себя отец, до того не нравилось, что он боялся, как бы не совершить дерзость. И он прокричал еще раз это, как ему казалось, очень гадкое слово: — Вику-у-уп!
— Мы не выкупаем тех, кто сдается в плен! Ты — трус, солдат Ярославского полка!
Вздрогнул Федор, будто под ударом плетки:
— Господь вам судья, ваше благородие. Ведь вы ничего не знаете: как и почему я попал сюда. Ни в чем я не виновен, Бог тому свидетель.
— Замолчи! Не смей! — громко одернул его офицер.
— О чем вы? — встревоженно, предчувствуя недоброе спросил Дудай у Федора.
— Их благородие говорит: не нужен я им. Очень недовольны они, — опустив голову ответил Федор.
— Что-о-о?! Не нужен?! Гяур он проклятый! — расвирепел Жакыз. — Если ты своим единоверцам не нужен, тогда зачем ты нам?! Я порешу тебя на глазах у них! Пусть видят, пусть пожинаяют свой позор! — Жакыз резко вскинул ружье.
Сабех спрыгнул с коня и закрыл собою Федора:
— Отец, не поднимай ружье на безоружного, не вызывай гнева Всемогущего Аллаха!
— Уходи, вон! Пристрелю!..
— Стреляй, — негромко, но твердо ответил Сабех. — Пусть эта пуля породнит меня с пленником.
Вздрогнул, побледнел от этих слов Жакыз. Ярость перехватила его горло, и он хрипло прокричал:
— Ты позоришь меня перед гяурами!
Дудай стал между отцом и сыном:
— Жакыз, зять, послушай и мое слово: не делай этого, опусти ружье, сбереги пулю для другого в открытом бою... Если уступишь своей греховной ненависти, что скажешь

в ауле старейшинам, которые берегут в чистоте обычаи адыгов? Что скажешь им, убив безоружного, закованного в колодки?

Обессилев от гнева, Жакыз пытался возражать:

— Но зачем мне этот хромоногий гяур? Почему я должен кормить дармоеда?

— Он не дармоед, отец. Фидур хороший работник, хотя и ослабел от своего несчастья и нашей ненависти...

— У-у-у! Слюнтяи! — зло выдохнул Жакыз и, подняв коня на дыбы, бросил его в сторону леса.

— Братушка, прости нас за ради Христа! — кричали с того берега солдаты. — Не падай духом, мы вызволим тебя!

Федор лежал поперек седла лицом вниз и видел только камни, камни и камни, но вот он закрыл глаза, и ему увиделось небо — такое голубое, такое просторное, какого он никогда не видел. И сказал Федор про себя: благодарю тебя, Боже, за великую благодать ко мне грешному. Благодарю, что сподобил увидеть братьев моих, христиан православных, услышать их добрые слова.

И увиделось Федору, как ребята выскребали из карманов своих солдатские копейки, как они просили офицера, уговаривали его. Но что делать — неумолимым оказался тот офицер. Однако не осуждал его Федор, да и как осуждать, коли у него свои, офицерские обязанности. Вот и Жакыз едва не застрелил Федора, но и на него он не держал зла и за него молился. Что делать, у Жакыза тоже свои грешные дела, свои заботы о семье, своя вера. Да и то сказать, сколько раз солдаты, сродники мои, стреляли по нему, по его друзьям и родственникам. Может, и дом сожгли, может, весь аул. Как ему быть добрым ко мне?

Так думал Федор, лежа поперек седла, лицом к каменной дороге. Лежал, молился и чувствовал, как вливаются в него свет и радость голубого неба. Господи, за что, за какие грехи мои Ты посылаешь мне испытания? Священник говорил: кого любит Бог, того и испытывает — годен ли ты в Его бессмертное воинство, хватит ли у тебя смирения во имя Отца и Сына, и Святаго Духа? Помилуй меня, Боже, помилуй нас всех детей Твоих, пошли мне силы, чтобы увереннее стоять в горестях и в тяжестях, испытаниях Твоих.

Не только люди и лошади утомились к вечеру после полудневого перехода — солнце тоже утомилось и сонно клонилось к горизонту. Белые облака отяжелели, жаждали покоя.

Уже скоро падет на землю тихий летний вечер, принесет желанный покой. Каким бы длинным путь ни был, у него обязательно будет конец, ведь и у дороги тоже есть свое начало и свой предел.

Одна развилка, другая. Еще поворот, и показалась околица Заурхабля.

Коровы и овцы возвращались домой. Петухи горланили, возвещая о приближении вечера.

У поворота путникам встретился верховой:

— С добрым возвращением, Жакыз!

— А тебе — доброго пути, Карох, — ответил Жакыз и, не удержавшись, против обычая спросил: — Милостью Аллаха, куда собрался?

Карох немного поморщился, но приветливо улыбнувшись, ответил:

— Да тут, не далеко. Буйволы мои повадились в плавни лазить, вот и направляюсь за ними. А кого ты везешь, Дудай? Живого или мертвеца?

Ответил Жакыз:

— Не дал ты мне тогда прикончить этого паршивого гяура, вот и маюсь теперь с ним — третий раз возим, чтобы выкупили его. Истертые подковы дорожке стоят. Хромоногий, никудашный. Одни убытки с ним. Никто не хочет его выкупать, хоть провались!

— Так он еще живой? — не то удивился, не то упрекнул Жакыза Карох. — Валлахи, как это нехорошо, нельзя так мучить животину какую, а человека — грех. Если у вас не хватило своего коня для пленника, я бы дал вам, у меня для такого дела всегда найдется.

— А-а! Стоит об этом заводить разговор, можно ли из-за гяура коня мучить. Гяур он и есть гяур!.. А ты чего рот разинул?! — сорвал свое зло на сыне. — Иди домой, скажи там, что мы уже подъезжаем. Пешком иди! Разомни малость ноги.

Развязали Федора, ссадили с коня.

Затекли ноги в колодках, не разгибалась спина, и Федор уцепился за гриву коня, боялся отойти от него.

— Ничего, ничего, разомнись немного, подвигайся, — сочувственно говорил Карох Федору, — и все будет хорошо. А что это у тебя штанина в крови? Рана еще не зажила?

— Он растравливает ее, чтобы не работать, расковыривает, — сказал Жакыз.

— Не расковыриваю, — робко возразил Федор, — травки бы надо к ней целебной приложить, да не пускают меня на луг.

— Замолчи, а то я тебя быстро успокою, — зло посмотрел Жакыз на Федора. — Сажайте его на коня и езжайте.

— Парень, поди-ка сюда, — не успел отъехать Дудай от калитки Пазадовых, как Жакыз водворил в сарай закованного в колодки Федора и позвал сына.

— Ты меня звал, отец?

— Звал! — Жакыз, размахнувшись со всей силой и злостью, огрел сына плеткой по спине. — Если я еще раз увижу в твоих глазах жалость к гяурам, шкуру спущу! А грех неуважения к отцу будешь отмаливать у Аллаха до кровавых мозолей на коленях! Иди!

II

В то утро Федор Данилович Анаскевич получил из далекого своего села что на Вологодчине письмо от своей супруги Клавдии. Жена писала, что минувшая зима выпала мягкой и снежной, весна — дружная, ровная, и ржаное поле ждет зерна, ждет своего хозяина, Федора Даниловича. Письмо было написано четким почерком, похоже, писал его по просьбе Клавдии дьячок. Трижды он перечитал его, а потом спрятал во внутренний, потайной кармашек гимнастерки.

До обеда он вновь несколько раз перечитал письмо, испытывая сладкую тоску по родной деревеньке, по полю, которое тоскует по пропавшему хозяину, а еще — по тихим перелескам со стайками белых берез, по речным плесам, схожим с голубыми глазами девчонок.

А где-то к вечеру, в бою, в рукопашной схватке Федор Анаскевич попал в плен. Лежал весь окровавленный, священный по рукам и ногам в сарае.

И потянулись длинные дни неволи.

В начале дня и перед отходом ко сну он читал про себя краткую солдатскую молитву. А для души грешной, что маятся на земле, было письмо Клавдии. Он доставал его только тогда, когда никого не было рядом, и, хоть знал наизусть, любил еще и еще перечитывать. Написано письмо, конечно, дьячком, но диктовала ему Клавдия, и Федору всякий раз казалось, что он слышит ее тихий, ласковый и тоскующий голос.

Даже от могучего волкодава Мишида, которого очень любил, таился Федор:

— Не обижайся на меня, Мишид, что таюсь и от тебя. Понимаешь, дело такое, святое... тебе оно совсем ни к чему. Не обижайся.

Мишид преданно смотрел в глаза Федору, приветливо махал хвостом, а иногда и повизгивал от преданности, от своей собачьей радости.

— Спасибо, друг, спасибо, лучше тебя никто здесь меня не понимает. Однако пора нам с тобою и делом заняться.

Там, на далекой Вологодчине, Федор любил зимою колоть березовые дрова. Мерзлые, они под ударом топора весело звенели, издавали приятный запах свежести, лесного аромата. Здешние дрова были, конечно, не мороженые, а все ж напоминали родное село, родной лес. И когда он пилил их, тоже слышал песню своей далекой пилы.

Пилил, колот, а потом носил в сарай и складывал их аккуратными, душистыми штабелями. И очень, очень любил Федор, утомившись, устав от работы, прислониться спиной к прохладной стене сарая, полюбоваться делом своих рук, закрыв глаза, послушать лес.

«Благодарю тебя, Боже, за доброту Твою, за милость ко мне, грешному. Ты дал мне жизнь, волен распоряжаться ею — я не могу, я не смею роптать, Ты знаешь, что лучше для меня, но, Господи, помоги разобраться мне с моими сродниками, с моими земными владыками. Они сказали: иди сражаться за Веру, Царя и Отечество, во славу России. Я безропотно оставил свою жену, малых детей и пошел. Ты знаешь, Господи, я честно сражался, отбивался от врага еще и тогда, когда моя нога была уже перебита. Прости меня, Боже, что я Тебя призываю в свидетели. Но кого же

еще, кому еще я скажу о своей обиде и принесу свое покаяние за этот грех. Прости мне эту слабость, помилуй меня, грешного. Но почему же, почему офицер тот сказал, что я не нужен им? Значит, не нужен России, моей родине, моей деревне, моему полю, детям и жене моей Клавдии? О Господи, о Боже мой! Не нужен я своим, но ведь и черкесам не нужен. Да и зачем я им, зачем им нужен тот, кто пришел к ним с войной, кто убивает их соплеменников, сжигает их селения? Нет-нет, у меня нет на них обиды. И другое надо сказать, Господи, они ведь тоже — дети твои, у нас с ними одно небо, одно солнце, как же быть, как?»

— Эх, Мишид, Мишид, друг ты мой сердечный, если бы я не хромал, если бы у меня была здоровая нога, может, тогда и ценили бы меня лучше как работника? Однако ж, если бы не перебили мне в бою ногу, разве я попал бы в плен? Вот тут и подумаешь, поломаешь свою глупую, свою грешную голову. Ты счастливый, Мишид, тебе не надо ломать ни над чем голову, не нужно никого убивать. Счастливый ты. А я никому не нужен — никто не хочет меня выкупать. А если бы выкупили, значит, не сидели бы мы с тобою вот так рядышком, не подружались бы... Экие-какие дела на нашей грешной земле, не поймешь, не угадаешь, что хуже, а что лучше. Давай-ка выглянем, не показался ли там кто из наших хозяев?.. Нет. Никого, все тихо. И еще я тебе должен сказать: ведь мне оставалось служить в полку шесть дней, всего шесть денечков, и поехал бы к своей женошке, к детишкам, к полю своему хлебородному и мирному. Если бы да кабы, да во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород. Это, Мишид, у нас так шутят. Однако, что-то уж очень тихо у нас в доме, что-то пустынно во дворе. Как ты думаешь, Мишид, к чему бы это, а? Солнце уже вон как высоко поднялось, а Гошехан, хозяйка дома, все еще не показывается во дворе. Спит, что ли? Быть такого не может. Жакыз с Сабехом на рассвете куда-то ускакали. Тут что-то не так.

Насторожился Мишид, уловив встревоженность Федора, а потом и вовсе кинулся с тревожным лаем к дверям дома.

— Чего это?! Чего всполошился?!

Не без труда переставляя ноги в колодках, Федор направился к дому.

Мишид скулил, бросался на входную дверь.

Вошли в дом. На полу лежала Гошехан. Рядом — тарелка с лепешками, чашка, разлитый чай...

— Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи — трижды перекрестился Федор, не без труда поднял Гошехан, уложил на деревянную кровать и, поправляя ее подушку, обнаружил под ней свой трехстворчатый складень — Спаситель, Богоматерь и Иоанн Предтеча. Как он обрадовался, что нашел пропажу! Поцеловал и поставил на стол.

Мишид громко, призывно и встревоженно залаял.

Гошехан открыла глаза, приподнялась.

— Что такое? Что случилось?

— Слава Богу, ты — жива! Я у тебя хочу спросить, что случилось с тобою, хозяйка?

— Как — ты здесь, почему?! — испуганно и возмущенно вскрикнула Гошехан.

Федор понял свое неловкое положение и робко, нерешительно объяснил:

— Мишид услышал беду, стал лаять. Мы вошли и увидели тебя на полу, с закрытыми глазами. Я положил тебя на кровать...

— Что ты сказал?! — испуганно закричала Гошехан. — Ты положил меня на кровать?! Ты прикасался ко мне?! Убирайся отсюда, гяур проклятый! О Аллах, лучше бы мне умереть, чем пережить такое!

Испугался Федор Данилыч. С трудом переставляя ноги в колодках, вышел из дома, завернул за сарай, чтобы скрыться как-то, опустился на землю и горестно взмолился: «За что же мне это новое наказание? Ведь Жакыз, узнав об этом, расвирепееет! Он наверняка убьет меня. А ведь я хотел только добра, хотел помочь женщине, что оказалась в беде».

И тут вспомнил Федор о складне, забытом на столе: «Как же это, как же это я, Господи, забыл? Да и унести нельзя было — ведь Гошехан вскинулась бы, обнаружила пропажу и меня обвинили бы в воровстве. Но и оставить у басурман свою святыню — тоже великий грех. Как мне быть, что мне делать, подскажи, Господи, смягчи сердце хозяйки моей, ведь я не хотел причинить ей зла, пусть и она не сотворит мне худое. Господи, помилуй нас грешных!

Заныло у Федора сердце, слезы навернулись на глаза.

Тихонько подошел Мишид, лег рядом с Федором и положил свою большую мохнатую голову ему на колени. Чувал он горе своего доброго друга, чувал. Но не знал, как помочь ему — разве что вот так, положить свою голову на его колени и преданно смотреть в лицо. А можно еще лизнуть его руку — и Мишид лизнул.

Долго ли, коротко ли сидели они, утешая друг друга своим молчанием, своей преданностью, потом Мишид поднял голову, стал принюхиваться. Поднялся и заковылял к дому.

Федор засучил левую штанину и начал разматывать тряпицу на раненой ноге. Не заживала рана от пули. Надо бы, надо сходить на луг, надо бы поискать чистотелу или подорожника, или еще какой целебной травы, да не пускают его со двора.

Завязывая рану чистой тряпицей, Федор вспомнил только что случившееся в доме, и озадачился: каким образом попал к басурманке его складень? И зачем она его хранит? Ведь нельзя же ей, совсем нельзя, грешно по их вере держать его у себя. Но как, каким образом выручить святой складень?

Прибежал Мишид, принес большую лепешку и положил у ног Федора, мол, тебе принес — ешь.

— Добрый ты мой пес, добрый ты мой друг, дай-ка я хоть обниму твою большую и умную голову. — Обрадованно взвизгнул Мишид. — А теперь — позавтракаем. — Федор разломил лепешку на две равные части, одну дал собаке.

Все же, кому несла Гошехан лепешки и чай? «Э, да мне же и несла! При Жакызе она рта не раскроет — все молчком, молчком — боится его, на меня ей почему-то даже глядеть запрещалось — не пяль глаза на гяура, не смей! А когда нет его дома, Гошехан и покормит меня, и чаем угостит, даже в дом не запрещает зайти. И Сабех — славный, душевный парень».

Случалось Сабех и посидит с Федором, расспросит о России, о Петербурге и Москве, принесет чистую тряпицу, перебинтует рану, мазь приложит. Случалось такое, когда уезжал Жакыз.

А еще — Сабех учил Федора черкесскому языку, рассказывал о земле адыгов, об их обычаях. Расспрашивал о русских — не было у него к ним ненависти — только любопытство. Однажды он сказал: когда кончится война, когда замирятся русские с черкесами, он, Сабех, обязательно поедет в Москву, в Петербург и на родину к Федору, в его родную деревню.

Думал Федор, что надолго не задержится в плену — поправится немного, осмотрится и убежит. Надо было подождать, пока хорошо заживет нога, пока сам он здоровее окрепнет, к дальней дороге подготовиться. Надо было, но терпения не хватило: прошлой весной кинулся в побег да только до плавней и успел добраться при своей хромой ноге. Догнал его Жакыз и избил до полусмерти. Избил и приказал заковать в крепкие из тиса колодки, но и они не очень испугали Федора, он уже присмотрелся и при надобности сумеет избавиться от них.

Теперь уж не будет торопиться Федор, не будет уступать своему нетерпеливому сердцу. Конечно, трудно с раннего утра до поздней ночи волочить колодки, волочить свою несчастную судьбу. Очень трудно коротать в сарае на соломе темные ночи, просыпаться в слезах, когда во сне виделась родная деревня, виделись дети и Клава.

Все так, однако настоящий мужчина силен своим терпением, своей выдержкой...

Однажды, когда над Заурхаблем раздался с минарета призыв муэдзина к полуденному намазу, на другом конце аула послышались женские рыдания. «Боже милостивый, — воскликнул про себя Федор, — опять привезли тела убитых. О Господи, Господи, помилуй нас грешных!»

Этой весной в Заурхабле были уже тридцать седьмые похороны. Тридцать семь!..

Отцвели в лесу подснежники, ландыши, в садах отцвели алыча, абрикосы. Летним цветением бушевали луга, летними зорями красовалась земля, и снега на далеких горных вершинах светились резким отчетливым светом. Но тридцать семь сильных, красивых мужчин из Заурхабля уже не видели этой благодати и никогда не увидят.

Каждый раз Жакыз, возвращаясь в аул с телами погибших земляков, задыхаясь от гнева, набрасывался на Федора,

бил плеткой, палкой, соседям едва удавалось отстоять его, увести в сарай и закрыть там на замок, пока не утихомирится Жакыз, пока не потухнет жар его ненависти.

Не оборонялся Федор, только молил Бога послать ему смирение и терпение, послать прощение Жакызу. Больше того, когда Жакыз и Сабех уходили, как говорили в ауле, на войну, Федору становилось до того тяжело, что он не мог ни есть, ни пить, ни спать спокойно. Как ему быть, что ему делать?!

Утром и вечером он опускался в сарае на колени и молился, своей молитвой молился: «Плохо, очень плохо относится ко мне Жакыз, но как бы плохо ни относился, он ведь тоже Твое творение, Господи, а потому пощади его, верни с поля боя живым. А Сабех! О Великий Боже, — он моя надежда и опора, прости ему все прегрешения, упаси от пуль и острых шашек моих православных братьюшек. Услышь меня, Господи, пойми меня и прости. Говорят, если мы не завоюем земли черкесов, то сюда придут турки и англичане, будут грозить отсюда России, но ведь черкесам не нужны ни турки, ни англичане, ни русские — им нужна их мирная, благодатная земля, земля их отцов и дедов! Помогите им, Боже!»

В этом месте у него всегда перехватывало дыхание, темнело в глазах и начинало гулко биться сердце: «Братушки мои, родные мои! Пусть и вас минуют черкесские пули, пусть не тронет вас их вострая шашка, да колючий кинжал! Пусть ваш верный конь унесет вас с поля боя, пусть... Господи, да как же мне быть?»

Муэдзин звал правоверных к полуденному намазу, рыдания женщин — к похоронам, к печали, а светлое небо — к радости.

— Фидур, а Фидур, ты где? — за дверью раздался голос Гошехан.

— Здесь я, — Федор вышел из сарая.

— Что ж ты совсем запропал, целый день ничего не ешь. Что случилось? Заболел?

Федор кивнул головой в ту сторону, откуда доносились рыдания:

— Беда, опять большая беда пришла к нам в Заурхабль, Гошехан.

— Большая,— нахмурилась она,— от вас наши беды, большие и малые.

Горький упрек послышался в ее словах.

Больно стало от этого Федору. Он опустил голову.

— Ты хороший человек, Фидур, не сердись на меня, не о тебе, а о тех, которые там командуют, которые посылают вас. Не сердись, Фидур, и да хранит нас Аллах.

— Да, Гошехан. Я не сержусь, но... виноват и я, виноват перед тобою, перед всеми черкесами. Будем молиться Богу, будем просить у него милости.

— Молись, Фидур, молись своему Богу, а мы — своему.

— Один Он, один на всех Он, мы только молимся Ему по-разному.

— Ой, грех, ой, грех — разболталась я с тобою,— замахла руками Гошехан и убежала.

Ш

Федор наловчился не только ходить в колодках, но и работать — подметать двор, колоть дрова, рубить хворост, задавать корм скоту и птице. Рана уже не кровоточила, но наступать на эту ногу было все еще больно, потому и щадил ее Федор, хромал.

Хромал он, надо сказать, для вида, если во дворе был кто-нибудь из хозяев, а то ведь покажи им свое доброе здоровье, станут бояться, как бы не убежал, придумают какую-нибудь ловушку.

А тут еще осень! Третий месяц был на исходе, третий месяц будто праздник стоял. Почему — «будто»? И в самом деле праздновали поля, отдав хлеба и укрывшись после теплых дождичков живым озимым изумрудом, праздновали луга, одевшись отавою, разбросав по своим просторам осенние цветы, праздновали леса в золотисто-багровых одеждах. А индейки и куры, овцы и телята нагуляли про запас в зиму довольно жиру и ходили, с достоинством раскачиваясь под тяжестью своего добра. Ну и, конечно, — сады! О их красоте и довольстве, о их радости и говорить нечего — праздник!

Как тут Федору удержаться от своей тихой радости, как тут хромать будешь, если взлететь хочется.

Главное же, все это время не слышно было грохота пушек, ружейной стрельбы.

Не привозили в Заурхабль убитых и раненых.

За все это время в ауле случились только одни похороны — схоронили бабушку, столетнюю женщину. Может быть, это и была вершина прекрасной осени.

Не косились теперь адыги на Федора, не тыкали в него пальцем, мол, гяур, враг наш. Даже сам Жакыз все чаще улыбался ему, хваля за добрую работу. И кормили получше, и за ворота разрешали иногда выйти, один раз даже на луг взяли, когда сено возили, в поле брали кукурузу ломать. Ну, а в огороде так уж и совсем освоился Федор — вспахан огород, приготовлен к весне. У сарая сено сметано в скирды. Кукурузные стебли аккуратно сложены. Кукуруза уродилась отличной — початки крупным зерном, полновесные лежали в сапетках. А на веранде развешаны связки лука, чеснока, жгучего красного перца.

Хорошо жилось Федору в эту тихую спокойную осень, но до какого-то дня. До какого и не определишь с точностью, но был тот день, обязательно был, когда сердце впервые обеспокоилось еще непонятной тревогой: когда стреляют, солдат знает куда и как надо спрятаться, укрыться от пули. А если не стреляют? Что это значит, эта тишина и покой, что затевает враг? Откуда ждать его удара? И что это за удар будет?

В Заурхабле, конечно, нет военных позиций, а все же тут почти каждый день слышна была стрельба, или привозили убитых и раненых.

А теперь? Что значит такая долгая тишина? Может, уже закончилась война, может, уже замирились? Если кончилась война, если замирились, значит, и его, военнопленного надо отпустить, он уже никому не враг...

И ныло сердце у Федора Данилыча, тосковало: хорошо бы по осени приехать домой. Как они там, есть ли у них в зиму хлеб и картошка, запасли ли дров, ведь зимы на Вологодчине, ого какие! Не сравнишь со здешними короткими да теплыми.

Спросить, узнать, но у кого, как?

Маялся Федор...

— Фидур, ты ошалел, что ли, такую пылицу поднял! Или воды жалко? Так она теперь у тебя под рукой. Полей хорошенько двор, освежи.

— Хорошо, Жакыз, хорошо.

Федор пошел к колодцу. И этот новенький плетень, и легкая тележка, и журавль у колодца — все дело рук Федора. Теперь в ауле уже несколько таких журавлей соорудили аульчане, очень им это понравилось.

Полил Федор колодезной водой двор, обрадовался свежести и прохладе.

Жакыз спустился с крыльца:

— Видишь, красота какая! Не поднимай больше пыли.

— Прости, хозяин, задумался я, закручинился я... — Федор Данилыч стоял с большим веником в руках.

— Я-то прощу, — усмехнулся Жакыз, садясь на скамейку, — а вот хозяйка задаст тебе — вон как ты запыллил на веранде перец, лук и чеснок.

— Я сейчас вытру, — заторопился Федор.

— Ладно. Вымой руки и садись рядом, поговорим немного. Если бы только у нас во дворе была пыль — все запылили люди. Запылили, замусорили, да простит им Аллах.

«Что это с ним? — встревоженно подумал Федор, ополаскивая руки. — Может быть, новости есть какие?», а сам сказал:

— Да я хотел за овчарней подмести.

— Успеется. Завтра еще будет день. Садись, отдохни.

— Спасибо, да вот у нас говорят: что можешь сделать сегодня, не откладывай на завтра.

— У нас тоже так говорят. Хорошие это слова.

— Хорошие, крестьянские. Хлеборобу всегда не хватает времени, вот он и торопится, — согласился Федор и сел на край бревна.

— Ты и есть настоящий крестьянин, я сразу это заметил. Я доволен тобой, твоей добротной работой.

— Ты, хозяин, тоже настоящий крестьянин. У нас говорят — истый хлебороб.

— Спасибо, Фидур, на добром слове. Земля наша — кормилица наша, мать наша, потому мы никому и не хотим ее отдавать. Да разве можно кому-нибудь отдать свою мать. Старики говорят: большего греха не бывает, чем грех оставить мать беззащитной.

— И с этим я согласен, Жакыз. А как не согласишься, если народ свою мудрость по зернышку веками собирал

и хранил, — говорил Федор, а сам между тем думал, что никаких, похоже, добрых новостей нет, раз такой разговор ведет. У Федора упало настроение.

— Верно, верно. Я, правда, доволен еще и по другому поводу: мне нравится, как ты быстро научился говорить по-нашему.

— А если бы я не умел говорить по-вашему, как жил бы с вами? Пропал бы и все.

— Ты так усердно изучаешь наш язык, будто собираешься с нами всю жизнь свою прожить.

Насторожился Федор: к чему это он?

— Не собираюсь. Если отпустишь, то сегодня же уйду.

— Вот как! Отпустишь! Это как же так — отпустишь? А выкуп кто мне за тебя даст?

— Я ж не виноват, что никто не хочет меня выкупить.

— Виноват! — почему-то рассердился Жакыз и встал.

Поднялся и Федор — нельзя при хозяине сидеть, если он встал.

— Чем же я виноват?

— А тем, что увечный. Не был бы калекой — купил бы кто-нибудь.

— Увечный, калека... Разве я сам себя сделал таким? Кто меня изувечил? — спросил и оробел — нехорошо сказал, обидеться Жакыз может, осерчает еще больше.

Глянул Жакыз на него строго, хотел что-то сказать, но воздержался.

— К тому же, хозяин, ты сам говоришь, что доволен моей работой.

— Сказал и опять говорю — хороший ты работник, только добавлю, — Жакыз лукаво улыбнулся, — добавлю, что будешь работать здесь, пока не заработаешь тысячу рублей.

У ворот послышался конский топот — это приехал Сабех.

— Ты где пропадал? — хмуро спросил Жакыз.

— Коней поил, прогулял немного, а то совсем застоялись.

— Тебе что, время некуда девать, дел по дому нет? Ты совсем отбиваешься от рук!

— Не знаю, отец... Я сделал все, что надо.

— Все, что надо. А знаешь ли ты — на пороге зима. Все ли ты подготовил к ней?

Сабех пожал плечами.

— То-то. Ты все — Фидур, Фидур, а сам и вовсе не думаешь о нем, где он будет жить зимой? Не положишь же ты его в своей спальне? Завтра же начинай утеплять сарай. Да Фидур и сам мастер хороший. Ты меня понял, Фидур?

— Понял, хозяин. Завтра же начну и сделаю в самом лучшем виде. Не сарай, а прямо палаты будут, — улыбнулся Федор.

— То-то. И смотри у меня — «если отпустишь, хоть сейчас уйду». Скорее эти горы развалятся, чем отпущу я тебя без выкупа!

Ускакал Жакыз.

Сабех остался сидеть на лавке, а Федор ушел к овчарне, чтобы убрать мусор.

Федор подметал, а Мишид сидел напротив и так смотрел, будто помогал ему — то хвостом вилял, то головой качал, то тихонько урчал.

Федор неторопливо орудовал метлой, даже раздумчиво как-то, вправо-влево, вправо-влево, чуть-чуть правой, чуть-чуть левой. И тихонько, тихонько, чтобы не поднимать пыль. А сам все думал и думал: вот тут и поди разумеи, сначала-то Жакыз заговорил так, будто с важной новостью пришел, а что получилось? Ничего. Никакой новости. Ни слова, ни полслова о войне — кончилась она или еще нет? Может, дальше в горы откатилась, может, к Турции? Ничего не сказал Жакыз. Горы, сказал, скорее развалятся, чем он отпустит Федора. Тысячу, говорит, заработаешь, тогда и отпущу. А он что, каждую мою работу на деньги переводит, считает? Чудно все это, очень чудно. Но видно судьба моя такая. Три раза возили — никто не захотел выкупить, а ведь выкупают, это я знаю, сам видел. Э-хе-хе-х... Наверно, только и нужен я Клавдии да детям своим, а больше всех — Господу Богу. Скорей бы он призвал меня к себе. Однако не призывает, значит, или не гожусь еще, или тут кому-то, зачем-то понадобится. А раз так, не мозоль свою голову разными мыслями — молись Богу и работай, делай, что приказывают, что судьба назначает.

— Сабех, сын мой! — это позвала с крыльца Гошехан, — поди-ка сюда, чего ты прилип к сараю? О чем задумался?

Спустилась с крыльца Гошехан.

— Не знаю. Так, мысли разные в голове, даже не пойму отчего это. Все нехорошо в нашем мире, все будто скособо-чилось, изогнулось.

— Верно, сын, ведь недаром говорят, что мир наш — бренный и такой шаткий, потому что временный. А лучший — у Аллаха, к которому мы возносим наши молитвы. А если ты расстроился выговором отца, так он для того дан тебе, чтобы руководить тобой, учить уму-разуму, а если ты о сарае — не переживай, мы с Айшет поможем.

— Как это вы поможете?

— Очень просто — приготовим глину, обмажем, побелим, внутри все сделаем чистенько, уютно.

Гошехан говорила нарочно громко, чтобы все слышал Федор.

— Еще я хочу тебе сказать, не обижайся на отца — он горячий, да отходчивый.

— Я думаю, он мог бы в нашем большом доме найти комнатку для Фидура.

— Сынок, не надо нам с тобой осуждать отца... Ты, может быть, не помнишь, отец твой был совсем не такой, как сейчас. Таким он стал после того, как убили его старшего и младшего братьев. В один день. Не знаю, какое сердце может выдержать, чтобы не ожесточиться...

Сабех был тогда с теми, кто привез тела братьев отца, он хорошо помнил тот страшный день. В тесном горном ущелье сошлись черкесские воины и русские солдаты — бой был на редкость жестоким. Просто уйти из того узкого ущелья, по обрывистым тропинкам, по скалам и утесам было невозможно. С обеих сторон погибло очень много. Говорили, что такого сражения давно не было на черкесской земле.

Сабех вынес тогда с поля боя, вернее, с кипевшего огнем ущелья младшего дядю, Аюба. У него на руках он и скончался.

В тот день Сабеху исполнилось двадцать. Всем своим существом — телом, сердцем, руками — впервые ощущал он, как из человеческого тела уходит жизнь, ее жар, видел

угасавшие глаза дяди. Но это не ожесточило его сердце, оно просто стало старше своего возраста, это не озлобило его ума, а сделало мудрее. Он понял в тот день, что если что-нибудь и спасет людей, так только милосердие...

— Я очень хорошо помню тот день. Не только в дом Пазадовых пришло горе, но...

— Да, не одни мы горевали, оплакивая своих близких — вся Абадзехия была в слезах. И все же, сынок, постарайся понять отца.

Федор не переставал заниматься делом, однако слышал все, о чем говорили мать с сыном. Конечно, Сабех не стал бы никакого сарая для Федора благоустраивать, поселил бы в одной из комнат их большого дома. Сабех — доброй души человек. Мать тоже — добрая женщина, тоже рада бы поступать, как хочет того Сабех, которого она любит по-матерински, но что делать, если Жакыз такой горячий и своенравный. Его тоже надо понять, ему тоже надо простить. Кроме этого, Жакыз глава семьи, грех его послушаться, грех расстроить его сердце, вот и приходится Гошехан находиться будто между двух берегов — ни того, ни другого нельзя покинуть, нельзя отдалиться от них, ведь каждый из тех берегов ей дорог, каждый из них — смысл ее жизни, ее радость.

Да что говорить, разве Федор не понимает горе Жакыза, разве таит он на него злость — Боже избавь! Не виноват Жакыз, страдает его сердце. Он и на Федора-то не злобится, просто в нем кричит его боль, не может он ее унять, заглушить, как могут это Гошехан, Сабех. Просто Жакыз, должно быть, слабее их, вот его-то и надо жалеть больше всех. Правильно говорит Сабех — только милосердие каждого к каждому всем даст покой, насколько он возможен при нашей сложной жизни

Подумал так Федор, и легче стало у него на душе. И небо стало посветлее, и дальний лес ярче заиграл своими красками. А Мишид-то, Мишид! Он что, — слышал, понимал размышления Федора? Наверное, нет, но доброе настроение, конечно, уловил, ведь от света, от доброты каждому становится теплее.

Жакыз Пазадов был крепким хозяином, во всем любил основательность, определенность и строгость, поводя

своего хозяйства всегда держал натянутыми. И когда отлучался из дома, сразу чувствовалось приятное расслабление — все становилось проще, свободнее и веселее, хотя дела велись, как и полагалось. Вот так и сегодня.

У плетня во дворе лежал кряж длиной сажени две и толщиной, пожалуй, побольше аршина. Кора его давно облетела, да что кора, когда само дерево блестело, отполированное временем и тем, что на нем любили посидеть, поговорить. Сколько лет этому дубу, никто не знал, может, сто, а может, и все двести. Его считали вечным, как и горы, и лес, и речку. Сколько же людей пересидело на этом кряже, сколько разговоров здесь говорено — и радостных, и горьких, и просто так.

Сейчас на бревне сидел потный, обрызганный глиной Федор, дожидаясь возможности подобрать растекшееся месиво и устало жмурился на солнце. А напротив него, на скамейке ждала готовой глины Гошехан со своей соседкой Айшет, чтобы обмазывать ею сарай.

Сабех верхом на коне месил глину, залитую водой, густо посыпанную половой.

Готовились обмазать ту часть сарая, в которой надлежало жить зимой Федору. На его родном севере, вьюжном да морозном, всему голова — лес. Летом ягодой и грибами накормит, к зиме дровишками обеспечит, чтобы было тепло в доме. Да и сам-то дом рублен из бревен, так чисто да гладко вытесанных, подогнанных одно к одному, что и кончика ножа между ними не просунешь. Плотно, крепко, да еще и мхом утеплено. И ворота тесовые, и крыша тесом или дранью крыта, и ложка из дерева резана. А здесь дома и другие строения — турлучные: плетни, обмазанные глиной, — по-своему и крепко, и красиво, и долговечно.

Улыбался Федор. А Мишид никак не мог понять, что происходит во дворе. Уж если оседлали коня, сели на него, то, значит, и поехали, а тут — Сабех кружит и кружит на одном месте. Мишид сначала повизгивал, как бы спрашивая у Федора, мол, что это значит, потом, побегав с лаем вокруг, успокоился.

Но вот, наконец, и принялись за работу.

Принесли лестницу, ведра, чтобы подтаскивать глину к сараю, чтобы носить воду из колодца.

Много надо глины, воды, но ничего, Федор хоть и с трудом, все же управлялся.

— Гошехан, мне жалко бедного Фидура, — сказала Айшет, — посмотри как он мучается в этих проклятых колодках!.. Дай я немного поношу воду, Фидур, а ты отдохни.

— Ты что говоришь, Айшет, как это можно! — возразил Федор. — Каждый сам должен делать свое дело. Ваше дело — мазать, чего я не умею, а мне помогать вам. Нет-нет, не дам носить ни воду, ни глину!

Сабех подошел, опустился на колени перед Федором и отомкнул его колодки.

— Что ты делаешь? — почему-то очень испугался Федор. — Разве можно?!

Сабех поднялся:

— Можно и нужно.

— Как ты раньше не догадался, Сабех, — сказала Гошехан. — Ну, ну! Походи немного, Фидур, походи, пусть отдохнут твои ноги.

— Ой, без колодок он совсем молодец! — восхитилась Айшет. Помолодел сразу.

— Как ты насчет коня? — спросил Сабех. — Можешь верхом?

— Да ты что говоришь, Сабех! Какой же я крестьянин, если на коне не могу!

— Попробуй! — подбадривал его Сабех. — Попробуй. И Федор не поднялся, а взлетел, как ему показалось, в седло.

— Давай, давай, помеси глину вон в том углу, — опять подбадривал его Сабех.

Почудилось Федору, будто у него крылья за спиной выросли. А еще почудилось, что он наметом перемахнул на коне через плетень, взвился в поднебесье — и вот они родные леса, село родное!

Так устал он от этой радости, так ослабел, что даже голова закружилась.

Федор натянул поводья, стал месить глину.

Теперь Сабех, увидев, как молодецкато сидел на коне Федор, смутился, засомневался: не погорячился ли он, что скажет об этом отец?

— Сынок, ты веришь Фидуру, ты не боишься, что он сделает нехорошее? — шепотом спросила Гошехан.

— Я верю ему.

Не важно, что строишь: то ли сосновый дом, то ли кирпичный, то ли турлучный, главное — строишь. Какую бы человек не одержал блестящую победу над врагом, она не дает ему чистой радости, потому что он сеял смерть, разорял, что с такой любовью было построено.

Радость созидания — единственная истина, омывающая душу.

Обмазали сарай изнутри и снаружи, походили вокруг него, полюбовались, и сердце каждого осветилось тихой радостью — итог коллективных усилий.

— Обедать! — позвала с крыльца Гошехан.

Удивительно было: пленника, колодника посадили хозяева с собою за стол. Правда, они этого не заметили, ибо и свежеемазаный сарай, и чисто подметенный двор, политый холодной водою, и небо, и шум золотисто-багряных листьев клена были одинаково равными для всех. Даже Мишид, растянувшийся во весь свой рост у порога, приветливо вилял хвостом, щурился, терпеливо ожидая, когда хозяева пообедают сами, а затем хорошенько, вкусно покормят его.

После обеда Федор сказал:

— А теперь, Сабех, давай ключ.

— Зачем?! — удивился Сабех. — Я сейчас брошу в печку эти проклятые колодки!

— Не надо, — грустно улыбнулся Федор.

— Почему?!

— У человека со свободными ногами могут появиться греховные мысли. Так я думаю.

Сабех положил ему руку на плечо:

— Ты — хороший человек, Фидур. Пусть пока побудут эти проклятые колодки на твоих ногах, пусть тяжелее становится от них и моему сердцу.

Гошехан даже отвернулась, чтобы мужчины не заметили набежавших слез на ее большие, красивые и очень добрые глаза.

Дня через три вернулся из поездки Жакыз, придиричиво осмотрел двор, обошел вокруг сарая, внутрь зашел. Важно провел по своей бороде, нахмурился, тая лукавую улыбку:

— Я велел обмазать только часть сарая, а ты послушался и обмазал весь.— Помолчал Жакыз, сверля пытливым взглядом Федора, а потом откровенно улыбнулся: — Хорошо послушался, хозяин рад. Маладэс ты, маладэс! — закончил он по-русски.

— Я не один это делал,— робко заметил Федор.

— Знаю! — оборвал его Жакыз.— У них здоровые ноги, а у тебя... Я же говорил тебе, Гошехан, нужно хорошей мази Фидуру достать.

— Уже, уже принесли.

— Доволен я тобою, Фидур. Тобою тоже, сын мой. Всеми доволен. Когда в доме порядок, каждому сердцу становится приятнее, каждый крепче стоит на ногах, а значит, и дом крепче, надежнее.

IV

Зима в тот год, не в пример прошлогодней, выдалась суровой. Сначала снег упал на поля, укрыл озимые, а потом затрещали крещенские морозы, загуляли шальные ветры, наметая сугробы у плетней и домов да такие сугробы, каких давно не видели в Заурхабле. Прямо не сугробы, а снежные курганы!

В такую непогоду хорошо посидеть у жаркой печки, попить горячего чаю, поговорить, послушать, как завывает ветер в трубе, посвистывает в ветках старого клена, и быть довольным собою, своим теплым домом, его уютom.

Никому не хочется выходить на сквозняковую стынь. Даже Мишид в своей мохнатой шубе не вылезал из конуры, а Федору эта непогода, этот мороз напомнили его далекую родину. Даже не напомнили, а просто пришли к нему в гости. Чуть рассвело, он вышел во двор и, восторженно ухая, расчищал дорожки к сараям.

А снежок все сыпал и сыпал. Кружились пушистые снежинки, опускались на его лицо и таяли.

Господи,— подумал Федор,— может, и Клава сейчас вышла во двор, чтобы пробить дорожки к сожку, к коровнику, может, эти снежинки и прилетели оттуда, может, чего-нибудь и хотят они рассказать Федору, да он не может понять их? А чего непонятного? Вышла Клава во двор, и

такая тоска в ней заныла, такая боль душевная: жена она — не жена, вдова — не вдова, ничего не знает, бедная. Одна посередине двора. А было время, когда они вместе выходили во двор, становились на разных концах и пробивали дорожки навстречу друг другу. У Федора деревянная, из вековой липы сделанная лопата была вдвое больше, чем у Клавы. И размахивал он той лопатой — только снег кружил метельно, размахивал и тихонько напевал. Скорей, скорей навстречу Клаве!

И вот они встретились, обнял он ее и ухнул в сугроб. Сам — туда же: затевалась веселая возня.

Раскраснеется Клава, щеки ее, будто утренняя весенняя заря. А смеялась она так звонко, так весело!..

Теперь стоит посередине двора его Клава, одна, с его большой лопатой — ведь ей приходится теперь работать за двоих. А может быть, думал Федор, она уже расчистила дорожки, наколола дров и топит печку, чтобы отварить картошки, щей наварить к обеду. И девочки, наверно, уже проснулись, помогают матери. А как же, как же не помогать! В деревне так: только на ноги — топай, топай, ручонками своими делай что-нибудь, делай, с колыбельки учись добывать свой хлеб насущный, иначе пропадешь — север он такой, суровый. А если научишься, если радость его поймешь, так счастливым будешь. Прочистил дорожки в сугробах — оглянись, и сердце твое возрадуется, наколол дров, и услышишь, как весело загудит огонь в печке, пойдет по избе лесной дух, растечется радость по комнатам.

Снег в здешних краях не только мохнатый, но и влажный, липкий, он так налипает, что ломает ветки деревьев.

Ничего, ребята, ничего, приговаривал Федор, глядя в сад, вот пробью дорожки и вам помогу. А как же не помочь! Стряхну тяжесть.

Захотелось Федору сказать Клаве свои слова. Как знать, может через этот снег сейчас и услышит его.

«Знай, моя любезная супруга Клава, где бы я ни был, как бы я не жил — сердцем и душою всегда с тобой. Прости, что я в твои молодые годы оставил тебя одну: жена — не жена, вдова — не вдова. Ты у меня умная, понятливая и знаешь, не сам я принес тебе это горе, силой меня заставили, даже не заставили — такая судьба мужчины, солдата...

Я писал тебе, что у меня все хорошо. Оно и есть хорошо, хотя нынче я вон в какой беде, но ничего, все образуется. Замиримся с черкесами, и приеду я домой: будем пахать, косить, дорожки пробивать в сугробах. Все будет, Клава, суженая моя, Господом Богом данная. А если получишь обо мне какие-либо дурные вести, не верь им. Слышишь, не верь! Я даже в могиле, если Господу будет так угодно, если лягу в сырую землю, буду помнить тебя, буду верным тебе. Да что, моя хорошая, у них, у черкесов тоже бед полным-полно, бед, нами принесенных. Вон у нас соседка, Айшет — молодая, красивая, а уже — вдова. Наша пуля овдовила ее. Вон как замело ее двор, как припали к земле ветки яблонь под тяжестью снега. Надо бедной женщине помочь. Обязательно. Тяжело ей, ох тяжело. Подсоблю ей малость — Господь зачтет это».

Все так и было, со всем управился у себя во дворе Федор и стал пробивать дорожку от калитки Пазадовых к калитке и к дому Айшет.

«Помилуй меня, Боже, помилуй смиренного раба Твоего, но хочу еще об одном попросить Тебя. Не гневайся на меня за мою назойливость. О моем хозяине, о Жакызе прошу. Что ко мне он так относится, тут все понятно — я невольник его, пленник, враг его, хотя я так и вовсе не считаю. О жене его Гошехан, о сыне Сабехе говорю: смягчи его сердце к ним, смени его гнев на милость. Да и самому ему будет от этого легче. Я вижу, как он страдает от своего гнева, от своей злобности. Ведь он и сердце свое так может подорвать, погубить себя может...»

— Фидур, а Фидур! Разогни свою спину, покажи мне лицо свое! — позвал Жакыз. — Ты куда это направился со двора своего?

— Доброе утро, хозяин! — поднял свое раскрасневшееся, довольное лицо Федор.

Удивился этому Жакыз, подняв воротник полушубка, нахмурился:

— Чего ж в нем доброго? Мороз вон какой, снег все позамел, — ни пройти, ни проехать. Куда свою лопату направил, спрашиваю?

Федор пожал плечами, мол, чего ж тут непонятного, мол, все яснее ясного:

— Думаю, надо соседке помочь маленько. Да и нам все ж придется ходить по-соседски. Дела всякие разные бывают у наших женщин.

Смягчился Жакыз:

— Хорошо, что ты догадался, очень хорошо. Недаром говорят: помочь вдове — святое дело, но почему ты миновал сугроб у наших ворот? Не сугроб, а курган настоящий. Как быть, если выехать куда придется? Вдове помочь — хорошо, но и про себя не надо забывать...

И непонятно было: то ли сердился Жакыз, то ли просто ему захотелось поговорить.

— Что за разговор, хозяин, я мигом разделаюсь с этим курганом, — Федор уже развернулся к своим воротам, но Жакыз окликнул его.

— Фидур, не позорь меня перед соседкой, перед уважаемой вдовой. Подождет наш сугроб. А вон и сама Айшет показала. Доброе утро, соседка! Положи свою лопату, пусть она полежит, а дорожки тебе расчистит Фидур. Ты потом угости его хорошим чаем да пышными лепешками. Как здоровьице, соседка, все ли хорошо?

— Все хорошо, сосед. А чай у меня всегда заварен, всегда горячий да душистый, и лепешек свежее моих ни у кого не бывает. Добро пожаловать, милости прошу, заходите.

— Да уж кто не знает о твоём гостеприимстве, — совсем раздобрился Жакыз, — кто не знает о твоём умении вкусно стряпать!

— Спасибо, спасибо, — застеснялась Айшет, — зайдите, отведайте, а уж потом и слова хорошие скажете, если достойной окажусь.

Улыбался Жакыз, говорил красивые слова, а у самого, как говорится, кошки скребли на душе: «Ну, баба, ну, баба! Только подумать, так ни у кого на всем свете нет лучших лепешек, горячее и вкуснее чая. И мороз ее не берет, стоит, будто картинка нарисованная!» — нехорошее, греховное мелькнуло у него в голове. Впрочем, что тут нехорошего: посмотрите на нее! Раскрасавилась!»

— Заходите, милости просим, — продолжала приглашать Айшет. — Работа не волк, в лес не убежит, а чай остыть может.

— Спасибо, в другой раз. Сейчас у нас много дел. Фидур, туда, к соседке направь свою лопату. А ты, Сабех, чего с лопатой?

— Хочу помочь Фидуру. Да и размяться надо, подвигаться, погреться. Снежок-то славный выпал.

— Славный! — сердито оборвал сына Жакыз. — Поменьше бы дрыхнуть надо, а побольше разминаться, сын мой. А со снегом гяур сам управится. Тоже, наверное, за ночь бока все отлежал.

— Отец, мы же решили, — негромко сказал Сабех, — что ты не будешь так называть Фидура.

— Ладно. Нечаянно. — Глянул на сына исподлобья Жакыз и негромко, но зло продолжил: — Я не могу называть не адыга адыгом. Гяур он и есть гяур, зачем же себя и его обманывать. И не смотри на меня волчонком, Сабех. Ты же знаешь, как болит мое сердце... Лучше последи, чтобы у ворот было чисто, может быть придется куда выехать.

Сев в доме за стол и отхлебнув несколько раз горячего чая, Жакыз как бы оттаял, подобрел. В глазах его появились игривость и легкое злорадство:

— Какую я тебе новость принес, Гошехан, ух, какую новость принес!

— Во имя Аллаха, пусть она будет доброй, — отозвалась от печки жена, приготовившись слушать мужа.

— Сын поел?

— Поел, — удивилась вопросу Гошехан.

— А Мишид?

— И его покормила. Фидур еще не завтракал.

— О нем можешь не беспокоиться, — пригладив усы, усмехнулся Жакыз.

— Если я его не покормлю, кто же его покормит? — насторожилась Гошехан. — Какая-то хитрая у тебя новость. Что-то ты все крутишься вокруг нее, а не говоришь.

— Э-э, женщина! Я тебе уже несколько раз намекал, а ты все никак в толк не возьмешь. Сама, что ли, не замечала, что у нашего Фидура сыскался человек, который о нем беспокоится. Не догадываешься, а?

— Правда твоя — никак не возьму в толк, о чем и ком ты говоришь. Скажи прямо, если хочешь, а не хочешь, воля твоя, не надо.

— Э, какая недогадливая! А может, хитришь? Может, знаешь, да не хочешь мне сказать?

— О чем ты, Жакыз, о чем? — удивленно всплеснула руками Гошехан.

— Если бы видела, как сегодня Айшет красовалась перед ним. Уж и так повернется и эдак. И плечиками пожмет, и глазками поведет. Все в его сторону.

— Ради Аллаха, что ты говоришь?! — вскрикнула Гошехан и прикрыла ладонью рот, испугавшись своего громкого голоса.

— А ничего тут особенного нет, — не унимался Жакыз, — дело житейское. Живой о живом думает. На то Аллах и создал мужчину, а рядом с ним — женщину.

— Так ведь и ты — рядом с Айшет. Крыльцо в крыльцо, дверь в дверь. И разговариваешь с Айшет, бывает, шутишь.

— Э-э! Что ты говоришь! — вскричал Жакыз. — Это ж совсем другое дело! Мы были большими друзьями с покойным Ахмедом, и я как друг не только могу, но даже обязан позаботиться о ней. Слово доброе сказать, делом помочь, а ты! С древних времен так принято у адыгов — уважь вдову, помоги ей, честь ей окажи. Эх, Гошехан, ничего, похоже, ты в жизни не понимаешь. Я Ахмеда с поля боя вынес, я закрыл ему глаза, а эти проклятые гяуры! — Жакыз зло швырнул ложку на стол. — Будь они прокляты, мерзкие пришельцы!

— Вот и правильно.

— Что — правильно?

— А то и правильно, Жакыз, что не может истинный человек изменить своему народу, отказаться от своей веры. А разве Айшет не черкешенка, не мусульманка, не дочь своей земли?

— Что ты говоришь, весь род их — люди настоящие, верные, но тут другое дело, Гошехан: любовь не знает никаких границ, она ничего не знает, кроме самой себя, для нее не существует слова «нельзя».

— Бывает всякое, конечно, — с неуверенностью сказала Гошехан, — но Айшет это не касается, я всю жизнь ее знаю, верю ей, как самой себе.

— Ой, смотри, Гошехан, ой, смотри!

— Ладно, только ты о таких вещах не говори при сыне, не смущай его.

— Э-э, при чем тут сын! Разве я не знаю, что можно говорить при нем, а чего нельзя. А сейчас мы с тобою разговариваем. Скажу тебе так: если, не приведи Аллах, моя догадка окажется верной, я им обоим не прощу, — Жакыз налил кровью гнева, — я не позволю им глумиться над памятью моего незабвенного друга. Я в прах их сотру и развею по ветру, чтобы и следа от них не осталось!

— Успокойся, Жакыз, успокойся. Ты так расстроился, что и до беды недалеко. Успокой свое доброе сердце. Нет, нет, Айшет не позволит себе этого, она добропорядочная женщина.

— Не ручайся, Гошехан, ты знаешь, как силен шайтан, как он может ввести в грех человека. У-у, страшная у него сила!..

— Не дай Аллах, убереги ее...

Хорошо, сытно позавтракав, мудро, как он считал, поговорив с женою, Жакыз по-хозяйски солидно вышел на крыльцо и зажмурился — так ярко светило зарумянившееся солнце. И было оно таким большим, что Пазадов-старший восторженно и не без удивления воскликнул:

— Что за диво такое, что за диво! Велик и чуден мир Твой, о Великий Аллах! Не успел я позавтракать хорошенько, как все переменялось на небе, — это Жакыз уже говорил Сабеху, разряженному солнцем, шедшему по расчищенной дорожке от Айшет. — Ветер да стужа невозможная была, да непроглядная хмарь, а теперь ты посмотри! Чуден, чуден Твой мир, о Великий Аллах! Однако старики говорят, если так резко, так круто меняется погода, не к добру это, храни нас, Всемилостивейший. А ты, парень, славно поработал, вон как все вычистил, как красиво все сделал. Фидур тебе, конечно, помогал. Ему тоже спасибо... А на чай, на чай к соседке ходил ли, она так тебя звала, Фидур, что грех отказываться.

— Да, очень звала. Чтобы отблагодарить за работу нашу с Сабехом. Звала, но, как говорится, у нас еще забот полон рот, совсем не до чаю.

— Валлахи, и это верно! Маладэс, маладэс, Фидур, что печешься о хозяйских делах. Хвалю за усердие и благодарю... Послушай, парень, — обратился Жакыз к Сабеху, —

лови ключи, освободи Фидура из колодок. Думаю, не убежишь, Фидур. Да еще в такую студеную пору, — улыбнулся Жакыз, довольный своею добротой.

— Если не доверяешь, хозяин, тогда лучше не снимать колодки, а коли снимаешь, верить надо. Извини за такие слова, не в упрек говорю... Опять же, за добрые дела я привык только добром отвечать.

— Не беспокойся, отец, — вмешался Сабех, — Фидур не сделает зла, он добрый и честный человек.

V

Сняли с Федора колодки, и как-то странно заныли ноги. «За добрые дела я привык добром отвечать», — повторил про себя Федор свои слова и подумал: конечно, он не ответит неблагодарностью Жакызу, но если птицу выпустят из клетки, разве не захочется ей взлететь, дать волю своим крыльям? Ох, как захочется, ох, как заболит она желанием взлететь, сделать несколько глубоких глотков свободы!

Федор подумал, что колодки сняли на часок-другой, для короткого отдыха, подумал так и успокоил свое сердце, унял соблазн. А с другой стороны, с тревогой ждал вечера — уж очень не хотелось опять надевать опостылевшие колодки.

Слава Богу — не надели.

У крестьянина день проходит так быстро, как ни у кого больше. Утром накормил скотину, птиц, убрал в базу и птичниках, двор подмел, дровишек нарубил, водицы принес из колодца, потом позавтракал, туда-сюда повернулся, с лошадьми управился, глядь — вечер, сумерки уже вползают во двор.

В короткие дни кажется, только и дела, что утренние сумерки да тут же вечерние, а день — как птица пролетела над аулом, послала на землю свой голос и улетела.

Уходит суета, уходит дневная маета, и во дворе становится тихо, а в домах вспыхивают лампы, поют свои песни печки — жарится, парится на плитах, кипит в котлах, шкварчит на сковородках. А потом смотришь и поговорят между собою о завтрашнем дне, сказку детишкам расска-

жут. Тихонечко, неслышно сон войдет, каждого погладит, посулит доброе, ласковое.

Затеплился свет в окнах Пазадовых, в окнах Айшет. И Федор пошел к себе в сарай, поблагодарив мысленно Айшет за ее доброе сердце. Поблагодарил и, конечно, вспомнил свою Клаву — тоже, бедолага, одна в избе. А сколько же ей лет? Ого! Годочки-годики прошли-проскочили, пока я воевал здесь, пока тянул долгую солдатскую лямку. Вспомнил про другие солдатские годы, что прожила без него Клава, а она все виделась ему молоденькой, никак не мог он ее представить себе в годах. Не мог, а главное — не хотел.

— Да подожди ты, Мишид! Дай я сначала лампу зажгу, коптилку свою, а потом и ты войдешь. Тише, говорю. Ишь ты, какой нетерпеливый. Замерз, никак? Сей минут затопим печку, и отогреешься.

Зашатался оранжевый лепесток коптилки, запела свою веселую песню, задышала душистым теплом печка.

Славно у него в сарае. Да какой сарай! Маленькая уютная комнатка, хорошо побеленная Айшет, с маленьким, разрисованным окошком. Тахта с соломенным матрацем, полка с посудой и деревянными ложками. А под потолком — пучки сухих трав, которые лечат и при простуде, и при ломоте в спине, и от кашля, и от бессонницы. Карох принес эти травы, насобирав их в лесу, на лугу, насушив под навесом.

— Да погоди ты, Мишид! Ох, какой нетерпеливый. Откуда оно у тебя? Наморился, что ли, нежась под стогом соломы, а теперь — поближе к печке? Пущу, пущу на твое любимое место. Только дай мне навести порядок. Да не обижайся ты, я ведь просто так говорю, по-дружески, хотя и в обиде на тебя. И знаешь за что? Э-э, да за то, что не видишь, дружище, моих свободных ног. Посмотри, посмотри, на них нет колодок!

Мишид ласково повизгивал, вроде бы как понял радость хозяина, тоже обрадовался.

Хорошо горят сухие дубовые дрова, быстро тепло дают.

Улегся на топчане Федор, заложив руки под голову. Любил он вечером вот так полежать с прикрытыми гла-

зами, послушать как гудит печка, переключаясь с ветром, что забавляется в зябких ветках клена.

Сегодня вспомнил, конечно, Клаву, девочек, которые уже совсем не девочки, а девушки... Нет, нет, никак он не может их представить взрослыми, а главное — не хочет, потому как обидно, что они выросли без него: приди он домой, поди, и не узнают, не признают его за отца.

Потом подумал о своем Ярославском полку: братушки, братушки, как вы там в Чечне? Тоже, поди, измучились войною, тоже извелись тоскою по своим родным домам. Что делать, такова горькая солдатская доля. Помнит ли кто из вас рядового Федора Анаскевича? Неужели позабыли? Командиры, те, конечно, могут позабыть. Да и помнить-то они никогда, наверно, не помнили. Что я им — рядовой! Если бы считали во мне живую, бессмертную душу, Господом созданную, то нашли бы тысячу рублей, чтобы выкупить меня из черкесского плена. Не нужен я им, похоже, не нужен. Рядовых-то вон сколько в России! Черпай, не вычерпашь, потому я и не нужен... Горе нам горькое, братушки. Да и на том благодарю Господа, что хранит меня, к добрым людям пристроил. Просто они не могут стерпеть боль, какую мы причинили им.

Мишид поднялся, уши наострил.

Это Сабех пришел:

— Тепло у тебя, Фидур, хорошо.

— Тепло,— согласился Федор,— дров много спалил, Жакыз, наверно, ругаться будет.

— О чем ты говоришь, Фидур, лес рядом. Мать прислала ужин. Поешь тепленького.

— Да хранит ее Аллах, родительницу твою за ее доброту. Поешь и ты, Мишид,— Федор дал ему кусок лепешки.— Присаживайся, Сабех. Может, разговор у нас какой получится. Зимняя ночь длинна.

— Да, тягуча зимняя ночь,— Сабех поддержал Федора, потом без причины сообщил: — Отец ушел на чапц¹.

— В чью честь чапц? — спросил Федор.

— Парня вчера привезли. В бок ранен. Тяжелая, говорят, рана.

Опустил голову Федор:

¹ Ч а п ц — развлекательные игры у постели раненого.

— Слава Богу, живым остался. Молодому только бы и пожить, порадоваться. Заживет рана, заживет.

— Покойника тоже привезли. Аслана Пачева.

Перекрестился Федор:

— Успокой душу раба Твоего Аслана, Господи. Ново-преставленного Аслана помяни в царствии Твоем.— По православному чину нельзя молиться за басурмана, знал это Федор и все ж помолился, подумав: «Мы все дети одного Бога, он один нас и будет судить».— Да во всем будет воля Твоя. Аминь.

— Аминь,— сказал и Сабех.

Потом долго молчали, каждый думал о своем.

— Спасибо за ужин, Сабех.

— На здоровье... Я все хочу спросить у тебя. Адыги после еды говорят — Аллах дурилах. Благодарят Его. А у вас?

— Ты видел, я перекрестился и тихонько сказал — благодарю, Боже.

— У нас тоже есть совсем коротенькие молитвы, а есть и пространные. Послушай, Фидур, ты крестишься, а мы молимся, опустившись на коврик, воздеваем руки ладонями вверх.

— Мы тоже иные молитвы произносим, опустившись на колени, священник воздевает руки к небу. По-разному молимся, но обращаемся к одному Богу и говорим одинаково — помилуй и сохрани нас, укрепи в добре и вере.

— Верно, верно! — воодушевлялся Сабех.

— Вы говорите о здешнем брэнном мире и о вечном мире на небесах, о рае и аде. Мы просим Господа, мол, когда предстанем пред Очи твои, помилуй нас грешных.

— Мы тоже просим.

— Вы просите, чтобы Аллах отворил пред вами двери рая, мы тоже надеемся, что Господь наградит нас за нашу веру, за наши страдания во имя добра раем.

— Фидур, Фидур, это удивительно, мы так похожи в своей вере в Аллаха, но почему презрительно называем вас гяурами? Почему?!

— Вы не только нас называете так, но всех иноверцев, а мы вас — басурманами. Почему? Не смогу тебе в точности и хорошенько объяснить, но думаю своим грешным

умом, что происходит это у людей от их собственной гордыни. Вот как у вас, у адыгов: сколько племен — и нет между вами мира и согласия, нет крепости, слабость одна, которой и пользуются турецкие паши, русские цари, все, кому нравится ваша прекрасная земля.

— О Аллах Всемилостивый! — воскликнул Сабех.— Почему ты обо всем этом не расскажешь отцу?

Вздыхнул Федор, удрученно покачал головой:

— О-хо-хо, Сабех! Боюсь, он не услышит меня, не захочет слышать. Ты — другое дело. У тебя и разум другой, и сердце иное. Отец твой — хороший человек, но все же он — другой.

Заньло у Сабеха сердце: что ж это мы все такие разные. Хороший человек мой отец, верно сказал Фидур, хороший, но какой-то другой. Почему Фидур мне ближе? А ведь это грех, большой грех. Наверно, потому он ближе к Аллаху. Отец — слишком крепкий, слишком сам по себе, хотя и верит в Аллаха. Молится, но — сам по себе. Нет у него такого смирения, как у Фидура.

Что-то около месяца пожил Федор у них в сарае, когда привезли его, раненого. А потом он сбежал. Весь аул тогда кинулся искать, ловить его. В плавнях поймали. Как кричали тогда аульчане, требуя расправы над ним, они, казалось, могли разорвать его на части. И он, Сабех, тоже был среди них, и он требовал его смерти, он был доволен тем, как избил Федора отец.

Из всей разгневанной толпы только двое были милосердны к несчастному пленнику — Айшет и Карох, а ведь у Айшет русские солдаты убили мужа!

— Перестаньте, люди! Разве можно человека травить, будто он хищный зверь? Аллах не простит вам этой жестокости. Уймите свой грешный гнев! — не просила — требовала Айшет.

— Что она говорит, эта женщина!

— Как ты смеешь говорить такое! Замолчи!

Мать Сабеха была на стороне толпы, но после слов Айшет устыдилась.

— Спасибо тебе, Айшет, — говорила потом мать, — твои слова пробудили во мне совесть, вернули к Аллаху.

Так было.

Потом, как и матери, Сабеху стало стыдно. Особенно стало стыдно, когда он поговорил с Карохом, когда тот сказал:

— Из всего Заурхабля только двое оказались достойными Всемилосердного Аллаха — твоя мать да Айшет.

— А ты?

— Зачем же я стану говорить о себе.

Но больше всего удивлял Сабеха сам Федор: после таких жестокостей, после таких унижений, мучительных колодок у него не ожесточилось сердце, не появилось ненависти к адыгам, он даже добрее стал к ним. О самом Жакызе, причинившем ему столько боли и унижений, он говорит добрые слова, с уважением относится к нему.

Надо бы Сабеху повиниться перед Федором за свое прежние отношение к нему. Надо бы, но зачем? Слова они и есть слова, если не укрепишь их делом своим. Теперь Сабех — особенно после сегодняшнего разговора — твердо знал, что не сможет плохо относиться к Федору, ведь кроме всего прочего главное в мусульманской вере — смирение и милосердие к человеку, высшему творению Аллаха.

— Почему ты решил, Фидур, что отец не услышит тебя?

Улыбнулся Федор:

— Думаю, пока не услышит. Ведь он теперь даже улыбается мне иногда. Намного добрее стал, чем раньше. Ему труднее, нежели тебе, потому как он — другой, но смирение одного учит смирению другого. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Да, понимаю и кланяюсь тебе за это, за доброту твою к моему отцу, храни тебя Аллах.

Сабех прислушался, услышав движение во дворе.

Дремавший Мишид не обеспокоился, значит, если кто и пришел во двор, то свой.

— Может быть, отец твой вернулся? — подумал вслух Федор.

— Может быть. Он говорил, что зайдет в мечеть. Он любит вечером помолиться, говорит, вечерняя молитва так же важна, как и утренняя. Он говорит, утром Аллах благословляет тебя на весь день, а вечером — на всю ночь. А вы молитесь вечером, ходите в свою мечеть, как ты говоришь, в церковь?

— Да! У нас есть утренняя, обедня, всеношная служба, а если по правилам, так православный всегда находится с Богом. За стол садись, из-за стола встаешь — Господи, благослови, Господи, благодарю Тебя. В дорогу собрался, в поле или на луг — Господи, благослови. А как же! — воскликнул Федор, и его ожгла мысль: сказать Сабеху об складничке, что у Гошихан под подушкой, попросить? Но нет, не осмелился пока.

— Наш эфенди нас тоже этому учит — быть всегда с Аллахом, все делать с Его благословения. Оказывается, мы в своей вере так похожи — черкесы и русские, так похожи... Но почему же тогда, почему мы такие разные, почему воюем? И не один я так думаю. — Помолчав немного, Сабех продолжал. — Ты не подумай Фидур, чего дурного о нас, о наших стариках, правоверных мусульманах. Это я... просто так... от слабости своей. Большой грех, страшный грех отступить от своей веры. — Сабех огладил лицо и озабоченно спросил: — И все-таки, Бог один на всех, но почему же Его именем люди убивают друг друга?

И опять воздел руки к небу Сабех, и опять огладил лицо — виноватое, даже скорбное. Опустил глаза, задумался.

Перекрестился Федор, подумал: а парень-то не так уж и прост — вон как размышляет, вон какие вопросы мне задает. Но, нет, не с моей головой отвечать на них. Полегче бы что ли спросил. И еще подумал, далеко-далеко мыслью своей унесся, глядя на Сабеха, две дочки у него на Вологодчине — одна ровесница, пожалуй, Сабеху, а другая малость помоложе. Их замуж надо выдавать, приданое надо приготовить, хорошенько присмотреться к деревенским парням, чтобы посоветовать дочерям, не сломать их волю, а дать совет о суженом. Клавдия ты моя, Клава, Клавушка — как тебе тяжело без меня, без хозяина, без советчика, без опоры... А ты, Сабех, все про войну да про войну. Пропади пропадом те, кто затеял ее: пришли, Господи, их в Заурхабль вместо меня, надень колодки, пусть они помыкают горе, может, и поймут что, может, и раскаются в своих греховных намерениях. Лиши их жен — мужей, их детей — отцов, тогда скорее поймут что к чему в этой греховной жизни. Вот, дорогой мой Сабех, какие у нас с тобой дела земные, грешные.

Подбросил Федор дровишек в печь. Загудело пламя, заплясало.

Сладко зевнул Мишид, потянулся, выгибая спину.

— Ты тут таких вопросов назадал, — сказал Федор, — что не с моей головой отвечать на них. Пусть старики да эфенди думают об этом, пусть наши священники да генералы ломают себе головы.

А Сабех уже думал о другом:

— Мы, когда молимся, опускаемся на коврик лицом к югу, а ты крестишься на любом месте...

— Это здесь, у вас, мне приходится так, а если дома или у себя в полку — там все иначе. Мы молимся перед иконами, пред ликами Господа нашего, Царицы Небесной, пред ликами святых наших. Слова молитвы им говорим, кланяемся — поясными поклонами, земными, на колени опускаемся перед образами.

— А что такое образа?

— Иконы, лики Христа, Богородицы, святых, написанные самыми лучшими художниками, украшенные красивыми окладами. Бывает — золотыми. В красном углу дома православного человека обязательно есть киот — иконы висят, лампада теплится. Когда становишься перед киотом, получается, что ты лицом стоишь на восток. И здесь я молюсь в сторону восхода солнца.

— А если — солдат? Нет же у него дома, нет киота, как он молится?

Вздрыгнул Федор Данилыч от волнения, голос его даже резко изменился:

— У каждого солдата есть походные иконки. Трехстворчатый складень. Христос, Богородица и Иоанн Креститель.

Насторожился Сабех, побледнел.

Видел он у матери под подушкой то, что Федор назвал складнем. Как быть, что делать?! У матери под подушкой — гяурская святыня? Как она позволила! Нет-нет, конечно, она просто не знает что это такое.

А знает ли об этом отец? Наверно, нет. Может, и видел, но не понял смысла тех трех картинок — женщины и двух мужчин. Аллах Всемилостивый, прости нас непонятливых, от незнания моя мать держит гяурскую икону, складень, как говорит Фидур, не гневайся на нас верных тебе мусульман.

Заторопился Сабех:

— Засиделись мы с тобой, Фидур, подошла пора вечернего намаза. Пойду я, помолюсь.

— Так и здесь можно помолиться. А потом посидим еще, поговорим, чайку попьем.

— Конечно, можно и здесь, но... нельзя при иноверце творить святое дело намаза.

— Как знаешь... Тут я тебе не советчик: нельзя так нельзя, — согласился Федор, и по тому, как переменялся в лице Сабех, как заторопился он, понял — видел складень Сабех. Но как заговорить с ним об этом? Неосторожность может загубить все — вдруг возьмут да выбросят, а то и еще хуже — сожгут.

VI

Прошло несколько дней, неделя прошла, другая, а Сабех все мучился, не знал, как быть со складной иконой Федора.

Тихонько забрать из-под подушки? Но мать обязательно кинется и поднимет скандал. Решит, что это выкрал у нее Федор, ведь она принадлежала ему, в его мешке нашли ее. И отец знает об этом, только не знает, что означает та красивая, должно быть, дорогая вещица. Конечно, дорогая — золотом блестит.

А однажды Гошехан достала иконку, раскрыла ее и любовалась у окна, а потом стала примерять на разных местах в комнате, чтобы повесить ее на стене.

Отец был тут же. И ему нравилась иконка, картинка нравились в позолоте, но ему все не нравились те места, куда хотела повесить ее Гошехан.

— Ну-ка, попробуй сюда. Нет, и тут плохо, и тут ей не место...

Вошел Сабех да так и обомлел, чуть не закричал с порога: что вы делаете, бросьте эту гяурскую икону, бросьте! Должен был закричать, но почему-то не смог и поспешно вышел из комнаты, чтобы не видеть этой срамоты.

Вышел и весь похолодел: что будет, если об этой иконе узнают аульчане, а еще пуще — сам эфенди?! Пазадовых и так недолюбливали в ауле, мол, с иноверцем в одном дворе живете, в дом свой пускаете, вы сами, мол, скоро

станете ими. «Это гяурское гнездо надо сжечь и пепел развеять по ветру», — найдутся ненавистники, что и так скажут. Не только скажут, но и поджечь дом могут, если узнают об иконе.

Тяжело было на сердце у Сабеха оттого, что он ничего не мог сказать матери об иконе и позволял ей любоваться чужим богом. А если он скажет, если она узнает, чем любовалась — что будет с нею?..

Верно отец сказал: нет труднее дела, чем делать добро, потому что оно иногда оборачивается таким горем, такою тяжестью, что не каждый выдержит ее. Вот как теперь: надо сказать матери, надо ее наконец избавить от греха, но выдержит ли ее сердце.

А что будет с отцом, когда он узнает? Он во всем нас же и обвинит, а то и Фидура прибьет.

Но если говорить по справедливости, все и началось с отца, это он привез Фидура, это он хочет продать его, заломил цену в тысячу рублей серебром, хотя мог и безо всякого выкупа отпустить человека.

А с иконой? Это ведь он принес мешок Фидура, он достал из него икону. Зачем ему понадобился нищий солдатский мешок?

Теперь попробуй, выкрутись.

Конечно, можно бы с матерью тихонько разрешить эту беду — сделать вид, что затерялась эта вещица. Затерялась и все тут. Так отец и поверит — ведь дом перероет, такой скандал учинит, что всему аулу станет жарко.

Можно бы по-хорошему поговорить ему с отцом и матерью, отдать иконку Фидуру и все. Тихо, мирно, никто ничего и не узнал бы. Но опять же, отец не согласится. Этот хромоногий, скажет он, мало того, что живет у нас, так еще будет своему поганому богу молиться! Не бывать этому!

О Аллах, как мне быть? — воскликнул в душе Сабех. Помоги, наставь на путь истинный. Убереги мою мать от тяжкого греха. Ты же видишь, что она ни одного намаза не пропускает. Ты слышишь, как она горячо молится. А сколько раздаст она милостыни! Не виновата моя мать, отец тоже не виноват за эту иконку, потому что не знают ничего о ней. А ведь нельзя карать незнающего, неведаю-

щего, так ведь, Вседобрейший Аллах? И опять же надо сказать о Фидуре: он хоть и гяур, а к нашей вере относится с уважением, в его поступках много такого, что благословляешь Ты. Как знать, может быть, поживет он с нами, увидит нашу доброту, поймет веру нашу и примет ее. Разве виновен Фидур, что его послали войной на нас, он сам ненавидит войну, осуждает своих генералов...

— Сынок, а сынок! Ты что, не слышишь меня? — окликнула Гошехан Сабеха, возившегося у печки. — Что с тобой, о чем ты так задумался, что даже мать свою не слышишь?

— Разве ты звала меня? — рассеянно спросил Сабех. — Печка плохо разгорается. Дрова сухие, а почему-то плохо горят.

— Что с тобой? — встревоженно смотрела на сына Гошехан. — Зову, зову и не могу дозваться. Скажи мне, что беспокоит тебя?

— Меня? А что меня может беспокоить, ведь в доме у нас все хорошо, все спокойно.

— Нет, сын мой, ты говоришь неправду. Все последние недели ты ходишь, будто в воду опущенный, лицом осунулся, глазами скучный, рассеянный и даже встревоженный стал.

— Нет, тьян¹. Тебе это только кажется.

— Не кажется, сын, не кажется. Мать сердцем своим чувствует каждую, малейшую беду своего дитя, его сердце она слышит своим сердцем, его боль в ней болью откликается. Для матери нет большего горя, чем горе ее дитя, а еще большее горе, если сын таит от нее свою боль, тревогу. Скажи мне, не таись от матери, ведь не зря в народе говорят, что корова не забодает своего теленка — она скорее сама погибнет, но его защитит. Если отец тебя поругал — стерпи. На то он и отец, чтобы держать семью в строгости. Не сердись на него. Он только шумит, а сердцем добрый. Ты плохо спишь, ночами вздыхаешь, ворочаешься с боку на бок. Плохо у тебя на душе, сын мой. Скажи мне о беде своей.

— Не знаю, что тебе и сказать, все у меня хорошо, — Сабех направился к двери, чтобы уйти.

¹ Тьян — мать.

— Вот видишь,— ты спешишь уйти от меня, ты волнуешься и хочешь спрятать свое волнение от меня. Не надо, сынок, успокой меня, прошу... Садись, поешь.

— Спасибо, тятя, но ведь я только ел,— стараясь успокоить мать, сказал Сабех.

— Что же ты поел — совсем остывшего чая попил да кусочек лепешки съел. Какая же это еда для мужчины. Горе мне с тобою, горе горькое. Да не спеши, не спеши уходить от матери,— она подала ему тарелку.— Отнеси Фидуру.

— Хорошо, отнесу,— с неудовольствием проговорил Сабех, взяв тарелку, вышел во двор.

Солнце, поднимавшееся к зениту, было по-весеннему ярким и веселым, но Сабех ничего этого не замечал. Увидев возле сарая Федора, рассерженно сказал:

— Не кажется ли тебе, что ты без колодок стал хуже работать! Совсем обленился. Самое время работы, а ты рассиживаешься, жмуришься на солнышке, будто наш старый ленивый кот.

Федор поднялся, очень смутился:

— Но я уже все сделал, что надо, вот только сейчас присел на минутку. Думаю, надо бы в огороде поработать, земля зовет, она всегда весною к себе зовет человека.

— Знаю, знаю, что ты мастер поговорить,— не унимался Сабех,— да ведь слова и есть всего лишь слова, с их помощью даже двор не подметешь. Вот и получается, плохая метла в работе лучше самых громких и потому пустых слов. На вот поешь, и — за работу.

Взял Федор тарелку, стал неторопливо есть и думать: что с парнем стало в последнее время? Сердится, придирается, ну, прямо как Жакыз.

Сабех тем временем поднялся на крыльцо и стал придиричиво осматривать двор. Совсем как отец. И хмурился так же, и покашливал...

Снег весной сначала уходит с пригревок, потом с полян, обнажая землю. И пахнет земля — пробуждением, а если послушать ее, затаившись, то услышишь далекий шум — в нем и переливчатый звон капли, и шорох просыпающегося ручья, и многие другие звуки.

Первые туманы над речками, над лугами тоже несут с собой таинство пробуждения и обновления.

Пройдет немного времени и совсем не останется следов зимы — растают почерневшие снега в закоулках, под опахалами елей, в сумрачной глубине оврагов. А там и зацветут подснежники, зазеленеет первая травка.

Выйдет сначала земледелец в свои ближние огороды, чтобы вспушить землю, приготовить грядки, а потом — в поле! Пахать, сеять!

В центре Заурхаля, разбросанного по холмам, на обширной площади возвышался минарет, главенствовал над аулом его стражем и благословением.

А дальше — горы, а выше — облака. Синевато-белые, торжественные, несущие на своих крыльях из-за хребта, из Грузии лето.

Жизнь аула никогда не умолкает, но зимой у нее одни голоса, одна музыка, весной — другая...

Мычат коровы, просят на луга, на свежую травку, блеют овцы, требуя воли, степного простора; индейки требуют своего, куры — тоже, даже собаки, совсем забывшие свое волчье происхождение, лихую волю, лают громче, веселее. А петухи — те и вовсе горланят, переключаясь с ближними и дальними соседями.

Лес, что на горах, поближе к вечным снегам, еще спит глубоким сном, солнце едва-едва тревожит его, а тот, что пониже, уже как бы насторожился, вот-вот бук и карагач зарозовеют тонкими веточками, набухнут почки и выбросят первую зеленую душистую листву.

И день ото дня, от утра к вечеру все меняется в лесу, все свежеет, взбадривается.

Это пробуждение, его негромкая красота и радости заметны в тихое солнечное утро, когда с низин поднимается теплый, такой пушистый туман, когда пичуги разливают свои веселые перезвоны, когда застрекочут сороки и сойки, закаркают грачи и вороны, а в небо поднимется орел.

Идет по холмам и долинам, по лесам и горам весна, радуется все живое. Но Сабеху она не веселит душу.

Федор, мурлыча что-то вроде песни, работал в огороде — убирал прошлогодние бодылки кукурузы. Уже хорошо

пригретая солнцем в затишке земля издавала приятный крестьянину дух, веселила душу, и Федор улыбался: пройдет еще немного времени, и в землю лягут зерна. Федор их положит, Жакыз уже доверяет ему это, уверившись в его крестьянской сноровке. Положит в каждую мягкую влажную лунку зерна кукурузы, перекрестит их тайком, чтобы не смущать хозяина и прошепчет: благослови, Господи, во благо детям твоим.

Сабех стоял на крыльце, смотрел на крепкую широкую спину Федора, смотрел, как тот неторопливо, но споро работал, вырывая бодылки и охапками вынося их на обочину. Пожалел он, что грубо обошелся с ним сегодня — это от беспокойства за мать, из-за иконы. Конечно, это он, этот иноверец, внес в их дом такую беду. И угораздило же отца привезти его сюда, угораздило забрать у него солдатский мешок с злополучным складнем. И опять не сдержался Сабех:

— Эй, Фидуру! Ты что, оглох?! Я к тебе обращаюсь!

— Слушаю, Сабех, слушаю.

— Землю с корней отряхивай, а не таскай ее на обочину.

Понял?!

— Как не понять, Сабех. Буду стараться.— «Да что ж это такое,— думал Федор,— творится с парнем? Господи, за что ж он так на меня наваливается?» До того обидно сделалось Федору, что даже слезы навернулись.

Гошехан вышла:

— Что с тобой, сын мой? Что ты так придираешься к нему, к Фидуру?

— Зачем ты так громко — он услышит.

— Я — громко?! Это ты кричишь.

— Ты разве не видишь, как он работает...

— А что — хорошо работает, спасибо ему.

— Еще и «спасибо»! Посмотри, он бодылки свалил в кучу, а надо их порядком сложить — это же ведь топка в зиму.

— Аллах Всемилостивый, да у нас дубовых и буковых дров полный сарай, а зима уже кончилась.

— Что вы между собой не поделили? — это спросил Жакыз, направляясь от ворот к крыльцу.

— Да ничего особенного, отец,— уклонился от ответа Сабех.

— А я вот новость плохую принес. Плохую весть, говорю,— глядя вслед уходящей Гошехан, невесело сказал Жакыз.

— Что случилось, отец?

— Лазутчики наши вернулись, говорят, царские войска готовятся к весеннему наступлению — занимают позиции.

— Ничего удивительного и неожиданного в этом нет,— с достоинством ответил Сабех.— Посмотрим. Их дело нападать, а наше — обороняться.

— Ты, должно быть, прав. Зимой спокойнее, а как весна, так с ее добром жди заодно и беды,— сказал Жакыз и пожалел, не надо бы сыну являть свою встревоженность — твердость надо показывать.— Все пятьдесят лет, что я живу на белом свете, русский царь только и делает, что воюет с нами, да никак не может одолеть. Каймет-эфенди нынче сказал, будто предводитель абадзехов Магомет-Амин собирается к нам.

— Как ты думаешь, отец, он не осудит нас за пленника, что у нас живет?

— А что ему до нашего пленника? Раз невольник у нас, значит, мы не просто так себе, стало быть, бывали в бою, еще и пленника сумели прихватить.

— Говорят, наиб не любит пленников.

— А кто их любит?

Жакыз помолчал, потом, покосившись в сторону Федора, сказал:

— Ему не надо ничего об этом знать.

— О чем? Что мы их не любим?

— Это он и без тебя знает. Ничего не надо ему знать о лазутчиках, о том, что зашевелились солдаты.

— Да, конечно. А еще думаю, отец, надо надеть ему обратно колодки, так будет спокойнее.

— Днем не обязательно, работает он без колодок лучше, а на ночь, пожалуй, стоит,— сказал Жакыз, удивившись предложению Сабеха.— Слушай, парень, уж не подозреваешь ли ты чего недоброго, не догадываешься ли о чем, а?

— Нет, отец,— ответил Сабех и сам удивился своему предложению, ведь как он тогда обрадовался, когда отец решил снять с Федора колодки, а теперь вот...

— Да и куда он может убежать? Да еще и хромой. Однажды он уже пробовал. То был ему хороший урок.

Пойдем в дом, Сабех, а то один работает, а двое здоровых мужиков глазают.

Переступил Сабех порог и остолбенел: Гошехан сидела на скамеечке у печки и аккуратно протирала складень.

— Посмотрите, как красива эта картинка! — восхищенно сказала она, — заглядень!

— Тянь! — испуганно вскрикнул Сабех. — Не смотри на нее! Выбрось!

— Эй, ты чего раскричался, парень! — рассердился Жакыз, — не твое дело указывать матери. И почему красивая картинка не нравится тебе, чего ты глаза так пялишь? Чего губы у тебя трясутся?

— Сыночек, что с тобой?! — воскликнула Гошехан, бросилась к Сабеху, обняла его. — Аллах Всемилостивый! Что случилось, Сабех?

— Это... эта картинка — русский бог, перед ней гяуры молятся. Они у них в церквях, в домах...

— Что ты говоришь, безумный! — теперь вскричал и Жакыз. Он побледнел, потемнели его глаза, хотел сбросить со стула складень, но испуганно отдернул руку. — Откуда ты знаешь это, кто сказал тебе?

— О Аллах, помилуй меня, великую грешницу! — взмолилась Гошехан. — Что ты наделал, Жакыз! Шайтан попутал нас, несчастные мы разнесчастные. О Аллах, прости меня глупую, прости!..

Жакыз не знал, что ему делать, как поступить — страх и гнев душили его, он выскочил на крыльцо, погрозил кулаком работавшему в огороде Федору и опять вбежал в дом, закричал на жену.

— Закрой рот, несчастная! Замолчи наконец, не вопи так! Разве я для того принес — будь он трижды проклят! — гяурского бога, чтобы ты хранила его у себя под подушкой?! Разве я приказал тебе это? О Аллах, если бы я знал, если бы знал! Послушай, Сабех, кто тебе сказал об этой картинке?

— Фидур рассказывал, как они молятся... Говорит, что она была в его мешке.

— Ладно, успокойтесь, — заговорил Жакыз, пытаюсь быть спокойным, — мы не знали ничего, по неведению совершили этот грех, а Аллах не карает за это. Верно я говорю, Сабех?

— Думаю, да, отец, — ответил Сабех и тоже стал понемногу успокаиваться.

Гошехан продолжала надрывно причитать.

— Я же сказал тебе, Гошехан, замолчи! И без твоего крика на душе тошно. — Прошелся Жакыз по комнате, все вокруг, все подальше от стола, где стоял складень и потом, сев у окна, сказал: — Парень, возьми эту пакость и брось в печку, пусть она дымом выйдет через трубу из нашего дома.

Гошехан мыла в тазике руки, брезгливо морщилась:

— Не надо, Сабех, запакотишь печку!

Сабех взял складень двумя пальцами, держа его подальше от себя, бросил в закоулок за печку.

— Ладно, говорю, успокойтесь. Садись, Гошехан. И ты, парень, — стараясь ровно дышать, сказал Жакыз. — В конце концов, что случилось? Пусть эта проклятая штука валяется за печкой. Ее можно и выбросить, в грязь втоптать где-нибудь подальше от нашего дома. Главное, нам самим не следует устраивать панику, ругаться между собою. Аллах всеведущ, Он знает, что мы не виноваты, и простит нам наше незнание. Мы же в конце концов правоверные мусульмане — Он видит, Он знает... Лучше подумаем, как без лишнего шума и суеты выпутаться из этого дела.

Замолчал Жакыз.

Тихо стало в комнате. Все трое старались не смотреть на икону, но не могли — нет-нет да и поглядывали, опасно и виновато.

— Скажи, Гошехан, — заговорил Жакыз, — ты случайно не показывала эту... Айшет?

— Нет, не показывала! — поспешно заверила Гошехан. — Я думала, она... золотая, думала, надо беречь ее.

— А ты, парень?

— Нет.

— Думаю, ее надо вернуть тому, кому она принадлежит, в чьей сумке была. Отдадим, и — конец этому делу. Пусть все решат Аллах. И больше никому ни слова. Ни единого!

— Да, да! — облегченно воскликнула Гошехан. — Ни одного словечка никому. Забыть нам все это надо.

— Забыть, забыть, — проворчал Жакыз, — попробуй забудь... Вечером, когда наш гяур пойдет в сарай на покой, отнесешь ему эту...

— Икону,— сказал Сабех и подумал, зря отец опять называет Федора гяуром, зря, коли решили вернуть ему его святыню.

Отнес Сабех. Завернул ее в тряпицу, чтобы не касаться руками, и понес. Положил на стол молча и вышел.

Затаился у окна и стал присматриваться: что будет делать Федор. А он быстро поставив складень, на припечек, опустившись перед ним на колени, стал часто-часто креститься и молиться.

Какое у него светлое стало лицо, будто засветилось изнутри, подумал Сабех. И у него самого тоже почему-то стало легко на душе.

VII

Весна в разгаре, та самая пора, когда день год кормит, и все же весь Заурхабль собрался у мечети.

Мужчины у самой мечети, женщины немного поодаль, у плетней, но так, чтобы слышать, о чем говорится там.

Пришел и Федор. Разумеется, тайком. Стал у старого дуба.

В аул приехал наиб Шамиля Магомет-Амин.

Федор слышал о наипе и представлял его, посланника самого Шамиля, человеком, если не старым, то наверняка пожилым, который у адыгов пользуется большим уважением и даже большой властью, седобородым, мудрым, а он оказался, можно сказать, молодым человеком, лет тридцати пяти. На его моложавом смуглом лице — красивые, аккуратно подстриженные борода и усы. Роста невысокого, телосложения статного, как Федор сказал про себя, благородного. И голос у него молодой, приятный, а главное — говорит зажигательно, потому как сам весь был в напряжении, сам был в волнении от своих слов. А тут еще глаза: красивые, искрометные!

Он говорил о войне. Несправедливой, жестокой, угрожающей смертью всему древнему народу адыгов. Эта война угрожает не только смертью адыгам, но и надругательством над исламом. Он говорил, что Аллах призывает своих детей к сопротивлению, к защите родной земли, к защите мечетей.

Говорил так зажигательно, что абадзехи, горя воинственностью, выхватывали кинжалы и кричали угрожающе, самозабвенно:

— Аллаху акбар!

— Смерть гяурам!

Федор не собирался, разумеется, идти на сходку. Как это так, как это он, пленник и вдруг на сходе аула. Нехорошо это да и незачем. Но пришел все-таки. Сходи да сходи, уговаривала его зачем-то Гошехан, послушаешь, увидишь самого наипа Шамиля.

Вот и пришел, спрятался за деревом: не дай Бог, увидят, очень могут обидеться, ребра даже могут намять. Особенно почувствовал это Федор, когда стали раздаваться воинственные крики абадзехов. И странное дело, они грозили ему и его соотечественникам смертью, а он не обижался на них — вот ведь какие дела. Как я могу обидеться, думал он, если мы убили двух братьев Жакыза, мужа такой доброй Айшет, а других сколько за эти длинные, кровавые годы! А сколько селений сожгли! И все равно, человеческое сердце отходчиво, даже такое, как у Жакыза — велел же он меня расковать, разрешил ходить в гости к Кароху... Вот она, Айшет стоит, потупив свой взгляд. О чем ее думы, что говорит ее сердце, когда мужчины мстительно кричат, когда загораются их глаза, когда они готовы прямо сейчас ринуться в бой?

Федор подался плечом, за дерево спрятался. И все задавал себе разные вопросы: почему абадзехи позвали к себе в предводители человека из Дагестана? У них что — своих достойных мужчин нет? Вот рядом с наипом стоит Хатырбай Цей — слышал о нем Федор, слышал, говорят, храбрый человек в бою. Чем же он хуже этого пришельца? Тем, что на его голове нет белой чалмы? У нижних абадзехов тоже есть толковый предводитель — Тим Некрас. Рассказывали — дерзкий, храбрый, и мусульманской вере предан получше иного черкеса. Эва какие дела — русский, а предводительствует у черкесов! Вроде бы он и родился здесь, отец у него был то ли пленником, то ли сам перешел на сторону вольнолюбивых черкесов. Вот какие дела случаются на этой удивительной кавказской земле. Федор хотел повидаться с ним, но передумал: если он так яро

предан исламу, значит, и его, Федора, будет тянуть на свою сторону, чего доброго, еще и воевать заставит против своих. Нет, не ходок Федор, совсем не ходок к Тиму Некрасу, хотя он по крови и брат ему...

— Кто это там у дерева стоит одиноко — почему не идет к нам? — увидел Федора наиб.

— Гяур Жакыза Пазадова.

— Пленник это, — пояснил Карох.

— А чего гяуру делать на нашем сходе?! — возмутился басом, громыхнул кинжалом черноглазый бородач. — А-ну, дайте его сюда.

— Да оставьте вы в покое его, хромоногую, несчастного человека, — неуверенно возразил кто-то бородачу.

— На одну ногу хромает? — не унимался бородач. — Так сделаем так, что ему обе ноги не нужны будут.

— Тише! — повелительно потребовал наиб, подняв плетку. — Пусть он подойдет сюда. Хозяин его — тоже.

Качнулся Федор. Ноги его стали сначала мягкими, а потом вдруг — твердыми. Про себя, чтобы не раздражать черкесов, Федор перекрестился, сказал «Боже, помоги», и направился к наibu.

Он понимал, что тот бородач в один миг может расправиться с ним, — что другие поддержат его. Знал, понимал, но было почему-то совсем не страшно.

Встретился взглядом с Айшет — она страдальчески смотрела на него. А вот и Карох, Дудай.

Подумал: «Мне — ладно, но очень нехорошо может быть из-за меня Жакызу. Господи, помилуй нас. Господи, помилуй», — повторял он про себя, приближаясь к наibu.

Шел по узкому коридору, образованному людьми. Не видел, не слышал их, а как-то странно ощущал всем телом их гулкий жар.

Подошел к высокому крыльцу, на котором стоял наиб. Жакыз подоспел с другой стороны.

— Кто ты? — строго, но не повышая голоса, спросил наиб.

— Федор Данилович Анаскевич.

— О, ты, кажется, хорошо говоришь по-черкесски.

— Если ты меня понял, значит, умею, — спокойно, безо всякой боязни ответил Федор. Впервые глянул прямо в глаза наibu. Они — темные и какие-то мутные.

— На чужом языке — и так хорошо говоришь, — тень улыбки появилась на красивом, но холодном лице наiba.

— Нужда заставит — сумеешь.

— Только ли нужда?

— Не только, — совсем успокоился Федор. Ему даже на миг показалось, что Магомет-Амин, хоть и стоял на высоком крыльце, не возвышался над ним. — Если тебе народ по душе, значит, и язык его тоже по душе, скоро научишься.

Магомет-Амин Асалаев вспомнил, как он в детстве, попав к черкесам, быстро научился по-черкесски говорить, и вот теперь ему пригодилось это знание — он чувствует себя среди них «своим», да и черкесы, конечно, относятся к нему с большим доверием.

— Значит ли это, что тебе нравится адыгский народ?

— Да, нравится, — с твердой уверенностью и искренностью ответил Федор.

— Тогда выходит, ты не такой злой, как твои соотечественники. Ты не питаешь к ним ненависти?

— Нет. Я уважаю их.

— Да ты, оказывается, добрый.

— Злому труднее жить, наиб.

— Тогда зачем же ты пришел на нашу землю, стрелял в людей, которые защищают свои дома? Разве это не зло?

— По принуждению моих господ, уважаемый. По принуждению. А по своей воле я пахал бы землю, как хлебороб, пас бы скотину на привольных лугах.

— Правда твоя, тут я спорить не стану.

— Это не моя правда, а Господа Бога.

— И с этим я согласен.

Очень хотелось наibu спросить у пленника о его вере, просто поговорить с ним: вот и враг этот хромой человек, а поговорить с ним интересно. Наверно, потому интересно, что он и вовсе никакой не солдат, не завоеватель, а хлебороб, должно быть, самый мирный из всего российского войска. Хотелось поговорить наibu, да нельзя. И не только при людях, здесь на сходке, а вообще нельзя. Чтобы не уронить себя, свою высоту не потерять... Лукаво улыбнулся наиб своими мутными глазами, чуть дрогнули его тонкие губы, и он продолжил:

— Если ты уважаешь адыгов, добросовестно работаешь на них, то зачем же таился за деревом?

— Боялся помешать вам.

— О! Да ты еще и... как бы это сказать... мудрый. Или хитрый.

Теперь в глазах Магомет-Амина вспыхнула недобрая искорка, недобрая и угрожающая.

— Не мудрый и не хитрый.— Знал Федор по рассказам, какой жестокий человек этот наиб, какой лукавый и не убоялся: — Я простой, я не умею врать, хотя это не такая уж трудная штука.

— И это хорошо,— сказал наиб и подумал, что разговор становится рискованным, и потому резко прервал его: — Ладно! Ты чей пленник? Кто твой хозяин?

— Он,— Федор виновато посмотрел на Жакыза, будто попросил у него прощения за все здесь случившееся.— Я — человек Жакыза Пазадова.

— Просто пленник или еще и человек?

— Я хотел бы быть человеком для него, для его семьи, для аула.

Сдержанный гул прокатился по площади: этот ответ одних удивил, у других вызвал добрые чувства, а третьи почему-то были недовольны, даже сердились.

— Ну, Жакыз, ты почему молчишь? Этот... Фидур Анаскевич в самом деле хороший работник, мирный и добрый человек? — строго посмотрел наиб на Жакыза.

— Да, наиб, он говорит правду.

И снова загудела толпа: одни знали, как был жесток с Федором Жакыз и потому возмутились его ответом, другие были недовольны, получалось, что Жакыз хвалил иноверца.

Наиб поднял руку, требуя тишины. Осуждающе взглянул на Жакыза:

— А уж не этот ли гяур убил в бою твоих братьев?

— Нет. Он не убивал моих братьев. Убили другие, которых Фидур осуждает. Он говорит здесь правду.

Рассердился наиб, ему не нравился ответ. Надо было осадить его, но как? И он, глядя с высокого крыльца на Жакыза почти с презрением, спросил, кривя губы:

— Если и ты сейчас говорил здесь перед всем аулом правду, то почему же ты его не отпустишь?

— Он свободен, наиб!

— Прекрасно! — воскликнул наиб.— Как тебя зовут, забыл я?

— Черкесы зовут меня Фидуром. Я — Анаскевич Федор Данилович.

— Хорошо, Федор Данилович, ты свободен, можешь уходить.

— Нет, наиб, я не могу уйти.

— Почему?

— Если уйду, совершу большой грех: я дал слово своему хозяину, что не уйду, пока не дадут за меня выкуп.

— Какой еще грех! Никакого греха не будет, если ты православный христианин нарушишь слово, данное — как там у вас говорят — басурману.

— Нет, наиб, не могу. Пусть у нас с Жакызом разная вера, но ведь Бог-то один. Один на всех, на весь подлунный мир.

Эфенди Каймет, тихонько стоявший позади наиба, так и вскинулся: вот гяур, как он тверд в своей вере! Надо его обязательно перетянуть в ислам, а главное, подумал Каймет, на примере Фидура сделать крепче веру аульчан, а то она у них как-то остывать начала.

— Все вы слышали, джамахат, что говорил этот пленник Фидур. Он — гяур, но здесь, в неволе, вдали от своей родины, остается верным своему Богу, а мы с вами не всегда бываем твердыми в вере, не соблюдаем обязанности правоверного, каждый из нас частенько заботится о своем благополучии больше, чем разрешает нам Аллах, мы всегда слышим Его волю. Русский, гяурский царь готовит новые походы на нашу священную землю, так будем же тверды и непреклонны перед неверными, не пожалеем свою жизнь во имя Всемилостивого Аллаха!

Загремела площадь перед мечетью, будто гром небесный, трижды прокатилось по ней:

— Аллах акбар!

— Аллах акбар!

— Аллах акбар!

Федор Данилыч, опустив голову, неистово молился про себя, благодарил Бога, что и сегодня Он отвел от него жестокую расправу.

Стихал шум на площади, как стихает морская волна после прибоа.

Стали расходиться люди.

— Где Жакыз? — наиб строго спросил Каймета. — Вели позвать его ко мне.

— Правоверные, позовите к наибу Жакыза.

Вернулся Жакыз:

— Ты звал меня, наиб? — спросил, и ему показалось, что это не Магомет-Амин, а некто другой — сердитый, даже свирепый человек.

— Что ты так торопишься за своим пленником? Выкуп караулишь, разбогатеть на нем решил?

— Нет, наиб, просто отправился домой.

— Не лукавь... Кто он в звании, должно быть, офицер?

— Нет, наиб, рядовой он.

— А рассуждает, будто офицер. Так я говорю, Каймет, ы-ы?

— Да, да! Уж такой умник-разумник этот гяур, — отвечал эфенди, тоже растерявшийся перед грозным наибом.

— Ты уверен, что он не убежит, что не сделает какого-нибудь зла твоей семье? — вновь обратился наиб к Жакызу.

— Я сказал правду — он хороший работник, хорошо относится ко всем нам, — говорил Жакыз, а у самого все билась тревожная мысль: уж не задумал ли он забрать себе Фидура, а строгость на себя для видимости напускает. Не-е-ет, я скорее гяурам его верну, чем тебе отдам!..

— Это хорошо, Жакыз, что он тебе верен, что ты ему доверяешь, но лучше верить правоверным, чем поклядистому гяуру. Во имя Великого Аллаха мы должны победить их, сохранить в чистоте нашу землю и нашу веру... Да ты что, не слушаешь меня, Жакыз?

— Слушаю, слушаю, своих несчастных братьев вспомнил, — слукавил, виновато улыбнувшись, Жакыз.

— Не только твои братья пали от их поганых рук, а потому им не может быть пощады! — возвысил голос наиб. — Вместо быка в плуг его запрягай, пусть на своем горбу дрова из леса носит! Он — злой, коварный болтун, может в грех ввести наших доверчивых мусульман. Ишь ты, как он о боге распелся! Не верьте ни одному его слову. Слышишь меня, Жакыз?

— Да, наиб. Слышу и понимаю. Все будет так, как ты велишь.

Эфенди Каймет недоуменно поглядывал то на наиба, то на Жакыза.

Сабех и Федор неторопливо шли домой. На углу их окликнула Айшет:

— Зову, зову вас, а вы, как глухие.

— Да мы тут с Сабехом разговорились и не слышали.

— Как ты можешь меня слышать, Фидур, если сам наиб так уважительно с тобой разговаривал. Возгордился ты, вознесся, по всему аулу слава о тебе пошла, — шутила Айшет. — Смотрю я на вас, на ваши широкие спины и думаю, какие статные черкесы идут, какие достойные мужчины. Молодой у нас еще Сабех, а уже хорошо знает наши обычаи, уважает, так я говорю, Фидур?

— О чем ты, Айшет? — удивился Федор.

— Разве ты не заметил, что Сабех идет слева от тебя, как полагается у нас младшему, как велит уважение к старшим.

— Да, Сабех настоящий адыг, — согласился Федор, — пошли Аллах ему доброго здоровья и удачи во всем.

— Наши женщины смотрели на тебя и хвалили — ты выглядел настоящим мужчиной. Перед самым наибом, а так держался! Женщины уважают сильных мужчин, которые умеют вести себя с достоинством.

— Неужели у меня был такой вид, Айшет? — благодарно засмеялся Федор.

— Да, да, молодцом выглядел. А что он тебе все говорил и говорил, все что-то руку к небу поднимал?

— Ничего плохого не говорил. Сначала он мне казался очень строгим, в дрожь меня вогнал, а потом смягчился, даже улыбаться стал. Да вот и Сабех этому свидетель. Наиб очень неглупый человек, он настоящий предводитель, недаром его так хвалят абадзехи, так уважают и ценят. Верно я говорю, Сабех?

— Я вам скажу так, — вместо Сабеха вступила в разговор Айшет, — нам, женщинам, показалось, уж не слишком ли много он задает вопросов Фидуру, не очень ли хмурит брови? Мы боялись, что он придерется к Фидуру,

озлится на него и... И начнет расправляться с ним, как с гауrom, на виду у всего аула.

— Да неужели он мог такое содеять? — усомнился Федор Данилыч. — Он умный человек и, мне показалось, такой благовоспитанный.

— Благовоспитанный? — нахмурился Сабех. — Да ему ничего не стоило расправиться с тобой. Он очень хитрый и жестокий человек.

— Конечно, война идет, как предводителю не быть жестоким. Мягкость загубить его может. На войне каждый жестокий: если не ты, то тебя убьют, а потому не расслабляйся. Однако, Сабех, я тебе должен сказать: и у жестоких людей есть чувство сострадания. Это от Бога.

Шли эти трое по улице аула, и старики, сидевшие на завалинках, на лавках, пристально рассматривали их: — еще бы, женщина идет рядом с мужчинами.

— Сегодня мне очень удался четлибж, — обратилась Айшет к мужчинам, — милости просим ко мне в гости. Только не отказывайтесь, не обижайте меня.

Весь день в Заурхабле ублажали Магомет-Амина — показывали заморское оружие достойных мужчин, трофеи, добытые в бою, и, конечно, угощали самой лучшей едой.

Жакыз, пока не проводили наиба, не мог прийти домой. Вернулся уже перед вечерним намазом и сразу зашел к Федору в сарай.

— Ты еще не спишь, Фидур? — войдя, спросил Жакыз. — На минутку заглянул я к тебе.

Федор хотел убрать складень с припечка, чтобы не смущать Жакыза, но тот подал знак рукой:

— Пусть стоит, она мне не мешает. Добрый вечер, Фидур.

— Добрый вечер, хозяин, проходи, садись, пожалуйста. — Все-таки убрал складень Федор и пошел навстречу Жакызу.

— Я еще не совершал вечернего намаза, а потому не могу садиться. Я на минутку зашел... Я доволен тем, как ты сегодня разговаривал с наибом. Ты достойно вел себя, как подобает мужчине, не опозорил меня перед аулом. Я догадывался, что ты верный мне человек, а теперь я твердо

знаю — с добром ты относишься ко мне, к моей семье и не предашь меня, хоть по законам войны мы с тобою враги, ты каждую минуту можешь убить меня. По закону войны, по закону солдата своей страны, своей веры. За этим я и зашел... Чтобы сказать тебе эти слова. — Увидев свет в окне Айшет, Жакыз улыбнулся. — В одном лишь я недоволен тобой.

— В чем, хозяин? — обеспокоился Федор.

— Почему ты оставляешь Айшет одну в доме?

— Это не так, Жакыз, сегодня с Сабехом мы были у нее в гостях. Очень достойная женщина, порядочная, добрая.

— Это хорошо, что не отказался от угощения. И то надо сказать — не каждого приглашают на обед. Только того и позовут, к кому относятся с особым вниманием. Не о четлибже я говорю, о другом: неужели не понимаешь меня, неужели ты не мужчина.

— Грех, Жакыз, такое говорить, большой грех. А еще больший мне будет, если я поддамся греховному соблазну.

— Э-э, Фидур! Не надо так, не надо. Аллах для того и создал мужчину и женщину, чтобы они находились вместе. — Улыбнулся в усы Жакыз и ушел.

VIII

Во всю свою мощь разбушевалась весна.

Еще недавно лес на дальних холмах и на горах стоял угрюмый, а теперь вон как разгулялся многоцветьем дубов и осин, кленов и верб. Наряд сосен и елей от этого веселого многоцветья тоже стал ярче. Но главное, чем оживился лес — птицы! От зари до зари не умолкали их песни, тоже разные, многоцветные, как и сам лес. Для них весна не только пора любви, но и пора забот. Надо так построить гнезда, чтобы они были удобными для будущих птенцов, чтобы скрыты были от врагов.

Речка пробудилась. Зимой это был ручеек. Он тихо позванивал чистой водой, прыгая с камешка на камешек. А теперь ручеек становился речкой, расширяя свои берега, подбираясь мутными водами под утесы, вырываясь местами на простор. Пройдет время, весеннее солнце хорошенько

растопит снега, и придет столько воды, что речка выйдет за свои пределы.

Кажется, что мычат коровы, блеют овцы, кричат петухи и лают собаки так же, как и две недели назад, но нет, они иные, как иными стали поля и леса, небо и солнце, река и люди. Все день ото дня становится обновленным.

Федор тоже лишился покоя с того дня, когда был наиб в Заурхабле, когда к нему в сарай вечером зашел Жакыз. Все, будто клином, сошлось на нем: и встреча с наибом, и угощения Айшет и сказанные им самим перед всем аулом слова, что не уйдет от Жакыза без его воли, ну и, конечно, сама весна, когда он вышел в поле с плугом, запряженным быками. Могучими, неторопливыми и своенравными.

Взрезал он лемехом поле, будто всю землю открывая навстречу весне, солнцу навстречу, жажде родить и радоваться рождению.

Дух, поднимавшийся от свежеспашанной земли, волновал Федора, приятно опьянял, но вскоре эта радость сменилась печалью — вспомнил он свое родное поле на Вологодчине, вспомнил дом, Клаву, дочерей... И на его родном поле вот так же кричат грачи, стайкой перелетающие за пахарем — они кормятся тем, что открыл им плуг, всякой живностью, дремавшей зимой в своих укрытиях.

— Цоб-цабе, цоб-цабе! — понукал Федор быков. — Веселей, милые, веселей. Хорошо потрудитесь весной, хорошо прохарчитесь зимой. Веселей, родимые, веселей!

Тыльной стороной ладони смахивал Федор пот с лица, слизывал с губ соль. Горькую, едкую.

Такие же горькие и едкие мысли возникли у него в голове под овечьей папай: когда же это, когда придет конец моей беде? Сыт я, обут, одет, кров над головой, а в сердце — сквозняк. Он то холодит меня всего, то лихорадит жаром... Прости меня, Господи, за мою дерзость, за то, что рошщу, слабее своей духовной силой. Спаси, сохрани и помилуй меня, не лишай меня надежды вернуться домой и там обрести покой. На родной земле, у родного порога. Дай надежду, Боже, тем, кто ждет меня. Смягчи сердца всем, кто здесь держит, не пускает домой. Ведь я ничем не виноват перед ними, не желаю им зла... Господи, я теперь очень жалею, что поклялся на Твоем образе, перед иконой

святой не бежать из неволи. Не надо было, не надо давать такое обещание, Господи, а если все-таки не выдержу этой тяжести неволи и уйду?

Или дай мне силу одолеть тяжесть, или помилуй, ведь я уже сколько времени не был в храме Твоем, не молился, как полагается православному христианину... Сдается мне, недоброе что-то затевает против меня Жакыз. О чем они в тот вечер говорили с наибом? О чем не знаю, но чувствую — недоброе. Да и как можно ждать доброго от наива, человека жестокого и лукавого! Жакыз в тот вечер говорил мне в сарае хорошие слова, хвалил и даже благодарил, но это на словах, на деле же — чую опасность. Боюсь, нехорошее затевают они, подбивая меня сблизиться с Айшет. Еще бы! Не дай Бог, если я пойду к ней переночевать, они застукают меня и тогда — конец, на куски разорвут. Трудно бедной Айшет одной управляться в хозяйстве, трудно молодой женщине жить без мужа. Да ведь и я еще не стар, есть и у меня желания, но упаси, Боже! Спаси, сохрани и помилуй!..

— Эй, милый, куда же ты? Совсем испортил борозду. А-а, устал ты, заморился. Вот я сейчас поменяю вас местами — ты отдохнешь, а твой напарник возьмет часть, что потруднее. Так, так, хорошо. Молодцы, все понимаете. Повернись-ка, повернись. Давай шею, давай. Вот так, вот и хорошо... Цоб-цабе, веселей, ребята! Солнышко уже высоко поднялось, надо поторапливаться, а то наш хозяин разобидится, и тогда ни вам, ни мне добра не жди.

— Салам алейкум, Фидур!

Обернулся Федор:

— О? Это ты, Карох?.. Смотри, и Жакыз здесь!

— Конечно, — буркнул Жакыз, — куда ж я без него и без Дудая.

— А Дудай где же? Конь его у коновязи, а самого не вижу.

Жакыз знал, что Федор недолюбливал Дудая, потому лукаво улыбнулся ему:

— Твой неразлучный друг зашел к сестре.

— К сестре — это хорошо, — с легкой неприязненностью в голосе ответил Федор. — Повезло же ему — такая хорошая у него сестра.

— Ладно, знаем, хорошая у него сестра,— почему-то сердито проговорил Жакыз.— А ты чего быков распряг, не собираешься больше пахать?

— Нет, Жакыз, нельзя бросать дело, не доведя его до конца, буду дальше пахать, пока солнышко позволит — земля в самой поре находится.

— Тогда зачем же ты распряг быков? — все удивлялся Жакыз.

— В жмурки ты, что ли, играешь, дорогой Жакыз,— вступил в разговор Карох.— Или не видишь: Фидур просто хочет поменять местами быков. Дай-ка я пройдусь одну-две борозды.— Он подошел к плугу.

— Зачем тебе это! — недовольно сказал Жакыз, вспомнив наиба, который велел побольше наваливать на плечи невольника.— Не надо тебе пачкать свои праздничные сапоги, черкеску.

Карох вроде бы и не слышал Жакыза. Закатал рукава черкески, подоткнул полы за пояс, поплевал в руки:

— Как можно испачкаться работой? Потом — я тебе скажу — воды у нас много, руки вымыть проще простого, а работа, какая бы она ни была, делает душу чистой, угодной Аллаху... Если ты грозный мужчина Пазадových, истый хлебороб, возьми в руки повод и пройдемся вместе с тобой две-три борозды.

— Нет! — возмутился Жакыз.— Хоть золотом осыпь меня — не возьмусь, не хочу!

— Значит, не хлебороб ты.

— Это почему же?! — еще больше возмутился Жакыз.

Перепалка хозяина с Карохом не понравилась Федору, не приведет она к добру, и он попробовал притупить ее:

— Не надо, Карох, не надо, наши быки не любят, чтобы ими правили чужие, чтобы погоняли.

— Мало ли что они любят — не любят! — весело засмеялся Карох,— разве ты делаешь только то, что нравится, а? Думаю, если Жакыз возьмет повод и пойдет впереди, быки с удовольствием потянут плуг! Еще бы! Сам хозяин, Жакыз Пазадových их ведет!

— Не дожدهшься ты этого, Тыганов! — вроде бы в шутку сказал Жакыз, вроде бы даже улыбнулся, а у самого, как говорят, кошки на душе скребли, так он рассердился на Кароха и на Федора.

— Значит, так тому и быть, друг мой Жакыз,— еще веселее заговорил Карох,— правильно говорят: насильно мил не будешь, а без любви лучше к земле и не подходить. Грех это, великий грех не любить свою землю, не обходиться с нею ласково, как с доброй матерью. Бисмиллах, да поможет Аллах! Ну, милые, ну трудяги наши бесшлю-весные, пошли, пошли, родимые. С Аллахом свершим доброе дело!

Слыша, как молился Карох, Федор по своему обыкновению хотел перекреститься, но воздержался, чтобы не рассердить хозяина. «Вон он как раскраснелся во гневе». И все-таки помолился, правда по-черкесски:

— Воистину, Карох: бисмиллах, да поможет тебе и всем нам Всевышний!

Удивился Жакыз, даже раздраженность в нем стала утихать, когда он услышал молитву Федора:

— Если бы это слышал эфенди Каймет, он от радости подскочил бы до седьмого неба. А как же: гяур становится мусульманином, Аллах за это воздаст сторицей нам, грешникам.— Совсем размягчился Жакыз, даже пошутил: — Что он тут, этот несчастный Карох, говорил про настоящего хлебороба, а сам едва плетется за плугом. Посмотри, как он пашет, посмотри!

— Хорошо пашет,— сказал Федор,— глубоко пашет, красиво кладет землю, ровно ведет борозду!

— Что ты говоришь, Фидур! — не унимался Жакыз в своей шутке и заговорил громче, чтобы услышал его Карох: — Неправда твоя, Фидур — и борозда получается кривая, и сам он едва плетется, наверно, до конца загона силы не хватит дойти. А, Карох?

Оглянулся Карох — такие веселые, такие счастливые были его глаза!

— Ладно, ладно, хорошо ведет борозду Карох. Молодец, умеет... А скажи-ка, Фидур, ты в самом деле сейчас по-черкесски помолился или просто так, слово выскочило. Правду скажи, не обижусь.

«Правду скажи, не обижусь»,— повторил про себя слова Жакыза Федор. Ишь ты, правду скажи! А как ее сказать? Вот, скажем, палка одна, да концов у нее два. Или еще так: вспорхнула птица, взмыла вверх, в самую что ни

на есть высоту — попробуй, достань ее, а слово попроворнее любой птицы будет.

Знал Федор, чего хочет от него Жакыз, вернее сказать, догадывался. Может, прямо сказать ему, отрубить и все, пусть отвяжется, а может быть, как-то иначе? А как? Господи, Боже мой, прости мне мои греховные мысли, наставь на истину, один Ты ее знаешь.

— Если не обидишься, я постараюсь поточнее сказать, что у меня было, что есть на душе... Когда Карох попросил у Аллаха благословения, попросил помощи, у меня самого рука так и дернулась перекреститься, ведь мы тоже перед началом каждого дела обращаемся к Богу с молитвой. И чуть не перекрестился, да вовремя перехватил себя, чтобы ты не обиделся, чтобы не воскликнул в раздражении — гяур проклятый. Что делать — разная у нас с тобою вера, но гляди, как одинаково мы должны поступать по ее законам. Вот ты теперь и рассуждай о моих словах, сказанных по-черкесски. Судья этому, конечно же, Господь Бог, однако ты можешь рассудить по-своему... И еще мне хочется сказать, хозяин: не только Бог един для всех людей, но и земля на всех одна, и любовь к ней одна, и матерью ее называем мы все. Одна на всех она, а мы рвем ее на куски, войны устраиваем и, получается, позоримся, грешим не только перед Богом, но и перед матерью-землей... Я не обидел тебя, хозяин?

Жакызу не понравился длинный ответ Федора. Но ведь он обещал не обижаться, а потому не подал виду:

— Если ты сказал правду, как я могу обидеться. Если обижусь, Аллах накажет меня.

— Ты прав, хозяин, Господь не любит обманщиков.

— Я тебе вот что еще хочу сказать: если тебе надо по-вашему помолиться, — молись. Повернись ко мне спиной и крестись, говори свои молитвы. Тихонько говори, молиться не надо громко. Это только на сходках — кто кого перекричит, тот и верх одержит. Меня не бойся, а Кароха остерегайся, он — истый мусульманин, может обидеться на тебя, может зло тебе причинить. Сделает он зло, потому что ты его в искушение ввел. Опять же — тебе тоже грех. А «бисмиллах» почаще повторяй при наших аульчанах, особенно — при эфенди Каймете. Думаю, труд

это не большой для тебя, а дело доброе. И не только перед ним, а и при всяком случае перед бородатými абадзехами. Ты увидишь, как они зауважают тебя!.. Эй, Тыганов, хватит тебе приноживаться к хвостам быков! Если себя не жалко, то пожалей свои хромовые сапоги!

— Если б ты сказал, быков пожалей, я понял бы тебя, а сапоги что — куплю себе на базаре в Пшаде, а то и в станции Лабинской, хоть сто пар! — отшутился Карох.

— У-у, он такой, этот Карох — ни за что не бросит начатое дело!..

— Славная привычка для хлебороба. И не только, для каждого это хорошо — все делать до конца, все делать порядком и с охотой. Даже самую черную работу можно делать с такой охотой, что она перестает быть черной.

— Я тоже так считаю, но думаю, это первостепенное для хлебороба, для крестьянина — ведь у него столько черной, как говорят, работы, что чистой и не видать. Правда твоя: чистить коровник, конюшню — возиться в дерьме. Фу! А когда почистишь, когда увидишь, как хорошо лошадям, коровам и телятишкам, какие они чистенькие, ухоженные — хорошо тебе становится... Скажи, Фидур, ты не обижаешься на Кароха?

— Я?! На Кароха?! — удивился Федор. — За что?

— Ну... может, есть какая причина.

— Он — трудяга, а я — невольник, но тоже люблю крестьянскую работу. Чего нам делить с ним? Нет, славный он человек.

— А я? Что ты думаешь обо мне, Фидур? — ревниво спросил Жакыз. Федор уловил тон хозяина:

— Ты тоже такой. Ты не просто делаешь дело, а прямо прикипаешь к нему.

Доволен остался Жакыз. Засучил рукава черкески, пошел навстречу Кароху:

— Дай-ка, теперь я попробую. Слава Аллаху, не княжеского рода, не белоручки, можно сказать, с колыбельки нас приучили хорошо работать, блюсти крестьянское хозяйство.

— Что верно, то верно, Пазадов, ты потомственный хлебороб. Только пожалей праздничную черкеску, подоткни полы! — крикнул Карох ему вслед.

— Ничего с ними не станется,— упрямо ответил Жакыз. Широко расставив ноги, пошел за плугом, яро понукая быков.

Славно шел Жакыз, истый пахарь. Быки, чуя хозяина, и выгнув шеи, ходко шли, но уже устали — ведь с самого раннего утра в борозде.

Жалко Федору стало быков. Он пошел навстречу Жакызу:

— Ты посмотри, хозяин, как они тяжело дышат, посмотри, как ходят их бока. Мы тут один перед другим выхвалялись, а быки-то одни. Именем Господа Бога, именем Аллаха, Жакыз, прошу — остановись, дай быкам передохнуть. Да и сам отдохни, вон вся спина мокрая.

— Тебе, Фидур, что — не нравится, как я пашу? А? — с подозрительностью спросил Жакыз, перевернув плуг. — Я пашу, а не бороню, как это делал Карох,— не то пошутил, не то всерьез сказал Жакыз. — Ты видел, Тыганов, как глубоко надо забирать, а?

— Как ты пашешь да понукаешь, быки сразу поняли, с кем имеют дело. У тебя ж есть еще одна пара, запряги ее, а эти пусть погуляют.

— Славные быки,— сказал Федор,— пологорода вспахали. И ты напрасно так говоришь, хозяин, вспашка глубокая, ровная, залюбуешься.— Он гладил лбы быков, вспотевшие шеи: — Работники наши, настоящие работники. Теперь отдохнете, сейчас другую пару запряжем.

— Эй! Гляжу я на вас, джигиты, и странно мне! — навалившись на плетень кричал Дудай. — Вы что — на потеху аулу пашете за Фидура? Лучше идите сюда, сестра приготовила добрый обед и зовет вас. А невольник... пусть себе работает.

Закончил Федор вспашку огорода, отвел вторую пару быков на луг. Стоял и с умилением слушал, как хрустели быки молодой травой, смотрел, как они довольно жмурились и весело махали хвостами, хотя еще не было гнуса.

Потом подошел к плетню и любовался огородом, вдыхал запах пашни, запах земли, открытой навстречу зерну, навстречу солнцу и небу.

Грачи сидели на верхушке акации, еще не тронутой зеленью новой листвы, и, казалось Федору, дремали, насытившись разной живностью, поднятой плугом.

После доброй работы Федора радовало все: дальние горы в голубой дымке, ближние холмы, уже зазеленевшие, веселые, торопливые белые облачка — на небе.

Трижды перекрестил он поле, поклонился ему в пояс, прочитал молитву. Умылся и, отодвинув медный тазик и кумган, стал вытираться.

— Ты что, Фидур, до сих пор амдэз не принимал? — Дудай с хитрецей подначивал Федора. — Упускаешь полуденный намаз, бетамаль!¹

— Разве плохо, Дудай, совершить омовение и потом предстать пред очи Аллаха, только... ведь после амдэза не вытираются тряпкой.

— Эй! Что я слышу?! — вскричал Дудай. — Оказывается, ты и это знаешь?

— А как же. Если хочешь, чтобы тебя уважали те, с кем ты живешь, уважай их обычаи, то, чем они живут. — Выплеснул Федор из тазика воду за сарай и продолжил: — Так я думаю не потому что пленник, просто уважаю ваш древний народ, нравятся мне его старинные порядки. Они такие же красивые, мудрые, древние, как и обычаи моего народа. Каждый народ тем и жив, что ничего из своей жизни, из жизни дедов и прадедов не забывает, свято чтит.

— Валлахи, это интересно. Выходит, наиб не зря тобой был удивлен. — Дудай прислонился спиной к опоре веранды. — Неужели ты и намаз можешь совершить?

— А почему бы и нет? Конечно,— сказал и замялся, потом продолжил: — Конечно, если Бог подвигнет на это.

Сощурился Дудай, покачал головой:

— А ты хитрец, Фидур. Притворяешься, будто наша вера тебе по душе, вроде бы как в мусульманство собираешься, а сам все о своем боге рассказываешь, расхваливаешь его, чтобы наших перетянуть в гяурскую веру.

— Что ты говоришь, Дудай, что ты выдумываешь! — возмутился Федор.

— Ну ладно, это я так. Скажи мне лучше: ты умеешь делать вашу крепкую, белую... вроде нашей бузы? У вас она называется самофоном, а мы ее зовем арк.

¹ Б е т а м а л ь — несчастный (с иронией).

— Какой самофон? — переспросил Федор. — Может — самогон?

— Да, да, верно — самогон! Умеешь делать, а?

— Зачем, Дудай? Это же грешно. Большой грех.

— Что грешно?

— Пить, пьянствовать!

— Что ты говоришь, Фидур! Я ни одного из ваших не встречал, чтобы он не любил выпить этого... самогона.

— Ты, должно быть, прав, но все равно — это большой грех. Делая тебе самогон, я беру большой грех на душу.

— Э, Фидур! Я помолюсь Аллаху, Он простит. Как ему не простить, если столько людей у вас и у нас любят выпить. Сделай мне самогону — я в долгу не останусь, больше того, — Дудай нагнулся к Федору и таинственно прошептал: — ты мне сделаешь, я — тебе. Что скажешь, то и сделаю, мое слово верное.

И загорелось, загорелось сердце Федора от этих слов Дудая, от того, как он их сказал.

На что он намекал? Побег?! Сердце зашло восторгом и страхом.

Конечно, Дудай может помочь: расскажет, где ближе всего находятся русские войска, какой дорогой, какой тропой потайной к ним можно пройти. Он может даже быстрого коня ему одолжить...

Подмигнул Дудай:

— Не торопись с ответом, Фидур, подумай хорошенько, и мы с тобою решим это дело.

— «Какое?!» — хотел воскликнуть он, но тут с крыльца раздался голос Гошехан:

— Фидур, ты уже умылся? Пора обедать. Ты сегодня так много сделал — наверно, устал. Иди обедать. Потом отдохнешь.

IX

Сабех с Федором запрягли телегу — собирались в лес.

— Сынок, а сынок! — позвала его Гошехан. — Иди-ка сюда. В дом зайди.

«Ну что там еще?» — досадливо подумал Сабех. Ему так хотелось поскорее уехать в лес — там сейчас так хорошо! Но что делать, раз позвала мать, надо идти.

Гошехан сидела на кровати, скрестив руки на груди, и была очень серьезной, сосредоточенной.

— Слушаю, тятя, — он стоял у спинки кровати. — Что-нибудь тревожное? Ты так смотришь на меня странно. Что случилось? — он присел на краешек кровати.

— Сказать, что это случилось у нас, у Пазадовых, так вроде бы и нет, но опять же... Как тебе сказать? Все ж касается нас.

— Это так страшно, что ты никак не можешь сказать мне?

— Ну-у-у, не страшно, а все ж, — она сложила теперь молитвенно ладони на груди. — Я могла бы тебе и не говорить, сынок, однако это так волнует меня, что я не могу. Я должна сказать тебе.

— Говори же, говори! Мое терпение лопается!

— Не торопи, не торопи. Скажу так: леший бы побрал наши аульские сплетни.

— Я так и знал — какая-нибудь очередная сплетня, — разочарованно сказал Сабех и хотел было уже подняться и уйти, но мать взяла его за руку. — Возможно, эта сплетня обо мне или об отце? Тогда я и слушать не стану, — нервно бросил Сабех.

— Нет. Не о тебе, и не об отце — о Фидуре!

— Что же с ним случилось? В ауле знают о нем лучше, чем мы.

— Я ходила в лавку Беджановых за солью, там мне и сказали, прости меня, Аллах, что Фидур дружит со злыми джинами.

Едва сдерживаясь от смеха, Сабех спросил:

— А не говорили, случайно, что он то громко хохочет, то поет тихие грустные песни, то опять смеется, плачет.

— Говорили, сынок, говорили, — со страхом произнесла Гошехан, — тебе тоже говорили?

— Нет, никто не говорил.

Она встала с кровати:

— Откуда же знаешь?! Упаси нас Аллах от нечистой силы!

— Сам слышал.
— Сам?! Слышал?! — она всплеснула руками. — Это же так страшно, сын мой!
— Очень страшно, — с грустной улыбкой ответил он.
— Как же ты собираешься ехать с ним в лес? Он же с джинами — может тебе сделать что-нибудь плохое!
Сабех понял, что слишком далеко зашел в своей шутке:
— Успокойся, тятя, ты же сама сказала, что это сплетня. Наш Фидур — верующий человек, хоть в своего, но все же верит в Бога, который избавляет его от злых духов, хорошо охраняет.
— Но ты же сказал, что сам видел и слышал!
— Конечно, видел, слышал. Если мы с тобой, случается, смеемся, песни поем, а то и плачем, то почему же этого не может Фидур? Разве ему не бывает весело или смешно, разве он не скучает, не тоскует по своему дому?
— Да, да, сын, как же ему не тосковать, не плакать — столько лет не был дома. Вы с отцом на полдня отлучитесь, и я уже волнуясь, сто раз выйду за ворота, вас выглядываю. Бедный Фидур.
— Он говорил, что не только петь любит, но и играть на своей... как он сказал, на балалайке. С тремя струнами.
— Как наш шичепщин?
— Наш со смычком, а на этой балалайке пальцами играют. Он очень просил купить ему такую... балалайку.
— А где ж ее взять?
— Говорят, на русских базарах продают.
— Она, должно быть, много денег стоит?
— Не знаю, тятя.
— Если дать отцу пару хороших индеек, сможет он обменять их на эту балалайку?
— Думаю, сможет. Но отцу вряд ли понравится наша затея, хотя хорошо бы найти Фидуру балалайку, пусть бы человек душу свою отводил.
— Говоришь, не понравится отцу? Он что, совсем хочет замучить тоскою бедного Фидура? Грех это — мучить человека, созданного самим Аллахом. Нужно нам с тобой что-нибудь придумать.
— Что придумать?
— Найти ему эту самую балалайку.

— Ладно, посмотрим. Нам пора в лес по дрова.
— Поезжайте. Погода славная, дождя, похоже, не будет. Вы с Фидуром настоящие мужчины, а все же будьте осторожны, далеко в лес не уходите, не зря говорится: «Береженного и Бог бережет». Был бы отец дома, мне спокойнее было бы на душе. Ну, ладно, езжайте с Аллахом.

Обрадовались быки, что вывели их на солнышко из база — помахивали хвостами, поводили большими рогами.

Устроились поудобнее в арбе мужчны, из дома вышла Гошехан с кошелкой в руках:

— Хоть и не надолго едете, все ж возьмите с собою харчишек — в лесу хорошо естся. Старики говорят, хлеб в лесу, на травке зеленой съеденный двойной силой в человеке оборачивается. Ну, доброго пути вам и короткой обратной дороги.

Неторопливо, солидно вышагивали быки, поводя рогами.

Пустынно на улицах Заурхабля. Время такое: выпроводив скотину в стадо, накормив домашнюю живность, позавтракав, разошлись по своим крестьянским делам — в огороды и поля, в лес и на пасеки, где уже гудели ульи.

Только кое-где во дворах тоскливо бродили совсем маленькие телята, которых разлучили с матерями, да псы лениво лаяли на проезжавшую мимо арбу.

Из-за угла выскочил гнедой стригунок. Взбрыкнул весело, а потом, увидев рога быков, рванул в сторону.

— Думал свои, — сказал Федор, — да ошибся. Даже обиделся, бедняга.

— Не признал нас за своих, — согласился Сабех.

— Да, — вздохнул Федор, — не признал. А каждому хочется признать, хочется встретить своего, родного. И цвет, и запах, и голос. — Тоскующими стали глаза Федора. Печалью потемнели, болью зашлись.

Заметил это Сабех и подумал: в бою у него была бы одна цель — убить противника, вот такого же Фидура, а здесь... Почему так больно стало и Сабеху, когда он увидел в глазах его печаль, боль. Ах, люди-люди, подумал он, как же вас понять, как быть с вами. Аллах мудрейший, помоги, научи.

Стайка мальчишек выскочила из переулка. Запрыгали, загалдели:

— Фидур — гяур, Фидур — гяур!

— Казак, казак бородатый!

— Брысь, пострелята! — прикрикнул на них Сабех и погрозил кнутом.

— Не надо, Сабех, пусть их. Они ведь правду говорят — гяур я, иноверец. Покричат, повзбрыкивают, как тот стригунок и замолчат. Пусть их, — с неясной улыбкой сказал Федор.

— Пожалуй, ты прав.

Из калитки выглянул старик Беджанов, он, грозясь, потряс своим посохом:

— Замолчите, бессовестные. Ну! Кому говорю?

— Тэтэж¹, а разве он не гяур? — издали осмелился спросить писклявый мальчишка.

— Верно, гяур, но ведь и среди них бывают хорошие люди. Я знаю, многие знают, что Фидур хороший человек. И он не виноват, что его заставили стать солдатом и воевать с нами. И еще: дети не должны вмешиваться в дела взрослых, потому что они ничего в них понять не могут. Хорошенько запомните, что я вам сказал и — уходите отсюда, не смейте обижать Фидура!

Хорошо ехать по лесу на неторопливых, медлительных быках. Все успеешь рассмотреть, услышать.

Кукушка кукует, синица звенит, сорока стрекочет. Тихонько шелестит, шепчется о чем-то листва над головами Сабеха и Фидура.

Солнце с трудом пробивается сквозь густую зелень деревьев, звездочками вспыхивает то там, то тут.

А это что за собачий лай в лесу? Не в лесу — аул Бечхабль рядом. И петух оттуда кричит — аульские часы.

— Ты уже два года живешь у нас, Фидур, — заговорил после долгого молчания Сабех. — Тебя частенько обижали, унижали твое человеческое достоинство, вон даже сопливые мальчишки и те оскорбляют тебя... А ты не только терпел и терпишь, а даже, я бы сказал, сердобольно прощаешь всем. Сначала я думал, что тебе просто некуда деваться, ты всего лишь пленник, враг, стало быть, они

¹ Тэтэж, тат — дедушка.

вправе убить тебя. Так сначала думал, а потом присмотрелся и понял — нет, далеко не только это. А что? Скажи, пожалуйста, объясни.

— Ты сказал, что меня мальчишки оскорбили. Если считать, что оскорбили, то не они, а их родители, старшие этому научили. Вернее, они слышали, как старшие говорили обо мне и повторяют их — ведь сами-то они еще не могут мыслить. На мальчишек я не в обиде, только зря они назвали меня казаком. Не казак я, а солдат русской Его Императорского Величества армии. Это так, для шуток... Ты сказал, что я смиряюсь, терплю оскорбления, чтобы упасти себя от справедливого гнева черкесов. А вот Дудай говорит, будто я хочу мусульман в свою веру перетянуть.

— Глупость это, — сказал Сабех.

— Не совсем глупость. Конечно, я не собираюсь никого перетягивать, однако... Не обижайся, что буду говорить о твоём отце. Жакыз сначала плохо относился ко мне. Правильно, это его право. Он, как ты сказал, мог и убить меня, и это его право, врага своего убил, по закону войны. Если бы я не стерпел своего унижения, боли своей, стал бы сопротивляться, отец твой просто прибил бы меня. Я не стал сопротивляться, не стал держать обиду на него, зло таить не стал, а, наоборот, старался, сколько сил хватало, лучше работать, добрее относиться к нему, к тебе, Гошехан... И вот видишь, отец велел снять колодки с моих ног, в дом свой начал пускать, добром разговаривать со мной, перед самым набоем хвалил, не убоился его гнева. А это многого стоит, Сабех, очень многого. Ну, и что же из всего этого получилось? Смирением, добротой своей отца твоего я научил добру. Вернее, не я научил, а моими устами, моими руками Господь наш научил. Не только с твоим отцом так получилось, а вон и старик Беджанов сказал мальчишкам обо мне добрые слова. Значит, и к нему попало мое христианское слово, зернышко мое проросло. Вот и получается, что Дудай в чем-то и прав. Только не думай, Сабех, будто я расхваливаю свою веру, что считаю ее лучше вашей. Совсем нет. Моя вера для меня так же хороша, как и твоя — для тебя.

— Да, да, — задумчиво уронил Сабех, — главное — делать добро. Но мало кто делает его.

— Мы, христиане тоже далеко не всегда следуем заповедям Господа нашего.

Не зря наиб спрашивал, подумал Сабех, не офицер ли Фидур? Хотя что ж тут, наши старики, которые не учились большой грамоте говорят: мудрец мудростью своего народа мудр. Конечно, с самого начала своего ребенок слышит над своей колыбелькой песни матери, которым столько лет, что и не сочтешь, потом бабушка станет ему рассказывать сказки, а они и вовсе вечные, как горы и небо, а потом мужчины, отец, дед станут вкладывать ему тоже вековую мудрость нашей беспокойной земли...

Арба остановилась на небольшой поляне. Быков выпрягли и пустили пастись. Трава высокая, густая и вся в цветах заячьего горошка, белой кашки, граммофончиков.

— Скажи, Фидур, ты, значит, не казак, хотя и борода у тебя такая же, как у казаков, ты — русский? А казаки?

— Тоже русские.

— Но почему они казаки, что это такое?

— Казак — означает вольный. В древние времена, когда в России помещики, князья могли торговать своими крепостными, как все равно лошадьми или коровами, многим жилось плохо и они убегали на Дон, на Волгу, на Терек — становились вольными людьми.

— Вольными? — удивился Сабех. — Они по своей воле пришли к нам с войной? Как же это — вольные, а нам приносят неволю?

— Были вольные, — вздохнул Федор, — а теперь их казачье войско на службе у царя... Ну, за дело, Сабех. Помоги нам, Господи! — Федор без стеснения широко перекрестился.

Сабех по-своему попросил у Аллаха благословения на работу. Застучали топоры. Закричали встревоженные сойки и вороны, стайка скворцов с шумом пронеслась над головами лесорубов.

— Сабех, рядом с каждым сухим деревом растет молодая поросль. Побереги ее.

— Да, Фидур, да! — «И тут, посмотри на него, он так заботится о нашем лесе, будто о своем. Видно, для него не существует — наше, чужое. Все — наше, как всякий человек, где бы он ни жил, кто бы он ни был, говорит — наше солнце, наше небо...»

Услышав скрип арбы, Гошехан заторопилась навстречу лесорубам:

— Слава Аллаху, наконец вы вернулись! Солнце уже устало и пошло к вечерней заре, а как я устала ждать вас — и не скажешь словами! Разве можно так долго быть в лесу!

— Мы там не прохлаждались, а работали. Видишь, сколько наготовили хороших дров.

— Спасибо за дрова, а все ж нельзя так долго быть в лесу. Сегодня стреляли. Хоть далеко отсюда, а все ж стреляли. Чего только я не передумала из-за вас обоих.

Сабех спрыгнул с повозки, открыл ворота:

— А дрова-то, дрова какие, тьян! Сухие, звонкие!

— Вижу, сынок, вижу. Добрый воз привезли, хорошие дрова. Отец вернется, похвалит вас.

— Отойди, тьян, в сторонку. Бросай, Фидур.

Сбросил Федор большую вязанку в сторону Айшет.

— Уй, какие славные дрова, а почему это вы сбросили их на улице?

— Это мы для Айшет приготовили.

— Как?! Самые лучшие дрова — Айшет? Почему? — недоумевала Гошехан. — Вы что — должны ей что-нибудь?

— Долг отдаем, тьян, ты правильно сказала. Покойный Ахмед жизнь свою отдал за нашу землю, вот мы и в долгу перед ним, перед его вдовой.

Присмирела Гошехан, опустила голову:

— Ты добрый, сын мой, ты — настоящий мужчина. Прости меня, погорячилась я... Отнеси, Фидур, вязанку во двор. Она такая большая, что бедная Айшет не поднимет.

Во дворе, когда Сабех распрягал быков, Гошехан опять спросила:

— Это ты догадался привезти дров Айшет или Фидур?

— Какая разница, главное, что привезли, что помнили о ней. Тебе тоже спасибо, что похвалила нас.

Смутилась Гошехан. Ей хотелось сказать, что она виновата, что ее не надо благодарить. Хотелось, но не сказала, молча попросила у Аллаха прощения за свой грех.

— Айшет пошла в лавку Беджановых. Вернется, а у ее сарая — добрая вязанка дров, — не нашла ничего другого сказать Гошехан.

Умылись мужчины, сели за обед. Каждый в отдельности за своим столом.

Сабех после еды помолился, потом с легким укором, чтобы не обидеть мать, сказал:

— Тян, на покосе, в поле, мы с Фидуром едим вместе, у одного коврика, а почему здесь ты сажаешь нас врозь?

— Ой, сынок, не знаю. Еду я вам давным-давно уже готовлю в одном котле, все одинаковое даю вам, а что врозь... Я бы рада была сажать вас за один стол, но ведь, что скажет отец... Да и в ауле, если узнают, осуждать могут. Ты скажи отцу. Мужчина мужчине может сказать, а женское дело — совсем другое.

— Я скажу, но и ты не молчи. Ты не просто женщина, а хозяйка в доме. То, что Фидур делает в поле, в лесу, на подворье, нам на всех хватит. Вот дрова заготовили вдвоем, но их хватит на нас четверых. А сена сколько он заготовил, а за скотом ухаживает? Много делает для нас всех. А то, что аульчане скажут, так им не важно о чем, лишь бы языки почесать. Захотят — во всем найдут плохое, а захотят, так и в самом плохом увидят хорошее. Или я не прав?

— Ты хорошо говоришь, сын мой, но не вздумай такое говорить при Каймете эфенди. Богоотступник, скажет Каймет, гяуру благоволит. А сейчас пойдём к Фидуру и потребуем от него подарок за добрую весть.

— Что еще за весть такая?

— Не скажу, раз не видел сам на стене в сарае Фидура.

— Что там, тян?

— Не скажу. Пойдем.

Федор после доброго обеда сидел, привалившись спиной к стене сарая и благостно дремал. У его ног дремал, и тоже по-собачьи благостно, Мишид. Его тоже сытно покормили сладкими бараньими косточками.

Вечернее солнце было спокойное, ласковое. Оно тоже дремало, опускаясь в мохнатый лес, будто в мягкую постель.

Солнце — ему навстречу уже загоралась заря — чуть-чуть, едва золотило небо. И эта первая позолота темно-синего неба тоже была благостно-спокойной, достаточным венцом трудового весеннего дня.

— Фидур, ты, когда из леса приехал, заходил к себе в комнату? — обратилась к нему Гошехан.

— Нет. Пока не заходил.

— Понятно. Готовь тогда мне подарок, как у нас принято, за добрую весть, за то, что увидишь на стене. Подожди, не заходи. И ты, Сабех, не торопись. Давай, Фидур, давай подарок.

Сошла благостная дремота с лица Фидура. Он браво разгладил бороду, усы. Мишид завил хвостом, заинтересованно поглядывая то на Гошехан, то на Федора, то на Сабеха. Он собачьим умом, или еще чем, понимал: тут происходит что-то хорошее.

— Что же тебе подарить, хозяйка. У солдата все его богатство в вещмешке, а у невольника — в руках. Присмотрел я в лесу сухой бук, чинару как тут его называют. Это самые лучшие дрова. Вот я свалю его, раскряжую, наколю полен — зимою славно печка гореть будет. Тогда не только Айшет, но и другие позавидуют тебе.

— А где ты присмотрел эту чинару? — заинтересованно спросил Сабех.

— Мой секрет, а теперь это мой подарок хозяйке.

— Спасибо, Фидур. Хороший твой подарок. Зайди к себе в комнату и посмотри, что там висит на стене.

Открыл дверь Фидур, перешагнул через порог и остановился, задохнулся восторгом и удивлением.

— Проходи, я тоже хочу видеть, что там, — не терпелось и Сабеху.

— Ба-ла-лайка! — воскликнул Федор. — Откуда она взялась? — Федор с великой осторожностью взял в свои большие, натруженные, огрубевшие в крестьянской работе руки блестящую лаком, такую хрупкую, невесомую балайку, почему-то виновато, как бы извиняясь, смотрел на нее, и какое-то время боялся дотронуться до струн.

И все-таки дотронулся. Каждую по очереди тронул, потом одновременно все три, и заиграл не то барыню, не то страдания.

Глаза его увлажнились. Он отвернулся.

Гошехан и Сабех молчали, они понимали, что не надо сейчас ничего говорить, надо просто помолчать, послушать как звенят эти струны. Всего три струны — певучие, звонкие, печальные...

— Откуда она взялась? — опять спросил Федор.

— Карох принес. Сказал, на добрую память, — ответила Гошехан и подала знак Сабеху, мол, пойдём, пускай Фидур побудет с нею вдвоем.

Х

Стоит человеку смириться со своею бедой, стать ее рабом, и он перестает быть человеком, как птица перестает быть птицей, если ее лишить крыльев, если она не может подняться над землею, почувствовать простор неба, силу и свободу ветра.

Федор свыкся со своим невольничьим положением. Свыкся, но не смирился, свыкся, но не перестал тосковать по родной стороне, не перестала она ему сниться. Да и не только свыкся, а многое ему ведь было и родным. Разве не радовала его веселая сенокосная пора, не волновало его первое сено, привезенное с луга, а сеновал разве перестал быть сеновалом только потому, что он на Кавказе, а не на Вологодчине. И косовица хлебов, и уборка огородов, вспашка полей и тоска по запоздавшему ко времени дождю, и запах муки, только что привезенной с мельницы, а потом и первый хлеб, и пирог — все это и в неволе было для него радостью. И радость эта облегчала тоску по родному селу.

А еще — уж очень нравилось Федору, как здесь уважали старость, каким почетом окружали старых людей. Очень нравилось как черкесы соблюдали свои древние обычаи, как берегли их. Это и на праздниках, и на свадьбах, и в поле, и за обеденным столом. Все — чинно, строго и, главное, с любовью. Уж если кто поклонился старику, так от всего сердца. Если пришел гость в дом, так это искренняя радость. Все лучшее в доме — на стол. Ведь не зря говорят: гость в доме — счастье в доме. Спасибо гостю, что не прошел мимо.

В последнее время как-то само собой сложилось: хозяева не только в дом стали приглашать Федора, но и за обеденный стол сажали рядом с собою. Перестали отворачиваться от него, шептаться у него за спиной, показывая тем самым свое недоверие к невольнику, а то и просто презрение.

Не было теперь этого.

А то и частенько приходили к нему посоветоваться. Посомневаться или решиться на какое дело.

Разумеется, Жакыз и сам знал, когда сажать картошку, на какой делянке, когда сеять хлеб, и все-таки приходил к Федору — посидеть, поговорить. Мол, так и так, мол, не пора ли выезжать в поле? Может быть, уже надо гнать на базар телят, овец, чтобы вовремя успеть, не продешевить потом.

Гошехан и Айшет тоже любили посоветоваться с Федором. Какая-то невиданная посуда появилась в лавке Беджановых, что за диковинка такая, не знает ли что о ней Федор?.. А на базаре много разной материи привезли из-за моря. Деньги за нее немалые просят. Как бы не промахнуться, не пролетели бы деньги.

Конечно, на все эти вопросы Жакыз и женщины могли ответить, может быть, и сами, без Федора, но у хороших-то людей как водится: сообща посоветоваться надо, поговорить, поразмыслить, а уж потом решаться на дело. Федор говаривал: «У нас пословица есть такая — семь раз отмерь, один раз отрежь, вот тут и гляди не суетись!»

А еще — балалайка.

Федор обрадовался этому подарку Кароха несказанно. Первое время даже боялся выносить ее во двор, ревновал очень и берег от постороннего глаза. Только поздно вечером, когда в доме у хозяев гасли огни, он снимал балалайку и начинал тихонечко играть, даже будто не играть, а разговаривать с балалайкой: поведывать ей свои грустные мысли, свою тоску и слушать, как она отзывалась на это своими струнами, своей, как он говорил, душой.

Пришел как-то Сабех:

— Что ж ты, Фидур, балалайка, балалайка, а сам и не играешь на ней. Поиграй немного, я хочу послушать. На базаре один раз слушал — очень хорошо получалось у русского солдата.

Заиграл Федор...

Так с тех пор и повелось: выйдет вечером, сядет на пень у сарая и заиграет. Тихонько, как бы пробуя голос балалайки, а потом смелее, смелее.

Гошехан откроет окно, выглянет, мол, хорошо играешь, Фидур.

Айшет обязательно найдет какое-нибудь дело во дворе, чтобы послушать Федора. А бывает, придет и сядет рядом с Федором Сабех, мальчишки соседские набегут, глазают, слушают, а заиграет кавказскую — пустятся в пляс — совсем джигиты.

Некоторым аульчанам не нравилось все это, дескать, пленник своей гяурской музыкой вводит в соблазн несмышленных мальчишек и девчонок.

Разойдутся слушатели, уйдут в дом Айшет и Сабех, закроет окно Гошехан, и Федор останется один — тихонько поиграет, как он говорил, для себя, вспомнит с балалайкой далекую Россию, родную Вологодчину. Грустно-грустно станет во дворе, грустно станет под звездным небом.

Нынче грусть одолела Федора в самом начале: побренькал, побренькал и повесил балалайку на гвоздь, взял вилы.

— Фидур, ты что это сегодня не хочешь поиграть? — спросила с крыльца Гошехан.

— Надоело бездельничать. Пойду скирду оправлю, а то задуют осенние ветры, все растреплют.

— Далеко еще до тех ветров, Фидур. Отдохни да и нас повесели. Сыграй. Далеко еще до ветров.

— Не скажи, хозяйка. Это зимой ждешь-ждешь тепла, первой зеленой травки, первого цветочка и никак не дождешься, а холода — осенняя непогода — и оглянуться не успеешь, а они уже за воротник тебе залезли, в окна стучатся. Пойду на баз.

Случалось с Федором иногда, как он сам выражался, непонятность: все вроде бы хорошо, и впереди ничего худого не видно, а на душе так тревожно да больно, на белый свет не глядел бы.

Так было и сегодня. Пока чистил лошадей, поправлял седла и сбрую, тихонько напевал, мурлыкал и всем был доволен, а после сел на пенек отдохнуть, взял балалайку и нехорошо стало на душе.

Походил, походил вокруг скирды сена, причесал ее, убрал лишнее, чтобы ветер потом не унес, и почувствовал, что плечи его отяжелели от душевного неуютя.

Кряжистые осанистые дубы, раскидистые буки, которые, отворачивая гребни ближних гор, первыми встречают утренние рассветы и последними провожают вечерние

зори, первыми же ощущают радость весны и грусть осени. Тут внизу еще свежа зелень отавы, цветы дубков и георгин, а там наверху уже подернулись кроны позолотой и пурпуром — красками скорого увядания.

Еще немного, еще неделя-другая и осень повсюду раздует свои многоцветные костры.

Федор привалился грудью к высокому плетню, отделившему баз от огорода и думал, что уже скоро надо будет убирать кукурузу, чеснок, фасоль и стручья перца, который в этом году уродился на славу.

Так уж устроен мир, что у всех осень — пора свадеб. Расцветали невесты, похвалялись удалью женихи.

«Старшая моя, должно быть, уже замужем, — скливно подумал Федор. — А младшая? Может быть, еще невеста, и Клавдия ее готовит к свадьбе. А Клава?.. А ей за что такое? Вдова при живом муже. А может, она посчитала меня убитым?.. — сердце зашлось холодом. — Нет, такого не должно быть, Клава ждет меня. Ждет», — громко проговорил он.

Закрыв глаза Федор, всего себя как бы собрал в кулак и сказал: «Не ной, солдат, не грехи пустыми мыслями, не смей думать о Клаве худо, не смей! Грех это».

Собрал себя в кулак Федор, изгнал греховные мысли, подумал, что готовится к свадьбе и Сабех: уже поговаривают об этом — и в шутку, и всерьез. А что? Пора. Вон какой молодец!.. Внуки пойдут, обрадуют Жакыза, Гошехан. Они будут счастливыми дедушкой и бабушкой. Помогай им Аллах.

И еще подумал Федор: взял бы Жакыз да на радости и отпустил меня. Иди, мол, на все четыре стороны. Нашел бы я из всех четырех сторон одну, которая привела бы к своим, привела бы домой.

Мишид жалобно взвизгнул, прижимаясь к ногам Федора.

— Что ты хочешь? И вчера скулил весь день, и сегодня. Что с тобой? Или недоброе чуешь?

Похолодело под ложечкой у Федора. Прошло больше недели, как Сабех уехал...

Федор перекрестился: «Спаси, Господи, и помилуй посланного в службу раба Твоего Сабеха. Он еще совсем

молодой, он ни перед кем и ни в чем не провинился. Пусть минуют его пули и штыки, верни его нам живым и невредимым... Если, не дай Бог, Жакыз один вернется оттуда, если погибнет Сабех — горе мне будет великое. Господи, сохрани и помилуй — русских и черкесов. Смягчи сердца православных и мусульман, дай, Боже, им всем свое великое милосердие».

Федору показалось, будто его кто-то окликнул. Глянул — никого. Прислушался — тихо.

«Что за наваждение?»

Был жаркий день. Случаются в конце лета иногда такие знойные дни, словно бы лето перед уходом сердится и жжет землю, жжет все живое, как бы чувствуя свою обреченность.

Федор расстегнул ворот рубашки и зашел в тень от скирды, где, растянувшись во всю длину, лежал Мишид и шумно дышал.

— Что, брат, жарко? Очень жарко. Сяду и я. Нехорошо мне что-то — по-русски почему-то заговорил Федор Данилович. Заговорил и удивился: — К чему бы это? А все из-за тебя, Мишид. Вчера поскуливал, нынче — опять. Может быть, ты просто приболел, а?

Мишид, похоже, понимал упрек Федора и смотрел, смотрел виновато.

— Ладно, не сердись, это я так. Должно быть, от такой жары у меня настроение плохое, у тебя тоже. — Федор дружески потрепал Мишида по загривку.

— Фидур, а Фидур! — позвала его от калитки Айшет. — Ты что, решил изжариться? Духотища ведь — дышать невозможно. Ты же мужчина, мог бы пойти на речку, в прохладной воде искупаться.

— Добро пожаловать, соседка, — направился Федор к калитке, — ты права, можно изжариться. Кукуруза и та не выдержала — совсем высохли листья. На речку, конечно, хорошо бы, да, наверно, будет нехвата. Люди подумают что-нибудь плохое. Куда это он пошел, скажут, когда хозяина нет дома.

— Должно быть, ты прав, Фидур. А что там в огороде, в кукурузе? Ты так долго туда смотрел. Считал, что ли кукурузные початки?

— Ты все шутишь. Заходи, заходи, Айшет.

— Если зовешь, почему же не зайти. А Гошехан дома?

— Дома.

— А чего-то ее не слышать.

— В такую жару, наверно, не хочет выходить.

— И то правда. Не буду ее беспокоить. — Она все еще стояла по ту сторону калитки, словно бы не знала — зайти или нет. По-женски тоскливо смотрела она на Федора. И беспокойно.

Тело ее молодое, крепкое, будто и не женщина, будто еще совсем юная девушка. А глаза ее звали Федора. Звали застенчиво, робко, стыдливо.

Видел это Федор. Нехорошо у него стало на душе. Нехорошо, а все ж сказал:

— Ну, чего ты стоишь на улице? Заходи, Айшет. Гостьей будешь, — сказал это и запнулся: кто он такой, чтобы звать в этот дом гостью? Пленник. Невольник. — Заходи же! — почти приказал и застыдил. Своих чувств застыдил, увиденных, понятых Айшет.

Она опустила глаза.

Федор покраснел. Как-то ослабли его ноги, будто на них были надеты колодки, давно валявшиеся в сарае.

— Отдыхает Гошехан. Да и тебе не надо на такой жарыце маяться. Иди в тень, Фидур.

— Да. В тень. А то — заходи. И у нас есть тень.

Гнев блеснул в ее красивых темно-карих, широко распахнутых глазах:

— Почему же это я должна заходить? Или ты не мужчина, Фидур?

— Зачем ты так говоришь, Айшет? Разве я не бывал у тебя в гостях, не пробовал твой хлеб-соль?

— Я не об этом говорю, Фидур! Совсем не об этом, и ты хорошо понимаешь, но... Как знаешь!

— Не надо, не надо, Айшет. Зачем этот большой грех тебе и мне...

Айшет, резко повернувшись, не оглядываясь, ушла.

Федор растерянно смотрел ей вслед...

Бродил еще в Федоре хмель молодости. Несколько раз ему снилась Айшет. Она так жарко, так крепко обнимала его, что он задыхался в ее объятиях, с большим

трудом вырывался из них и просыпался весь в холодном поту. Конечно, ему страшно было подумать, что он может изменить Клаве, но страшнее этого была мысль: а если Айшет понесет, если родит ребенка, который будет не черкесом, не русским, расти будет без отца! Его ребенок...

Было еще и другое: Гошехан как-то не то в шутку, не то всерьез сказала:

— Ты, Фидур, говоришь, что Бог один на всех людей, говоришь, что ваша вера и наша очень близки, так почему бы тебе не принять мусульманство? Сразу всем нам стал бы родным, все в ауле так бы уважали тебя! — и, сощурившись, тихонько добавила: — На Айшет женился бы. Она же нравится тебе, я вижу... И Айшет смотрит на тебя и радоваться не может.

Изменить Клаве — грех. Правда, некоторые мужчины без особого раздумья знают с чужими женщинами, но то дело Федору не подходило. Но принять мусульманство, изменить своей земле, своей вере?! Нет, нет и нет!

Жгла Федора своими взглядами Айшет, и он подумал: как хорошо было, когда не заживала рана на ноге, когда носил он тяжелые колодки. Этой-то физической тяжести ему сейчас и не хватало.

XI

Закончился полуденный намаз, правоверные неторопливо покидали мечеть, а эфенди Каймет все еще сидел и продолжал шептать молитвы.

Закончил молиться и Карох. Поднялся, чтобы уходить, и эфенди, не открывая глаз, сказал:

— Подожди немного, Карох. У меня к тебе есть дело.

Сказал и продолжал шептать молитвы.

Карох опять опустился на колени и решил повторить еще раз полуденную молитву. Хотел, однако не получалось:

«Что это я ему понадобился? Какое у него может быть дело ко мне?»

Начинал молитву и опять сбивался: «Он что — собирается молиться до очередного намаза? И я тут должен сидеть с ним рядом? А у меня дома дел невпроворот. Мы с ним вдвоем только и остались в мечети. Помилуй меня, Аллах».

Шевельнулись узкие плечи Каймета. Вздрогнули веки глаз.

Еще помолчал эфенди, посидел неподвижно, будто статуя, а потом неторопливо закрыл Коран, погладил его сафьяновую обложку обеими руками. Встал, положил на махраб-полку. Сдержанно, даже торжественно поклонился. Не оборачиваясь, спиной вперед сделал несколько шагов, постоял, склонив голову, и лишь затем обернулся к Кароху:

— Да будут во славу Аллаха наши молитвы, Аминь.

— Аминь, — отозвался и Карох.

Опять эфенди постоял молча, лишь потом заговорил:

— Дело, о котором я хочу с тобой поговорить, неудобно обсуждать в мечети — в святом доме Аллаха. Давай выйдем и там поговорим.

— Твоя воля, эфенди, — смиренно ответил Карох.

— На все, Карох, воля Повелителя всех наших мыслей и слов, всех наших дел — Великого Аллаха. — Предупредительно подчеркнул эфенди Каймет. Во всем Его святая воля.

На площади у мечети уже никого не было — заспешили правоверные к своим земным делам, к неотложному крестьянскому труду. Мелькнули и скрылись за углами улиц последние мужские папахи, только неподалеку от мечети сидели на завалинке два седобородых старика, опершись подбородками на посохи, глядя своими старческими, выцветшими глазами вдаль — за зубчатый лес, за снежные вершины гор.

Лениво побрехивали собаки.

Корова промывчала, петух прогорланил.

В дальнем конце аула грянуло несколько выстрелов. Взъярились собаки, в каждом дворе — из конца в конец Заурхабля.

Эфенди Каймет поморщился:

— Что это еще такое, что за баловство в такое время?!

Карох прислушался:

— Да не только стреляют, там музыка, балалайка играет... Это, должно быть, у Дудая.

Лицо Каймета хоть и узкое, не скажешь — откормленное, однако ухоженное, с хорошим румянцем, вот на этом холеном лице мелькнула тень недовольства, раздражения.

— Правоверные в это время должны быть в мечети или у себя дома молиться, а они — вон что! Стреляют, веселятся! — Мимо проезжал верховой. Каймет поднял руку: — Сбегай, парень, узнай, что там происходит, кто стреляет. Хорошенько все разузнай.

— Дудай вроде бы и человек порядочный, мусульманин правоверный, а такое затеял. Что с ним стряслось?

— Стряслось! — гневно блеснули глаза Каймета. — Будто ты не знаешь: буза, будь она проклята, должно быть разгорячила Дудая. Беда вползла в наш благословенный Аллахом аул.

Вернулся всадник:

— Там все у них хорошо, Каймет. Сидят мирно, весело. Хорошо у них!..

— Что ты мелешь?! — еще пуще рассердился эфенди. — Кто стрелял?

— Дудай, — виновато ответил верховой. — Он просто так... У них там, говорю, мирно, хорошо.

Видя, как рассердился эфенди, расстроился и Карох из-за своего товарища, хотел сказать эфенди что-нибудь в его защиту, но тот опередил:

— Вместо того, чтобы стрелять по гяурам, этот несчастный Дудай расходует попусту свинец.

— Он там не один, — добавил всадник. — Там Жакыз и этот... гяур Фидур.

— Ну и чем же они занимаются, когда правоверные должны молиться Аллаху?

— Сидят за столом... Дудай палит из револьвера, а Фидур играет на балалайке.

— Все так и есть! — не унимал своего гнева Каймет. — Веселятся под гяурскую музыку. Шайтанская гадость вползла в наш аул, живьем портятся правоверные, пьянствуя, не соблюдая заповедей Аллаха. Будто с горы в пропасть катятся.

«Вон как разошелся Каймет», — подумал Карох и сказал верховому парню:

— Скачи ко мне домой и приведи сюда моего оседланного коня. Только быстренько, не мешкай... Я слушаю тебя, эфенди Каймет.

Опираясь на посох, неторопливо и как-то значительно пошел Каймет, будто он не просто сельский мулла, а очень важный, возвышенный над всем аулом, а может, и надо всею землей посланец божий.

— Ладно, Карох, — после долгого молчания уронил он, — в другой раз. Эти весельчаки своей сатанинской музыкой да пустой стрельбой сбили меня с толку. Хотел поговорить о невольнике Жакыза Пазадова, а видишь, что получилось... Веселит он их там, под его музыку они пляшут. О, грех какой! Великий грех. Помилуй нас, Аллах! Образуем своих непослушных детей.

Простившись с эфенди, Карох направился к подворью Дудая. Вскоре его догнал парень, ведя оседланного коня.

«В самом деле, нехорошо это, прав эфенди Каймет, — думал Карох, — но он еще не знает всего, что там могло произойти или происходит».

Карох знает, что Дудай уговаривал Федора сварить для него самогон. «Неужели он поддался этому, неужели сварил, и теперь пьянствует там. Может быть, и его напоили. Беда, беда.

Интересно, что он хотел сказать о Фидуре? И теперь вот — пожалуйста. Раньше-то бывало только хорошее и говорили о нем, мол, добрый человек, очень заботливый, старательный и умелый работник. Скромный, тихий. А теперь?! Пьянка под его музыку, самогонка... Помилуй нас, Аллах Всемилостивый!»

Подскакал Карох к воротам Дудая.

Все так и есть: пир горой! Вон сколько мальчишек сбежалось поглазеть. Нависли на плетне.

Под старой раскидистой грушей за накрытым столом вальяжно сидели Жакыз и Дудай. Немного в стороне Федор с балалайкой в руках. Рядом с ним — пиала с бузой. С бузой, а не самогоном, это издали уже увидел Карох и облегченно вздохнул.

Жакыз был, как говорят, выпивший, а Дудай — пьяный. Федор трезвый, и этому Карох обрадовался.

Поднялся Дудай с рогом в руках. Покачивался слегка:

— Эфенди не любит выпивать, а я люблю. Он не любит меня, наверно, за это... Да, не любит он меня, а я выпью за его здоровье. Я выпью, а ты, ты сыграй за его здоровье!

— захохотал Дудай. — Только веселую, слышишь? Только нашу, говорю!

Хохотал раскрасневшийся Жакыз, глядя как пьяный Дудай опрокидывал в себя хмельное.

Мальчишки и девчонки визжали от восторга. Они, должно быть, впервые видели такое, разгульное, впервые слышали балалайку.

«Нехорошо, нехорошо, — в отчаянии подумал Карох, — детишки видят это безобразии. Нехорошо».

Допил бузу Дудай, тяжело выдохнул из себя, поморгал очумело:

— Маладэс, Фидур, сапсим маладэс! — на ломанном русском языке похвалил Дудай. Потом сказал по-черкесски: — Я тоже молодец! Посмотри, все до дна выпил за здоровье нашего уважаемого Каймета... А на тебя я в обиде. Первое, сам знаешь, за что, не уважил мою просьбу, не сделал са-мо-гон, а второе — ты не хочешь со мной выпить бузы.

— Отстань от него, Дудай, — сказал Жакыз, пусть он играет, а мы с тобой выпьем.

— Не отстану! — угрожающе сказал Дудай. Набывчившись подошел к Федору, взял пиалу с бузой. — Хоть ты и зять мой, Жакыз, а я все равно тебя не послушаюсь. Нет — и все! Ну-ка, поднимись, Фидур, возьми пиалу и выпей. Слышишь? А не выпьешь! — он вытащил из кармана револьвер, выстрелил вверх. — Я тебя, гяурское отродье!..

Ветром пронесся Карох через двор и стал перед Дудаем:

— Ты что?! Спятил совсем?! Отдай револьвер, ну!

Отшатнулся Дудай, испугался — так внезапно и угрожающе встал перед ним Карох.

— А? Что? Это ты, Карох? Откуда ты взялся, а?

— Отдай револьвер!

— Возьми, если хочешь... В нем уже все равно нет зарядов. — Робким теленком сделался Дудай.

Карох взял револьвер и сунул его в дупло груши.

— Наконец ты пришел, Карох, — поднялся ему навстречу Жакыз.

— Как это — наконец пришел?

— А так. Мы послали за тобой, ждали тебя. Верно я говорю, Дудай?

— Верно. Ждали. Посылали, — промямлил Дудай и снова протянул Федору пиалу с бузой.

— Не надо, — отстранил его руку Жакыз, — я же тебе сказал не приставай, мой пленник не будет пить бузу. Он вообще человек непьющий, не то что мы с тобой.

— А что — мы с тобой?

— Пьяницы, — ответил Жакыз.

— Правильно, пьяницы. Нет — веселые люди, — уважительно согласился Дудай. — Если не считать нашего святого эфенди, наш Фидур прямо ангел. Настоящий ангел. Вот только не выпивает... Да, нехорошо это... Поиграй нам, Фидур, не сердись на меня.

— Я совсем не сержусь, — облегченно вздохнув, ответил Федор. Благодарно улыбнулся Кароху.

— А чего это вы праздник себе устроили в будний день да еще во время намаза?

Дудай налил полную пиалу бузы, пододвинул к Кароху:

— Выпей, потом мы тебе все объясним.

— Вы же знаете, что я непьющий, зачем насилуете, в грех вводите?

— Знаем — непьющий ты, знаем, но теперь ты должен выпить. Обязательно! Хоть самую малость, но должен. Потом мы тебе все объясним, да...

— Нет! — стал сердиться Карох. — Что ты пристал ко мне?

— Зря, Карох, зря, — с сожалением качнул головой Жакыз, щелкнул языком. — Вчера такое произошло на нашей земле, такое произошло у нас с Дудаем! Неужели ты ничего не слышал?! Весь Заурхабль об этом знает и говорит.

— Сегодня в мечети было очень много людей на полуденном намазе, я там был до самого конца и ничего особенного не слышал, — возразил Карох.

— Конечно, где вам за молитвами узнать, как бьют гяуры наших людей, как разоряют аулы, — укоризненно заговорил Жакыз, — а вот парни из Бечхабля — настоящие джигиты, истые мусульмане — они веру нашу с оружием в руках защищают, а вы!

— Послушай, Жакыз, что ты все вокруг да около ходишь, скажи прямо, что случилось? Почему в будний день вы устроили попойку?

Дудай поднял руку:

— Подождите, подождите. Расскажи Кароху, все расскажи... Тогда он и поймет нас с тобою, тогда не откажется к нам присоединиться. Давай!

— Хорошо,— согласился Жакыз,— садитесь. Расскажу... Вчера, во время утреннего намаза, когда вы молились в мечети, мы с Дудаем, вместе с двумя десятками парней из Бечхабля, напали в лесу на солдат. Они там заготовливали дрова. Их было одиннадцать. Так вот, дорогой Карох, вы в мечети просили Аллаха о помощи правоверным мусульманам, а мы оружием служили Всемогущему Аллаху. Всех одиннадцать мы прикончили в лесу, не потеряв ни одного из своих. Теперь скажи, разве грешно нам выпить за такую победу, а?

С самого утра сегодня Жакыз и Дудай только и говорили о том, как они напали на солдат в лесу. Они праздновали свою победу, торжествовали. Стреляли из револьверов и ружей, требовали, чтобы Федор играл им на балалайке черкесскую музыку. Он тоже должен радоваться, должен торжествовать эту... победу!

Федор должен был молиться за упокой их душ, а эти заставляли праздновать победу. Его сердце скорбело, а они требовали веселой музыки. Он находился на дыбе и не знал, как быть, как примирить, примириться, как найти тропиночку, чтобы пройти по ней, никого не обидев, не оскорбив. Единственное, что у него было — молитва, и он ее про себя все повторял.

Господи, как обрадовался Федор, когда появился Карох! Федор не знал, что скажет Карох, но почему-то чувствовал в нем своего защитника.

— Ну так что, Карох? Ты выпьешь теперь за нашу победу? — спросил Жакыз, в упор глядя на Кароха.

— Нет! — негромко, но твердо ответил Карох.

— Что-о?! — нахмурился Дудай.

— Видишь ли, Дудай, понятно, если царские солдаты пришли и убивают нас, жгут наши селения, насилуют нашу волю, мы должны обороняться всеми своими силами, но... мы все дети одного Бога. Мы теперь разделены, грех разделил нас, только там, на небесах мы воссоединимся, как повелит Аллах. Я не знаю, да и никто, пожалуй, не

знает, как это будет, но обязательно будет, ведь наша жизнь на грешной земле — только короткая минутка перед вечностью. На любом могильном холмике — будь это могила друга или врага — грешно учинять пляску, осквернять ее, грех великий веселиться по поводу смерти... Так я думаю. Да, мы обязаны защищать свою землю, себя и свою веру, но это, не веселый, а скорбный труд. Надо чаще нам ходить в мечеть, чаще и усерднее молиться Аллаху.

— Что он говорит?! Жакыз! — изумился, а потом и вовсе растерялся Дудай.

— Есть, есть в его словах доля правды. Дудай,— глухо ответил Жакыз.— Смерть — она всегда беспокоит честного человека, тревожит. Даже на могиле мертвого твоего врага ты не сможешь затеять пляску...

— Пройдет время,— продолжал Карох,— закончится война, заруют в нашей земле братьев, отцов наших, в этой же земле заруют и врагов. Все будем лежать в одной земле. А еще я хочу вот что сказать. Тридцать два человека напали на одиннадцать. Какие храбрецы! Они же дрова там рубили. Так что, празднуйте эту победу сами, а я пойду.

Вконец растерялся Дудай, а Жакыз рассвирепел и сорвал зло на Федоре:

— Ты чего тут расселся, чего уши развесил?! Или дома делать нечего!..

Федор поднялся и, улыбаясь в усы, ушел.

ХII

Не унимается Айшет, все выхорашивается перед Федором, ему трудно с собой справляться, но справляется — лишь только начинает она ему сниться, он тут же просыпается.

А вот те парни, что рубили дрова в лесу, тяжким обвинением легли на его душу. Ведь можно сказать, он на их похоронах играл для Жакыза и Дудая на балалайке веселенькие песенки!

«Грех-то какой. Боже, какой тяжкий грех я возложил на свою душу!»

Каждое утро и вечер Федор доставал из-под подушки складень, ставил его раскрытым на столе, опускался на

колени и молился: просил у Господа милости для павших одиннадцати солдат. Но перед ним вдруг возникали падающие от его метких выстрелов черкесы, бегущие по горящему аулу женщины и дети. Господи, Господи!

Три дня и три ночи беспрестанно шел холодный дождь, будто небо исходило слезами, тосковало по ушедшему лету.

Деревья, казалось бы, к приходу зимних холодов должны одеться потеплее, а они начисто оголились, их тоненькие веточки беспощадно трепал ветер, секли холодные дожди.

Еще недавно шумели на лугу зеленые травы, а теперь они пожухли, ветер пригнул их к земле и дождь неистово хлестал и хлестал.

Всего лишь несколько дней назад красовался одетый в золото и пурпур лес, а нынче слиняли его краски да и сам он весь затерялся на горах и холмах в дождливой хмари.

И речка будто охрипла, простудившись на осеннем холоде — не звенели больше ее воды, а уныло шумели.

Заурхабль с минаретом и камышовыми крышами домов притих, покорившись осени. Даже собаки и коровы не подавали своих голосов, как бывало летом. Петухи — уж на что задиристые и неунывающие существа — и те не выходили под дождь, голоса их были приглушенными, тусклыми.

У Федора тоже на сердце хмарь.

Он лежал на тюфяке, набитом соломой, подложив руки под голову, и тоскливо смотрел на потолок. Хотелось бы просто так лежать, ни о чем не думать, да ничего из этого не выходило: ему казалось, что он живет сам по себе, а его мысли — сами по себе и делают с ним, что хотят, и невозможно с ними справиться, избавиться от них...

Огонь в печи давно погас, и она остывает, отдает свое тепло, хоть как-то пытаясь побороть осеннюю стужу. Этого-то и было вполне достаточно Мишиду — он растянулся у самой печки и сладостно дремал.

Утро уже продвинулось к полудню, а в комнате все еще было сумрачно, будто и вовсе солнца не было над землей.

Вспомнился Федору тот бой, когда ранило в ногу. Жакыз замахнулся кинжалом, чтобы прикончить Федора, но его окликнул Карох. Федор тогда не понимал по-черкесски, но позже узнал: Карох пристыдил Жакыза, мол, стыдно убивать раненого, безоружного.

«Карох, зачем ты это сделал?! — тяжело вздохнул Федор. — Если бы там прикончили меня, не пришлось бы столько мук перетерпеть, не нагрешил бы столько, а был бы, как каждый воин, погибший на поле боя, прощен Господом и жил в вечности, в раю жил бы. Господи, зачем ты оставил меня, почему отказался от меня?.. Неужели кончилось Твое милосердие к людям, к неслухам и грешникам? Почему ты молчишь, Господи, почему не скажешь мне Свое доброе отеческое слово? Скажи мне, что отдаешь мое слово обратно, и я сегодня же убегу отсюда. Пусть лучше убьют, чем оставаться здесь, терпеть соблазн несчастной Айшет, мучиться сомнениями — ведь жалко мне и наших ребят, и трижды несчастных черкесов. А еще, Господи, каково мне пять раз в день слышать муэдзина, призывающего правоверных к молебну, видеть, как молятся люди чужой веры. Я не против, нет, Боже мой, но сердцем, душою как мне все это переносить. И в храме Твоем уже сколько лет не был — не исповедывался, не причащался. Почему ты ко мне безжалостен?.. Почему?..»

Кинулся, упал Федор на колени перед иконой. Слезы горькой солью обожгли губы.

Три земных поклона.

Трижды истово перекрестился.

Борода Федора почти вся уже седая, лишь кое-где остались темные пряди — остаток молодости. Но куда она делась та молодость, которую он и рассмотреть-то хорошенько не успел. И голова поседела, жиденькими стали волосы, а были-то, были какими — не всякой гребенкой расчешешь!..

Притих у порога Мишид. Положил морду на передние лапы и виновато смотрел на Федора, ощущая свою вину перед ним.

Костяшки колен стали болеть, поясница заныла. Долго стоял Федор на коленях, сам этого не ведая, только боль и напомнила. Стал подниматься. Затебли ноги, не разогнешь, того и гляди, подогнутся, не удержат тела.

Все-таки Федор размял совсем отяжелевшие ноги, добрался до глинобитной тахты. Отдышался. Невесело улынулся Мишиду:

— Ну что, приятель? — Обрадованно взвизгнул Мишид. — Ну что? Может, пойдешь, погуляешь? Сходи, милый, сходи. Погляди, не пришел ли кто чужой в наш двор — ты ж наш сторож. А я печку расшурю, а то совсем потухла, становится прохладно.

Зашумело в печи пламя, загудело. И в голове Федора гудело, он все еще никак не мог успокоиться, куда податься, что делать?

Федор понимал, что хромая нога, седина и морщины на лице — это следы тяжелой ноши, следы трудных военных лет и неволи, но главная его слабость — духовная. Священник как-то говорил Федору, что для христианина в греховном мире главное — покаяние, молитва и пост. О посте и речи не могло быть, ведь он ест то, что ему дает хозяйка, а если сказать ей о посте, сказать, чтобы давала в нужные дни постную пищу, она может очень обидиться, ведь получится, что она будет угождать чужой вере. А вот покаяние и молитва — в его воле, в его желании и стремлении. Федор решил: с сегодняшнего дня станет обязательно молиться три раза в день, обязательно вспомнит молитву покаянную, и сердцем станет молиться, а не просто проговаривать слова и креститься.

Скрипнула дверь.

Вошел Сабех с незнакомым Федору мужчиной. Рослый, ростом повыше Сабеха, плечами покрепче.

Федор усмехнулся:

— Это ты, Сабех, а я подумал — Мишид, подумал, вот молодец, сам научился дверь открывать. О, да ты не один, с гостем! Входите, милости прошу.

Незнакомец пристально, будто насквозь прошел, осмотрел Федора и спросил:

— Это ты и есть — Фидур?

— Это я. Добро пожаловать. Черкесы меня так называют, а в самом-то деле я — Федор Данилович Анаскевич.

— Я — Джамбеч Дагужий. Если ты слышал что-нибудь об ауле Наджикохабль, так я оттуда родом.

— Наджикохабль говоришь?

— Да. Наджикохабль, а ты что, бывал там, что-нибудь знаешь о нем? — прищурившись, спросил Джамбеч.

Бывал Федор в Наджикохабле. Ночью их рота напала на аул и сожгла дотла.

Вспомнил Федор, как горели дома, сараи, овчарни, как бегали люди, спасаясь от пуль, огня, от яростного пожара. Вспомнил и подумал: а знает ли Джамбеч, что в ту ночь я был в ауле. Зачем он пришел?..

— Ты молчишь, Фидур?

Федор пожал плечами.

— Потемнел ты почему-то лицом, Фидур... Ваши солдаты спалили Наджикохабль. От него остался один пепел, да и тот ветер развеял, по всей земле развеял.

Сабех указал гостю на табурет.

Сел Джамбеч.

Сел тогда и Сабех.

Федор стоял перед ними, будто перед судом, который сейчас вынесет ему жестокий приговор. Обязательно вынесет, обязательно жестокий. Но Федору не было страшно, потому что приговор тот — справедливый, приговор, который вынес он самому себе.

— Был ты там, вижу я. Не знаю только, хватит ли у тебя мужества признаться в этом, — продолжал Джамбеч. — Ну, что стоишь? Садись.

— О каком мужестве можно говорить в этой... проклятой войне, — присаживаясь, мрачно сказал Федор.

— Это верно. Ты солдат, мужчина, а не таракан, который забивается в щель, как самый последний трус. Карох правильно сказал: ты порядочный и справедливый человек.

— При чем тут Карох? — удивился Федор, почувствовал, как невидимая и неслышимая пуля пролетела мимо него.

— Мать Джамбеча и жена Кароха — родные сестры, — пояснил Сабех, с любопытством и настороженностью, даже с тревогой слушавший этот разговор.

— Вот как? — неопределенно сказал Федор, ожидая, что же будет дальше, все-таки зачем приехал Джамбеч?

— Он вчера вечером приехал к Кароху по своим делам, а заодно решил и повидаться с тобой, — продолжал объяснять Сабех.

— Спасибо, что пришел, и еще раз спасибо, если пришел с добром,— сказал Федор.

Борода и усы у Джамбеча смолисто-черные, а зубы ярко-белые, в черных глазах — печаль и боль. Федор подумал: есть ли на этой красивой, богатой и солнечной земле люди без печали, без страдания в глазах? Обязательно были, но эта долгая война сделала свое мерзкое дело.

— Ты, Фидур, сказал: «спасибо, если пришел с добром». В наше время, на нашей земле? Если бы я встретил тебя в бою, показал бы какой острый у меня кинжал, какая горячая пуля в моем ружье, но вонзать кинжал в уже убитого кабана — не по-мужски это. Если поразмыслить, так ты просто тень от того человека каким был.

— Зачем же ты оскорбляешь меня, человека, который не может тебе ответить,— горестно упрекнул Федор.

— Не оскорбляю: разве можно обижаться на горькое только за то, что оно и в самом деле горькое, на бритву за то, что она острая, на кровь, что она соленая?..

— Нам надо поторапливаться, Джамбеч,— позвал Сабех,— а наш Фидур — добрый человек.

— Так все говорят в Заурхабле, но что мне делать, если я не могу назвать добрыми тех, кто убивает моих сестер и братьев, кто сжег мой дом. Нет, не могу... Не забывай, что ты был среди тех, кто жег и грабил наши аулы.

— Если бы я забыл это, гость, то искал бы щель, чтобы спрятаться, затаиться. Я не хочу и не могу забыть, затаиться, не имею права никого из вас обвинять, я обязан по-мужски нести свою тяжесть этой проклятой войны. Только я должен нести, а никто иной.

— Ну вот, Фидур, а ты сказал, дескать, о каком мужестве можешь говорить. Можешь, это я тебе сказал, ты — мужественный, настоящий мужчина. И не думай, что я пришел отомстить тебе — нет, я просто хотел посмотреть на тебя — безоружного, униженного. Да и я, как видишь, вошел к тебе без оружия. А еще: хочу спросить — ты казак?

— А чем я похож на казака?

— Борода, усы, как у казаков.

— Я — русский, северянин.

— А зачем носишь бороду с усами?

— У меня нет бритвы. Да и привык я уже.

— А хочешь, Фидур, я побрею тебя, а? — весело спросил Джамбеч.

— Я не против.

— Тогда иди умой лицо, водичкой смочи его, водичкой! — и Джамбеч, достав оселок, стал точить кинжал.

— Э! Не надо, гость дорогой, не надо! — вдруг воскликнул Федор.

— Почему? — удивился Джамбеч.

— Извини, пожалуйста, но я не могу!

— Да почему же?

— Без разрешения хозяина — не могу.

— Как это? — развел руками Джамбеч.— Не мужчина ты, что ли?!

Улыбнулся Федор:

— Ты же сам сказал, что я всего лишь тень того человека, каким был когда-то.

— Другое, сказанное Карохом, тоже верно. Он сказал: Фидур — мудрый человек.

Федор смущенно пожал плечами:

— Спасибо, но... я не знаю, в чем состоит моя мудрость.

— В том, чтобы люди об этом сказали, а не ты сам.

Очень доволен был Жакыз, когда Сабех рассказал ему историю с Фидуром и его бородой:

— Ничего не скажешь, верный человек Фидур, иначе я бы не стал его держать. Да еще и колодки снял, и за стол с собою сажаю. Ну-ка, парень, приготовь бритву. Фидур, а Фидур, иди-ка сюда,— позвал Жакыз с крыльца.

— Я слушаю тебя, хозяин. У тебя ко мне дело?

— Очень важное,— лукаво улыбнулся Жакыз.— А что это у тебя в руках?

— Свистульки. Видишь — птички.

— Зачем?

Фидур посвистел:

— Ребятишкам соседским забава.

— Хорошо, но они ж нам покоя не дадут своим свистом.

Придумай им что-нибудь другое.

— Можно,— согласился Федор.— Мальчишкам лошадок наделаю, а девочкам — кукол. Свистульки тоже хороши. Да и приятный у них голос. Пусть их.

— Ладно, пусть,— согласился Жакыз.— Я слышал, что тебе надоела твоя борода. Хочешь, мы ее сейчас сбреем?

— Хочу.

— Тогда возьми тазик, горячую воду и намыливай бороду. Мы ее сейчас уберем, все увидят, какое у тебя хорошее лицо, а то оброс, будто лесовик дикий.

ХШ

— Гошехан, иди-ка сюда скорее! — позвал Жакыз, стоя у окна.— Да скорее же ты!

— Мамалыга подходит, не могу отойти от печки. А что там такое происходит?

— Ты посмотри, Айшет с Фидуром любезничают,— посмеивался Жакыз.

— Эка невидаль — они там уже больше часа стоят.

— А ты все защищаешь Айшет. Посмотри, посмотри, как она весело смеется! Чуть плетень не свалила,— осуждающе сказал Жакыз.— Правду говорят, вожжи существуют не только для того, чтобы управлять лошадьми. И кнут — тоже.

— Ну, чего ты разошелся, отойди от окна, а то глаза свои повредишь,— рассмеялась Гошехан.— Нехорошо это — подсматривать. Да еще такому пожилому и уважаемому человеку, как ты.

— Да что там я, весь аул видит их... А наш Фидур без бороды и усов прямо-таки молодцом выглядит! Да подойди же ты, посмотри на них! Айшет тоже, когда разговаривает с ним, молодеет, прямо расцветает, румянится.

— Слушаю я тебя, Жакыз, смеюсь, а у самой что-то беспокойно на душе.

— Почему? — насторожился Жакыз.

— Не знаю. Разве у тебя не бывает на душе тревожно, а почему-то не поймешь.

— Бывает,— согласился Жакыз и перестал улыбаться.

Недаром говорят, что даже в самой веселой шутке есть капля горечи. Жакызу показалось вдруг, будто что-то уходит из его рук, что-то отнимают у него. Да нет же, нет, успокаивал он себя: дом — мой, хозяйство — мое. И конь, и бык, и петух, и индюк. И солнце над моей усадьбой —

мое. Гошехан — жена моя верная, Сабех — славный сын. Все в порядке... Вон как им весело, как им хорошо... А что сказал бы Ахмед, если бы увидел это? А может быть, и видит со своей небесной высоты и мучается? Бедный Ахмед. Но почему у него, у Жакыза, сердце разгорячилось, почему? «Я не позволю этому гяуру, не позволю!» — воскликнул про себя Жакыз и понял, почему тревожится, глядя на Айшет и Федора...

— Ну что они там? Все любезничают? — нервно спросила Гошехан.

— Да, все милуются.

«А ты чего пялишь глаза, что ты там потерял?!» — хотела воскликнуть Гошехан, но сдержалась, нельзя с мужем так разговаривать, но как унять себя? Помешивая мамалыгу, недовольно сказала:

— Огонь в печке совсем потух, дров нет, а мамалыга еще не сварилась.

— А? Дров, говоришь, нет? — С трудом оторвавшись от своих дум, спросил Жакыз.— Пусть Сабех принесет.

— Нет дома Сабеха,— с трудом сдерживаясь, проговорила Гошехан,— он ушел к Дудаю.

— Тогда я принесу.

— Ты принесешь, а он там будет любезничать?! Совсем Фидур распустился, совсем от рук отбился!

— Успокойся, Гошехан, не стоит по пустякам сердце свое рвать.

— По пустякам?! Хорошенькие пустяки! Несчастной Айшет проходу от вас нет!

— Что значит — от вас. Ты говори, да не заговаривайся! — строго прервал он жену.

— Я сказала — «от вас»? — спохватилась Гошехан.— Просто вырвалось. Я о гяуре говорю.

— Вот видишь, ты опять — гяур, гяур, давно я не слышал от тебя этого слова.

— Да, что-то не в себе я. Аллах Всемилостивый, помилуй меня грешную.

Гошехан вышла на крыльцо, позвала:

— Фидур, а Фидур! Ты где?

Он вышел из-за угла:

— Здесь я, хозяйка, слушаю тебя. Айшет позвала, так я к ней на минутку отлучился.

— Что там у нее? Дело какое к тебе? Или что-нибудь случилось?

— Нет, у нее все хорошо.

— Зачем же тебя позвала?

— Ножик попросила наточить. Говорит, совсем затупился: не только мясо не порежешь, а и картошку не почистишь. Вот я и наточил.— Федор показал брусок.

— Это хорошо. Много в доме мужских дел, а кто ей бедной поможет. Спасибо тебе, что помогаешь... Жалко мне ее. Видишь, как в этом мире получается: молодая, красивая, при хозяйстве, а счастья нет — одна-одинешенька, не с кем словом перемолвиться, грусть-тоску разделить не с кем. Разве не согнутся от такой тяжести женские плечи! Наверно, потому Айшет и стала такой говорливой, просто удержу нет.

— Тяжелая это штука — одиночество, я по себе знаю. Правда, у меня хоть балалайка есть, хоть с нею тоску разделяю. А что Айшет делать? Вот и стала говорливой. И еще я тебе должен сказать, хозяйка, она сильная женщина: при таком-то положении уметь пошутить, не показывать свою тяжкую долю.

— Это правда, сильная женщина, не падает духом,— согласилась Гошехан,— я бы, должно, не вынесла такой тяжести.

— И то надо сказать, повезло Айшет, что у нее такие соседи, как мы,— это уже сказал вышедший из дома Жакыз.— Печка твоей хозяйки совсем потухла, а мамалыга еще не готова. Принеси дров, Фидур.

— Выбери там, посуше которые,— попросила Гошехан.

Настроение, оно бывает иногда, как ветер — дунул он с худой стороны, худо на душе, дунул с другой — и нет ничего худого.

Вот как сейчас у Гошехан: поднялось у нее настроение.

У Жакыза — тоже. Поправил он кинжал, наборный серебряный пояс, игриво похлопал по голенищу плеткой и спустился с крыльца.

Солнце выглянуло, потеснило яркими лучами осеннюю хмарь.

Куры завохтали, старый индюк угрожающе распустил крылья и прокурлыкал, дескать, убирайся, петух, с моей

дороги! А петух взлетел на плетень и назло индюку озорно прокукарекал.

Завернул Жакыз за угол.

Но куда делась Айшет? Стоило уйти Фидуру — ее и след простыл, будто только и есть во дворе один Фидур, с обидой подумал Жакыз.

Но вот вышла Айшет, белье стала развешивать на веревке. Ветер баловался, то приподнимая подол ее платья повыше колен, то прижимая к крутым ее бедрам, к молодой, крепкой груди.

Дух захватило у Жакыза, жаром загорелось лицо. И он представил себя у нее в комнате. А почему бы и нет? Ведь они соседи — мало ли какие дела у них могут быть.

Все спиной да спиной она стояла к нему.

— Убирайся отсюда, Мишид, чего ты тут развалился?! — громко сказал он, чтобы привлечь ее внимание.

Она оглянулась, но так посмотрела, словно бы и не видела его.

«Ты посмотри! — про себя воскликнул Жакыз.— Гордячка! И с чего бы это?! Или у меня усы хуже, чем у других, или плечи слабые, не мужские, или не джигит я на коне?! Может быть, Айшет застеснялась, что на ней такое легонькое платье, которым так озорно играет ветер? Да, но Фидура она не стеснялась!..»

Ушла в дом Айшет. Вот бы теперь пойти за нею следом, бросить ее на кровать, сорвать с нее это платьишко!..

Закружилась у Жакыза голова.

Болталось на веревке белье: ее рубашки, платья...

— Ох, этот проклятый гяур! — со злостью сказал Жакыз.— Он задурил ей голову. Она готова любезничать с ним с утра до вечера. Из-за него, мерзкого, Айшет не обращает на меня внимания! И как знать, может, он уже и ночевал у нее, а они только прикидываются недотрогами. Что он, что она. Прикидываются! То простачком он прикидывается, то изображает из себя добрячка — добрее самого их гяурского бога! А сам хитер и лукав, недаром наиб о нем говорил, мол, он хитер, как змея подколотная. Но он и другое говорил, мол, умный, мудрый твой Фидур. Каймет сначала косился на него, видеть не хотел, поди ты, тоже похваливает, говорит, хорошо бы его в нашу веру

перетянуть. Да, да! Перетяни, он тут же женится на Айшет, заграбастает своими ручищами. А все из-за Кароха, это он тогда не позволил мне прикончить его. Дружат они, ближе него у Кароха и нет никого. Я вижу это, вижу. Уж не собирается ли сам Карох перейти в их веру? В веру, может, и не перейдет, но дружить будет. Хитер и умен Фидур, Айшет с ума сводит, ну погодите вы у меня! Легок на помине — явился, не удавился.

Федор, с граблями на плече, направлялся к калитке.

— Куда ты собрался, Фидур? — сбивая свою злобу, спросил Жакыз.

— Бурьян у нас с улицы над плетнем разбушевался. Хочу выдрать его да расчистить землю.

— Хорошо придумал.

— Ты только уходи, хозяин, а то стану выдирать, пыль подниму.

— Ничего, на то я и крестьянин, а не белоручка. Мы ко всему привычны. А что я хочу у тебя спросить. При Гошехан не стал, не бабьего ума это дело. Скажи, о чем вы таком важном говорили целый час с Айшет. Если секрет, можешь не отвечать.

— Да какой тут секрет.

— О чем же тогда! — насторожился Жакыз.

— Кому же еще скажу, если не тебе, хозяин.

— Спасибо, уважил.

Федор посмотрел своими светлыми глазами. Улыбнувшись посмотрел во двор Айшет.

— Ну? — вопросительно посмотрел на Федора. И, странное дело: два года они живут вместе, а Жакыз только сейчас вдруг рассмотрел хорошенько своего пленника. Оказывается, Фидур, хоть они и были одноклассниками, выглядел намного моложе Жакыза. И симпатичен он, симпатичен — бритым лицом, и глазами, и улыбкой, и статью, если бы не хромяя нога — просто красавец. «Конечно, эта бабенка потому и любит его, хочет понравиться ему». — Если тебе не хочется говорить, я не буду настаивать, — сказал Жакыз, а сам еще больше насторожился.

Федор, доверчиво глядя в глаза хозяину, подумал: «Чего это он добивается от меня?»

— Посмотри на крышу сарая Айшет.

— Ну?

— Видишь, какая там дыра зияет? Солома состарилась, ветер растащил, разлохматил ее...

— Я давненько заметил это, подумывал: надо бы помочь бедной вдове.

— Она стеснялась прямо попросить помощи, потому и виляла, как лиса, хвостом. Да все с шуточками, прибауточками. — Рассмеялся Федор: — Начала подсмеиваться над девчонками, передразнивать, как они пели, плясали, посмеивалась над их нарядами, над тем, как они неумело заигрывали с парнями... А еще говорила о разведенках, о том, как те хорохорятся, увлекают в свою греховность...

— А сама она?! — резко перебил Жакыз. — Сама не увлекает?

То ли Федор не понял намека Жакыза, то ли не захотел понимать:

— О себе сказала, что танцевать она будет только на свадьбе Сабеха. Она ж, и правда, не ходит на игрища. Говорит, нечего мне там делать.

— Пусть ее слова дойдут до Аллаха, пусть все будет по Его святой воле, — искренне обрадовался Жакыз.

— Попляшем, ух, как попляшем на свадьбе Сабеха. Я научусь танцевать по-вашему, но и свою «барыню» покажу, — сказал Федор.

— Очень интересно! — воскликнул Жакыз. — По-вашему — понятно, а как по-вашему? Показал бы, Фидур.

— Ишь ты! Показал бы! Как же это — ни с того, ни с сего? Нужно, чтобы сердце возвысилось до радости. Вот Сабеха научу играть на балалайке, тогда под его музыку и дам трепака.

— Как ты сказал?

— Трепака. Танец такой есть у нас.

— Сабех что — согласился научиться играть на твоей гяурской трехструнке?

— Напрасно ты так, Жакыз... Музыка она и есть музыка. Хоть ваша черкесская, хоть наша русская — душа не может без музыки.

— Может быть, ты и прав, а скажи: как с хромой ногой плясать станешь? Да и кто тебя научит?

— Хромая нога тоже хочет иногда повеселиться, показать себя... Айшет сказала, что обязательно научит меня, чтобы я сплясал на свадьбе Сабеха.

— Она обещала?

— Да!

«Я рад, что вы собираетесь танцевать на свадьбе моего сына,— сказал про себя Жакыз.— Да приблизит Аллах эту радость моего дома, моей семьи, радость всего рода Пазадовых! Пусть у Сабеха будут девочки, пусть будет много мальчишек. Джигитов! Не без Твоей воли, о Великий Аллах, Фидур завел разговор о женитьбе Сабеха. Во всем Твоя святая воля. Трудно жить в этом греховном мире, очень трудно, но Ты даешь нам радость. Мы благодарим Тебя за то, мы славим Тебя. Конечно, прав Фидур: люди не могут жить без радости, без веселья, как земля наша не может без солнца, без светлого неба, без пения птиц».

— Ну если Айшет обещала, значит, ты научишься нашим танцам, непременно научишься!..

Весь день Жакыз жил мыслями о предстоящей свадьбе Сабеха. Ему даже виделись будущие девчушки и мальчишки. Много мальчишек — продолжение рода Пазадовых!

Совершив вечерний намаз, Жакыз повесил на стенку намазлык¹, сделанный из шкуры белого козла.

Что такое?! Тревога царапнула сердце Жакыза. Он увидел в окне Айшет свет.

Эге, подумал он, может, она там «учит танцевать» Фидура. Сейчас, сейчас пойду посмотрю.

Тихонько, чтобы не потревожить Гошехан, вышел во двор.

Темно, туманно было, слякотно.

Мерцал огонек у Айшет.

Жакыз было направился к калитке, но некая сила удержала его: сначала пойдй посмотри, возможно, Фидур дома, а ты такой грех возводишь на них.

Подумал так и твердыми шагами он направился к калитке, однако не совсем твердыми: «Не зайти ли мне к Айшет? Может, мне кажется, что она соблазняет Фидура, может, только показывает, а сама ждет меня?»

Дошел до калитки, и отяжелели ноги. Вернулся, поднялся на свое крыльцо.

¹ Намазлык — циновка, на которой совершается намаз.

XIV

Процаеться осень с летом, встречается с зимой. Последние ясные дни, первые звонкие денечки зимы. Последний теплый дождик, первый ледок на лужицах, первый веселый снежок, который роится над полями и селениями, украшает чистотой и белизной слякотную землю.

Вот и сегодня — тепло и солнечно, светло и грустно — то ли это последний погожий день, то ли неожиданное окошко в грядущую зиму.

Хороший денек, а у Федора — пасмурно на душе.

В долине Кужипса, в ауле Кайхабль каждую неделю собирались щедрые осенние базары, и Федор ездил туда с кем-нибудь из Пазадовых, чтобы купить нужное к готовящейся свадьбе, то ли с Айшет, чтобы помочь ей купить и привезти припасы для зимы.

Веселое это занятие — покупать разные разности. И здешние товары, черкесские, и привезенные Бог знает откуда. Случалось, из Турции, из Грузии, даже из Персии. А уж про российские и говорить не приходится. Грузенные разностями приезжали повозки, запряженные быками, лошадьми, а то и верблюдами. Вон откуда!

Приятное это занятие — потолкаться на базаре, делать разные покупки. Особенно для свадьбы! Не жалел денег Жакыз для своего единственного сына, а потому и покупались шелка и парча, сафьяновые сапожки и кашмирские шали, кубачинской работы кинжалы и разная посуда.

Не так уж богата была Айшет, а тоже хотелось угодить, хотелось показать себя на свадьбе подарками. И не только подарками — покупала для себя наряды, чтобы выглядеть перед людьми достойно.

Осенние базары, осенняя щедрость: и благодать, и красота во всем несказанная! Ароматные краснобокие яблоки, увесистые кисти винограда, что вроде бы лоза и не выдержит их. А душистые дыни, привезенные из далекой степи, полосатые арбузы, помидоры в два кулака каждый — сама степь пожаловала сюда!

Приедет Федор с базара и не знает, куда деть себя: нечего ему делать в огороде, в поле, в лесу. Один на один с самим собою, со своей тоской, со своей обреченностью.

Долго бродил неприкаянно Федор по двору, ища себе какое-нибудь занятие: хоть что-нибудь убрать бы, почистить. Поправил висевшие на веранде связки перца, чеснока и кукурузы.

Мишид тоже бродил за ним с тоскливо опущенным хвостом, не знал, чем помочь Федору. Раз-другой лизнул ему руку, тихонько, сочувственно взвизгнул.

— Ну что, Мишид? И тебе скучно, а? Пробежался бы по аулу, может, нашел бы себе друга или подругу.

Мишид помахал хвостом, попытался быть веселым, но ничего не выходило.

Прилег Федор грудью на плетень и стал смотреть на дальние горы, на белоснежные вершины — сегодня они были видны очень хорошо, будто находились совсем рядом.

На темно-синем небе они выглядели такими яркими, что соперничали, кажется, с солнцем.

Федор бывал в горах много раз, но на белоснежных, заоблачных вершинах — нет. Наверно, поэтому они кажутся ему таинственными, недоступными. А сегодня он даже подумал, что за теми белыми горами нет ничего, там конец земного мира, там вечность. Федор знал, что за теми горами Грузия, Турция, знал, но не принимал, ему хотелось считать те недостижимые белые вершины концом света.

Странное желание, но так ему хотелось...

Почему сегодня Жакыз не взял его на базар? Должно быть, потому что поехал с Айшет? Или по какой другой причине? Ладно, если бы то был русский базар — Жакыз мог бы поопасаться за Федора, но базар-то черкесский? Да и как же он не побоялся оставить его одного? Без колодок, с ногой, которая уже хорошо зажила. Что случилось? Дудай?

Он все время пристает к Федору с самогоном. Не дает проходу: сделай да сделай. Может, очень даже может Дудай наговорить по злобе что-нибудь Жакызу. И не только Жакызу, эфенди Каймету, аульчанам нашепчет, тогда и вовсе жди беды.

Подумал Федор и другое: не наказал ли Жакыз Дудая присматривать за ним? Э-э, что ж это я так! Разве можно ни с того, ни с сего на человека вину возводить?..

Чей-то кот появился во дворе. Обрадовался Мишид, с веселым лаем кинулся на кота, но тот только хвостом махнул и исчез за плетнем.

— Неумеха ты! Разжирел, неповоротливым стал. Ну да ладно. Крышу-то Айшет мы починили. Видишь, очень хорошо сделали. Постой, постой, — обрадованно воскликнул Федор. — Что это мы с тобой ленью маемся, а дрова, посмотри, как срамно сложены — вкривь и вкось лежат. Вот мы их и сложим как следует быть.

Федор развалил поленницу, что у стены сарая, и стал неторопливо складывать, подбирая полено к полону.

Полено к полону, полено к полону. И мысли стали у него плестись: одна к другой, одна к другой.

«Интересно, Жакыз собирался меня взять на базар в казачью станицу, — подумал Федор. — Переводчиком взять. Очень любопытно, как я встречу со своими русопятами, как они посмотрят на меня? А что им смотреть? Если бы я был им нужен, давно бы выкупили. Господи, как это будет, как выдержит мое сердце! А если они скажут, чтобы я ушел к ним? Как мне быть, Господи, ведь я слово дал Жакызу, что не убегу от него, пока он сам того не захочет... Может и не взять, может, я уже у него в недоверии. Это и лучше, коли не возьмет — не придется мне страдать в сомнении. И еще соблазн есть, горький, страшный соблазн, перейти в мусульманство. Но другие-то решаются, несколько человек из наших приняли мусульманство, поженились на черкешенках и живут-поживают. Каймет и меня уговаривает. Хочет свести с теми русскими, что переметнулись в мусульманство, но я противлюсь, Боже, ты сам это видишь. Спаси, сохрани и помилуй меня грешного.

Муэдзин возвестил о времени полуденного намаза.

— Вот видишь, Мишид, дровишки сложили, любо-дорого поглядеть, а теперь помолимся и мы. Мусульмане молятся, помолюсь и я перед обедом.

Вымыл руки, умылся холодной водой, взбодрился и пошел к себе.

Помолился у складничка.

— А теперь печку затопим сухоньким хворостом... Ух, как он ярко горит, ух как хорошо!

Пообедал Федор, поблагодарил Бога и хотел немного подремать, но передумал. Взял балалайку. Потренировал, потренировал, как бы раздумывая, что сыграть, что положить на свою душу — грусть или веселье. Вспомнил песню, что уже здесь, на Кавказе, выучил. Поручик один часто пел, Федор и ухватил ее. «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он... О юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом...»

Голос у него с хрипотцой, негромкий, но, как говорят, задушевный. Недопел он — Мишид с громким лаем кинулся к калитке.

Вышел Федор: Каймет приехал.

Заспешил Федор ему навстречу, принял повод коня:

— Добро пожаловать, милости просим, уважаемый Каймет, — не без волнения приглашал Федор: «Зачем он приехал, что случилось?»

Увидел эфенди озабоченность Федора и поспешил его успокоить.

— С добром я к тебе пожаловал, Фидур. Благословен дом твоего хозяина, и да будут наши молитвы, обращенные к Аллаху, милостью ко всем вам!

— Аминь, — сказал Федор.

— «Аминь» тоже хорошо Фидур, но лучше будет, если ты скажешь «Аллах акбар!» — сказал Каймет, слащаво улыбаясь.

— Прости меня, эфенди, но я не могу следовать твоему совету. Хорошо ли будет, если христианин станет произносить мусульманскую молитву, а мусульманин — креститься?... Хорошо ли это будет, уважаемый эфенди?

— О! Ты прав, Фидур, — обрадованно сказал Каймет, а обрадовался он, потому что Федор как бы сам начал разговор о том, зачем приехал сюда эфенди. — Я поторопился с советом... А что это у вас так тихо, будто дома никого нет?

— В Кайхабль уехали. На базар. Там, говорят, нынче будет большой привоз.

— Всей семьей уехали?

— Да. И Айшет с ними.

— То-то, я смотрю, Жакыз и Сабех не пришли на утренний намаз в мечеть.

— Похоже, у тебя, эфенди, к ним большое дело?

— К ним?... Да нет, я к тебе приехал.

— Что ж, добро пожаловать, Каймет, заходи. Вот сюда проходи, посидим у сарая в затишке. И солнышко тут, спокойно, хорошо.

Федор подал Каймету табуретку, сам сел на другую.

— У Аллаха все места хороши, Фидур. У него кругом затишок, солнышко хорошее, — приветливо и с достоинством сказал Каймет, садясь на табурет. — Главное, мы всегда должны помнить, что находимся на виду у Аллаха, всегда и везде с Ним.

— Что верно, то верно — мы всегда на виду у Господа. Всеми нашими помыслами, нашими делами.

— Я знаю, Фидур, ты — глубоко верующий человек, ты верен своему Богу, — говорил Каймет, а про себя думал, молил Аллаха: «Ты всемогущ, помоги мне из этого гяура сделать правоверного мусульманина. Он крепок своим характером, если примет нашу веру, будет Тебе верным, и мне зачтется за мое доброе дело». Так он думал, а вслух продолжил: — Ты помнишь, Фидур, мы на днях говорили с тобою, да кто-то перебил наш разговор, вот я и приехал, хочу закончить тот важный разговор... Один очень образованный эфенди, я бы даже сказал — ученый, богослов, объяснял мне: важнее всего не то что ты делаешь, а во имя чего, с каким намерением, с какой мыслью делаешь. Я все присматривался к тебе и понял: ты человек твердой веры, твердых помыслов и намерений и очень близок исламу. Ты живешь с нами, тебе некуда деться от нас...

— Прости, эфенди, что прерываю тебя, твои мудрые мысли, но...

— Ничего, ничего, говори, чтобы я лучше понял тебя.

— Ты сказал, мне некуда деться.

— От нас некуда деться, сказал я и с твоего согласия поправлюсь: от Аллаха некуда деться.

— Все очень правильно, мне и незачем куда-то деваться — я всегда в Боге. Он всегда во мне, мы неразлучны... Теперь о том, зачем ты пришел. Скажу, не кривя душой, не хочу переходить в мусульманство, не хочу уходить из своей святой веры.

— Я и не собираюсь тебя заставлять: упаси нас Аллах от насилия, особенно от духовного насилия.

— Мудрые слова. Я всегда говорю: Бог один, просто по-разному молимся Ему, по-разному соблюдаем Его святые заповеди, значит, ничего особенного не случится, если я перейду в мусульманство — ведь я не перестану молиться Ему, Единому. Даже пять раз в день буду опускаться на колени, пусть усерднее, горячее станут мои молитвы...

— Ах, как ты прав, Фидур! — почти радостно воскликнул Каймет.

— Однако, уважаемый эфенди! — Федор поднялся, стал перед Кайметом. — Однако! У вас и у нас говорят, что отца и мать свою, молитвенно почитай своих предков, которые одарили тебя твоей святой верой.

— Верно! Верно! — встал и Каймет.

— Но я буду самым последним из всех последних, если послушаюсь своих отцов, отрекись от их заветов, от их веры. Даже, если я захочу перейти в другую веру, как мне услышать благословение моих отца с матерью, которых уже нет в здешнем мире? А как бы ты, уважаемый Каймет, отнесся к тому, кто ушел бы в христианство? Скажем, Сабех или Жакыз, Айшет или Гошехан.

— Что ты говоришь, что ты такое говоришь, упаси меня Великий Аллах от противного Тебе словоблудия!.. Не будем горячиться, Фидур. Садись, поговорим, подумаем.

Сели. Помолчали.

— Начал я с тобой этот разговор еще и потому, что многие из твоих соотечественников, единоверцев, из видных ваших людей поменяли свою веру, приняли мусульманство. Но сначала несколько слов скажу еще вот о чем. Сколько раз — три или четыре раза — возил тебя Жакыз к твоим, сколько раз хотел вернуть им тебя? За какие-то тысячу рублей! Оказывается, ты не стоишь их, этих несчастных денег. Оказывается: им наплевать, что ты, христианин, страдаешь среди иноверцев. Не возражай, не надо, Фидур. Не нужен ты своим однополчанам — это еще ладно, но ведь твой духовный наставник и защитник тоже отказался от тебя. И ты не один такой. Я привез тебе письмо от твоего соотечественника, принявшего нашу веру.

— Кто это? — взволновался Федор. — В том письме есть для меня добрая весть?

— Конечно, добрая. Зачем бы я принес тебе новое страдание. Вовсе не за этим пришел к тебе с благословения Всевеликого Аллаха.

— Скажи, кто этот человек? Если письмо для меня, то давай его сюда.

— О, уже подошло время предвечернего намаза, мне пора идти в мечеть... Письмо я тебе потом отдам — не будем торопиться, нельзя торопиться в таком деле.

— И все же!

— Скажу — письмо от Теофила Лапинского.

— Как-как?

— Теофил Лапинский.

— Он русский? Но я не слышал о таком.

— О полковнике Лапинском не слышал? Странно. Впрочем, он воюет на нашей стороне, как и многие англичане, французы, турки, венгры. Лапинский — полковник польской армии. Когда мы назвали ему тебя, кажется, он ответил, что знает.

— Знает меня?! — удивился Федор и подумал: «Здесь что-то не так. Польский полковник, знает меня, а воюет на стороне черкесов. Что-то не так, хотя... Наша фамилия — не вологодская. Анаскевич». — И что он пишет в том письме?

— Откуда мне знать, если оно написано по-русски. Пишет полковник Теофил Лапинский, а по-нашему его зовут Тефикбей, он принял мусульманство. Возьми письмо, почитай, да и мне скажешь, о чем он там пишет.

Разволновался Федор. Вздогнуло его сердце тревогой и надеждой.

Развернул письмо.

«Любезный соотечественник!

Я слышал от людей, достойных доверия, что ты, Федор Анаскевич — верный сын великого польского народа, великой Польши.

С волнением спешу Вам сообщить, что польские воины под моим командованием с сердечной радостью приняты черкесами, прибыли на Кавказ, чтобы отстаивать свободу и независимость истинных хозяев этой великолепной

земли, а также — свободу Польши, сражаясь с ненавистными нам русскими войсками.

Мы знаем, что у черкесов живет много солдат, не захотевших воевать на стороне москалей. Мы призываем этих воинов придти к нам, в наш отряд и сражаться против ненавистного врага.

Я уверен, наш отряд пополнится поляками, убежавшими из русской армии. Мы станем еще сильнее и зададим хорошую трепку москалям, покажем, чего стоит солдат, если он сражается за подлинную свободу, за свою честь и совесть, за славу своего Отечества.

Европейские государства помогают нам обмундированием, оружием и боеприпасами, наш отряд всем необходимым обеспечен наилучшим образом, а что касается питания, то мы от местных людей, от черкесов, имеем его предостаточно.

Ты, должно быть, слышал, что враг наш уже отвел и метких пуль, и силу пушек, и лихость наших сабель.

Дорогой соотечественник!

Если ты находишься у черкесов, если ты есть истинный сын своего народа, благословенной свободы, то приходи к нам. Здесь ты найдешь теплоту и любовь твоих братьев, уважение великого черкесского народа, его гостеприимство.

Если ты еще находишься в русской армии, то не торопись с переходом в наш европейский легион. Присмотрись сначала хорошенько к своим сослуживцам, сумей убедить их в твоих праведных намерениях, тогда и приходи вместе с ними.

О получении письма, о своих намерениях поспеши уведомить меня через подателя этого письма. Думаю, ты сам знаешь, что надо быть постоянно начеку, соблюдать военную предосторожность, в тайне от врага блюсти свои истинные цели.

Да хранит тебя Господь и Бог Матерь Божия, покровительница всех поляков!

Полковник Т. Лапинский¹

¹ Т. Лапинский. Горцы Кавказа и их освободительная борьба. Описание очевидца Теофила Лапинского /Тефикбея/, полковника и командира польского отряда в стране независимых черкесов, в 2-х томах. Е. Ф е л и ц ы н. Князь Сефер бей Зан — политический деятель

Федор, еще когда читал, знал, что ответит Каймету, однако, дочитав его до конца, и так повертел в руках, и эдак, вроде бы спокойно размышляя, вроде бы серьезно думая над прочитанным.

Каймет сидел рядом с Федором, нетерпеливо ерзал на табурете и, наконец не выдержав, спросил:

— Ну? Что тебе пишет Тефикбей, если не секрет?

— Эта бумага, уважаемый эфенди, написана не одному мне, а многим солдатам. Секретов в письме нет, но оно очень серьезное...

— Да не тяни ты, Фидур, а говори прямо.

— Прямо и говорю. Полковник Лапинский обращается к полякам, которые находятся в плену у черкесов, которые состоят в русской армии. Он призывает их в свой отряд, чтобы воевать против, как он пишет, москалей.

— Это понятно, — выходя из терпения, опять прервал Федора Каймет.

— А тебе-то, что он тебе предлагает? Что ты думаешь об этом?

— О чем? — все играл Федор.

— Валлахи! О предложении полковника!

— А ты разве читал его письмо? — улыбнувшись, спросил Федор.

Смутился Каймет:

— Как я мог его читать, оно ж написано по-русски, но... мне говорили, что там написано.

— Вон оно что. Видишь ли, эфенди, моя фамилия ввела в заблуждение полковника. Она многих смущает, многие думают, что я из поляков, хотя я исконно русский, из самых своих корней. Давным-давно мой прадед был крепостным у польского шляхтича, тот ему и дал свою фамилию — Анаскевич. Так с тех пор и живем... Иным людям важно знать, кто ты есть: русский, поляк или еще кто. А я думаю, важнее всего, кто ты по духу своему есть. По духу должны люди родниться. Еще сам наш Спаситель, Иисус Христос, говорил: для Господа нет ни эллина, ни варвара, ни иудея, все они — дети его.

и поборник независимости черкесского народа.— Кубанский сборник. Том X.— Екатеринодар, 1904 г.

— Ты даже вон что знаешь! — удивился Каймет.
— Чего ж тут такого, каждый христианин Евангелие читает, а там все и сказано.

— Мудро это, а все ж, ты пойдешь в войско Тефикбея? У него не только поляки, есть и русские, которые за нашу свободу воюют. Это пленники вроде тебя, а другие так просто сами по себе, по-своему убеждению из русской армии перешли к Тефикбею.

— Много, говоришь?

— Ну-у, не считал, но, должно быть, много.

— Не верится, чтобы истинно русские, чтобы многие из них предали Отечество. Есть, конечно, разные люди: одни по несчастью, другие по непониманию, а третьи — так те вовсе просто ничьи.

— А ты? Что скажешь ты полковнику Лапинскому, христианину?

— Какой же он христианин, — возразил Федор, — коли стал Тефикбеем. Что касается меня, не пойду я к нему, — твердо сказал он.

— Почему? — пока еще спокойно произнес Каймет, хотя к его сердцу уже начал подступать гнев.

— Я черкесов не хочу убивать, эфенди Каймет, так как же пойду убивать своих единокровных братьев, единоверцев. Грех это большой. Аллах знает, что я прав, — убежденно ответил Федор.

— Вот как?! — воскликнул Каймет. Удивленно взметнулись его тонкие, по-женски в ниточку красивые брови. — Хитер ты, Фидур. Не знаю даже, разгневаться на тебя или удивиться. То, что ты сказал, конечно, не без ведома Аллаха, не без Его святой воли. Над твоим телом мог бы я и... но над сердцем твоим волен только Аллах. Видит Он, Всеведующий, исполнил я свой долг, как мог. На днях Тефикбей приедет к нам в аул, пусть он сам и разговаривает с тобой, тут уж его будет воля — милосердие или что другое. А над тем, о чем мы с тобою позавчера не договорили, хорошенько подумай. Перед иноверцем, принявшим нашу веру душою своею, врата рая раскрываются самим Всемогущим Аллахом. Ты ведь говоришь, что Бог один на всех, значит, и рай один на всех, и ад — тоже. Не знаю, как там у тебя, в твоей армии, посмотрят, что ты сдался нам в плен,

что был много лет у нас, работал, служил нам. Ой, могут тебя сильно наказать. Смотри, Фидур, не ошибись. Хорошо подумай.

— Да, в этом греховном и брэнном мире все возможно. Я обязательно подумаю, — проговорил Федор просто так, чтобы отделаться от Каймета.

— Ты мудрый человек. Мне хочется добавить: не обольщайся солнцем, красивыми снежными вершинами гор, цветущими садами, потому что настоящий свет, настоящая красота и радость постоянны и вечны только там, куда нам надлежит придти навсегда... Ну вот, муэдзин уже зовет нас на молитву. Пойду, пойду к правоверным, предстану пред очи Аллаха.

XV

Скоро в Заурхабле будет большая свадьба. Всем свадьбам свадьба!

Жакыз не пожалел денег — пусть все увидят, как благополучны Пазадовы, как широко умеют жить!

Сабех — настоящий джигит, верный и преданный сын своих родителей, достойный наследник старинного и славного рода Пазадовых.

А невеста!

Скоро ее привезут из Бечхабля, и войдет она в дом Пазадовых не только как красивейшая среди красивых, но и одна из самых именитых невест во всей Черкесии — дочь предводителя Верхней Абадзехии Хатырбая Цея. Он не только славен в Абадзехии, а и по всей Черкесии, даже по всему Кавказу знают его имя, знают его дела во благо многострадальной древней земли адыгов. На что наиб Магомет-Амин крепок и силен в своей власти, а не только уважает Хатырбая Цея, но и побаивается его, и этим очень довольны адыги, довольны тем, что Цей на свое место ставит хитрого чужака, не дает ему слишком возноситься... На днях он выговаривал Жакызу по поводу Федора, дескать, почему он не заставит своего пленника идти служить в легион Лапинского. «Мой пленник, и я волен поступать с ним, как захочу, а не как скажет пришелец из Дагестана, мнящий себя всемогущим, — царем,

видите ли, он хочет быть! Вот станем мы с Цеем родственниками, тогда и вовсе попробуй подступишь к нам, к Заурхаблю!»

Очень доволен был всем этим Жакыз, хорошее у него было настроение, когда шел домой.

Легко и весело шагало ему.

Счастливый Жакыз, счастливая Гошехан, говорили в Заурхабле, какого славного сына вырастили, какую невестку себе отхватят! Счастливые и удачливые Пазадовы еще и тем, что работник у них очень хороший. Хоть и немного хромает на одну ногу, да в работе по хозяйству любому не уступит. И вроде бы чужой он, а как все его уважают в ауле. Прими он нашу веру, стал бы самым желанным для любой вдовы.

Счастливый Жакыз, счастливый!

Что верно, то верно, поэтому и шагало ему по аулу легко и весело, на виду у всех.

Что это? Гармонь у него в доме играет что ли? Жакыз даже приостановился, прислушался: не почудилось ли?

Нет, не почудилось — гармонь наяривала плясовую.

Что такое, кто посмел и почему! — возмутился Жакыз и прибавил шаг. Чуть ли не бегом пустился. «Эй, успокойся, не суетись», — сказал он себе и сбавил шаг — ведь плясовую играет гармонь. Уймись».

Мишид бросился ему навстречу — веселый, как и музыка, довольный, что увидел хозяина.

Во дворе он позвал Федора, но тот не откликнулся. Открыл дверь и застыл на пороге: Гошехан играла на своей старенькой гармошке, а Федор и Айшет всю плясали. Легкой и изящной была Айшет, а Федор прихрамывал и был несколько тяжеловат и неловок.

— Да не маши ты руками, — командовала Айшет, — и плечи подними, не горбись. Ну, ну! Голову тоже держи выше, не надо ничего на полу искать. Ну, веселей!

Жакыз захлопал в ладоши:

— Маладес, Фидур, ай, маладес! — воскликнув по-русски, добавил по-адыгски. — Веселее играй, старуха, шире меха, растягивай!

Смутились Гошехан с Айшет, Федор виновато смотрел в сторону, боясь встретиться взглядом с Жакызом.

— Ну чего вы остановились! Валлахи, ты молодец, Фидур! Когда же успел так выучиться, а?!

— Ты лучше у меня спроси, Жакыз, я тебе и расскажу. После, а сейчас давай станцуем. Гошехан, играй! — раскраснелась, будто расцвела Айшет.

— Не могу, я устала, Айшет. Да разве Жакыз станет танцевать под мою музыку!

— Верно говоришь, Гошехан, с чего это я буду плясать? Фидур, понятно, учится, а я с чего пушусь в пляс?

— Как это — с чего! Раз музыка играет, значит, надо плясать. Играй, Гошехан!

— Да отстань ты от меня! — нарочито, но мягко сердилась Гошехан.

— Ну, не сердись, сыграй, мы с Фидуром спляшем.

— А чего ж не сплясать — пусть хозяин посмотрит, чему научила меня Айшет.

— Видел, видел. Хорошо научила. На свадьбе очень удивятся, хлопать Фидуру будут больше всех, скажут, видишь, по-нашему отплясывает, значит, уважает нас.

— Да, ему будут хлопать, а ботинки свои, пока учила, я разбила, — засмеялась Айшет.

— Ничего, — сказала Гошехан, — невестка, как принято в таких случаях у нас, тебе купит новые.

— Надо две пары, — продолжала шутить Айшет, — одни вместо моих изношенных, другие в подарок, в благодарность. Как ты думаешь, Жакыз, подарит невестка две пары сафьяновых башмаков?

Жакызу не понравилась шутка и он, недовольно скривившись, сказал:

— Обязательно подарит. Три пары.

Федор увидел неудовольствие Жакыза и счел нужным удалиться:

— Спасибо тебе, Гошехан, за музыку, тебе Айшет, за науку. Пойду я.

— Побегу и я, — сказала Айшет, — расплясалась, а у самой курятник не закрыт, в сарае двери открыты. Пойду. Проводив Айшет до крыльца, Гошехан быстро вернулась, спросила:

— Что слышно, Жакыз? Есть какие-либо новости, а?

— У нас без новостей не бывает. Если нет их, так все равно выдумают. Иногда такое выдумают, что ни в какие

ворота не пролезет,— Жакыз, вздохнув, махнул рукой и сел на диван.

— Тебя что-то тревожит, Жакыз. Что случилось?

— Ничего не случилось. Просто болтают, болтают. Уши бы заткнуть и не слышать.

Больше спрашивать мужа Гошехан не решилась, нехорошо это, попытаться. Отошла к окну и как бы сама себе сказала:

— Дудай уже который день не показывается.

— Уехал Дудай.

— Куда?

— Говорят, наиб его позвал.

— Интересно, зачем наибу понадобился мой брат? — удивилась Гошехан.

— Вроде наибу пожаловались, что Дудай много пьет бузы, пьяным показывается на людях, непристойно ведет себя.

— Как это — непристойно?

— Ну-у, нехорошо как-то, некрасиво.

— А наибу что — больше делать нечего, только и заниматься такими вот делами, за этим что ли он приехал из Дагестана?!

— Он всеми делами занимается. Всеми, Гошехан. Он — предводитель, посланец имама. Самого Шамиля.

— Хорошо, если бы всеми,— невесело сказала Гошехан.— Но если всеми, то разве у нас в ауле пьет бузу только мой брат? Если этот чужак такой чистый и правильный, то во всем надо быть таким, не делить людей на любимчиков и чужих! Думаю, Дудай не потерпит этого и правильно делает. А ты что думаешь, Жакыз? Неужели мы должны молча сносить эти обиды?

— Нет, не должны терпеть его произвол. Многие так думают в Заурхабле. А вот, как нам быть, пожалуй, никто толком не знает.

— Если вы, мужчины, не знаете, то откуда знать нам, женщинам? И еще мне хотелось бы узнать, кто донес на брата, кто подлизывается к наибу, предавая нас? Может быть, эфенди?

— Нет, что ты! — воскликнул Жакыз.— Каймет и в самом деле не любит, кто пьет бузу, но он не доносчик, он

порядочный человек.. Да и зачем ему хаять своих людей перед наибом. Тот ему же и сделает выговор: мол, плохо учишь правоверных законам Аллаха, плохой ты эфенди.

— Должно быть, Жакыз, ты прав, но тогда кто доносчик, кто хочет выслужиться перед наибом? Уж не Карох ли Тыганов?

— Да ты что, Гошехан?! В своем ли уме? Карох — один из достойнейших мужчин нашего аула, может быть, самый достойный. Он — мой друг. Не смей даже думать такое!

— Прости, Жакыз, мой бабий язык. Но ведь кто-то донес на Дудая. Кто?

— Очень бы и мне хотелось это знать. Доносить друг на друга — последнее дело, не мужское это занятие... Однако, ведь правда и то, что уж слишком Дудай приохотился к зелью... На свадьбе у нас будет много бузы и медовухи, но никто не должен там напиваться до непристойности. Ты уж как-то поговори с Дудаем. Но так, чтобы не обидеть его. Чужой напьется — не беда, но Дудай-то не чужой нам, ближе его у нас нет, ему подобает вести себя достойно.

— Я тоже думала об этом, Жакыз, тоже обеспокоена. Ведь брат он мне родной, моя душа за него болит. Упаси его Аллах, если он испортит нам свадьбу! Я обязательно поговорю с ним. Строго поговорю.

— Мы как-то еще можем и стерпеть эту обиду, а невестка? О-о! Хатырбай Цей обидится, если невзначай опозорим его. Ты понимаешь, нельзя!

— Аллах да поможет нам избежать такой беды.

— А где это наш парень, Гошехан?

— Недавно ушел. Сказал, по своим делам. Ты что вздыхаешь, Жакыз, что скрываешь от меня?

— А что я могу скрывать от тебя.

— Тебе лучше знать. Пришел в хорошем настроении, а теперь вот все вздыхаешь и вздыхаешь.

«Е-во-вой,— усмехнулся про себя Жакыз,— разве ты не видела эту смуглую, стройную, такую изящную, летавшую в танце по комнате! Конечно, зачем она тебе, зачем тебе замечать ее красоту. Совсем ни к чему. А мужчины и созданы, чтобы замечать таких... Что делать, что делать

мне! Лучше бы я оказался на твоём месте, Ахмед, чем грешить с твоей красавицей. Понимаю, какой это грех, да справиться с собой не могу. Знаю, строго спросит с меня за это Аллах, накажет, но... Зачем, о Великий Аллах, создаешь таких красавиц, зачем даешь мужчинам такие горячие сердца и совсем лишаешь их силы, чтобы устоять перед соблазном. Помилуй, прости меня...»

— Не всегда человек может объяснить свое состояние, — уклончиво ответил Жакыз, с трудом отогнав жаркие мысли. — Лучше покорми меня, если есть что готовое, очень я проголодался.

— Как не проголодаться, ведь ты с самого обеда ничего не ел. Я уже и Сабеха покормила, и Фидура, сама с Айшет перекусила. Садись, все у меня есть для тебя.

Пока Жакыз ел, Гошехан стояла возле печки, готовая услужить ему.

Ел Жакыз неторопливо, будто делал какое-то важное дело, с которым нельзя торопиться, нельзя делать несерьезно.

Ел и все поглядывал на жену. Ей уже пошел шестой десяток, для женщины это много, однако Гошехан, совсем не располнела, по-прежнему довольно стройна, подтянута. И лицом не очень состарилась — его еще не тронули глубокие морщины, некоторые только наметились. У нее был всего лишь один ребенок, Сабех, из-за частых и тяжелых болезней она не могла больше рожать, о чем горько сожалела, но судьба есть судьба — с нею не очень-то поспоришь. А какой она была девушкой! Лучше ее, красивее, изящнее и зажигательнее никто не мог танцевать во всей округе. Потанцевать с нею считалось большой честью. Всегда около нее вилось много парней, но Жакызу везло больше других. Случалось, она многим отказывала, предпочитая Жакыза. Ну и потом с женитьбой посчастливилось ему. Сколько было женихов, да каких! Из ближних и дальних аулов приезжали, чтобы увезти ее, да ничего у них не выходило — она ждала его предложения и дождалась, пока он построил свой дом, обзавелся хозяйством...

— Ну, так и будем молчать? — сказал Жакыз.

— Ну... Я не знаю, о чем говорить. Все у нас вроде бы хорошо, все идет своим чередом, слава Аллаху.

— Слава Аллаху, — повторил Жакыз, отодвигая от себя еду. — Будем надеяться, что свадьба пройдет хорошо, все будет ладно.

— Хорошо, что все пройдет до уразы... Но вот солдаты, говорят, начали наступать.

— Ну и что? Это вовсе не значит, что мы не должны сыграть свадьбу, — в голосе Жакыза появились сердитые нотки. Ему было неприятно, потому что жена сказала вслух то, чего ему не хотелось, чем он беспокоился и как бы отталкивал его от себя в сторону. Хотел даже прикрикнуть на нее, но сдержался. Вздохнул, покачал головой: — Ничего не поделаешь, не властны мы с тобой над этим. Да и недаром в народе говорят: у одного — свадьба, у другого — похороны.

— Упаси нас Аллах от беды! — воскликнула Гошехан. — И как у меня, у глупой женщины, всегда срысается с языка лишнее?.. Да я не одна — по всему аулу женщины говорят об этом. Не сердись на меня, Жакыз.

— Сердись, не сердись, ничего от этого не изменится. Жизнь, она такая: не поймешь, не разберешь, рукой не отведешь. Иной всю войну пройдет — ни царапины, а другой у себя дома, в мягкой постели неожиданно-негаданно умрет. У одного война всего лишь отодвинет на какое-то время свадьбу, а у другого совсем отменит.

— О Аллах, упаси нас!

— Одна надежда на Него. Все в Его великой воле, все в Его благословении. Вот и надо молить Всевышнего, на него надеяться. Так мы и поступим. До уразы почти месяц, а до свадьбы — и того меньше. Все, думаю, обойдется... А на тебя, я в обиде, Гошехан...

— О Боже! Чем же я обидела тебя, Жакыз?

— Чем обидела, — повторил Жакыз, лукаво поглядывая на Гошехан. — Ты больше месяца меня обижаешь...

— Аллах Всемиловитый, что он говорит?! Ну, чего ты смотришь и ничего не говоришь? В чем я провинилась перед тобою?

— Вот уже месяц, говорю, как я сплю в холодной постели, глядя в потолок, думая, есть у меня жена или нет? Разве это хорошо?..

Гошехан покраснела, стыдливо отвела взгляд:

— В этом все твои обиды, Жакыз? Бесстыдник, вот что я тебе скажу!..

— Я еще не так стар, как ты думаешь, у меня еще достаточно силы...

— Перестань, перестань,— замахала она обеими руками.— Стыдно это, стыдно.

— Э-э, оставь этот стыд себе. Мужчине на то и дана сила, чтобы он удовлетворял свои желания... Одним словом, ты приготовься, пока я не остыл.

— Перестань, пожалуйста! Сабех идет.

— Отвертелась! — рассердился Жакыз.

Коротки вечерние сумерки на Кавказе — будто быстроногая черная курица надвигаются они на землю. Пока Жакыз постоял на крыльце в раздумье, пока выходил со двора, уже стемнело.

— Пойду в мечеть, на вечерний намаз,— бросил он на ходу провожавшей его Гошехан.

Вышел со двора и направился в сторону мечети, однако, дойдя до угла улицы, свернул на левую сторону, а потом и вовсе подался тропинкой к дому Айшет.

Быстрее, быстрее, чтобы не встретиться с кем-нибудь. И полегче, помягче шагать, чтоб не было слышно...

Вот ее окошко. Стук, стук.

Тихонько скрипнула дверь.

Еще раз скрипнула — закрылась.

— Погаси лампу, Айшет,— почему-то шепотом приказал Жакыз.

— За тобой кто-нибудь гонится? — удивилась Айшет.

— Нет. Погаси лампу...

Улыбнулась Айшет:

— Дай хоть посмотрю на тебя.

— А то ты не видишь меня каждый день,— нервничал Жакыз.

— Во дворе, да у тебя в доме — это одно, а в моем доме, тайком — это совсем другое...

— А Фидур? — с подозрительностью глядя на Айшет, спросил он.

— Опять ты за свое,— горестно ответила она.— Не трогай ты его. Фидур — это совсем другое...

XVI

Федор Данилович встретил Кароха у калитки и, как полагается, приветствовал его:

— Кеблаг, Карох, добро пожаловать.

На крыльце показался Жакыз:

— Кеблаг, Карох, кеблаг! — хотя по обычаю считается неприличным одолевая гостя разными расспросами, Жакыз не удержался от искушения и спросил: — Ты почему пешком, почему не на коне?

Карох как бы не заметил этого:

— Валлахи, Жакыз, а мы уже давненько не виделись.

— Давненько, давненько.

— Пожалуй, с той поры, когда вы солдат лесорубов побили. Безоружных. Ловко вы их тогда...

Жакыз не понял намека Кароха:

— Давненько это было. Еще в самом начале прошлой осени... Но и после того мы еще несколько раз били их.

— Слышал, слышал,— с грустью согласился Карох.

— А не так давно, у-у, какое дело было! — воодушевляясь, продолжал Жакыз.— Я чуть было не привез Фидуру напарника, чуть-чуть не взял второго пленника. Уж больно громаден попался! Прямо-таки великан!

— Зачем он тебе понадобился, второй пленник? — сдерживая раздражение, спросил Карох.

— Как зачем?! Один пленник — одна победа, два пленника — две моих победы...

Федор, опустив голову, бледный, едва стоял на ногах, будто это его, раненого, добивал кинжалом Жакыз.

Карох тоже стоял, опустив голову. Наконец не выдержал:

— Хватит тебе, Жакыз!

— Чего — хватит! Чего?! — не то удивился, не то возмутился Жакыз.— Да, так было, да, я одержал победу, мой был верх над врагом!

— Хватит, говорю,— уже обессиленно попросил Карох и обратился к Федору Даниловичу: — Принеси, пожалуйста, стулья. Посидим на солнышке. Посмотри, какая благодать.

— Что ты выдумал, Карох?! — возмутился Жакыз. — Почему во дворе? Или мы не можем гостя принять, как следует? Проходи в дом, стол накроем, посидим.

— Спасибо, Жакыз, я знаю и высоко ценю твое гостеприимство, твою щедрость, но мне сейчас некогда рассиживаться за гостевым столом. Так, накоротке посидим на свежем воздухе, — сказал Карох и, выждав, пока Федор уйдет в дом за стульями, продолжил:

— Ты же добрый человек, правоверный мусульманин, зачем выставляешь напоказ свою жестокость да еще при несчастном Фидуре.

— Что ты говоришь, Карох! Я горжусь своими победами не только над нашими врагами, но и врагами Аллаха!

— Жакыз, нехорошо, грешно хвастаться тем, что убил человека.

— Как я тебя понимаю, тебе жаль их?

— Бой есть бой, там нет места жалости, когда ты сражаешься с врагом, пришедшим покорить тебя, захватить твою землю. Ты должен быть стойким, но и на войне есть свои законы. Грешно добивать уже раненного, а потом еще и хвастаться!

— Законы, законы! Какие там еще законы на войне, какие еще могут быть правила, как на войне убивать человека!

— Есть, есть законы, Жакыз. Законы чести, благородства, сострадания на войне так же есть, как и в обычной жизни. Мужчина всегда должен быть мужчиной, его сила должна быть благородной, даже возвышенной, тогда победа всегда будет на его стороне.

— Э-э, куда ты завернул! — возмутился Жакыз. — Уж не слишком ли ты мирно настроен к нашим врагам! Смотри, как бы не заржавел твой кинжал оттого, что ты слишком редко его вынимаешь, плохо точишь.

— Что ты хочешь этим сказать, Жакыз?! — вспылил и Карох Тыганов.

— А то, что сказал! — горячился Жакыз. Потом он спохватился. — Во-ви-и, Карох, что это с нами сегодня случилось? Чего это мы завелись? Нехорошо так.

— Валлахи, ты прав, Жакыз. Шайтан и черный бес нас подзадоривают на ссору, это их грязное дело. А вот и

Фидур идет со стульями... Как дела у тебя, Фидур, не обижает мой старый друг?

— Не пойму тебя, Карох, почему ты спрашиваешь об этом. Разве мой хозяин обижал меня когда-нибудь? Нет, у нас все хорошо. Живем и работаем дружно. Зайди в наши сараи, в загон, овчарню, в кладовые и увидишь — все у нас в порядке.

— Ну что?! — Жакыз торжественно посмотрел на Кароха. — Ты доволен, Тыганов? Слышал?

— Слышал, доволен, спасибо, мой старый добрый друг Жакыз.

— А ты заладил — жестокий, жестокий. Возьми свои слова обратно.

— Сегодня возьму.

— А завтра?

— Завтра будет новый день, значит, и новые дела. Верно я говорю, Фидур, как ты думаешь?

— Должно быть, верно. Мы знаем, что завтра обязательно солнце взойдет в голубом небе, а что будет под этим небом, не узнаешь. Новый человек на свет родится, а старый умрет, благодатный дождик пройдет, а может, и град упасть, выбить все.

«Вон он какой премудрый! Может, и в самом деле — офицер, как говорил Магомет-Амин. — Нет, — подумал Карох, глядя на Федора. — Сбрил он бороду и усы, а сейчас они опять у него отрастают. Чего это он надумал? Или просто бриться лень? А ему так лучше, — решил Карох, — выглядит как бы своим, кавказским. И просто — при бороде симпатичнее он выглядит. Вот только голубые, почти голубые глаза выдают в нем северянина. И печальные они у него — может быть, от роду, а возможно, неволя наложила свою печать. Одет он, хотя в старенькую, залатанную, но чистую одежду, видать с плеча Жакыза или Сабеха. И сапоги — старенькие, стоптанные. Папаха — вытертая, с головы Жакыза. Сжился, сросся за эти годы Фидур с семейством Пазадовых, да и со всем Заурхаблем. До того сросся, что аул уже вроде бы и немислим без него.

Аул как аул, а вот поведение Фидура временами озадачивало меня, вызывало недоверие к нему, а то и вовсе — неприязнь. Глупая птаха, — размышляет Карох, — если

отобьется от стаи, будет стонать от тоски, кричать от боли. Даже простое облако, если оно одиноко на небе, то кажется тоскливым. Камень, если сорвется с вершины горы, катится вниз и такой грохот, такой шум создает, будто просит о помощи. А ты, Фидур? Ты всем доволен. Бросят тебе кусок — съешь радуясь, а не бросят, будешь ходить голодным и тоже улыбаться, не возмутишься. Надели на твои ноги тяжелые колодки, покорно ходил в них, усердно работал на своих мучителей. Уж не притворяешься ли ты, Фидур, уж не хитришь ли? Тогда чего же можно от тебя ожидать? А если забыл о своей родине, о своем народе, тогда я не смогу тебя уважать...»

— Что с тобой, Карох? Мы с Фидуром обидели тебя? — встревоженно спросил Жакыз.

— С чего ты взял такое? — удивился Карох.

— Я и Фидур разговариваем с тобой, а ты где-то далеко, не слышишь нас.

— Слышу.

— Тогда почему же молчишь, не отвечаешь нам?

— А что отвечать?

— А-а! Вот видишь, Тыганов, ты даже не слышал, что мы спрашивали.

Карох смутился:

— Задумался я...

— О чем таком задумался? Скажи нам, облегчи свою душу. Мы все-таки твои друзья.

— Как вы можете облегчить — ведь по вашей воле не кончится эта проклятая война, не замирился мы с русским царем, значит, опять будет кровь.

— Ды, ты прав, но зачем биться над тем, чего ты не можешь изменить? Верно, Фидур?

— Верно, хозяин. Если бы мы сами могли, то не только бы прекратили эту постыдную войну, а даже не начинали ее.

— Ладно, на все воля Аллаха... А еще я удивился: в ауле столько говорили о Фидуре, о его бороде и усах, очень дивились, что он согласился сбрить их, а теперь — что? Новые разговоры пойдут: почему Фидур снова отпускает их?

— Интересно, — засмеялся Жакыз, — оказывается, твои усы и борода, Фидур, не просто твои, а всего аула, раз он

так волнуется за них. И все это женские языки. Началось, должно быть, с Айшет, с ее бойкого языка.

— При чем тут Айшет? — удивился Карох.

— Э-э! Я же говорю, ты стал нас забывать. Чаше надо приходиться. Дело в том, что бритый Фидур очень нравится Айшет.

— Зачем ты это говоришь, хозяин? — смущенно заметил Федор.

— Как зачем? Так и есть. Айшет сама мне говорила: какой он симпатичный с чистым лицом — не то, что эти наши абадзехские бородачи.

— А зачем же он теперь опять отпускает бороду? Хочет обидеть Айшет? Так что ли, Фидур?

— Может быть, Айшет и не нравится, что я снова отпускаю бороду, но я не могу иначе. Что ж это я среди бородатых абадзехов как пугало хожу. Мальчишки с девочками собираются, чтобы посмотреть на мои жидко выбритые щеки.

— Слышал, Карох? — ухмыльнулся Жакыз.

— Слышал.

— Доволен?

— Очень, — нахмурившись, ответил Карох. «Он хочет быть черкесом. Или прикидывается. Нехорошо это, нехорошо, дорогой Фидур», — подумал так Карох, а сказал другое: — Ты прав, Фидур, но все-таки не забывай и об Айшет. Не брей совсем бороду с усами, а подстригай их аккуратненько, как это делаем мы.

— Пусть Айшет обижается или не обижается, а я не отступлюсь от своего, не хочу выглядеть пугалом.

— Правильно, Фидур, маладэс, балшой маладэс! Настоящий мужчина. — По-русски похвалил его Жакыз. — Послушай, повесели нас немного, поиграй на балалайке.

— Я бы с удовольствием послушал, но не могу, — сказал Карох.

— Почему, Карох? Мне так нравится игра Фидура. И русские песни нравятся, и наши.

— Черкесские тоже играешь? — спросил Карох.

— Да, — ответил Федор.

— Знаешь, как здорово играет, просто не отличишь от наших музыкантов! — вновь поддержал своего пленника Жакыз.

«Ну вот, — удрученно подумал Карох, — он уже и с музыкой нашей сросся, а свою скоро забудет».

— Очень хотелось бы послушать, да не могу. Тороплюсь. Меня же прислали сюда по делу.

— Как это — прислали? Кто прислал, кто может тобою командовать? — вскинув брови, удивился Жакыз.

— Понятно кто: та, которая в моем доме хозяйка, Тамрай, — ответил Карох.

— Если я скажу об этом Гошехан, — воскликнул Жакыз, — она ни за что не поверит.

Засмеялся Карох:

— Ничего страшного не случится, если я один раз позволю своей жене распорядиться мною.

— Что он говорит, что он говорит?! Ты только послушай, Фидур! — возмущался Жакыз. — Можно подумать, что наступил конец света. Карохом командует жена — вот это новость, так новость! И зачем же она тебя прислала?

— Тамрай готовит вкусный обед, чтобы угостить Фидура. Вот за ним меня и прислали. Конечно, не одного Фидура она пригласит, а вместе с тобой.

Жакыз всплеснул руками:

— Вот это новость, это такая новость, что тоже с гулом прокатится по Заурхаблю. Ты, Фидур, стал знаменитым и очень важным человеком, раз за тобою прислали одного из достойнейших мужей Заурхабля — самого Кароха Тыганова! Слышали вы, люди?!

«Если ты думаешь, Тыганов, что тебе удастся посадить меня за один стол с моим пленником, то очень ошибаешься», — подумал Жакыз и вслух сказал, стараясь быть серьезным и убедительным:

— Я рад твоему приглашению, Карох, большое спасибо Тамрай, но, к великой моей досаде, я должен сейчас отправиться в Даурхабль по очень важному и неотложному делу. Опять же я думаю: потчуй Фидура, вы потчуете и меня. Так что приятного вам аппетита, приятно провести время. Возьми балалайку, Фидур, и повесели Тыгановых.

— Нет, не надо, — прервал его Карох, — мы посидим без балалайки. Нам есть о чем поговорить.

— Ну что ж, как говорят — ваша воля.

На улице Кароха и Федора встретила стайка мальчишек. Они весело галдели, наперебой просили у Федора игрушек, свистуллек.

Остановился Федор:

— Стоп, стоп, не кричите так, а то я оглохну. Тише. Так. Хорошо. Тебе я уже давал свистульку.

— Она испортилась, — жалостливо пропищал вихрастый коротыш.

— Испортилась?! О! Ладно, возьми другую. — Федор достал из кармана штанов деревянную свистульку. — Тебе тоже давал...

— Я потерял ее.

— Эге! Другую не получишь, чтоб знал, как терять... Ну-ка, ну-ка, ты подойди ко мне, карапуз. Я тебе в прошлый раз обещал и теперь исполняю обещание — возьми вот эту. Хорошая, звонкая. А тебя как зовут?

— Асфаром его зовут, — за карапуза ответил мальчик постарше.

Федор своей шершавой рукой погладил Асфара по голове с выгоревшими на солнце курчавыми волосами:

— Аферы! Молодец. Расти сильным, храбрым, а главное — честным и добрым. Посвисти немножко, я послушаю.

Асфар сначала робко только прикоснулся губами к свистулке, а потом, расхрабрившись, пронзительно засвистел.

Посвистел Асфар и, счастливый, уже хотел рвануть, но его задержал Карох:

— Славный ты мальчик, а что-то забыл сделать. Ребята, что Асфар забыл сделать?

— Спасибо, спасибо надо сказать тате! — хором закричали ребята.

Мужчины пошли дальше.

Карох сказал:

— Дети, похоже, любят тебя больше, чем взрослые.

— А я тоже детей люблю больше взрослых. «Гяуром» уже не зовут. «Тат Фидур», говорят.

Пока накрывали на стол, а потом и за обедом Карох с Федором все как-то больше молчали или перебрасывались ничего не значащими фразами, замечаниями о погоде, о еде, об убранном урожае и грядущих полевых работах. Просто так, не совсем холодными, но и не горячими словами.

Говоря об одном, Карох думал о другом, не обнаруживая своих размышлений, сомнений.

Все больше не нравился Кароху Федор своей покорностью, а порой просто заигрыванием с Жакызом. Уж не с двойным ли дном, не с глубоко спрятанной хитростью Федор? Ведь поступки каждого — это одно, а мотивы этих поступков могут быть совершенно противоположными. Пусть человек будет недостаточно храбрым, не до конца честным или бескорыстным — это дело его, только бы знать — кто он, как быть с ним, на какие дела ходить с ним, от каких воздерживаться.

Еще одно обстоятельство: Федор вел себя с Карохом совсем по-иному, нежели с Жакызом. С уважением относился, но без подобострастия. Иногда даже поднимался до такого уровня, что вот-вот и станет вровень с ним, будто он и вовсе не пленник, не иноверец.

Почему он не убегает, ведь можно сказать, совершенно свободен. Много говорил о своей родине, о тоске по жене, и детям, по свободе, а не уходит из неволи. Карох знал, не наказывали русские тех, кто побывал в плену — это эфенди Каймет нарочно придумал, чтобы окончательно и навсегда сломить Федора.

Обо всем этом много думал Карох, не раз собирался заговорить с Федором, но не решался, боялся оскорбить его.

И все-таки не сдержался, заговорил:

— Не сердись, Фидур, но не нравится мне твоя жизнь.

— А ты думаешь, она мне нравится?

— Рана зажила на ноге?

— Давно. Прихрамываю, но не болит, уже давно.

— Так чего ж ты сидишь, — стараясь быть мягким, стараясь не оскорбить Федора, спросил Карох, пристально взглянув на него.

Пожав плечами, усмехнулся Федор:

— Ты будто не знаешь, почему, — подернулись печалью его глаза.

— Конечно, не знаю, — удивленно ответил Карох.

— Я ведь дал клятву.

Карох о чем-то таком догадывался, но с точностью о чем это не знал:

— Кому ты дал клятву, Фидур?

— Богу поклялся, самому Всевышнему.

— Зачем ты это сделал, кто тебя заставил? Он? — Карох указал вверх.

— Нет. Никто меня не заставлял.

— Тогда почему же, зачем?! — искренне, чуть с мягкой улыбкой, удивился Карох.

Еще печальнее стали глаза Федора.

— Ты знаешь, Карох, я убегал. Помнишь, как потом со мной обошлись? Я не обиделся, потому что получил, как говорится, по заслугам. Даже если бы пристрелили, у меня нет права обижаться. На войне это право кажется смешным. Не обиделся я, не убоился, если убегу второй раз, если поймают и во второй, и в третий раз и изуродуют мое грешное тело, пусть, не убоился этого, а вот... Трижды потом, ты же знаешь, возил меня Жакыз, хотел отпустить на свободу... Правда, за деньги, но хотел же, хотел, чтобы я остался живым, чтобы вернулся к своим, православным христианам, единокровным братьям, а они!.. — Блеснули набежавшей слезой печальные глаза Федора. — Вот тогда я и поклялся не убегать от Жакыза, не гневаться на него за его жестокость: ведь он хотел моей свободы, моего возвращения. Или ты не веришь?

— Верю.

— А почему же так смотришь?

— Как?

— Нехорошо смотришь.

— Неправда, Фидур, теперь я лучше о тебе думаю, чем раньше.

— Это не я, это божья воля, — Федор поднял руку, чтобы перекреститься, но тут же опустил ее.

— Я не хочу, чтобы ты так прервал себя. Помолись. — Карох отвернулся и, выдержав время, продолжил: — Если ты по своей воле дал клятву Богу, я не могу осуждать тебя, ты сам отвечаешь за свою душу перед Ним, но каково тем, кто ждет тебя? Разве тебе не жалко их?

— Кроме бедняжки Клавы и двух дочерей, меня на всей земле никто не ждет, я никому не нужен. Да и Клаве с дочерьми, должно быть сообщили, мол, погиб ваш муж и отец. Тут уж, как говорят, поперек судьбе своей не пойдешь.

— Жив человек, а скажут, что умер — вон какая большая несправедливость может быть у нас.

— Если бы только одна эта несправедливость была, а то ведь сколько их — не сочтешь.

— Ты, Фидур, конечно, писать умеешь.

— Умею, немного умею,— подтвердил Федор и вопросительно посмотрел.

— Эй, парень,— громко позвал Карох,— принеси-ка сюда карандаш и бумагу.

Мурат, сын Кароха, принес лист бумаги и карандаш. Почтительно поклонился отцу и Федору, как вошел безмолвно, так и ушел, не проронив ни единого слова.

— Что ты хочешь делать с бумагой?

— Не я, а ты. Напиши своей жене.

— Клавдии? — подсказал Федор, в удивлении вскинув брови.

— Напиши ей письмо. Все опиши, как есть: мол, в плену, жив-здоров, живу у добрых людей. Ну и еще, если чего захочется сказать, скажи.

— Подожди, подожди, я ничего не понимаю,— догадываясь о том, что замышляет Карох, но не веря своей радости, боясь вспугнуть ее, спросил Федор, сдерживая волнение: — Что ты хочешь делать, зачем я должен писать это письмо?

— Какие мы все-таки неповоротливые в своих мыслях,— усмехнулся Карох,— какие недогадливые. Почему раньше этого не сделали?

— Чего? Чего, Карох? — не переставая волноваться, попытывался Федор.

— Я собираюсь на базар в станицу Лабинскую. Найду человека, который поможет мне отправить это письмо. По почте, так, кажется, говорят у вас?

Загорелось волнением лицо Федора, озарились надеждой и несказанной радостью глаза.

— Только надо нам быть осторожными, никто не должен знать этого, Фидур, а то ведь может сильно нам с тобой попасть от наива. Даже Мурат не знает, зачем понадобилась нам с тобой бумага. Смотри, не проговорись.

— Нет! Могила!

— Что — могила? — удивился Карох. Федор усмехнулся:

— Так у нас говорят. Это значит — никто не узнает, все будет глухо, как в могиле.

Засмеялся и Карох.

Руки до того дрожали у Федора, что буквы выходили скособоченными, набегали друг на друга.

— Успокойся, Фидур, успокойся, пусть руки твои не дрожат.

— Сейчас, сейчас они перестанут дрожать.

Карох свернул лист вчетверо и спрятал в потайной карман черкески.

Когда после полудня прощались у калитки, Федор Данилович сказал:

— Буду я жив или нет, все в руках Господа Бога нашего, а тебе сердечное, большое спасибо. Думаю, получат мое письмо на Вологодчине, обрадуются, станут надеяться, что я вернусь. И как знать, может и вернусь... Я всегда знал, что ты хороший человек, сердцем чуял твою доброту. Да и не только сердцем, если бы не твоя воля, Жакыз еще тогда прикончил бы меня, а теперь, видишь, как все сложилось. Храни тебя Аллах, храни тебя Господь Бог.

— Э-э, зачем так много говоришь, я только то сделал, что велело мое сердце... Парень, а парень! — кликнул Карох сына.— Проводи Фидура, проводи нашего гостя.

— Не надо беспокоить Мурата, тут ведь рядом, сам дойду,— возразил Федор.

— Да нет уж, нельзя так, парень проводит тебя, проводит как гостя. До самого дома.

Что и говорить, хорошо было на душе у Федора. Легко ему шагалось, и улицы аула, кривые переулки, сарай, плетни и дома — все ему казалось иным, чем раньше, все обрело новый смысл, стало живым, и Федор понимал, что это его радость так преобразует Заурхабль. А еще ему увиделось, как Клава читает с дочерьми письмо, как плачет от радости, обнимает девочек, как потом рассказывает соседям о письме, и счастливая улыбка озарила его лицо.

У калитки Федора встретил Жакыз:

— Похоже, очень хорошо там у вас было. Вон как долго ты гостил!

— Да, славно посидели, хорошо пообедали и поговорили о разных разностях. У Кароха добротное хозяйство,—

говорил Федор, стараясь, чтобы все было правдоподобно, чтобы не заподозрил чего Жакыз. А он все-таки заподозрил. Ухмыльнувшись, сказал:

— Славно, славно вы посидели, бузы выпили, вон как играют твои веселые глаза.

— Ты же знаешь, Жакыз, я не любитель выпивки.

— Это правда. Чем же тебя угощали Тыгановы?

— Тамрай большая мастерица. У нее всегда вкусное мясо с соусом, вареники по-адыгски.

— А мои любимые пироги с сыром были?

— Да, какие это были пироги! Губами можно есть, такие пышные и мягкие. И индейка!.. Вкусно она умеет готовить.

Сощурился Жакыз, пытливо глядя на Федора:

— Ты не догадываешься, отчего так потчуют тебя Тыгановы, будто самого дорогого гостя?

— Нет, — смутился Федор, — мне кажется, они всех так встречают, кто приходит к ним в дом — уж такие они добрые люди.

— Правильно ты сказал, хорошо сказал! — нарочито восторженно воскликнул Жакыз и подумал: «Неспроста он привечает иноверца, будто Хатырбая Цея или самого наиба, неспроста, но как узнать зачем, почему?» Подумал и продолжил: — Айшет уже несколько раз спрашивала, где ты, куда подевался. Иди, покажись ей. Ох, как вы мне надоели с нею!..

XVII

— Чем ты так обеспокоена, Гошехан? — спросила Айшет соседку, стоявшую у ворот и напряженно смотревшую вдоль улицы в сторону верхнего аула.

— Как же не беспокоиться! Время такое тревожное, а у нас с тобой во дворе ни единого мужчины. Может, хоть Фидур у тебя?

— А он с самого раннего утра ушел к дальнему плетню на огороде. Вон, потная его голая спина блестит от солнца.

— Я совсем забыла, — воскликнула Гошехан, — сама же вчера велела ему заняться плетнем. Да, там он, работает. Подумала я, нехорошо — плетень там совсем обветшал,

придут люди на свадьбу, увидят и подумают, что у нас нет в доме хозяина.

— Хороший человек Фидур! Счастлива будет та женщина, которой он достанется в мужья... — с грустью, но возвышенно сказала Айшет.

Справедливо похвалила Айшет Федора, он в самом деле хозяйственный человек, добрый душой, но хвалить вдове чужого мужчину, да еще и невольника, Гошехан показалось неприличным и она так ответила соседке, стараясь упреком не обидеть ее:

— Грех тебе говорить такое, Айшет. Бедняга Ахмед куда каким достойным был мужчиной, каким рачительным хозяином. Он так заботился о тебе, так старался, чтобы все у вас было в достатке. Если бы не эта проклятая война!

Айшет горестно качнула головой, не то соглашаясь с Гошехан, не то возражая ей. Легко Гошехан рассуждать вот так, учить Айшет приличиям, когда живет она с мужем, когда готовится сыграть свадьбу своего сына, а ей-то, каково ей, горемычной, в двадцать семь лет оставшейся вдовой, одиннадцать лет живущей в пустой холодной комнате, в большом, но таком бесприветном доме!

Пошла Айшет молча к себе во двор, чтобы хоть чем-нибудь заняться, убить горестное время, убить свое печальное одиночество.

«Живешь ты, дорогая соседка, так, будто сыр в масле катаешься, — в душе воскликнула Айшет. — Стоит тебе только намекнуть о чем-нибудь, как трое мужчин исполнят твоё желание. Стоит твоему трусливому муженьку забиться на минутку, только глянуть в мою сторону, как ты бледнеешь и кипятишься, будто его отнимают у тебя. А что он мне! Горе мое горькое, грех мой и срам мой, а тот, по ком вся душа моя изболелась, будто бы ангелом бесплотным по грешной земле ходит... Прости меня, Ахмед, во имя Аллаха прости... Конечно, чем спать мне тайком с этим Жакызом, лучше бы выйти во второй раз замуж. Краденая любовь душу не греет — только растревляет ее. Если бы ты знал, как мне больно, как горько, но ничего другого придумать не могу. За кого выйдешь замуж, да еще в мои лета? Красавиц-девчонок все больше и больше, а мужчин в ауле все меньше и меньше — проклятая война

их пожирает. Аллах свидетель, Ахмед, я сознаю свой грех, свою вину перед тобою и горько раскаиваюсь, одному Аллаху да мне ведомо, какой мокрой от слез моих становится под утро подушка...»

— Да ты что, Айшет, оглохла, что ли?! Кричу, кричу, а она и ухом не ведет,— возмущалась Гошехан, подойдя к плетню.— Ну, что с тобой, что ты потеряла во дворе? Или нашла какую драгоценность?..

— Что ну? — нервно ответила Айшет.— Ты хоть и потеряешь, так твои трое мужиков тут же найдут, если что понадобится, тут же принесут, а я, хоть найду — без радости, хоть потеряю — без жалости, только тоска да тоска. Вы боль, несчастье, тяжесть на четверых делите, а я одна за всех несю. Вот и потеряла свою несчастную голову.

— Я вижу, как тебе трудно, слышу, как тебе больно. Не я одна, весь аул знает твою тяжесть и боль, каждый хоть добрым словом, но хочет помочь тебе. Да что это мы через плетень разговариваем с тобой! Проходи — посидим, поговорим, пока мужчин моих нет дома.

— Придут. Небось, все насчет свадьбы хлопочут. Свадьба — дело непростое.

— Ты права. Да и нельзя уж слишком громко говорить о ней.

Вышла Айшет со двора, накрепко закрыла калитку, словно собралась в дальнюю дорогу.

Гошехан вспомнила, как Айшет и Фидур танцевали под ее музыку. Вспомнила, какое нарядное платье на ней было, прямо-таки праздничное. Новенькое, в золотистых крупных цветах. А сегодня — голубое, но тоже нарядное, тоже как бы праздничное. Что это она? Ведь никуда и не ходит в гости, никакого праздника нет — ходит по двору, будто каждый день у нее праздник. Что такое, что за праздник? А я не верила Жакызу, теперь вижу — влюбилась Айшет в Фидура, вот и наряжается для него. И лицом расцвела, и походка у нее изменилась. Вон как, вон как! Все тело ходуном ходит, кокетничает она, что ли? Да передо мной-то зачем? А затем, что уже не может она иначе ходить, не может радоваться. Даже когда вот так загрустит, сердце все равно радуется. Э-э, бедняга Ахмед, жил ты на свете и нет тебя, а твоя любимая женушка мается одна на этом грешном свете...

— Ты хоть и говоришь, что все у тебя хорошо, но вижу — беспокойная ты, тревожная какая-то, да не пойму отчего это? Муж у тебя есть, крепкий мужчина...

— Замолчи, болтушка, замолчи, Айшет! Откуда тебе знать, какой он мужчина,— беззлобно прервала Гошехан подругу.— Скажи-ка ты лучше, чего ради нынче вырядилась?.. Чего это ты?

— Чего это вырядилась! Я каждый день такая,— парировала Айшет.

— Я и говорю, чего ради ты каждый божий день выряжаешься, праздничные платья в будни меняешь?

— Просто так. Хочется, вот и выряжаюсь.

— Для кого?! — воскликнула Гошехан.

— Для самой себя. Хоть немножко, хоть чуточку продержаться без слез.

— Красивая ты, вот и выряжаешься.

— Нравлюсь тебе? — с откровенным лукавством спросила Айшет.

— Мне-то зачем?

— Если мужики не видят,— она кивнула в сторону огорода, где работал Федор,— так хоть тебе покажусь.

— Потихе! Услышат, нехорошо.

— Эх, если бы слышали. Я б на минарет взобралась и оттуда об этом крикнула,— рассмеялась Айшет.

— Тихе ты, тихе!

— У тебя хорошая тревога, Гошехан,— успокаиваясь, проговорила Айшет.

— Как это тревога может быть хорошей?

— Эх! Если бы у меня был сын, если бы я ждала невестку в свой дом! Не будет у меня никогда такого ожидания, такой приятной тревоги.

— Да! Но как ты догадалась об этом? — воскликнула обрадованно Гошехан.

— Чего уж проще: счастливая тревога написана у тебя на лице.

— Правда, правда... Но пойдём в дом, чего стоим и там спокойно поговорим.

— Последние погожие денечки солнышком цветут, а ты хочешь в дом забиться. Для чего? Чтоб никто не услышал нашего женского разговора? Да пусть слышат, пусть!

Ты посмотри лучше, как играет солнышко на голой спине Фидура!

— Айшет! Неужели тебе не стыдно?!

— Чего стыдного-то, Гошехан! Посмотри, как он красиво и быстро работает, какой он сильный, сноровистый. Настоящий мужчина!

— Перестань, перестань, Айшет. Если уж и увидела, зачем вслух об этом говорить. Да еще при мне.

— А что? Разве ты не подруга мне, разве не понимаешь мою беду?

— Понимаю, дорогая Айшет, а все-таки...

«Совсем бедняжка испортилась, совсем стыд потеряла,— жалостливо сказала Гошехан про себя.— А какая была скромница. Чуть что — так бывало и зардеет, залется стыдливой краской. Вон что делает с человеком одиночество. Ах, бесстыдница! Как она разглядывает Фидура! Просто раздевает его глазами. Правы мужчины, говоря что все грехи пошли от женщин. Аллах Всемилостивый, помоги Каймету обратить Фидура в нашу веру, помоги ему женить его на Айшет. Ох, как было бы хорошо! И Айшет успокоилась бы и нам спокойнее жилось бы. Фидур добрый человек, умелый и сноровистый работник. И благодарный, благодарный за все, что ему доброго мы сделали. Такой сосед — целое богатство... Смотришь, Айшет еще нарожала бы ему детей. Хоть ей далеко за тридцать, а выглядит она совсем молодой...»

— Э-э, Гошехан! — громко позвала Айшет.— Ты где?!

— Да-да! Я здесь, Айшет,— засмеялась Гошехан.— Теперь меня мысли одолели, как тебя во дворе.

— Уйми ты свои мысли, не мучай себя. Если ты все о свадьбе, так и вовсе не убивайся — все будет очень хорошо.

— Твои слова да Аллаху в уши. Пусть будет все хорошо, пусть будет доброй воля Всевышнего.

— Будет, будет, Гошехан.

«Нет, совсем не свадьба беспокоит эту постаревшую, болезненную женщину, — про себя размышляла Айшет.— Она вроде бы и тихоня, а все ж во многом командует Жакызом. Во многом он подвластен ей, но в одном — мне, только мне! Жаль только, что нельзя мою власть над ним

показать. Ни-ни! Лучше бы ты попридержала своего мужа-кобеля, тогда он не мешал бы мне любить Фидура. А он коварный и жестокий человек. Как он меня взял-то, как! Пригрозил, будто знает о моих отношениях с Фидуром, и, если я ему не отдамся, расскажет, как он выразился, о моем распутстве старикам — членам аульского хикума¹... О, не дай, не приведи Аллах! Вот я и уступила. Испугалась трусливого кобеля. Прости меня, Аллах, прости, помилуй несчастную вдову! Испугалась, ведь у нас с Фидуром ничего не было, ну совсем ничего, мы оба были чисты пред самим Аллахом, а не то что перед стариками. Чисты, да попробуй оправдайся, попробуй смыть наговор. А что если взять да прямо и повиниться перед Гошехан, рассказать, как он меня принудил. А?! Что будет?! Что?.. Ничего путного не выйдет, просто прибавится в Заурхабле еще одна несчастная женщина — не справится с ним Гошехан».

— Видишь ли, Айшет,— задумчиво сказала Гошехан,— к заботам о свадьбе прибавилось еще дело Дудая.

— А что с ним?! — спросила Айшет, будто впервые слышит об этом.

— Разве не знаешь ничего?

— Нет,— не моргнув глазом, соврала Айшет.

— Об этом весь аул знает. Его позвал к себе наиб, сам абадзехский предводитель Магомет-Амин.— «Э, раз она ничего не знает, то не надо ей говорить правды».— Позвал, говорят, по какому-то важному делу.

— По какому?

— Не знаю. Говорят, по очень важному. У мужчин не бывает мелочных дел. Раз предводитель позвал, значит важное дело.

— Почему Дудая позвал, а не Жакыза, если важное дело, ведь Жакыз очень уважаемый человек в Заурхабле.

— А зачем Жакыза звать? — почему-то испугавшись, спросила Гошехан, но тут же взяла себя в руки: — В прошлом году наиб сам приезжал к Жакызу, сажал с собою за стол, долго беседовали. Хорошие, добрые слова говорил при всем народе. Да, Айшет, при всем народе говорил.

¹ Х и к у м — религиозно-общественный суд старейшин.

— Это когда наиб о Фидуре выспрашивал?

— Да. Но не только это. Я и сама хотела знать, зачем самому наibu потребовался мой брат. Тревожилась очень, расспрашивала его, но он ничего не сказал, мол, не женского ума это дело.

— Посмотри, Гошехан! Недаром говорят: о ком речь зашла, тот уже на твоём пороге.

— Что ты говоришь, Айшет? — удивилась Гошехан.

— А то и говорю: посмотри на того всадника, что из-за угла вывернулся — может и узнаешь кого.

— Да! Легко на помине мой братец.

— Ну, я побежала. Хоть и одна я одинешенька, а обед-то все равно готовить надо. Я когда забываюсь, много готовлю, будто для целой семьи, а потом опомнюсь... Ладно, побежала я.

Гошехан быстренько собрала для брата обед. И тут странность выявилась — он не спросил выпивки, как бывало обычно. Да еще теперь перед свадьбой, когда в доме полно бузы и медовухи. И от этого стало тревожно Гошехан. Она не без волнения спросила:

— Ты домой еще не заезжал?

— Я подумал проехать мимо старшей сестры нехорошо. Жена она и есть жена — никуда не денется из дома, с утра до вечера, а потом и до утра с мужем, а с сестрой не каждый день видишься.

— Спасибо, брат, спасибо. Ну, что там было у тебя, что говорили, куда вызывали?

— Голову морочат, что ж там еще может быть! — в сердцах ответил Дудай. — Говорят, говорят, сами не знают толком, что говорят и творят!

— Это из-за твоих выпивок? — осторожно, чтобы не обидеть брата, спросила Гошехан. — Скажи мне, скажи, нас никто здесь не слышит. Кому ты еще скажешь, кроме своей сестры? Ни Жакыз, ни Сабех, никто не узнает...

— Хоть бы ты, сестра, не бередила мне больную душу, — выдохнул Дудай и опустил голову.

— Хорошо, хорошо, я все поняла, — тяжело вздохнув сказала Гошехан и тоже опустила голову, а потом вдруг

так вскрикнула, что Дудай испуганно вздрогнул: — Скажи, что хочешь от нас этот чужак? Кто он такой, чтобы распорядиться на нашей земле, поучать наших людей! Кто он такой! Кто он такой! Ты только подумай: он вы-зы-ва-ет! Кто он? Великий князь, царь?! Неужели во всей Абадзехии никого больше не нашел, кроме тебя? А все этот Каймет, все его длинный язык!..

— Не надо, сестра, не надо. Зачем понапрасну грешить на человека?

— Как это не надо?! — возмутилась Гошехан. — Что это и ты, и Жакыз защищаете этого плюгавенького эфендишку Каймета?!

— Уймись, успокойся, сестра! Когда меня обсуждали там, у наива, один только Каймет и защитил. Не побоялся никого, при всех заступился.

— Вот как! — теперь уже удивленно воскликнув Гошехан, смягчилась голосом: — А я и не знала этого. Аллах да продлит дни его и простит мое прегрешение. По неведению согрешила... Ты посмотри, брат, — сухонький, невзрачный такой наш эфенди, а духом, выходит, крепкий. Значит, мужественный он человек. Я иногда это и подозревала в нем. Спасибо ему, спасибо, что защитил честь нашего рода. А чего этот чужак пристал, чего? Кто из нынешних мужчин не пьет бузу? Почти нету таких. Да и сам он, поговаривают, прикладывается к заморскому хмельному.

— Кто тебе это сказал? — с подозрительностью спросил Дудай.

— Кто сказал, кто сказал!.. Все говорят — шила в мешке не утаишь. Люди добрые рассказывали.

— Я тебе, сестра, если позволишь, так посоветую: не говори об этом, не надо. Ни с кем не говори, к добру это не приведет. Такую вражду можешь затеять, потом век нам не выпутаться.

— Ладно, это я тебе, только тебе, родному брату. Не бойся, я умею держать язык за зубами... Но тебе тоже скажу: перестань увлекаться выпивками, они никого еще не доводили до добра. Ладно с чужаком, а если про меж наших людей пойдет такой разговор что ты пьяница? Что тогда? Не только себя, но и весь наш род опозоришь. А тут еще

свадьба у нас скоро. Мы хотим, чтобы ты был на свадьбе распорядителем, значит ты крепко должен держать себя в руках. Помни, чья дочь входит в наш дом, на чьей свадьбе предстоит тебе быть распорядителем! Это — не просто. Ну, как? Справишься?

— Гошехан! Ладно тебе! Справлюсь, конечно.

— Спасибо. И не обижайся. Если не я, кто тебе скажет верное слово. Говорят, на совете старейшин не был наш будущий сват. Почему? Ты не знаешь?

— Знаю. Цей не ладит с наибом.

— Конечно! Как же наш будущий сват может ладить с человеком, который его родственника называет пьяницей?

— Если бы только это — они власть между собою делят, а я для них обоих — мелочь. Ну ладно об этом, есть новости поважнее.

— Какие же, брат? Худые или добрые?

— Как тебе сказать. Русские завершили войну.

— Говоришь, завершили? Неужели больше не воюют с нами?

— Нет, они Крымскую войну завершили. Нам, говорят, от этого будет еще хуже.

— Почему?

— Теперь они всю свою армию из Крыма на нас бросят.

— Они что — совсем с ума сошли?! Похоже, шайтан не дает им покоя. Им больше делать нечего, только воевать!

— Успокойся, Гошехан.

— Как же можно успокоиться, если такая новая беда придет на нашу несчастную землю... Они и свадьбу не дадут сыграть! Беда это, беда!

— Слава Аллаху, тут они не властны. Такую свадьбу сыграем, какой еще не видели в Заурхабле. Это я, как будущий свадебный распорядитель, обещаю. Оставь свою тревогу, сестра! Война войной, а свадьба свадьбой. Хатырбай Цей, наш предводитель, останется доволен.

— Да, да, брат, надеюсь я на тебя и благословляю вместо матери нашей, которая не дожила до этого счастливого дня, рай ей на том свете... А теперь у меня есть тебе совет.

— Слушаю тебя, сестра.

— Тебе надо говорить так: вызывал, дескать, наиб, приглашал к себе в телохранители, но ты решительно отказался. Это очень понравится нашему будущему свату. Об этом я расскажу Айшет и другим соседям, а ты у себя сделай то же самое — пусть об этом знает весь Заурхабль.

— Хорошо, но на совете у наива были...

— Пусть были! — решительно остановила Гошехан брата. — Пусть. А мы будем свое говорить, весь аул будет говорить. Вот тогда и посмотрим, чья возьмет!

— Ох, мудра, мудра моя старшая сестра, — восхитился Дудай.

— Не из последних наш род, не из последних! А у меня к тебе еще одна просьба. Добрый совет. Меньше говори о конце войны в Крыму, пусть в ауле меньше знают об этом, а что касается Фидура, то ему ни в коем разе не надо знать. Упаси Аллах, чего доброго, он может соблазниться какой-нибудь глупостью. Не надо беречь его душу. Как бы не взбунтовался.

— Взбунтовался?! Надеть колодки — и все! Пусть бунтует. Эта новость о Крымской войне такая страшная, что тут же облетит Заурхабль. Конечно, узнает о ней и Фидур... А где он сейчас?

— Должно быть, к соседке, к Айшет заглянул.

— Как это заглянул? — возмутился Дудай.

— Ну-у... как это у вас мужчин бывает.

— Вот-вот! — вскрикнул Дудай. — Если и взбунтуется, поделом вам, сами дали ему такую волю! Я-то знаю, чего он заслуживает...

— Не кричи, брат, не надо, — попросила Гошехан. — Мы дали ему волю, с нас и будет спрос, а сам Фидур тут не при чем. Он добрый и честный человек.

— Знаю я их!..

XVIII

По поводу Крымской войны Дудай был прав — она черной птицей быстро облетела аул. И Федор узнал о ней от самого Сабеха, который ничего не знал о разговоре дяди и матери.

Когда Карох увез письмо в станицу Лабинскую, Федор целую неделю, можно сказать, праздновал: радовался, что на родину ушла от него весточка.

Радовался, да недолгой была его радость, ее сменила тоска, сомнения. Сердце так болело, будто в нем открылась кровоточащая рана...

С дальних гор спустились на Заурхабль по ущельям, по ручьям и горным тропинкам густые сумерки, а вслед за ними и глухая ночная тьма.

Это с гор. А с западной стороны, с моря подул ветер. Волнами накатывался и гудел, как морской прибой, набегавший на скалы. Рвал ветер голые ветки дубов и ясеней, разбойничьи свистел в колючих кустах шиповника, выл в печных трубах. Горько ему было во тьме холодного мглистого неба, горько в одиночестве.

Федор жарко натопил печку, а все поеживался почему-то, вздрагивали плечи, будто было холодно. Не телу — душе было холодно, душа стыла.

Раскрыл он на столе складень, затеплил перед ним самодельную лампадку. Положил три земных поклона и потом опустил на колени и стал неистово молиться: «Господи, и вновь я — в который раз — стою на распутье. Помоги, научи, подскажи, как мне быть, дай хоть какой-либо знак, я пойму, только намекни, ангелу моему шепни, а уж он и мне... У каждого человека, создания Твоего, есть корни, что глубоко вросли в родную землю, после каждого человека остается след, по жизни — след, а я, получается, живу между небом и землей, вырваны мои корни и висят, болтаются, и следа после меня никакого не остается на родной моей Вологодчине, в селе Николино, что над тихой и светлой речкой Унжа. Скажут, пропал наш Федор Данилович Анаскевич, где прах его лежит, кто грешную душу упокоил, кто помолился за него?.. Говорят, из Крыма идет сильное войско на Кавказ. Радоваться бы мне нужно, потому как придут и освободят меня, вернусь я в Николино, умоюсь ранним утром светлою водою Унжи. Ждет там меня Клавдия, две моих единокровных дочери, поле мое ждет, заливной луг над речкой... Но, Отец мой Небесный, что за радость, коли нагрянут сюда наши и, как звать, война есть война, сожгут Заурхабль, побьют тех, кто совсем ни в чем не повинен, кто с добром отнесится ко мне вот уже который год. Господи, что мне делать, как мне быть? Зачем я тогда дал Тебе клятву не убегать, зачем? Грех давать клятвы, но еще больший — нарушать их.

И еще, Господи, однажды чуть не впал в тягчайший грех, подстрекаемый, должно быть, бесом. Ты знаешь, Боже, несчастную вдову Айшет. Она согласилась бежать со мной и там принять нашу веру, чтобы выйти за меня замуж. Бежать нам было бы легко, ведь у нее по Черкесии есть люди, которые помогли бы нам, она так хорошо знает здешние хитрые стежки-дорожки, но я во время спохватился, должно, Ты меня спас, отбил меня от нечистого, великое Тебе спасибо».

Федор припал головой к прохладному земляному полу, прочитал про себя молитву.

Где-то высоко прошумел ветер, будто громадная, неистовая птица пронеслась над Заурхаблем.

«А еще, Боже мой милостивый, — продолжал Федор, было и такое: эфенди Каймет чуть не уговорил меня принять мусульманство и жениться на Айшет или на какой другой вдове. Он соблазнял тем, что называл русские имена, называл солдат наших, перешедших в мусульманство. Ты уберег меня и от этого горького, позорного и такого греховного отступничества, слава Тебе, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу! Аминь».

Обычно после молитвы к Федору приходило успокоение, как он говорил, тишина наступила в душе, а сегодня этого не произошло.

Потушил он лампадку, лег в постель, укрылся стеганым одеялом, а сон не шел. И час, и другой.

Прошло время вечернего намаза.

Ветер стих. Улетел дальше, на Каспий.

Все улеглось, все успокоилось, подумал он, теперь и уснуть в самый раз.

Обычно перед тем, как лечь в постель, Жакыз заходил к Федору, чтобы проверить колодки, а потом стал доверять; когда колодки уже валялись ненужным хламом где-то в сарае, заходил, чтобы поговорить об аульских новостях, о завтрашних делах по хозяйству.

Сегодня Жакыз не пришел, и это беспокоило Федора.

«Похоже, не до меня ему сегодня, — про себя сказал он. — Может быть, уже наши недалеко?..»

Прислушался — не докатываются ли сюда, до Заурхабля, пушечные выстрелы?

Тихо. Так тихо, как в могиле, подумал Федор и вздрогнул. И темно так же.

Он приподнялся. Глянул в окно и высоко в небе, между облаками, увидел крошечную одинокую звездочку.

За дверями призывно взвизгнул Мишид. Поцарапался лапищами в дверь.

Федор обрадовался:

— Зайди, милоч, зайди. Спасибо, Мишид. Спасибо, хоть ты меня не забываешь.

Мишид повизгивал, как-то виновато махал хвостом, но в комнату заходить не хотел.

— Что такое, дружище? Чего ты тревожишься? Не хочешь заходить, так я к тебе выйду... Ты погляди! Вот что такое Кавказ! Только что была хмарь да злой ветроган мордовался, а сейчас — благодать.

Небо горело яркими, крупными звездами, а Млечный Путь — будто там, в небесной дали, бушевал снежной метелью.

— Ну что с тобой, Мишид, чего ты волнуешься?

Сыч на дальнем ясене в углу огорода закричал, всхлипнул, а потом засмеялся. Да так засмеялся, что уж лучше бы он заплакал.

— Какая занудливая птица, этот сыч! — в сердцах сказал Федор и потом прикрикнул: — Замолчи ты! И без тебя белый свет не мил.

Но сыч не унимался, кричал и кричал.

Федору показалось, что он звал на помощь.

И захлебнулся. Замолчал.

— Да чего это мы с тобой, Мишид? Чего выдумали, будто сыч плачет? Может быть, это его такая же песня, как у соловья? Только на его языке, которого мы не разумеем. Сколько я помню, он всегда вот так кричит. Не плачет же он всю жизнь? Нет, просто у каждого своя песня. Возьми хоть лягушку. До чего же противно она квакает, а ведь тоже хвалит солнышко, хвалит свою жизнь... Ладно, дружок, пойдем погуляем.

Они остановились у калитки.

Звездочка скользнула. Прочертила небосвод и мелкими горящими осколками рассыпалась.

В Николино говорили, будто это кто-то умер, чья-то душа устремилась к Господу. Еще одна и еще одна.

«Каждую минуту на большой земле умирает кто-то, — подумал Федор, — каждую минуту рождается, но этого, новорожденного не видно на небе. Неужели он только и пришел затем, чтобы зажечь свою звездочку в час своей смерти?

Большая Медведица, Малая Медведица...

В Николино говорили — Медведица и Медвежонок. А в соседнем селе — называли банными ковшами — Большой ковш и Малый».

— Это, Мишид, наши, северные звезды. У нас они и горят ярче, потому как наши. Еще одна душа к Господу направилась... Ну, что? Пойдем все-таки поспим? Хоть перед утренней зорькой? А? Не возражаешь?

Так все и случилось: улегся Федор на тахте и, когда небо стало розоветь, ему сладко уснулось. Спал бы он, может быть, долго, но в дверь сильно постучали.

— Кто это?! — вскочил Федор. — Что случилось?

— Я! — послышался за дверью резкий, разгневанный голос Жакыза.

— Сейчас я, хозяин, сейчас, крючок только откину...

— Дрыхнешь! — не входя в комнату Федора, почти выругался Жакыз. — Дел невпроворот, а он, видишь ли, вылеживается... И ты не путайся тут под ногами! — пнул он сапогом Мишида. — Бездельники!

«Что с ним, что случилось с Жакызом», — подумал Федор.

— Извини, хозяин, задремал на зорьке. Я сей момент.

— Сей момент! — передразнил Жакыз. — Этот разжиревший, обленившийся пес и ты с ним, только и знаете — спать да жрать. Быстренько позавтракай — и за дело! Привези пару бочек воды, пока она еще холодненькая... Подожди-ка! Не суетись теперь. Слушай хорошенько. Айшет я уже говорил, теперь и тебе говорю: пока невесту не заведут в дом — вы ничего не слышали, ничего не знаете. Понял?!

— Как не понять, хозяин. Все будет как надо.

— Смотри у меня. Нечего зря пылить, пока дело не будет сделано.

— Я все понял, Жакыз: ничего не слышал, ничего не видел, ничего не знаю! — выпалил Федор.

— То-то!.. Лучшие парни Заурхабля, настоящие джигиты, поедут за невестой, но... Надо быть настороже. Дудай

поедет с ними. Он человек бывалый, знающий, все с помощью Аллаха должно обойтись порядком... А ты, когда привезешь воды, пройдишь еще раз по двору. Хозяйским глазом все осмотри. Где подмести получше, где убрать что-то лишнее. Чистенько, аккуратненько чтоб было во дворе. Понял?

— Как не понять, хозяин. Все будет, как лучше и не придумаешь. Не только еще раз подметим, а может, даже желтеньким песочком для красоты посыплем?

— Зачем песочком? — удивился Жакыз.

— Для красоты. Чтоб светлее во дворе было. Приветнее.

— Ну если для красоты, ладно. Только лишнего не надо. Как там ты говорил: слишком хорошо — тоже нехорошо. Хотя бы погожими постояли эти счастливые дни, солнышка чтобы побольше, а хмари поменьше.

Гошехан вышла:

— По милости Аллаха сегодня дождя не будет.

— А ты как думаешь, Фидур?

— По зорьке, по чистому небу и по тому, как куры себя ведут, не должно быть дождя.

— Я тоже так думаю, — согласился Жакыз, — все будет хорошо. Не будет дождя, не испортит он нам двор, не расквасит — значит, танцевать будем во славу молодых!

— Если на то будет воля Аллаха. Добавь эти слова, Жакыз, — попросила Гошехан.

— А ты, женщина, не вмешивайся в мужской разговор. Лучше пойдешь и процеди бузу.

— Хорошо, Жакыз, хорошо. Главное, не надо нам сегодня сердиться, пусть нашим сердцам будет легко.

Всем хотелось, чтобы сердцам было легко, но что делать, если не все и не всегда так получается, как хочется сердцу.

День тянулся и тянулся. Таким длинным он казался от ожидания: ну где же там они, почему так долго не везут невесту?! Все глаза проглядела Гошехан.

Да и Жакыз старался быть по-мужски спокойным, а все ж волновался.

Айшет металась по двору, искала себе разную работу у ворот, у калитки, чтобы поглядывать вдоль улицы — не покажется ли там свадебное шествие.

— Хватит тебе, хватит, Айшет, и без твоей суеты на душе тревожно, — слегка прикрикнул Жакыз. — Лучше иди к Гошехан, вместе вам будет легче.

Время тянулось, будто ленивые быки. Кажется, в нетерпении уходил и день, уступая Заурхабль сумеркам... Тут-то и наострил уши Мишид! Навалившись передними лапами, шумно открыл калитку и выскочил на улицу, приветливо повизгивая.

Федор первым услышал и понял Мишида — быстро, слегка прихрамывая, направился к воротам.

Выскочили на веранду Гошехан с Айшет!

И только когда уже явственно послышалась свадебная песня, когда загремели выстрелы ружейного салюта, пришел в себя от волнения Жакыз, вышел к калитке.

Властный, торжественный, строгий:

— Ну, что ты, Фидур! Открывай ворота! Да пошире, пошире распахивай! А вы, женщины, чего выскочили?! Гошехан, не смей нарушать обычая, не встречай невестку, пока она не вошла в твой дом!

— А ты, Жакыз? — весело спросила мужа Гошехан. — Иди тоже на свое место... Аллах Всемилостивый, пусть невестка войдет в дом Пазадových с добром, пусть принесет с собою счастье, пусть будут радостными наши дни! Иди, Айшет, встречай!..

XIX

Ни один из праздников не может сравниться со свадьбой, с праздником рождения новой семьи, новой радости, с торжеством вечной любви!

Далеко в горах, на заоблачных вершинах, лежат вечные снега. Вечные, значит, что-то неподвижное, неизменное. Но это не так.

Глянет с летнего неба жаркое солнце и оживут снега, заструятся ручейками светлой, пахнувшей небом воды, а у самой кромки, на уровне с кудрявыми облаками, зацветут деревья.

Пройдет лето, и на вершинах, в ущельях родятся молодые метели, заиграют свои заоблачные песни. Вот как теперь играют там метели, а на предгорьях еще веселятся золотисто-багряным цветом леса.

Свадьба во дворе Пазадовых — праздник любви, радости и щедрости.

На вертелах над жаркими углями целиком зажариваются барашки, на треногах в котлах варится мясо, непременно мамалыга, готовятся ароматнейшие и острейшие соусы, без которых у адыгов еда — не еда, а преснятина. А разве жизнь должна быть пресной?! Острой, жгучей должна быть, и сладкой! А как же без сладостей, приготовленных на меду, на душистых сиропах, хранящих ароматы полей, лесов, горных ущелий и свежесть заоблачных вершин.

Праздник Пазадовых — это и праздник их соседей, поэтому кипят котлы и в их дворах. Свадьба Пазадовых — это праздник всего аула — каждый аульчанин придет поздравить молодых, их родителей. Не с пустыми руками придет. Но главный подарок — их добрые глаза, искренняя радость каждого, кто придет и пожелает молодым счастья, кто выйдет в круг огневой пляской.

Скоро, скоро грянет свадебное веселье!

А пока все идут и идут аульчане.

Джигитуют на горячих лошадях парни в праздничных черкесках на улице у двора Пазадовых, показывают свою удаль, свое молодечество.

Вот подъезжает коляска с первой красавицей Заурхабля, на другой коляске — другая красавица в сопровождении молодых джигитов...

Визжат от восторга мальчишки, облепившие деревья, будто воробьи, выглядывают девчонки из-за плетней — восторженно горят глазенки, сидят старики в кунацкой, с достоинством прислушиваясь к происходящему, тоскуя по своей молодости, по своим ушедшим годам.

Свадьба, конечно, для взрослых, но и для мальчишек с девчонками — своя радость, свое торжество. А как же! Вон как их одаривают разными сладостями.

Свадьба — праздник, веселье, но и они имеют свою тяжесть, свой вес, который кто-то должен нести на своих плечах, чтобы всем другим было легко. Большая часть этой тяжести, конечно, лежала на Дуде. Правда, весьма почетная тяжесть — быть распорядителем на свадьбе. Если бы были живы братья Жакыза, то, разумеется, кто-нибудь из них был бы нынче за главного.

У Дудая было три помощника, один из них — Федор. Он рубил мясо, подносил воду, помогалстряпухам:

— Экономнее с дровами, не жгите их попусту!

— Что с тобой, Фидур? Или в лесу мало дров! — заигрывая, отвечала Айшет.

— Не только в лесу, их во дворе полно — так что?! Можно попусту их жечь? — не сдавался Федор. — На малом не сэкономишь, с большим в трубу вылетишь.

— Это ты Пазадовых жалеешь, их добро бережешь? — не унималась Айшет, игриво поводя бровями.

— Конечно, жалею. Известное дело: если ты не пожалеешь, то и тебя не пожалеют.

— Э-э, Фидур, или мало тебе от Жакыза досталось?

— Это его грех, а зачем мне грешить, Айшет?

— Пожалуй, верно, — слегка погрузнела Айшет, а потом опять озорно улыбнулась, взмахнула черными бровями, будто птица крыльями. — Все правильно говоришь, а сам, должно быть, когда льешь воду в котел, не говоришь «бисмилах».

— А вот и неправда твоя, Айшет, — поддался-таки соблазну, улыбнулся Федор. — Неправда, Аллах свидетель, я за каждым разом произношу про себя нужные слова, обращенные к Богу.

— Ай, маладэс, е-е, маладэс! — сказала Айшет, обрадованная улыбкой Федора. По-русски сказала, и от этого вдруг почувствовала близость к Федору. Залилась краской стыдливости.

Увидел это Федор, нахмурился:

— Разболтались мы с тобой, а каша, поди, пригорела. Смотри у меня, не испорти... А ты, парень, чего рот разинул! — прикрикнул он на своего юного помощника. — Или не видишь — дрова кончаются. Иди неси, посуше которые. Да не очень, не очень пусть шуруют, а то оставят нас в зиму без топки...

Айшет стала мешать мамалыгу и, как бы невзначай, сказала своей напарнице:

— У этого «несчастливого» Жакыза закрома от богатства ломаются, а как же не ломиться, если невольник его — и тот вон как заботится о каком-то полене дров!

— Без копейки рубля не бывает, Айшет. Вода, что пьешь, по капле собирается в кружке. У меня есть кров

над головой. Меня кормят и поят, хозяйство доверили. Коли я не буду беречь хозяйское, ты же — вовсе не станешь, чужое оно тебе.

— Вот уж верное слово сказал! — воскликнула Айшет. — Самое верное за все время, что живешь здесь. Была бы моя воля, я бы все дрова Пазадовых пустила на распыл.

— Чем же Жакыз так насолил тебе? — усмехнулся Федор. — Он всегда добрые слова говорит о тебе, ласково поглядывает. Чем же он не угодил, чем обидел?

— Да уж куда ласковее! — отвернувшись от Федора, резко сказала Айшет.

— А еще у нас говорят: если богаты твои соседи, то и тебе не дадут погибнуть от бедности.

— Конечно! — нервно сказала Айшет, стоя спиной к Федору. — Если литься не будет, то хоть брызги, хоть капли от них достанутся. Особенно от Жакыза... Ладно, хватит об этом. — Она вытерла передником раскрасневшееся от огня, вспотевшее лицо, обернулась и опять озорно, зазывно глянула на Федора. — Мы с тобой, Фидур, так должны сплясать, чтобы огонь пошел по двору, по всему Заурхаблю! Уж я постараюсь, так спляшу, что женатые пожалеют, что поспешили и женились на других. А ты тоже — пусть у молодых да у вдовушек сердца затрепещут!

— Непременно затрепещут! — засмеялся Федор.

— Ты помнишь наш уговор? — притаив голос, спросила Айшет.

— Как не помнить! Об этом знают и Жакыз, и Гошехан.

— Ну что эти Пазадовы не сходят с твоего языка! — упрекнула Айшет. — Можно подумать, что они твои самые близкие родственники.

Федор хотел возразить, но его окликнул Дудай:

— Ну что ты никак не можешь оторваться от женщины! Ох, смотри, не шибко увлекайся. Иди-ка сюда. Тебя тут спрашивают.

Рядом с эфенди Кайметом и Дудаем стояло два старика, приехавшие из Кайхабля. В праздничных папахах, новых черкесках, с почетными посохами.

— Это и есть невольник Жакыза Пазадова? — спросил один из старцев Джебраил у Каймета, указав на Федора посохом.

— Да, ты не ошибся, — уважительно ответил ему эфенди.

— Валлахи, ни за что не подумал бы! Пока стояли мы тут, присматривался к нему и ни за что не отличил бы его от наших. И папаха ему наша к лицу, и черкеска сидит, будто влитая, даже лицом и то — похож на нас. Слышал я, слышал, сколько он разного перенес. Не отчаялся от своих страданий, не озлобился, Аллах внушил ему смирение, дал милость свою, потому он и живет с нами в ладу. Говорят добрый работник, верно служит своему хозяину, значит, творит добро.

— С этим беднягой, Джебраил, о котором ты речь ведешь, я много встречался и по воле Аллаха влиял на него, приучал к добру. Хоть он и гяурского происхождения — добрый человек, смиренный, и когда предстанет перед Аллахом, Тот простит, наверно, его грехи, зачтет добрые дела, сделанные на нашей земле. Аллах всемилоостив, на все Его воля.

— Верно, верно, Каймет, — согласился Джебраил, — все свершается на нашей грешной земле по воле Аллаха. Даже если человек грешил, но потом обращается к Нему со своими горячими молитвами, если он все-таки творит добро, Всевышний прощает ему, благословляет вечной жизнью.

— Да, да, грехи наши тяжкие... Но ведь бывает и так, что человек не по своей воле грешит. Вот хотя бы этот несчастный Фидур. Жил бы он там в своем селении, среди своих людей, занимался богоугодными делами — все легче бы ему было держать ответ перед Всевышним, а то вот пришел сюда с оружием. Даже не сам пришел, а принудили.

— Принудили, принудили! — не сдержал своего гнева другой старик, Батырбий. — Он убивал людей, жег жилища. Кровь на нем, кровь! Это великий грех, его невозможно простить.

— Да, большой грех, — согласился Джебраил, печально качнув седой головой.

— Но, видишь ли, чтобы судить о человеке, чтобы размышлять о его грехах и прочем, надо, как говорится, побывать в его шкуре. Я говорю о милосердии, о доброте говорю, дорогой Батырбий.

— Зачем такое говоришь?! — возмутился Батырбий.

— А затем говорю, что милосердию нас учит Всемило- стивейший Аллах, создатель всех сущих на земле... Хватит, хватит, мы ведь на свадьбу пришли — пусть сегодня со всеми нами будет веселье, благодать, дарованная Аллахом!

Батырбий хотел еще что-то сказать, но в это время возвысил свой голос джегуако — распорядитель свадебного веселья:

— Люди добрые, гости дорогие, пожаловавшие сюда на радость Пазадовым, на радость всем нам, — шире круг, шире! Больше простора, больше! Парни становятся вот здесь, а девушки — напротив. Еще шире круг, еще больше простора, чтобы парням были хорошо видны наши красавицы, а красавицам — джигиты. Я должен сказать вам, парни, что напротив вас стоят самые красивые девушки, может, самые красивые во всей Черкесии!.. По завету наших отцов и дедов я должен открыть нашу свадьбу, но среди нас есть достойный мужчина, великолепный танцор, которому я и в подметки не гожусь, а потому своей властью свадебного распорядителя, от имени всего Заурхабля доверяю ему открыть наш праздник. Имя этому человеку — Карох Тыганов! Музыку!

И пошел, пошел джегуако выделывать коленца, понесся легче легкого по кругу, к тому месту, где среди самых уважаемых гостей находился Карох.

— Прошу, Карох, все просят тебя! Слышишь, как бойко играет музыка!

Не ударил лицом в грязь Карох, не посрамил ни своей чести, ни чести аульчан, показал себя так, будто было ему уже не под шестьдесят, а может быть, всего тридцать. Легко, но неторопливо-сдержанно, с достоинством, он танцевал с первой красавицей, что плыла с ним по свадебному кругу.

Это было прекрасно! Казалось, будто на всей земле только и жила в эти минуты радость, жило счастье, если и были слезы, то это были слезы счастливого единения добрых людей.

Закончил танец Карох, проводив девушку к ее подругам и легким поклоном поблагодарил за оказанную ему честь.

— Дорогие друзья! — выйдя на середину круга, обратился ко всем джегуако. — Я благодарю Кароха Тыганова

за то, что подарил всем нам прекрасный танец... А теперь я прошу выйти в свадебный круг досточтимого и достославного Джебраила Мамсирова, о мудрости и мужестве которого знают не только в Абадзехии, но и во всей Черкесии.

Джебраил вышел на середину круга и, пока танцевал огневой зафак, по рядам прошел разговор: Джебраил Мамсиров подарил молодым серебряные часы...

— А теперь, досточтимые гости, посмотрите на это маленькое чудо, сделанное руками человека. — Джегуако поднял вырезанных из дерева жениха и невесту в свадебных нарядах. — У нас не принято на свадебных танцах показывать подарки, но для этого человека мы сделаем исключение. Вы, конечно, догадались, кто этот мастер. Правильно, правильно — это Фидур Анаскевич. «Полезу я в свой дырявый карман, нет там золотой монеты, полезу в другой, и там пусто, хотел бы подарить скакуна, да не знаю, где затерялся мой табун, и отары овец нету, пусты мои руки, но нет, не пусты они, — сказал Фидур, — есть в них доброта, тепло есть, вот их-то я и подарю молодым. Пройдет время, а эти молодые так и будут молодыми, хоть и через сто лет». Так сказал Фидур, даря молодым это маленькое чудо своих добрых и умелых рук. Посмотрите, похож этот молодец на Сабеха?

— Похож!

— Очень похож!

— И красавица-невестка похожа!

— Спасибо, Фидур, за твой подарок, за твою доброту...

А свадьба шла своим чередом. Все прибывали и прибывали гости из соседних аулов. Прибывали гости, значит, прибывали на свадьбу радость и веселье.

День выдался, как говорят, на славу: небо веселое, солнце ласковое, и ветерок — приятный, освежающий.

Остороженько выскользнула на веранду Гошехан. Окинула взглядом двор и осталась очень довольна представшим перед нею зрелищем: весело, шумно, торжественно, все сливается в один голос свадьбы. Будто и никакой войны, бед никаких нет на всей большой земле. Если свадьба — какие же могут быть беды! Нет, не могут, не должны. Так подумалось Гошехан.

Но странное дело: вернулась она в большую комнату, что рядом с кухней, где по своей обязанности сегодня должна находиться среди почтенных старых женщин, и вдруг встревожилась — ей почему-то почудилось, будто ее обижают все, обкрадывают, а еще показалось — подгорелым запахло, гарью потянуло со двора. «Разини, наверно, забыли хорошенько, в меру посолить, про перец вовсе забыли».

— Простите ради Аллаха,— обратилась Гошехан к старухам, пойду посмотрю, все ли ладно устряпых.

— Конечно, Гошехан, конечно,— сказала старейшая из женщин, согбенная тяжестью годов,— хозяйский глаз — самый верный глаз. Глаз увидит — сердце успокоится.

— Успокойся ты, успокойся,— подала голос из угла дородная, пышнотелая родственница Жакыза,— этой танцующей братии хоть быка подай, хоть двух, хоть недожарь или пережарь — все съедят. Садись, лучше поговорим о наших молодых.

— Поговорим, конечно, поговорим,— согласилась старейшая, но, подумав, добавила: — Сходи, сходи, Гошехан, посмотри хозяйским глазом, чтобы душа твоя успокоилась, а потом уж и поговорим, отведем душу. Я расскажу о своей свадьбе, которая была... Уй, так давно была, так давно!

Завздыхали старые женщины — матери, бабушки, прабабушки. А как же не вздохнуть — ведь каждая из них когда-то была невестой!

— Сходи, Гошехан, сходи, посмотри,— согласились и другие женщины.

Вышла Гошехан и сразу же за углом встретила Айшет с большим черпаком в руках, с подоткнутым передником и засученными рукавами. Увидела она Гошехан и обрадованно воскликнула:

— Аллах послал тебя ко мне! А я все заглядывала в окно, рукой тебе знаки подавала, мол, выйди на минутку.

— А что случилось, Айшет? — спросила Гошехан и подумала: «Выходит, не зря беспокоилось мое сердце».

— Ничего особенного и не случилось, успокойся, пожалуйста. На тебе прямо лица нет. Свадьба она и есть свадьба. Вон как стараются парни, как джигитуют перед девчатами! Посмотри, посмотри! Сначала я подивилась,

откуда в Заурхабле набралось столько красивых девушек? Почему я раньше не замечала их! А потом поняла: на свадьбе все становятся наряднее, красивее...

Все говорила, говорила Айшет, но Гошехан ее не слышала: «Аллах Всемилостивейший, Вседобрейший, пусть пройдет наша свадьба, как и полагается ей — веселой, счастливой, пусть невестка принесет в наш дом благополучие, добрый семейный покой. Еще, о Аллах, оборони нас от войск, что двинулись на Абадзехию из Крыма. Спаси, сохрани и помилуй нас грешных».

— Почему это так, скажи, пожалуйста,— продолжала Айшет.

— Что — почему?

— Почему свадьба делает всех девушек, да и парней тоже, очень красивыми?

— Ах! — досадливо махнула рукой Гошехан, — откуда мне знать, да и до этого ли сейчас? Ты мне скажи лучше, зачем я тебе понадобилась, что случилось? Только не криви душой.

— Чего ты так смотришь на меня? Это я должна так смотреть, это у меня нехорошо.

— Чем ты недовольна, кто обидел тебя?

— Уже темнеет! Разве ты не видишь.

— Ну и что? На то и вечер, чтобы солнце село, чтобы звезды выглянули и порадовали всех нас. Ты, должно быть, права — поужинать гости должны засветло. Где Дудай, почему не командует накрывать столы?!

— Э-э! — возмутилась Айшет. — Не бойся, не пронесут мимо рта твои гости, а вот когда стемнеет, кто увидит мой танец с Фидуром? А ты ведь обещала, обещала! Жакыз тоже обещал!

— Айшет, Айшет! Что ты говоришь!

— А то и говорю: по всему Заурхаблю болтают обо мне и Фидуре! Болтают на углах, на перекрестках! Вот я и хочу — пусть все увидят.

— О люди, о гости дорогие! — воскликнул джегуако. — Пусть наша свадьба будет счастливой среди всех самых счастливых. Пусть каждому будет у нас весело!.. Фидур говорит мне: если не позволишь на свадьбе Сабеха танцевать, очень обижусь. Так и сказал: «очень обижусь». И

наши стряпухи просят за него. Даже не просят, а требуют: пусть он станцует с Айшет.

— Да, да! Пусть станцуют!

— Давай, Фидур!

Яростнее загремела музыка!

Сильнее захлопали гости!

Джегуако поднял руку:

— Прошу тишины! Где Айшет? Вон она где! Выходи в круг! Вспомни свою молодость, свою свадьбу вспомни!

— Слышала, Гошехан! Возьми черпак. Да не забудь: выкупи нас, не позорь беднягу Фидура. Если жалеешь для выкупа бычка, я отдам тебе своего.

— Нехорошо, Айшет! Как это мы станем с тобою одаривать друг друга. Люди осудят нас.

— Не осудят! Люди знают Фидура, они уважают его. Русский станцует на свадьбе адыга! Об этом долго будут помнить!

— Твоя правда,— согласилась Гошехан.— Такого еще никто не видел.

Вышла Айшет.

Вышел Федор.

Вдруг все замерло!

Это было мгновение тишины, удивления, восторга, это было мгновение блага над грешным миром, мгновение безгреховности.

Всего лишь мгновение!

И ударила музыка, послышались рукоплескания, зажигательные выкрики!

Только совсем немощные старики и старухи остались в доме, остальные вышли, чтобы посмотреть, поддержать танцующих, порадоваться необыкновенной доселе радостью.

Джегуако стал в танце сопровождать Федора и Айшет, как бы представляя их своею честью, своею важностью распорядителя свадебного праздника.

И вот вышла в круг Айшет! Гордая, степенная, на удивление красивая, а в танце — сама легкость, само изящество. Нет, не похвалялась она. Ведь когда расцветает, скажем, яблоня, одевается в свой удивительный наряд, разве она похваляется своей красотой? Нет. Она просто такая есть.

А еще — как ни старался, прихрамывал Федор, тяжело-ват был в танце, и Айшет собою хотела украсить его, отдав ему часть своей красоты, молодости, обаяния. Так ей хотелось. Пусть весь аул это увидит, пусть знает, что не может, не должен никто прятать свои добрые чувства.

И все же Федор выглядел в танце достойным мужчиной. Его усы, борода, шапка — черкесские. Да и плечи, грудь, поворот головы — все не чуждо заурхабьцам, больше того, уже было что-то в нем и родственное. Заезжий человек запросто принял бы его за черкеса. А танцует как! Как тянет носочки кавказских легких сапог, как плавно движется, хромоты и вовсе не видеть.

«Что толку в том Жакызе, который ногами не хромым, а душою — хромее не придумаешь,— плывя по кругу, думала Айшет.— Эх, Фидур, как бы я счастлива была с тобою, и тебя сделала бы счастливым, если бы ты уверовал в нашего Аллаха, если бы женился на мне... А хоть и не надо так! Я пошла бы за тобой, приняла бы твоего Бога. Да что там — твоего! Он — наш, Он один на всех, просто Он любит тех, кто любит Его, кто хочет жить по Его воле. Эх, Фидур! На каких тропинках заплуталось наше с тобою счастье, наша с тобой радость, в каком речном омуте утонула, какой злой ворон выкрал его у нас с тобой? Эх, Фидур!..»

— Валлахи, Джебраил, ты посмотри, что делают наши мусульмане в честь гяура. Ни стыда, ни совести! — проворчал старый Батырбий.— Ишь ты, ишь ты, как он подладиллся под наших. Дьявол он, дьявол!..

— Зачем ты так, Батырбий, что худого сделал этот несчастный человек? — возразил Джебраил.

— Как что?! Выплясывает, выказывает себя перед нами!

— Красиво танцует. На нашей свадьбе молодых славит. Ничего плохого тут нету.

— Эх, Джебраил, ты ведь уважаемый, старый человек, а такое говоришь!.. Гяур он. Шайтан его принес сюда. А эти и хлопают, врагу хлопают! — не унимался Батырбий.

— Я не хотел бы в такой радостный день спорить с тобой, Батырбий,— пытаюсь смирить гнев Батырбия, заговорил негромким голосом Джебраил. Мягко улыб-

нулся.— Не надо спорить. Посмотри, посмотри, как слушают все распорядителя свадьбы, весь Заурхабль сейчас в его подчинении. Каждый в своем деле мастер. Разве мне поверят, если скажу, что Батырбий Хакурин плохой шорник? Меня ведь все осмеют, сам же я себя и опозорю. А еще скажу: не надо сейчас говорить этих плохих слов — гяур, шайтан, дьявол. И путать одно с другим не следует, ведь мечеть и свадьба — разные вещи...

— Что ты говоришь, Джебраил?! — вскипел Батырбий. Он резко осуждающе вскинул седую голову, плечи раздвинул, будто к бою изготовился, к схватке.— Что касается моего дела, моего ремесла — это одно, а Божьи дела...

— Зачем ты так горячишься, многоуважаемый Батырбий? Я всегда с почтением относился к тебе, чтил тебя, твою мудрость. Ничего грешного я не сказал и не скажу. Я только и говорю: мечеть — это место для наших молитв, а свадьба — для веселья. Если кто разделяет с тобой твою радость, если кто с добром вошел в твой дом, того и благослови. Недаром же издревле у нас говорят: гость в доме — счастье в доме. А что люди иной веры пришли к тебе в дом, так об этом ничего в Коране не сказано. Возьми хотя бы моздокских адыгов. Они наши единокровные братья, а ведь они — христиане, а мы — мусульмане. Если бы они приехали к тебе на праздник, принесли доброту своего сердца, разве ты не открыл бы перед ними свои двери? А еще хочу сказать: все в руках Аллаха, во всем Его воля. Что скажешь, эфенди Каймет?

— Все в руках Аллаха, это верно,— уклончиво ответил эфенди,— все порядки наши установлены издревле. Как тут сказать: возможно и в этом воля Аллаха — пусть станцует этот бедняга на нашей свадьбе, пусть повеселит всех нас. И нашей Айшет, видно, так суждено Аллахом, сплясать с Фидуром.

Недовольно нахмурился Батырбий.

Снисходительно улыбнулся в усы Джебраил.

Смолкла музыка.

— О люди, о дорогие гости нашего большого веселья! — заговорил распорядитель свадьбы, выйдя на середину круга.— Если с высоты окинуть взором наш прекрасный Заурхабль, если пройти мимо тех, кто захочет выкупить

Фидура, то выкуп окажется такой большой, что не уместится во дворе! Но выкупить Фидура решила сама хозяйка, многоуважаемая Гошехан — она дает самого лучшего бычка из своего стада!

— Слыхали?! — угрожающе потрясая посохом, воскликнул Батырбий.— Этого поганого гяура выкупить даже некому, так выкупает сама его хозяйка. Позор!

— Куда ты спешишь, мой друг! — с упреком сказал Джебраил.— Поспешность для почтенного старика не украшение. Давай послушаем до конца, что скажет джегуако.

— Послушайте дальше, многоуважаемые гости, Карох Тыганов дает в счет выкупа рубль серебром. Желаем тебе, Карох, чтобы этот рубль увеличился в твоём доме во сто крат и украсил свадьбу твоего сына Мурата... Мамий Беджанов не может сегодня веселиться с нами, у него в доме траур, но он в счет выкупа дарит молодым жеребенка от лучшей матки своего табуна. Мы будем молиться Мамий, чтобы Аллах смягчил твои беды, пусть табун твоих породистых скакунов полнится и полнится, пусть твои скакуны будут лучшими не только в Черкесии, но и по всему Кавказу. Мы желаем тебе спокойной старости, покоя в твоей доброй семье... А теперь, уважаемые, посмотрите сюда, посмотрите на это чудо мастера! — И он поднял над головой наборный пояс черного серебра.— Тонкая эта работа. Дарит его гость из Наджикохабля Джамбеч Дагужий. Честь и хвала ему за это!

XX

Свадьба у адыгов может длиться три дня или семь, а то и больше, у кого какой достаток, как время велит. Три или семь — не бог весть какая разница, все равно они чем-то похожи на вспышку молнии, которая вдруг ярко высветит все и потом погаснет. Уйдет, но останется в памяти многих, особенно в памяти молодых и их родителей. Но есть тут и еще одна особенность: свадьба Пазадových длилась всего три дня, но месяц, а то и больше в Заурхабле, в окрестных аулах только и разговору было — какой прекрасной, веселой была эта свадьба! А подарки

какие были богатые, щедрые, какие яства подавались, какие красавицы Заурхабля и окрестных аулов блистали на ней, уже роняя зерна будущих свадеб. А как же, а как же! Вон парни горячие уже намотали, как говорится, на ус, каждый взял на прицел свою будущую невесту!..

Все так, все верно, однако больше всего говорилось, рассказывалось, обрастало разными былями и небылицами, как танцевали на свадьбе Айшет и Федор.

В ауле теперь принимали Федора на равных, а молодые первыми раскланивались с ним, уважительно держались на почтительном расстоянии, как того требовал древний адыгский обычай.

Все это было хорошо, но только с одной стороны: конечно, приятно видеть, как уважают и ценят тебя, человека другого народа, враждебного в этой проклятой войне, а с другой-то — ох, как горько! Федору хотелось домой, но как ты бросишь, можно сказать, предашь людей, которые с таким добром, с таким уважением относятся к тебе? Ты знаешь, что придут русские войска и освободят тебя, ты вернешься к своим, к семье! Но ведь эти самые твои братья столько бед принесут этим людям, ни в чем повинным перед Россией и ее царем!

«Господи, научи, помоги, вразуми как быть. Наверно, будет наименьшей моей бедой, если я тихонько уйду от них,— подумал Федор.— Сам по себе, тихонько, никому не причиняя вреда. Господи, освободи меня от клятвы моей. Освободи, умоляю Тебя. Еще немного пройдет времени, лягут снега, завалят дорожки-тропинки, и тогда уж до нового лета прости-прощай моя свобода».

Он опустил на колени перед складнем, долго молчал, как бы прислушиваясь к чему-то, ждал и спрашивал: какое наказание меня ждет, Господи, если я нарушу свою клятву и уйду к своим?..

Прислушивался, ждал, и повторял: «Господи, научи, помоги, вразуми».

Помолившись, Федор вышел во двор.

Небо было низким, хмарным, а Федору так хотелось, чтобы оно было звездным, словно звезды могли ему что-то сказать, что-то шепнуть.

Робко в этой густой тьме светились окна домов ночного Заурхабля.

Приглушенно доносились призывы муэдзина к молитве.

Федор подумал, глядя в беспросветное, тяжелое небо: если этой ночью не упадет снег, это и будет Твое разрешение, Господи, Твой знак — сяду на коня пораньше и умчусь в дальнюю даль, навстречу упрятанной в ней опасности... Подумал так, и сердце сжалось от боли: как же он уйдет не попросившись с Сабехом, Карохом, с Айшет? А как проститься, как сказать им?..

— Э, что тебе не сидится в такую непогодь дома? — непривычно добродушно спросил Жакыз, вывернувшись из темноты.— Ух, какая тяжкая нехорошая погода; туман, слякоть, да еще этот противный дождик, не дождик, а так въедливая морось. Хоть бы скорее снег пошел, укрыл все. И воздух стал бы приятнее, здоровее.

— Ты думаешь, Жакыз, снег пойдет?— встревоженно спросил Федор.

— Хорошо бы.

— А не рано еще? Выпадет да опять растает и будет все та же слякоть. Когда снег поздно ложится, то это уже накрепко. Да с морозцем. Ранний снег ляжет, с кормами для скотины будет хуже.

— Хватит корма, хватит.

— Конечно, однако...

— Что — однако?

— Да так.

— Нехорошо у тебя на душе, Фидур. У меня — тоже. Тревога какая-то, сосет под ложечкой. Может потому что небо тяжелое — ни звездочки, ни искорки — давит... Сегодня пятница, надо бы сходить в мечеть, а не хочется. Помолюсь дома и пойду спать.

Ушел Жакыз.

«Тревожно у него на душе. Может, мою тревогу он почувствовал? — подумал Федор.— Бывает такое, от одного человека передается другому. Радость — она, как птичка, порхает, а тревога, беда огнем жгет, не утаишь ее, не пройдешь мимо. Обязательно прожжет... Если за ночь не выпадет снег, утром отгону быков на лесную поляну, а там — через перевал прямо выйду к Шабержской крепости. И — дома, дома! Снег — это и будет знак Божий.

Совсем было уже собрался ложиться, да Мишид что-то завозился, взвизгнул легонько. Очень обрадовался этому Федор, потому что спать не хотелось, не унялась еще тревога.

Вышел во двор.

— Что тут у тебя? Чего лащишься? Или тоже чувствуешь тревожное? Ну ладно, ладно, пойдем пройдемся малость. Друг ты мой верный, друг мой понятливый. Как хорошо, что не умеешь говорить, а то такого бы теперь наговорил мне, не дай и не приведи, господи.

В окошке Айшет горел неяркий свет.

Федор направился к калитке. Сам не зная зачем, решил заглянуть на огонек. И неизвестно, чем бы это кончилось, что могло приключиться, если бы не Сабех:

— Это ты, Фидур? Час уже поздний, пора бы и спать. Беда какая приключилась или просто так?

— Не знаю... Просто так. Сон что-то не берет.

— Вот и с отцом такое же, мается. Говорит, спать пора, а не хочется.

— Да, да, не хочется,— пробормотал Федор и неожиданно для самого себя вдруг спросил: — Как ты думаешь, Сабех, будет нынче ночью снег?..

— Валлахи, не знаю. Небо в тучках, вроде бы и не снеговые те тучи, но всякое может случиться...

— Думаешь, не будет снега? — обрадованно сказал, почти воскликнул Федор и спохватился.— А ты-то чего не спишь? Может пойдем ко мне, посидим, поговорим?

— Я всегда рад поговорить с тобою, но уже поздно,— колеблясь проговорил Сабех.

— Пожалуй, да. Уже совсем поздний час. Доброй ночи тебе, Сабех. Да хранит тебя Аллах.

— Тебя тоже, Фидур.

«Господи, пошли Сабеху благополучие и милость его семье, которая только-только становится на ноги. Упаси от злых людей, от их напасти... А ты, Сабех, прости, если чем тебя обидел, не обессудь, что не сказал тебе о своей задумке, что ушел, покинув тебя. Не обессудь» — и слезы навернулись на глаза Федора, с болью застучало сердце.

У себя в комнате он помолился на иконку. И не лег, а повалился на постель, обессилив душой и телом.

И опять за дверью заскулил Мишид — теперь уже громко, требовательно.

Что случилось?!

Открыл дверь: Мишид стоит мокрым.

Что там?! Снег?!

Нет. Просто дождь.

«Благодарю тебя, Боже».

— Иди, Мишид, иди погрейся у печки. А я все-таки выйду на улицу, погляжу, ведь дождь запросто может обернуться снегом.— Набросил телогрейку на плечи и вышел. Просто так, посмотреть на небо, подставить разгоряченное лицо холодному дождю.

Но что это?! Не к калитке понесли его ноги — перемахнул через плетень и подался вдоль плетня к дому Айшет.

«Зачем ты идешь туда, зачем? — кричал в нем трезвый разум, кричал и требовал: — Вернись, не делай глупости!»

Не послушало упрямое сердце разума.

Федор осторожно постучал в дверь.

— Кто там?! — встревоженно, но в то же время обрадованно спросила Айшет, будто ждала этого стука.

— Это я, Фидур.

— Входи же, входи скорее, — задыхаясь, проговорила Айшет, распахнув дверь.— Ой, какой там дождище! Ты совсем вымок. Проходи, садись у печки.

Он сел на краешек табуретки.

— Чего ты так сел? Ты же мужчина! — приказала Айшет. И улыбнулась.— Вот теперь правильно сел, по-мужски прочно.

— Да, хорошо,— пробормотал Федор.— Ты... ты знаешь зачем я пришел?

— Беда, что ли какая приключилась? — испугалась она.

— Слава Богу, никакой беды.

— Слава Аллаху! — сказала и Айшет, сменив в черных глазах встревоженность на радость.— Какая недогадливая, уж такая недогадливая! Когда среди ночи к одинокой женщине приходит мужчина, то совсем не надо спрашивать, зачем он пришел... Верно, Фидур?

— Да, конечно... Да вот у меня... как тебе сказать, у меня совсем другое дело.

— Конечно — другое! — лукаво улыбнулась Айшет. — Твоя телогрейка насквозь промокла. Снимай-ка, давай сюда, я просушу ее. Вот так, вот и хорошо. — Она повесила телогрейку на спинку стула возле горячей печки. — Еще скажу, нос у тебя, у-у, какой чуткий.

— Нос как нос, — озадаченно промолвил Федор, — может, немножко великоват.

— Самый раз, самый раз для мужчины... Только я о другом говорю: как ты почуял своим носом, что сегодня мне удались шапсугские вареники. Уж так удались! Со свежим сыром, с поджаренным золотистым лучком да кислым молоком политы!

Айшет пододвинула к нему трехножный круглый столик-анэ, поставила миску с варениками, положила деревянную вилку и довольная села напротив него.

— Ешь, не стесняйся. Доброго тебе аппетита. Да смелей, смелей! Вот так, вот и хорошо!

— Валлахи, ничего вкуснее не ел в своей жизни. Ну, мастерица ты, ну мастерица!..

— У тебя нос за версту чует вкусное, а у меня сердце чуткое: готовь, сказала оно, вареники. Зачем? — спросила я у него. А оно заладило свое: готовь, потом узнаешь. Вот и узнала. — Айшет весело рассмеялась, играя яркими глазами. — Жакыз все шастал у моих окон, я вышла и прогнала его. — «Ты сына женил, скоро станешь дедушкой, бессовестный, уходи, а не то все расскажу Гошехан, Сабеху расскажу». Ты бы посмотрел, Фидур, как он перепугался, как перепугался! Трус негодный, поскудник. А когда ты постучал, я сразу и поняла, для кого приготовила вареники.

— А ты-то сама почему не ешь? Садись. Прошу тебя. — Он пододвинул ей табуретку. — Бери вилку. Мне хочется, чтобы ты со мной поела. Уважь, пожалуйста.

— Спасибо, Фидур, спасибо, меня еще никто так не приглашал к столу. Накормить вкусно мужчину, которого ты уважаешь, которого... любишь, что может быть радостней для женщины. Да еще для одинокой. А если этот мужчина еще и похвалил твою стряпню, если сажает рядом с собою!.. — Две крупных слезины набухли в уголках ее глаз, скатились по щекам.

Федор отвернулся, чтобы самому не смущаться и не смущать Айшет.

— Ты понял, что я сказала о мужчине, который...

— Как не понять, Айшет, давно понял.

— Так чего же ты избегал меня?

— Как тебе ответить, Айшет?..

— А прямо и отвечай, — призывно улыбнулась она.

— Прямо только вороны летают, а человек...

— Хитер ты, Фидур, хитер! Где же это видано, что женщина сама сказала мужчине о своем сердце? Да теперь уж ничего не поделаешь, — и она ушла в другую комнату. — Сейчас я, мой хороший...

Заколотилось его сердце, строго спросило у него: ты зачем пришел сюда?! Не знаю. Как это, не знаешь! Ты пришел к молодой женщине, которая любит тебя, переборов стыдливость, сама призналась тебе об этом. Понимаю... — совсем задышалось оно. Ты, наверно, просто не можешь... Могу. Очень могу, но... не могу. Я знал одну лишь Клаву... Только Клаву мою... Ну и что?!»

Вошла Айшет.

Она была в длинной ночной сорочке. На спине лежала распущенная коса. Ее смуглые щеки пылали.

Она села рядом с ним, взяла его за руку:

У него закружилась голова:

— Прости меня, Айшет. Я пришел сюда...

— Что же ты замолчал? Скажи мне, мой хороший, я слушаю тебя.

— Я пришел открыть тебе свою тайну. Я верю тебе, только тебе одной.

— Если бы не верил, не пришел бы среди ночи. — Она нахмурилась, убрала руку. — Говори же, что за тайна такая у тебя? — И погасли ее глаза.

— Я пришел проститься с тобой.

— Как это — проститься? — Айшет побледнела. — Не будешь ко мне заходить? Испугался Жакыза?

— Дело совсем не в этом.

— В чем же? Скажи наконец прямо: что ты задумал, почему прощаешься со мной?

— Если нынче ночью не выпадет снег, я завтра уйду. Совсем уйду из Заурхабля.

— Какой снег? Почему — снег? Куда ты уйдешь?

— Ты знаешь, я поклялся не убежать от Жакыза.

— Ну так что? Подумаешь дела какие — он Жакызу поклялся! Да плевал Жакыз на твою клятву, ему на все плевать, что невыгодно, что его утробе не нравится.

— Это дело его, а я перед Господом дал клятву, один Он только и может освободить меня от нее.

— И как же Он освободит? — все больше и больше удивлялась Айшет.

— Я тебе про снег и говорю. Молился сегодня, просил у Него, чтобы Он дал знак... Если выпадет снег, то через перевал на Шабежскую крепость не пройти. Вот и жду: если к утру не выпадет снег, значит, Господь благословляет побег... А к тебе у меня вот какое слово: венчался я во храме с Клавой, она моя единственная суженая, ей одной я только и принадлежу. Если еще и это слово преступлю, если венец нарушу, тогда и вовсе не следует жить на белом свете.

Опустил голову Федор. Она показалась ему такой тяжелой, что не было сил держать ее.

Айшет тоже сидела, склонившись, словно бы пыталась время, ждала его милости.

Не дождалась. С дрожью, тяжело вздохнула:

— Я знала, я видела, что ты честный, что настоящий, а теперь и вовсе вижу — редкостной ты души человек, еще больше люблю за это, и не надо нам с тобою гневить Аллаха. Я — грешница, но жила с Жакызом не по своей воле. Он грозился мне и исполнил бы свою угрозу, если бы я не пустила его к себе.

— Как же будет теперь? Ты прогнала его, он наклеветает на тебя и по закону шариата...

— Знаю! — прервала она Федора. — Гошехан уже догадывается о его проделках, Сабех тоже искоса поглядывает на него, так что не решится он, не посмеет... Хоть и ничего у нас с тобою не получилось, но ты был и останешься для меня радостью, светлым огоньком в моем вдовьем, горьком житье-бытье.

Отвернулась Айшет и, уткнувшись в ладони, беззвучно заплакала.

Федор встал и склонил перед ней свою седеющую голову. Потом встала и Айшет и низко поклонилась ему:

— Да благословит тебя Аллах, да поможет Он тебе вернуться в семью, в родной край. Я буду молиться о тебе, буду просить милости у Аллаха для тебя...

Не то спал, не то был в каком-то тяжелом забытье Федор, когда услышал гул урагана, разгулявшегося в Кубанской степи, пригнавшего оттуда снеговые тучи.

— Благодарю Тебя Боже, что не позволил мне стать клятвоступником. — Федор широко и благодарственно перекрестился.

XXI

После урагана, что разразился перед самым утром, стало солнечно и тихо.

Снег был мохнатым, мокрым. Он залепил все своею яркой белизной. Отяжелели ветви деревьев, стога сена, крыши домов и сараев оделись в пушистые покрывала. Дворы и улицы стали неожиданно просторными. В ярких лучах солнца все казалось вроде бы не настоящим, а сказочным.

Федор вышел во двор в смятенных чувствах. С одной стороны, был благодарен Господу за Его знак. Даже самый удачный побег будет связан, конечно, с риском, с трудностями — теперь они, по велению Божьему, отпали. Облегчение вышло. С другой стороны, тоска заедала, что опять придется тянуть лямку невольника. Хоть и благополучно, однако все же невольника. Тоска по семье, по родине, да просто по русским людям, русской речи.

С Айшет тоже донимала двойственность. Она любила его, пленника, человека не первой молодости, чужака. Любила, и это было приятно Федору, возвышало над самим собой и, понятно, грело его душу, мужское самолюбие.

А с другой-то стороны, как ему быть теперь, хоть и не было у него, как говорится, мужского опыта, он все же понимает, Айшет после своего признания может оскорбиться, если Федор не придет к ней. Очень может оскорбиться. Сильная, своенравная и обидчивая. Вон как она обиделась на Жакыза, и обида эта способна на многое, на месть способна.

Федор очистил дорожки к сараям, к конюшне, накормил скотину, лошадей и теперь стал пробивать дорожку от сараев к дому, к калитке.

Он все ждал и ждал: должна же Айшет, увидев его во дворе, выйти к нему, должна же сказать какие-то слова.

Ах, как долго тянулось время. Тянулось и тянулось. Он поглядывал на окна дома Айшет — может быть, хоть в окошке покажется. Не спит же она до сей поры.

Но вот она вышла. Подбирая полы накидки, быстрыми шагами направилась к калитке Пазадовых. Подался туда и Федор. Так, вроде бы по-своему делу.

Она шла так, будто не видела его.

Федор нервно покашлял.

— Это ты, Фидур? — как-бы между прочим сказала Айшет, мельком глянув на него, прошла дальше, разгребая снег сапожками. — Доброе утро. Хотела печку затопить, а спичек в доме не оказалось. У тебя тоже нет? Ты же некурящий.

«Что такое? — встревожился уже всерьез Федор. — Разве не было прошлой ночи, не было ее горячих слов, горьких слез? Что случилось? Надо бы спросить ее об этом», — она уже проходила мимо, минуя калитку. Ему даже почудилось в мимолетном взгляде женщины злорадство.

— Айшет!

Она оглянулась:

— Ну что тебе?

— А дрова у тебя есть? Может, принести? Наколоть, а? — Она поднялась на крыльцо. Обернулась.

— Спасибо, дорогой Фидур, ты наколол мне дров столько, что до самого будущего лета хватит. — Откровенно насмешливо посмотрела на него: — А тебя можно поздравить с первым снежком?

— Спасибо, все в руках Господа, — обескураженно ответил он. Хотел еще что-нибудь сказать, спросить... Но она уже исчезла за дверью. Будто ее и вовсе не было.

То ли в глазах у него потемнело, то ли снег почернел, то ли черно стало на душе.

Ему показалось кто-то толкнул его в спину.

В конюшне вороной Жакыза заржал.

«Верно! — воскликнул про себя Федор. — На коня и — ходу! Ищи ветра в поле!»

А что? Вон она как прошла, как ожгла презрением! Чего доброго, скажет Жакызу, и опять наденут колодки. Да еще потяжелее сделает их Жакыз.

Кинулся к себе в комнату Федор. Перекрестился перед складнем. Опустился на колени, горячо стал молиться.

Потом сунул за пазуху складень, хотел балалайку захватить, но передумал — только мешать будет в дороге.

Скорей, скорей! Во всем Заурхабле нет быстрее коня Жакыза. Только бы в седло, только бы за околицу.

Тут же его посетила, как он скажет потом, черная мыслишка: надо бы слегка попортить ноги коня Сабеха — тогда им не на чем будет пуститься в догонку. Что делать, что делать! Ведь тут — жизнь или смерть. Жакыз не пощадит, если догонит.

Вышел во двор, прислушался. Тихо кругом. Может, Айшет и не сказала ничего Жакызу, может, они еще только думают, как поступить со своим невольником.

А, может быть, он зря грешит, плохо думая об Айшет? Но теперь уже делать нечего. Скорей в конюшню!

— Фидур! Приготовь-ка в дорогу лошадь отца и мою, — с крыльца крикнул Сабех. — Слышишь, что говорю? — повторил Сабех. — Побыстрее седлай.

— Слышу, — с дрожью в голосе ответил Федор. — Беда какая приключилась или как?

— Никакой беды, просто надо поторапливаться. В Кайхабле умер наш знакомый старик. Надо выразить соболезнование его родным и близким.

— Сейчас я, мигом все приготовлю, — сказал Федор и захромал к конюшне, разгребая сапогами снег.

И опять из одного Федора как бы сделалось несколько: один был рад, что не надо рисковать, не надо обижать своим побегом доброго Сабеха, что просто не нужно никого обманывать. Другой досадовал, что по-прежнему останется невольником, которого иные, зlobствуя, все еще презрительно называли гяуром. Третий жалел несчастную Айшет, она даже нравилась ему. Четвертый же теперь опасался ее — как бы не стала мстить ему из-за оскорбленного женского самолюбия.

Седлал Федор коней и между делом спросил Сабеха:

— Старик тот своей смертью умер или... в бою?
— Он прожил почти сто пятнадцать лет и тихо отошел в мир иной.

— Похоже, счастливым был тот человек: такую долгую жизнь прожил, спокойно отошел к Господу. Да откроет Аллах пред ним врата рая. Дети, внуки есть у него?

— Уже правнуки лихо джигитуют.

— Счастливый...

Жакыз вышел на крыльцо, по-хозяйски строго спросил:

— Готовы кони?

— Да, хозяин, готовы,— ответил Федор и подвел в поводу коня к Жакызу.

Крепким мужчиной был Жакыз, еще по-молодому поднимался в седло, браво сидел, развернув плечи:

— Валлахи, Фидур, зачем этот мокрый липучий снег? Как бы в саду ветки деревьев не поломал.

— Я провожу вас и отряхну, освобожу ветки.

— Хорошо, Фидур. Мы едем в Кайхабль на похороны, после обеда будем дома. Трогай, парень,— сказал он Сабеху.— Да благословит нас Аллах.

Постоял за воротами Федор, пока всадники не завернули за угол.

— Видишь, Мишид, в панику я ударился, чуть и тебя не осиротил. Нехорошо это. Сразу, Бог знает, что подумал о несчастной Айшет.— Федор потрепал по загривку сидевшего перед ним Мишида.— Хороший ты, славный и умный мой пес.— Тот благодарно взвизгнул, лизнул руку.— Пойдем в сад: яблоньки, черешни наши надо освободить, а то ветки поломаются.

Надо бы идти, но он все вертелся у калитки, что-то подправляя. Сам того не зная, ждал Айшет. Хотелось ему поговорить с нею, заглянуть в ее глаза. А она все не шла. «Должно, с Гошехан перемывают косточки соседок, или так просто засиделись. Зимой-то немного дел в хозяйстве, куда как меньше, чем летом. Однако и засиживаться без толку не следует». И с невесткой, наверно, разные разговоры разговаривают. Про девичество вспоминают...»

Вышла Айшет от Пазадových.

Мишид бросился к ней навстречу, замахал приветливо хвостом.

— Здравствуй, Мишид, здравствуй, ты один на белом свете, кто мне всегда рад,— сказала Айшет громко, будто бы не видя Федора, но для него-то, для Федора, все это и было сказано с упреком.

— Зря ты такое говоришь, Айшет.

— Ты еще не ушел, Фидур? — повела она бровью, через плечо глядя в сторону калитки.

— Говорю, напрасно ты так думаешь, неправда это.

Сбежала она по порожкам крыльца:

— Разве ты хоть раз порадовал меня чем-нибудь? Дров наколоть да напилить, траву скосить. Это я могу и без тебя, не хуже твоего сделаю, а вот другое... Да что ты с самого утра пристал к этой калитке, дай пройти!

— Не торопись, Айшет. И зачем ты сердиться?

— Только мне и дел, что на тебя сердиться! Дай же мне, наконец, покинуть двор Пазадových. Посторонись, говорю. Ну что тебе надо?! — уже нервничала Айшет.— Сто глаз смотрят на нас, сто пар ушей слушают, чтобы потом посплетничать. Гошехан с невесткой, должно, все глаза свои измозолили у окна... Говори, что тебе надо от меня.

Федор посторонился. Он не знал, что ей сказать, чем ответить на ее резкость, даже, может быть, презрение. Стоял, опустив руки. Мишид жалостно повизгивал, жался к ногам Федора.

Айшет прошла, потом остановилась и негромко бросила через плечо:

— Можешь не беспокоиться и не кружиться возле меня: никому и ничего не сказала о твоей тайне. И не скажу.

— Я и не держал никакого сомнения,— сказал неправду Федор,— я всегда верил и верю тебе, только жизнь одна... Жестокая она, жизнь-то... Спасибо тебе.

Она сделала несколько размашистых шагов и опять приостановилась, опять через плечо кинула:

— Не меня надо благодарить, Фидур. Вот встретишься со своей Клавой, ее-то и поблагодари. Это она, это ее верность, твоя верность ей... Одним словом, так и скажи.— И не понятно, чего больше было в ее словах — упрека, боли или жалости к самой себе, а может быть, она завидовала

Клаве.— Ну, что — снежок тебя испугал, а? Чего ты прилип к дому Пазадовых? Эх, мужчина! — а это уже было как пощечина.

Попшатнулся Федор.

— Все мы — люди, все мы — грешные человеки. Я помолюсь, я попрошу Господа, чтобы Он простил наши с тобою прегрешения. Я не сержусь на тебя, потому что ты делаешь больно не только мне, но и себе. Храни тебя Аллах. Храни тебя Господь.

— Ты все о Боге, об Аллахе, а Он хотя бы раз помог тебе?.. И потом — какие это у нас с тобою прегрешения?

— Айшет!..

— Замолчи, Фидур, я не хочу тебя слушать!

— Вольному — воля,— сказал он в ответ и побрел к себе. «Вольному — воля, спасенному — рай,— твердил он и твердил, пока брел по тяжелому, мокрому, липкому снегу.— Вольному — воля...»

В комнате Федор снял со стены балалайку. Побренькал, побренькал, потом каждую струну в отдельности послушал. «Железо, а поди ж ты у каждой струны свой голос...»

Побренькал и тихонько запел: «Лодочка от одного берега отстала, а к другому не пристала. Илия! Кому вынется, тому сбудется. Илия!»

Мишид залаял. Похоже, пришел кто-то.

У коновязи спешивался Карох Тыганов.

Встретить его вышла Гошехан:

— Уймись, Мишид! Уймись, говорю!

— Мишид! — это уже позвал пса Федор.— Иди ко мне. Ты что, не узнал нашего Кароха? Бессовестный.

Федор принял из рук гостя бурку, укрыл ею разгоряченного коня.

— Добро пожаловать, Карох. Мы рады видеть тебя. Я смотрю, ты издалека едешь.

— Да, Фидур, ты угадал, я еще не был дома. Рад приветствовать вас всех! А ты, Мишид? Моя косматая черная бурка ввела тебя в заблуждение, да? — Он потрепал ластившуюся собаку по загривку.

— Проходи в дом, Карох, гостем будешь. Мы всегда рады тебе! — приветствовала и Гошехан.

— Спасибо. Пошли Аллах в ваш дом счастья, чтобы всегда к вам приходили с добром, с открытой душой... Жакыза что-то не видать. Где он?

— Он с Сабехом уехал в Кайхабль. Скоро вернутся. Проходи, пожалуйста, в дом.

— С дороги я, еще дома не был, а к вам на минутку. Фидур просил меня о лекарстве, вот я привез ему от одного мудрого лекаря,— сказал Карох, скрыв истинную причину своего прихода.

— Что с тобой, Фидур? Ты заболел? Почему я ничего не знаю? — забеспокоилась Гошехан.

— Это у него даже и не болезнь, на бессонницу жаловался,— опять слукавил Карох.

Федор тем временем принес коню охапку сена.

— Принеси-ка сумку, что приторочена к седлу,— обратился Карох к Федору.— Да-да, ту самую.

— Е-во-вой, Карох, кто нынче не страдает бессонницей,— сочувствующе сказала Гошехан.— Время настало такое, что человек не может даже в своем доме спокойно уснуть. А все проклятая война... Заходи, заходи в дом, чаем свежим угощу. Иди и ты, Фидур.

— А что ж,— согласился Карох,— с дороги хорошо попить свежего да крепенького чаю. Пойдем, Фидур.

Чай и в самом деле был отменный. Мягкие лепешки с сыром — самые свежие.

— Спасибо, Гошехан, спасибо. А как вы тут поживаете с вашей красавицей-невесткой?

— Скажу прямо — повезло нам с невесткой, очень повезло. И хозяйка она хорошая, и работница добрая, и душа светлая,— ответила Гошехан.

— Конечно, конечно, как же может быть иначе, ведь она дочь одного из достойнейших мужей Абадзехии, дочь нашего предводителя Хатырбая Цея. И ничего удивительного — все в руках Аллаха, Он дает свое благословение, дарит свое добро достойным, а Пазадовых все мы знаем достойнейшими. Да будет всегда пребывать с вами мир и благополучие!.. Спасибо тебе, Гошехан, за хлеб-соль. Очень жалко, но что делать, не могу дождаться твоих мужчин из Кайхабля. Мне пора, дома заждались меня. Отдам лекарство Фидуру, объясню, как им пользоваться и — домой.

Всего вам доброго, да продлит Аллах ваши счастливые дни. Пусть каждый входящий в ваш дом приносит вам радость, а, уходя из него, оставляет свою щедрость и доброту.

— Спасибо, Карох. Пусть все, что ты нам пожелал, умноженное во сто раз, прибудет в твой дом.

— Пойдем к тебе, Фидур. Я тебе хорошенько объясню.

В сарае Карох достал из внутреннего кармана черкески вчетверо сложенный листок бумаги и протянул его Федору.

— Что это?

— Откуда мне знать,— улыбнулся Карох.— Надеюсь от тебя узнать. Ну читай же.

Побледнел Федор. От волнения задрожали его руки. Он перекрестился, развернул листок.

Чтобы не смущать Федора, Карох вышел из комнаты.

«Наш дорогой Федор Данилович!

Где бы ты ни находился, в каком конце белого света, среди каких людей, для нас самое главное — ты жив. Мы молим нашего Господа Бога — пусть продлит твои дни, пусть умилюстит сердца людей, среди которых ты живешь, пусть поскорее они отпустят тебя, чтобы ты увиделся со своей родной землей, со всеми своими родственниками и близкими твоей душе людьми. Всего этого тебе желают наши соседи, которые вместе с нами прочитали твою весточку. Из такого дальнего далека пришла она, что не сразу нам и поверилось.

Когда нам сообщили, что ты погиб в бою, мы, как и полагается, заказали в нашем храме сорокоуст, однако втайне надеялись, что ты жив, ведь на войне всякое бывает — так сказал нам и тем обнадежил дед Митрофан. Все эти годы молились мы и надеялись, уповали на Господа нашего.

Ты спрашиваешь о девочках, о дочерях твоих Марфуше и Любаше. Они, как две капли воды, похожи на тебя и обличьем и добрыми своими сердцами. И они, и я так любим тебя, так тоскуем по тебе.

Прошлой осенью Марфуша вышла замуж за среднего сына твоего друга Николая Семеновича Протасова — его, беднягу, четыре года назад убили на Кавказе. Зятя нашего зовут Павлушей. Хороший парень. Семья у них благопо-

лучная, славная — живут дружно. За месяц перед тем, как пришло твое письмо, у них родился сын. Назвали в честь и в память твою Федором.

Любаша, красавица наша, заневестилась, и жениха уже вроде бы как присмотрела, но она решила теперь не выходить замуж до твоего возвращения, так что поторпливайся, чтобы не засиделась наша дочь в девках.

Ты спрашиваешь, как я поживаю? Известное дело — тоскую, а теперь и надеюсь, жду. Буду ждать, ждать и ждать. Не посрамила я ни твоей чести, ни своей, пусть твоя душенька не беспокоится.

Письмо, весточка — это такая большая радость для нас, что большей и не бывает. Спасибо тебе. Будем надеяться, что придет и еще письмо от тебя, в котором ты расскажешь еще больше о себе, но лучше — приезжай сам. Если бы ты знал, как мы тревожно живем: чуть слышатся шаги у нашей калитки, мы сразу же думаем — не твои ли те шаги, не ты ли идешь.

Знамо дело, не сладко жить в неволе. Да еще люди те, черкесы, как ты пишешь, — другой национальности, другого языка, другой веры, однако мы надеемся на твою мудрость, верим, что ты поладишь с ними, своею добротою добудешь себе и их доброту. А еще надо сказать так: Господь терпел и нам велел. Ни капельки не сомневаемся в твоей мудрости и в твоём долготерпении. Не сомневаемся, надеемся и ждем. Опять же, у нас поговаривают, будто война пошла на убыль, к концу своему прибавается. Дай-то Бог, дай-то Бог!..

Небогатым умом своим женским я так рассуждаю: вон сколько у нас непроходимых лесов с их неисчислимыми богатствами, а луга какие заливные, поля немерянные! И зачем вы потащились в чужедальные земли?! Похоже, не сами вы, а бес распроклятуший подбил вас на великий грех!

Крепко-крепко мы все обнимаем тебя, целуем и говорим: да хранит тебя Господь.

Навсегда преданные тебе, любящие тебя супруга твоя Клавдия, дочери Марфа и Любовь, зять Павел, да внучек твой Федор».

Читал Федор, с трудом сдерживал боль в сердце, и уж совсем не сдерживал слез радости.

Прочитал один раз, в другой раз начал, да с улицы донесся шум. Выглянув в окошко, Федор увидел всадников у ворот, услышал свое имя.

Что такое?!

Спрятал письмо на груди, хотел выйти на улицу, да его не пустил Карох:

— погоди. Пока нечего тебе там делать. Письмо спрятал? Хорошо. Иди к себе и сиди, пока я тебя не позову. Ни шагу оттуда. Понял?

— Да, Карох, но... Что случилось? Беда какая-нибудь? И, как на беду, Жакыза нет дома, Сабеха. Кто эти верховые, зачем они к нам?

— Ты что думаешь, если в ауле нет Жакыза и Сабеха, так уже и нет порядка в Заурхабле? Не беспокойся, все у нас есть: и власть, и честь. Иди к себе. Ни шагу без моей команды. Понял?

— Понял, Карох, — встревоженно поглядывая в сторону ворот, на всадников, ответил Федор.

У крыльца Кароха встретила выскочившая из дома Гошехан:

— Упаси нас Аллах! Что хотят от нас эти люди?!

— Успокойся, Гошехан, — твердо сказал Карох. — Пока я здесь, — нечего беспокоиться. А у ворот — Лапинский со своими помощниками.

У своей калитки возникла Айшет с наброшенной на плечи шалью. Она смотрела во все глаза и не знала, что делать — то ли радоваться гостям, то ли опасаться, а главное, ее снедало любопытство — что это за люди, какие-то странные, совсем не адыги.

Вышел на улицу Карох.

Перед ним на горячем жеребце гарцевал блондин лет тридцати. Картинно сидя на коне, он довольно небрежно спросил:

— Это ты — Жакыз Пазадов?

Не уронил себя и Карох, как бы свысока глядя на всадника, ответил:

— Разве твой спутник не знает, что я не Жакыз Пазадов? К чему пустые вопросы задавать?

— Это не Жакыз Пазадов, это Карох Тыганов, — ответил другой находившийся рядом с Теофилом Лапинским верховой.

— С добрыми или иными какими намерениями пожаловали вы к нам? Спешивайтесь и добро пожаловать в дом, — по обычаю пригласил всадников Карох. — Жакыз Пазадов, у ворот которого вы стоите, сейчас в отъезде, он должен, вот-вот, скоро вернуться. Человек он в нашем ауле весьма уважаемый. Да и не только в Заурхабле, знают его по всей Абадзехии.

— Да у нас, собственно говоря, дело не к Жакызу, а к его невольнику, Федору Даниловичу Анаскевичу, — с достоинством важного человека сказал Теофил Лапинский. — Значит, здесь он находится в неволе?

— Не знаю, в неволе или как-то иначе это называется, но Федор Данилович живет здесь, в этом доме, в этой семье, — не скрывая своего неудовольствия, ответил Карох.

— Это я — Федор Данилович Анаскевич, — неожиданно появившись у ворот, сказал Федор.

Лапинский несколько смягчил свой взгляд, попытался спросить уважительно:

— Вы получили мое письмо, Федор Данилович?

— Да. Получал, — скупно ответил Федор.

— Почему же не ответили на него?

— Не понравилось мне ваше послание, господин Лапинский, — поморщившись, ответил Федор.

— Чем же оно вам не понравилось? — сдвинув брови, спросил Лапинский. — Что именно не понравилось, позвольте узнать?

— Вы предлагаете мне нарушить присягу, которую давал я своему императору, а в его лице — России. Вы — военный человек, к тому же полковник, такое предлагаете рядовому? Это странно, а если сказать по правде, то... очень нехорошо.

— Стало быть, вы хотите есть хлеб этих людей, пить их воду, веселить их игрой своей балалайки и спокойно взирать, как москали убивают их, жгут дома?

— Слушайте, я не знаю, кто вы такой, но почему пристали к этому доброму человеку?! — не выдержала Айшет, которая прибежала к калитке Пазадовых.

Лапинский криво усмехнулся:

— Мадам, я с детства приучен, воспитан таким образом, что с уважением отношусь к женщинам, — сказал полков-

ник и, приложив руку к груди, поклонился.— Однако... однако я бы советовал вам не вмешиваться в мужские дела.— И он снова поклонился, усмехнулся.

К воротам подскакали Жакыз и Сабех.

— Что я вижу, Карох! Почему ты позоришь мой дом, разговариваешь с гостями у ворот, не пригласив их войти?! — по-хозяйски строго сказал Жакыз.

— Валлахи, Жакыз, видит Аллах, мы очень старались, приглашая гостей спешиться и войти в дом,— спокойно объяснил Карох.— Похоже, они вовсе не собираются у нас гостить, а приехали к нам с требованиями!

— Чего же они хотят? — спросил Жакыз, хмуро глядя мимо неожиданных всадников.

— Говоришь, гости, а они пристали к Фидуру! — не выдержав снова, вмешалась в мужской разговор Айшет.

Жакыз сделал вид, что не принимает в расчет голоса женщины, обратился напрямик к полковнику, не скрывая своего неудовольствия и даже раздражения:

— Чего ты опять добиваешься, Лапинский? Я же в Даурхабле сказал тебе, что не отдам Анаскевича. Или ты не понял меня?

— Я понял тебя, господин Пазадов, и хочу спросить, знаешь ли ты мнение по этому поводу предводителя абадзехов наиба Магомет-Амина?

— Да, знаю. Ну и что?!

— Что ему передать от твоего имени, господин Пазадов?! — сердито и высокомерно спросил Лапинский.

Жакыз спешился, отдал повод Сабеху:

— Передай то, что я тебе сказал. Не только словами, но и тоном моим передай и, если вы не хотите войти в мой дом, тогда на этом и закончим дело.

— Нет! — повысил голос Лапинский.— Мы еще поговорим с тобой. Обязательно поговорим, и как следует! — полковник дал шпоры коню, поднял его на дыбы и бросил в галоп.

XXII

Всякая новость чаще всего начинается легко и просто, будто вспархивает быстрой птицей, стайей птиц, которая

разлетается во все стороны. Шире, дальше, больше становится! Остановить его почти невозможно. Не остановишь, пока она сама по себе не рассеется.

Весть о стычке Теофила Лапинского с Жакызом Пазадовым зародилась осенью, после первого снега, а продолжалась до нового года. Правда, она иногда затихала, как бы совсем исчезала, а то снова вспыхивала, занималась, разгоралась, как утренняя заря, становилась такой же свежей, как утро.

Особенно удивляло всех то, как женщина разговаривала с самим полковником на равных. Это подняло в глазах заурхабльцев уважение к Айшет. Не положено ей быть такой, нельзя этим восхищаться, но поди ж ты, восхищались!

То днями осеннего солнца и грусти, то днями щедрости земли в садах и огородах, то буйным осенним, прощальным цветом в лесу да мелкими, морозящими дождями, а потом и первым снегом, первыми метелями прошли — пролетели эти два месяца.

И вроде бы забылся уже тот день, когда приезжал к Жакызу Лапинский — спесивый, надменный. Забылся да не исчез из памяти.

Не успел вернувшийся из поездки Жакыз сесть за обеденный стол, как у ворот объявился всадник на разгоряченном коне. Посыльный от аульского старшины.

Не спешиваясь, он громко кликнул хозяина.

— Ты посмотри на него, посмотри, какой важный! — покосился в окно Жакыз.— Земли под собой не чувствует от важности.

— Это, должно быть, от старшины,— сказал Сабех,— надо бы встретить его, отец.

— Не беспокойся, там есть кому встретить его, как полагается у нас адыгов. Все будет честь по чести. Нет, Сабех, ты глянь на него: прямо-таки не посыльный, а генерал! А возрастом-то еще из мальчишек, наверно, не вышел.

Встретил всадника Федор. Как полагается, слегка поклонился ему, приглашая этим своим уважением, войти во двор, в дом.

Всадник, кажется, был недоволен такой встречей, считал, что ему должна быть оказана большая честь.

— Однако почему ты не сходишь с коня! — спросил озадаченно Федор.— Добро пожаловать, Чатиб.

— Не к тебе, а к Жакызу у меня дело,— с надменной улыбкой ответил посыльный.

— Сойди сначала с коня, как полагается по обычаю.

— Не тебе, Фидур, учить меня, адыга, нашим обычаям,— возмутился посыльный.— И не смей мне возражать!

— Ты, должно быть, прав, Чатиб, не мне учить тебя. Конечно, кто я такой, чтобы ты уважал меня, считался с моим именем. Тут я согласен, и не возражаю, но ведь, уважаемый, ты находишься у ворот почтенной адыгской семьи. Я только и хотел, чтобы ты уважал ее так же, как уважают не только в Заурхабле, но и во всей Абадзехии.

— Послушайте, люди добрые, что говорит мне, посыльному старшины аула, этот несчастный! — выйдя из себя, Чатиб стеганул плеткой коня, вздыбил его.

Тут-то и вышел из дома Жакыз:

— Что с тобой, Чатиб, что случилось? — лукаво улыбаясь сказал он.— Если тебе мало уважения Фидура, то я и свое уважение присоединяю. Добро пожаловать, прошу в наш дом, который всегда рад гостям и умеет их принимать, как велит обычай адыгов.

Осадил коня Чатиб. Смутился и быстренько спешился, представ перед Жакызом:

— Я приехал к тебе по приказу старшины. Сказано, чтобы ты и твой пленник немедленно прибыли туда.

Жакыз сделал вид, будто не слышал слов посыльного, и продолжал свою мысль:

— Валлахи, Чатиб, если ты остался недоволен приемом Фидура и обвиняешь его в чем-то, я тоже должен сказать, что очень недоволен тем, как ты спешился у моего дома.

— Да, но Жакыз...

И опять, словно не слыша посыльного, Жакыз нравоучительно и строго продолжал:

— Тот, кто не уважает обычаи своего народа, не хранит их в своем сердце, тот позорит не только свой народ, но прежде всего не уважает самого себя, свой род, своих древних предков... Сабех, приготовь коней, поедем с Фидуром, узнаем, что хочет от нас старшина.

Посыльный ускакал. Он остался очень недоволен тем, что Жакыз отчитал его перед пленником-чужаком. Это

недовольство крепко поселилось в его груди, в его ревнивом сердце.

Едва скрылся всадник, на порог вышла Айшет.

— Жакыз, я все слышала, видела! Молодец, Жакыз, хорошо ты отчитал этого тупоголового увальня. И перед старшиной держи себя так же достойно, ни в чем не уступай ему. Я — женщина и то не дам себя обидеть, ты не теряй своей гордости перед ними. А то ведь как бывает: самую малость уступишь кому, так он уже и совсем на твои плечи взберется.

И Гошехан появилась:

— Ты думаешь, Айшет, они прицепились только к одному Фидуру?! Нет, они и Жакызу не дадут покоя. Не поддавайся им Жакыз. Правда на твоей стороне, это знают все. Седлай третьего коня, сынок, и поезжай с ними. Трое всегда лучше, чем двое.

— А я думаю,— поддерживает Гошехан Айшет,— и старика Беджанова им следует захватить с собой.— Вдруг она воскликнула: — Не снимут же там с меня платок — я тоже туда отправлюсь. Пойдем и ты, Гошехан!

— Ой, да хорошо ли всей семьей быть там,— смутилась Гошехан.— Боюсь я, как бы не сделать нам хуже.

— Чего бояться, чего?! — не унималась Айшет.— Пойдем и все тут!

— Не знаю, совсем не знаю. Что ж это за мужчины, если сами не смогут защищать свою честь? — продолжала тревожиться в сомнениях Гошехан.

— А-а, если надеяться только на мужчин, много горя натерпишься. Давай-давай, пойдем!

— Нет, не могу же я бросить в доме одну невестку,— обрадованно сказала Гошехан, найдя причину не идти с Айшет.

— Конечно, ее одну не оставишь в доме. Очень жалко... Но послушай, Гошехан, почему вы обо всем этом не расскажете своему свату? Хатырбаю Цею? Ведь он близкий ваш родственник. Вы теперь, как одна семья. Так я понимаю. Почему все ему об этом не расскажете?

— Правильно ты понимаешь, конечно, Хатырбай не отвернется от нас, от нашей беды, но понимаешь, Айшет... Не совсем хорошо это будет с нашей стороны — получится,

будто Жакыз и вовсе не мужчина, нет у него своей силы, своего мужества. Нет, нельзя жаловаться Цею.

— Да-а, пожалуй, ты права, Гошехан. Некрасиво получится. И опасно: если люди увидят твою слабость, не жди тогда от них добра, они скорее ножку тебе подставят, чем помогут встать.

Отзвучал голос муэдзина, призывавшего правоверных на полуденную молитву. Солнце миновало свой зенит. И хотя было оно невысоким, зимним, все ж растопило снег, размягчило примерзшую землю. Айшет, покрытая большой шалью, с трудом выбирала по-над плетнями сухие тропки, чтобы не месить грязь.

Торопилась она, а все ж находила минутку-другую, чтобы рассказать встречным аульчанам о беде, которая приключилась в доме Пазадových. Одни сочувствовали Пазадovým, другие возмущались происходящим и присоединялись к Айшет. Вскоре их набралось довольно много. И когда они вышли на площадь к мечети, увидели целую толпу мужчин, а чуть в стороне — старых и молодых женщин.

«Что тут случилось?! — озадачилась Айшет. Даже когда приезжал сам Магомет-Амин, не собиралось столько людей. Зачем они пришли? Чтобы поддержать Жакыза или просто так, поглазеть? А где сам Жакыз? Ни Кароха, ни Сабеха, ни Дудая не видать. Где они? И старика Беджанова здесь нет. А где бедняга Фидур? Где он? Ага! У коновязи кони Кароха и всех остальных. Это хорошо. Раз лошади здесь, значит, и их хозяева рядом. А это кто? Не Тамрай ли?»

— Айшет, иди-ка сюда! — позвала ее старуха из верхнего аула. — Где ты до сих пор была? Мы тут вспоминали тебя.

— Или не видишь, раскисло все, — ответила Айшет, — вот и шлепала по грязи, кругами ходила... Но что они хотят от Жакыза, от бедного Фидура? Чего привязались к ним? Я и Кароха не вижу.

— Здесь они, все здесь, — успокоила Тамрай. — Зашел туда и сын моей старшей сестры. Джамбеч тоже там.

— Джамбеч здесь? Джамбеч Дагужиев?! — обрадовалась Айшет. — Это хорошо, это как раз, что надо. Все они защитят бедного Фидура.

Какая-то сгорбленная, с тонкими высохшими губами старуха сердито проворчала, вроде бы как самой себе, но чтобы хорошенько слышали ее все:

— О Аллах! Послушай о чем они тревожатся? Ведь и тот, кого туда вызвали, и тот, кто вызвал — оба гяуры. Аллах да пошлет их туда, откуда не возвращаются. О Аллах, а я-то думала, что-нибудь важное произошло в Заурхабле. У-у, эти гяуры! Единственную мою дочь с детишками они оставили вдовой.

— Твою дочь они оставили вдовой с тремя ребятишками, с тремя сыновьями, а я-то осталась одна-одинешенька, — предательски дрогнул голос Айшет, однако она не дала волю своей женской слабости.

— Тогда чего же ты вступаешься за этого... за гяура?! — возмутилась старушка.

— Наша вера учит нас быть милосердными к каждому, кого сотворил Аллах. Только милосердием мы и сможем искупить свою греховность, — спокойно, рассудительно объяснила Айшет.

— Стало быть, — не унималась старушка, — ты будешь с уважением и почтением относиться к убийцам твоего мужа?

— Нет! Но я не дам волю своей ненависти к тем, кто не повинен в смерти моего мужа. Мало ли и с той стороны женщин осталось вдовами, кого осиротили пули наших воинов, их острые шашки.

— Вот то-то ты и носишься с этим гяуром!.. Защищать его пришла! Из волка никогда не получится овечки. Враг он и есть враг, в какую красивую одежду его не ряди! Так что тебе уж лучше помолчать, Айшет, да поприличнее вести себя среди людей! — почти выкрикнула со злостью старушка и, круто повернувшись, пошла прочь.

В просторной комнате аульского старшины собралось больше десятка мужчин. За столом сидели Лапинский и эфенди Каймет.

Собравшиеся разделились на три группы. Одна держала сторону Лапинского, другая — Федора Даниловича, а третья — как всякая третья сторона — ни туда, ни сюда: подождем, посмотрим, что будет дальше, чья возьмет.

Теофил Лапинский, свободно развалившись на стуле, с надменной усмешкой спрашивал Федора:

— Стало быть, военнопленный Анаскевич, это твое последнее слово? Ты твердо это решил?

— Да. Это мое первое и последнее, неотступно твердое слово. Я говорил вам это уже не один раз,— спокойно, без нажима сказал Федор.

— Значит, не пойдешь в наш легион, в нашу армию?

— Не пойду.

— А если тебе прикажет твой хозяин, Жакыз?

— Бог мне свидетель, я никогда ни в чем не перечил своему хозяину, да и сам он может это подтвердить, но в этом случае, меня никто и ничто не может принудить... Что бы мне ни грозило. Тут я полагаюсь только на волю Господа Бога.

— Ты слышал, Жакыз? — ухмыльнулся Теофил.

— Слышал,— очень спокойно ответил Жакыз, так спокойно, будто ничего иного он не ждал от Федора.

Больше двух лет прожил Лапинский среди адыгов, казалось прекрасно знал и понимал их, но это ему только казалось. И чего им надо, чего? Он сумел собрать из лесов немало польских солдат и офицеров, организовал из них отряды, которые сражались на стороне черкесов. Он забрал у тех же черкесов плененных солдат, сумел убедить их в необходимости воевать против царя. А сколько пришло к нему просто добровольцев! А тут какой-то рядовой Анаскевич, с польской фамилией, хромоногий, а поди ж ты, уперся: я, говорит, не поляк, не пойду воевать против своих. А Пазадов? Корчит из себя важную птицу! Просто упрямец и больше ничего! Но больше его раздражал и выводил из себя эфенди Каймет.

— Мне понятны Пазадов и Анаскевич, а вас, дорогой эфенди, отказываюсь понимать. Не могу понять! — не сдерживая своего раздражения, холодно выговорил Лапинский. Надеялся этим, что называется, припереть его к стенке. Однако и это ему не удалось.

Эфенди Каймет долго шурился, перебирая четки, мерно покачивал головой в чалме. А потом негромко и неторопливо, но убежденно сказал:

— Я очень внимательно и с должным пристрастием выслушал обе стороны, дорогой наш гость, и в поведении Жакыза, а также несчастного Фидура ничего не нашел

предосудительного, что противоречило бы нашей религии, древним традициям адыгов.

Заходили ходуном ноздри Лапинского, побелели от злости его губы:

— Если я вас правильно понял, досточтимый эфенди, вы по традициям адыгов, по законам ислама, относитесь одинаково ко всем, в том числе и к вашим злейшим врагам? Стало быть, вы потакаете тем, кто насилует нашу веру, убивает правоверных...

Каймет поднял руку, прося остановиться Лапинского:

— Нет, дорогой гость, мы ни в коем разе не потакаем злу. Не по своей воле пришел воевать против нас Фидур, а по воле его царя, его генералов. И еще одно, господин полковник: мы говорим, наша жизнь в руках Аллаха, Его высокое провидение содержится во всем происходящем на земле, грехи наши тоже отпускает Всевеликий Аллах, далеко не все дано нам разуместь в предопределениях Всевышнего. Покорность, смирение, вера, вечная и безмерно великая наша любовь к Аллаху — вот, чем мы должны жить в этом греховном мире. Что касается Фидура, то оказавшись у нас в плену, он смирился со своею судьбою, глубоко раскаялся в грехах, совершенных по отношению к нам. Он трудолюбив, бескорыстен, добр к каждому адыгу — будь то взрослый или ребенок. И этим Фидур стяжал в Заурхабле искреннее уважение.

— Странно, мне все это слышать! Весьма странно, эфенди! — возмущившись Лапинский резко встал, свысока поглядывая на Каймета, на стоявших полукругом мужчин.

Встав, полковник решил, что встанет и эфенди, что его как-то поддержат мужчины, но ничего этого не случилось: никто не шелохнулся, все с достоинством смотрели на Лапинского, а Каймет — тот и вовсе будто ничего не заметил и спокойно сидел, откинувшись на спинку стула.

Лапинский между тем продолжал горячиться:

— Если вы оказываете столь любезное уважение и даже любовь своему убийце, почему же, как предписывает одна из сур Корана, не отпустите его к себе домой? Пусть возвращается к своим москалям, пусть потом снова придет к вам с оружием!

— Это верно, тут ты прав, гость. В священном Коране, ниспосланном Аллахом правоверным мусульманам, в

восьмой суре, в семьдесят первом стихе говорится.— Каймет прочитал сначала по-арабски, а потом по-адыгски.— Бисмилахи рахмани рахим. Во имя Аллаха милостивого и милосердного! «О пророк! Пленникам, находящимся в ваших руках, скажи: если Аллах узнает, что вы настроены по-доброму, Он одарит вас большим, чем у вас отобрали, Аллах милосердный простит вас». В следующем стихе Аллах призывает нас: «...если вас попросят о помощи, вы помогите им».

Нахмурился полковник, нервно повел плечами:

— Выходит — по исламской вере, которую я принял, все, что мы делаем — делаем только по воле Аллаха милостивого и милосердного. Выходит, все, все в Его воле, только в Его?!

— Если ты принял мусульманскую веру всем своим сердцем, всей бессмертной душой, дорогой наш гость, стало быть — именно так.

Помолчал, подумал Лапинский, потом предложил:

— Говорят: устами народа глаголет истина. Давайте выйдем к людям, собравшимся у мечети. Как они скажут, так мы с вами и сделаем.

— Что ж, воля гостя у нас превыше всего. Идемте, ведь люди собрались у мечети тоже не без воли Аллаха.

Поднялся полковник Лапинский на возвышение перед мечетью, своей улыбкой и легкими поклонами изображая доброжелательность и приветливость.

Потом с придыханием, как бы волнуясь, заговорил о бедах, какие навалились на землю адыгов, на ее честный, свободолюбивый народ. Рассказал о том, с какой самоотверженностью сражаются солдаты и офицеры его европейского легиона, чтобы Черкесия навеки была свободной, чтобы изгнать отсюда москалей...

Люди уже много раз слышали эти красивые слова, знали, что слова есть слова, если за ними нет дела, они становятся добычей пустого ветра и ничего больше.

Знали заурхабльцы, что Теофил Лапинский приехал сюда из Польши, переменял свою христианскую веру на ислам, свое имя Теофил переименовал, стал Тефикбеом. Коли человек вот так просто меняет свою веру, имя, землю родную, то не задумываясь, другую землю и веру предаст.

Потом он сказал, зачем приехал сюда в этот раз, поведал «о деле» Федора Анаскевича:

— Теперь мы поступим с ним так, как скажете вы. Мы никого не будем принуждать — дело борьбы с москалями добровольное и святое, однако! — он угрожающе поднял кулак.— Если Федор Анаскевич не может забыть тех, кто воюет против вас, если он чтит гяуров, врагов наших, то мы вправе решить его судьбу. Как вы скажете, так и будет. Слушаем вас!

Над площадью встала такая тишина, будто здесь и вовсе было пусто.

— Я слушаю, джамахат! Слушаю!

Кто-то покашлял в кулак. Кто-то крикнул.

Айшет уже не могла себя сдерживать, она порывалась сказать свои слова полковнику, и сказала бы, но ее остановил старик Беджанов:

— Не смей! Молчи! — погрозил посохом и обратился к Лапинскому: — Я хочу сказать несколько слов, дорогой гость. Спасибо тебе на добром слове о нашем народе. Много у нас разного люда перебивало. Англичанин Джеймс Белл, француз... как его...

— Фонвиль,— подсказал кто-то из толпы.

— Да, так, кажется, его звали... Бывали и турки, имам Шамиль присылал своих наибов — Хаджи-Магомета, Сулеймана-эфенди, а теперь у нас здесь Магомет-Амин. Столько сладких слов нам говорили... Но ведь хоть тысячу раз говори мед, мед, от этого сладко во рту не станет! А сколько раз они обманывали шапсугского предводителя Сафербия Зана. Впрочем, ладно, это дела государственные, лучше давайте поговорим о том, что нам ближе, о простом человеке!

— Это тоже, уважаемый, важное государственное дело! — громко вставил Лапинский.

— Конечно, конечно,— согласно закивал седой головой, одетой в папаху, Мамий Беджанов,— но все-таки спустимся с небес государственных на нашу грешную аульскую землю. Понятное дело, Фидур вроде бы как является нашим пленником, Жакыза Пазадова пленником. Не сегодня он к нам пришел, уже несколько лет живет с нами, сколько разных бед своим сердцем перенес с нами. Серд-

цем, дорогой гость, а не словами. Мы это видим, понимаем. Доброты, трудолюбия, честности ему не занимать. Все мы любим его еще и за то, что он с почтением, с глубоким сыновним уважением относится к своей родине, к своему народу, к своей православной вере, хотя очень уважает, может, даже любит и нашу веру. И это хорошо понял наш эфенди Каймет, да продлит Аллах его счастливые дни. Вот поэтому мы и говорим, непорядочно, не по-мужски обвинять Фидура за все, о чем мы тут говорили. Так думаю я. А что думает джамахат Заурхабля, он скажет сам.

Зашумел народ. Волна за волной вроде бы накатывалась на Лапинского.

— Ты правильно сказал, Мамий!

— Фидур не враг нам!

— И хватит об этом, хватит! — Каймет поднял руку, требуя тишины: — Если вы согласны, джамахат, с мнением почтенного Мамия Беджанова, тогда дело это будем считать законченным. Спасибо, что пришли, и да продлит Аллах ваши дни!

— Пленный Федор Анаскевич! — требовательно позвал по-русски полковник.

— Слушаю вас, — откликнулся Федор и подошел к Лапинскому.

— Ты не думай, москаль Анаскевич, что так просто отделался от меня! — почти угрожающе прошипел полковник Теофил Лапинский.

Федор пожал плечами, улыбнулся, мол, каждому свое, на все воля Божья.

— Что он тебе сказал? — спросил Жакыз. Вместо него ответил Карох, который немного понимал по-русски:

— Грозился Фидуру.

— Грозилась овца волка съесть, да только зубы обломала и околела, — с откровенной насмешкой бросил Лапинскому Жакыз...

...Отстучало, отшагало неторопкое время и оно ушло в вечность.

Вспомнил те события Федор, когда верхом на коне отгонял на луг четырех быков. Вспомнился тот день, вспомнилась насмешка Жакыза над Лапинским, мудрая речь Мамия Беджанова.

Вспомнилось, и улыбнулся Федор.

Улыбнулся и спохватился: не видит ли его кто, а то ведь нехорошо, скажут, Федор сам с собой разговаривает, смеется.

Мальчишки неслись ему наперерез.

— Фидур, Фидур, покатай немного! — Он подхватил одного, посадил впереди себя, другого усадил сзади:

— Держись за меня, Аюб, а ты, Шумаф — за гриву. Ну! Поехали! Вперед! Вот как мы, вот как!..

XXIII

Весна на южных склонах Абадзехии всегда бывает неожиданной и скорой. Еще, кажется, вчера лежал в ложбинах снег, еще гулял северный ветер, а нынче — зазеленела трава на лугу, зацвела, распустилась светло-золотистым цветом мать-и-мачеха, клены сережки развесили.

Такой же выдалась весна 1858 года.

Дружная, веселая, озорная.

А как же не озорная, если горланят грачи, звенят синицы, и по-весеннему стрекочут сороки.

Навалившись грудью на плетень, Федор смотрел на горы, а видел своим мысленным взором родное село на Вологодчине.

Там, поди, еще метели гуляют, справляют свои прощальные гульбища, думал Федор. Еще по утрам курятся дымки над крышами — бабы печи затопили, завтрак готовят... Коровы ждут не дождутся, когда же их выпустят из хлевов, когда проводят на молодую и вкусную травку.

Хоть и ныло сердце Федора от этих дум, а все ж было приятно смотреть на горы и видеть там в весенней призрачной дали свою родную Вологодчину.

— Фидур, да ты что, оглох? — это его звала с крыльца Пазадовых Айшет.

— А-а, это ты, Гошехан, ты, Айшет, доброе утро! — обернулся Федор к женщинам.

— Я тебя звала, еще когда шла к Гошехан, да ты не слышал. Где-то далеко наш Фидур, подумала я и не стала больше окликать.

— Бывает,— виновато улыбнулся Федор,— вроде бы и здесь ты стоишь, а сам — далеко отсюда. Душою, мыслями.

— Особенно весною,— многозначительно улыбнулась Айшет,— когда цветы расцветут, небо заголубеет...

— У нас говорят: весна красна. Красивая, значит.

— Цветы цветут, небо голубеет,— продолжала свое говорить Айшет,— кровь закипает в наших жилах...

— Что ты говоришь! — воскликнула Гошехан.— Уймись, Айшет! Невестка услышит. Да и Фидура в краску не вводи.

— Ну, если ты себя уже считаешь старухой, Гошехан,— лукаво улыбаясь, сказала Айшет,— то, значит, у тебя в жилах вместо горячей крови течет холодная вода, а я — пойду, пойду, пойду! У меня еще пока кровь течет, а не вода.

Айшет ушла домой.

Ушла в дом и Гошехан.

Не хотелось Федору уходить к себе. Он опять подошел к плетню, посмотрел на горы и холмы, менявшие зимние однотонные одежды на многоцветные летние. Посмотрел и подумал, что в этой красоте есть какая-то горестная печаль, есть в ней опасность.

Весна несет с собой радость, красоту, звонкие песни! Но почему сегодня так тихо в ауле?..

Вчера ранним утром, во главе с Мамием Беджановым ускакали Жакыз, Сабех, Карох, Дудай и другие всадники. Сказали, якобы, в Кайхабль, на весенний хасэ-собрание.

Уже третий день движется к исходу, а их все нет и нет. Конечно, в этом не было ничего особенного, такое бывает, но на душе у Федора почему-то беспокойно.

Что-то безлюдно в ауле, непривычно тихо. Почему-то не брешут собаки, не дерут горло петухи. И муэдзина не слышать.

«Э! Что это я? Уши мне тревога заложила, что ли? Вон и мальчишки насвистывают в мои свистульки, и петухи орут, и Мишид на кого-то залаял... А Жакыза нет третий день с Сабехом — так разве раньше такого не случилось? По нескольку дней не живали дома, делами на стороне были заняты. Что это ты, дорогой Федор, напу-

скаешь на себя какую-то хмарь? Займись-ка лучше делом, ведь весна на дворе».

— Фиду-у-ур! Ты где? — позвала с крыльца Гошехан.

— Тут я, тут, Гошехан! — откликнулся он, выходя из-за сарая.

— Скажи мне, Фидур, ты почему с самого утра ходишь все молчком и молчком? Слова от тебя не слышать.

— Неужели? — удивился Федор.— А мне все кажется, будто я весь день говорю и говорю, без умолку.

— И впрямь, Фидур, ты сегодня какой-то нехороший. — Она пристально посмотрела на небо, сокрушенно покачала головой.— Солнце за полдень перевалило, а их все нет и нет. Куда они запропастились?

— Зря ты так волнуешься, Гошехан, у мужчин всегда забот полон рот, всегда найдутся дела. Денек-то какой благодатный выдался — зачем же его портить своим настроением. Все хорошо, все очень хорошо, Гошехан,— говорил он, а мысль все билась и билась: «есть в красоте горестная печаль, есть в ней опасность, а еще бывает — тревожная красота».— Мне думается, они должны вот приехать.

— Конечно, должны,— раздумчиво протянула Гошехан,— а все нет и нет. Сама не пойму, что происходит: ведь в другое время они и по неделе отлучались из дома — и ничего, не тревожилась я, а сегодня... Невестка тоже места себе не находит. На глазах у нее слезы.

— Пойди, Гошехан, успокой невестку. Сладостью какой-нибудь угости или добрым словом. Да благословит нас Аллах, все будет хорошо, все будет так, как должно быть по Его святой воле. А Господь нас любит всех, Он знает, что нам нужно. Доверимся Его святой воле.

— Волею Аллаха да сбудутся твои слова, Фидур... А чего это я вдруг обеспокоилась — ведь они всего-то и уехали в Кайхабль на хасэ!

— Вот и правильно, вот и хорошо. Слава Аллаху, слава Ему! Слава нашему Господу!

Ушла Гошехан.

Федору стало немного легче. Должно быть, от сказанных Гошехан слов. Немного легче стало, да не надолго. Опять вернулись слова: «в красоте и благодати таится печальная горесть, в ней есть печаль и опасность».

Он ушел к себе, чтобы помолиться, но услышал голос Сабеха.

— Тян, а где Фидур?

— Разве не видишь? Он у сарая.

— Да, вижу.

За воротами стояло три всадника и конь Сабеха.

— Что случилось, сын мой?

На плечах Сабеха было два ружья — его и отца.

Он подошел к матери:

— Не надо ничего спрашивать. Благослови меня, как подобает матери благословить воина.

— Фидур, Фидур, иди же сюда! — в отчаянии закричала Гошехан.

— Я здесь, я рядом с вами. — У него что-то оборвалось внутри, там образовалась некая пустота — холодная и черная, как ему показалось. Заныла, заныла раненная нога, будто горячая пуля впилась в нее. Он пошатнулся.

Но почему на плечах Сабеха два ружья? Почему?

— Благослови меня, тян, — повторил Сабех.

Качнулась Гошехан.

Федор испугался — как бы она не упала.

Распрямылась Гошехан. Плечами окрепла. Растерянность ушла из ее взгляда. Твердость появилась.

Глаза стали влажными от подступивших слез. Слезы наполнили ее глаза, но не пролились.

Гошехан молитвенно сложила руки на груди:

— Благословляю тебя, сын мой, на защиту дома родного, на защиту доброго имени твоего отца. Пусть оглохнут и ослепнут вражеские пули и не найдут тебя, пусть твои пули будут меткими и не пустят неприятеля в наш дом. Да хранит тебя Аллах!

Мать и сын попрощались.

Сабех подошел к Федору.

— Вот и свершилось то, что должно было свершиться по воле Аллаха, чего мы так боялись... Они уже идут сюда, Фидур! Прощай. Присматривай за женщинами, не давай падать духом, будь им доброй опорой, — сказал Сабех и крепко обнял Федора. Припал к его груди, как бы ища на ней защиты.

— Ты погляди! — вскричал один из всадников. — Это что же такое делается?! Сабех обнимается с гяуром!

Айшет подошла поближе к тому всаднику:

— Брат мой, не говори так. Ты новый человек здесь, ты не знаешь, что из себя представляет наш Фидур. Он один из тех, кого Аллах встречает на том свете у ворот рая. Если бы ты знал, как у Фидура болит сердце обо всех нас, и о вас тоже! Да-да, не перечь мне. Он не знает тебя лично, но это совсем не важно... Вы уйдете, и он будет молиться о вас.

— Как же это так?! — воскликнул всадник.

— А так, — смиренно сказала Айшет, — я верно тебе говорю. Даст Аллах, ты и сам когда-нибудь в этом убедишься.

Когда четверо всадников отъехали от ворот, Федор, не заботясь о том, что его могут увидеть аульчане, что с ним рядом стояли Айшет и Гошехан, благословил крестным знаменем и тихонько прочитал молитву.

Стойко держалась Гошехан, но когда всадники скрылись за углом, дала волю своей слабости, своей материнской боли — разрыдалась.

Тяжко, так тяжело стало на сердце у Федора, что хоть заплачь.

К нему подошла Айшет.

— Лица на тебе нет, Фидур, не мучь себя, не истязай, не виновен ты ни в чем. Видит Аллах — не виновен!

— Спасибо, спасибо...

Федор не помнил, как прошел остаток страшного дня, как догорел вечер и наступила ночь.

Прошла ночь — не ощущал он движения времени, будто остановилось оно, обратилось в черную пустоту.

Бродил по двору, ходил по улице. Молился пред звездным небом, потом — стоя на коленях перед складнем. А то просто сидел во дворе с закрытыми глазами — не спал, не бодрствовал, в каком-то ином состоянии находился, не чувствуя своего тела, своего сердца, разума...

— Фидур, ты где? — опять позвала с крыльца Гошехан. Ему показалось, что она позвала его из дальнего далека. Не слышать бы ее, не откликаться, словно ничего уже этого нет.

— Здесь я, Гошехан, — все же ответил Федор. Открыл глаза и удивился: оказывается, светило солнце, у его ног лежал Мишид и виновато смотрел ему в глаза.

— Не обижайся, Фидур, я совсем замotalась, голова у меня какая-то пустая и очень тяжелая. Не сердись.

— Я совсем не сержусь, Гошехан, как я могу сердиться на тебя, за что?

— Так ты же со вчерашнего дня не ел.

Он пожал плечами:

— Ну и что? Я совсем не хочу есть.

— Нет, нельзя так. Идем.

Федор перед едой перекрестился, а потом, чтобы не обижать Гошехан, сказал по-мусульмански «бисмиллах».

— Поешь хорошенько. Я буду смотреть на тебя и думать, что с тобою рядом сидят Жакыз и Сабех.

Она смотрела на него, сложив руки под передником.

— Я вот о чем хотела спросить у тебя, Фидур... Ты вчера перекрестил Сабеха с его товарищами. Это поможет им устоять перед пулями, остаться живыми? Как ты думаешь?

— Во всем Господня воля, все по воле Аллаха свершится в нашем греховном мире. Я не только перекрестил их в дорогу, я потом и вечером, и ночью, и сегодня утром молился за них. Надеюсь, Господь услышал меня, а в остальном — Его святая воля.

— Спасибо тебе, Фидур. Молись за наших мужчин. Думаю ваш Бог и наш Аллах поймут нас, будут милостивы к нам. Слышишь, доченька, обратилась она через открытую дверь к невестке. — Фидур сказал, что его молитву услышат и их Бог, и наш Аллах. Думаю, Фидур, ты молишься не только за Жакыза и Сабеха, думаю, за всех заурхабльцев молишься.

— Да, конечно, Гошехан.

— Молись за Дудая, Кароха, за старика Мамия... А еще, очень попрошу тебя — помолись и за отца нашей невестки, за Хатырбая Цея...

— Да, Гошехан, я так и поступаю...

Утром пятого дня на окраине аула послышался похоронный плач.

Перекрестился Федор:

— Помяни, Господи, в царствии Твоем...

Помолился и стал напряженно прислушиваться: где-то далеко, с верхнего аула, донесся плач.

Сердце Федора охватила тревога. Плач не приближался. «Слава Богу, слава Всевышнему», — Федор облегченно вздохнул. Не скажешь — обрадовался, ведь любое горе — это беда, это боль, но большее всего, если горе твое, если оно по твоему сердцу полоснуло кровавым ножом.

Федор еще раз прислушался. Нет, плач не приближается. Он занялся делом в огороде, но тревога не проходила. Когда солнце перевалило за полдень, он увидел мужчин, которые несли погибшего воина. Вернее, увидел черную бурку, которой он был покрыт...

Федор помертвел душой.

Ближе, ближе, ближе. Пешие и конные.

Куда, к чьим воротам они несут?

Кого несут?

«Господи!» — возопил в душе Федор. Прислонился к плетню, едва держась на ногах.

Погибшего воина несли к дому Пазадовых...

XXIV

Через семь дней после похорон Сабеха во дворе Пазадовых собрались ровесники покойного, друзья и близкие Жакыза, пришли также старейшины Заурхабля, соседних аулов. Собрались, чтобы почтить память погибшего в бою добрым словом, горячими молитвами за поминальным столом.

Пожилые женщины и мужчины находились в доме. Ровесники и друзья Сабеха сидели во дворе на дубовой колоде, на лавках у ворот, около сарая.

Ждали эфенди Каймета.

Говорили сдержанно, негромко, чтобы не нарушить благоговения перед памятью покойного, перед великой тайной смерти.

Парни говорили, каким добрым товарищем, мужественным воином был Сабех, женщины о том, каким он был внимательным и послушным сыном для отца и матери, заботливым и ласковым мужем для своей жены.

Конечно, смерть Сабеха явилась для Гошехан и молодой невестки страшным горем, невосполнимой утратой, но труднее всех было Жакызу и Федору. Два острия неминуемо сошлись навстречу друг другу, две боли, от

которой избавить их могла только смерть. За эти несколько дней они оба будто постарели на несколько лет.

Дудай был последним, кто видел живым Сабеха.

Умиравший Сабех сказал Дудая:

«Передай отцу и матери моим: пусть простят меня, что я своею смертью причиняю им такую боль, покидаю их. Я кланяюсь им, я любил их. И жене моей, бедной Кутас, тоже скажи: я прошу прощения у нее за то, что оставляю вдовой. Если она родит сына, пусть назовут его именем моего дяди — Аюбом...» Помолчал Сабех, потом собрался с силами и сказал последние слова: «Вот видишь, Фидур... что случилось со мной, с нами... Я не виню тебя...»

И на похоронах, и во все последующие дни многие просили Дудая рассказать о последних минутах жизни Сабеха, и он рассказывал, однако слова «Я не виню тебя, Фидур» опускал, как бы их вовсе не было, а без них пропал очень важный смысл всего сказанного Сабехом, и не только сказанного, но и всего, чем жил Сабех в отношениях с Федором, его понимания происходившего на Кавказе в многолетней войне, почти неразрешимой драмы между ним и Федором. Последним внутренним ее разрешением и были его слова: «Я не виню тебя, Фидур».

В тот день, когда привезли покойного Сабеха, когда внесли его в дом, Федор грудью упал на плетень и судорожно, во весь свой голос зарыдал. Это было, пожалуй, даже не рыдание, а судороги, колотившие все его тело.

Даже само сердце билось тоже судорожно, с переборами, грозясь и вовсе остановиться или разорваться.

— Боже милостивый, за что ты так караешь меня?! — воскликнул он по-русски, воздел руки к небу и опять упал на плетень.

Ему хотелось переметнуться через плетень и броситься бежать.

Бежать и бежать!

Куда? Зачем?

Неважно, лишь бы не увидеть глаз Гошехан и Кутас, полных слез и отчаяния, не увидеть гнева Жакыза. И пусть бы догнали его, пусть бы пристрелили...

Смирная рыдания и судороги, он уже готовился переметнуться через плетень, да почувствовал на плече тяжелую, горячую руку.

Оглянулся — Карох.

— Не казни себя, Фидур, ты не виноват, потому что для тебя это такое же большое горе, как и для нас всех. Уймись, пожалуйста, и уходи к себе в комнату, не надо сейчас тебе быть здесь, на виду у всех.

В комнате Федор упал на колени перед образами складня:

— Господи, Отец Небесный! Забери меня к Себе, накажи самым тяжким наказанием за мои грехи, но только забери непотребного раба Твоего. Я Тебя прошу, я Тебя молю, помоги... Пусть они убьют меня, от этого им станет легче. Господи!..

День и ночь. День и опять ночь — долго и нудно тянулась неделя. Только тем и спасался Федор, что рано утром, когда еще спал Заурхабль, и поздно вечером, когда он отходил ко сну, опускался на колени перед образами и молился — то жарко, а то смиренно опуская долу тяжелую голову. А целыми днями сбивал длинные столы и скамейки, врывал их в землю для предстоящего многолюдного поминального обеда, носил воду в котлы, рубил дрова и складывал их штабельками, чтобы потом кухаркам не мыкаться по двору...

И вот пришел день поминок, двор заполнился сдержанным, скорбным гулом.

За обедом вели неторопливые разговоры. Кто-то вспомнил, что Сабех участвовал во многих боях, во многих рукопашных схватках и вел себя достойно, умело.

Вспомнили, как он был уважителен при встречах и разговорах со старшими, как умел их слушать, не заискивая, но достойно юного мужчины...

Во главе стола сидели старейшины. Среди них Хатырбай Цей и дородный, с белоснежной бородой Мамий Беджанов.

— Пусть милостью Аллаха ты будешь еще много лет нашим предводителем, а главное, пусть эти годы будут счастливыми. — Улыбнулся Мамий и продолжил: — В народе говорят, мышь горы не боится. Что бы это могло значить?

— Ты намекаешь, Мамий, на что-то? — спросил в свою очередь и Хатырбай. — Скажи попроще.

— Князь Сафербий Зан говорит, что лучше нам замориться с Россией, мирно договориться с ее большим народом.

— Мы, абадзехи,— сверкнул взглядом Хатырбай,— не мыши, досточтимый Мамий.

— А еще в народе говорят,— не обращая внимания на сердитый взгляд предводителя, продолжил Мамий,— небольшой народ силен не кулаками, а мудростью. Мудрость малого делает большим. Да позволится мне и еще привести пример. Взять нашего пленника Фидура Анаскевича. Он враг нам, силы у него — никакой. Фу! — и нет его вовсе. А посмотри, как уважают его в Заурхале, хотя он и другой крови, другой, чуждой нам, веры. Смирением своим, мудростью и добротой снискал у нас такое уважение.

Чего уж — не всем пришлось по душе слова Мамия Беджанова, иные недовольно зароптали: мол, гяур, он и есть гяур, нечего с ним цацкаться!

Поднял руку Хатырбай, прося тишины:

— Это мы его заставили быть таким. Силой заставили!

Пожал плечами, смиренно улыбнулся Мамий:

— Силой заставить человека быть справедливым, добрым, мудрым нельзя. Силой из человека можно сделать только раба, которого нельзя любить, а Фидура любят многие из нас, его любил Сабех — да откроет Аллах перед ним врата рая!

Неуловимым, легким ветерком вновь пронесся ропот над столами. Пронесся и затих: нельзя нарушить распрями память о том, по ком идут поминки, по ком предстали правоверные перед Аллахом.

Не хотел уступать упрямый Хатырбай Цей Мамию Беджанову, вспыхнула в его глазах искра гнева, но тут сказал эфенди Каймет:

— Да благословит нас Аллах своей милостью,— сказал он, воздев руки к небу,— не только благодать свершается в подлунном нашем мире по воле Всевышнего, но и трудные испытания Он посылает нам, испытания, которые мы должны переносить со смирением. Помолимся Аллаху, пред очи которого теперь предстал Сабех, пусть Аллах откроет ему ворота рая, вечной безгрешной жизни. Шыкур, Аллах дурилах! Да будет пища, приготовленная сегодня

в честь Сабеха, райской пищей покойного. По воле Аллаха да будет нынешнее горе Пазадových последним...

Закончился поминальный обед.

Бедным и одиноким людям от имени Пазадových разнесли мясо, пшено. Женщины под руководством Айшет мыли котлы, посуду, убрали со столов.

Во дворе остались только самые близкие Пазадových.

Под старой ветвистой грушей у дома остались сидеть на скамейках Хатырбай, эфенди Каймет, Карох и Дудай.

Горестно раскачиваясь из стороны в сторону, сидел с ними Жакыз. Похудел, осунулся, потускнели его быстрые глаза. Опустились беспомощно плечи, скорбно согнулась спина. Казалось, будто он и вовсе неживой.

— Аллах акбар,— вздохнул Каймет.— Во всем воля Аллаха. Мы должны безропотно переносить страдания, ниспосланные нам. Не терзайся, не изводи себя, Жакыз. Ты не один в своей боли, в своем горе — вся Черкесия страдает.

Жакыз только вздохнул в ответ. Еще ниже опустились его плечи.

— Говорят, кого Аллах любит,— продолжал эфенди,— того и наказывает, испытывает, чтобы сделать достойным царства небесного. Будем же мужественно терпеливыми и смиренными и удостоимся высшей благодати Аллаха.

Жакыз глянул исподлобья на Каймета:

— Я думаю, эфенди, Аллах не любит меня... Совсем не любит! — слезы брызнули из его тусклых глаз. Он неумело вытирал их тыльной стороной ладони, большой рукой хлебороба и воина.— Сначала я лишился двух родных братьев, а теперь вот и сына потерял. Моего единственного сына!.. А ты говоришь, Каймет, это Его любовь ко мне?! Нет, неправда это! — его глаза вдруг вспыхнули гневом. Угрожающе распрямились плечи, налилась кровью шея.— Я знаю, за что на меня обрушил свой гнев Аллах! Он не может простить мне того, что я держу у себя проклятого гяура, что я пускаю его в свой дом, сажаю за стол!..

Карох умиротворяюще положил ему руку на плечо:

— Успокойся, Жакыз, уйми свой гнев. Когда мы гневемся и горячимся, нас покидает чувство справедливости, от нас уходит правда... Ты говоришь, что причина всех

твоих бед — Фидур, твой пленник. Но, ведь когда погибли твои братья, Фидура еще и в помине здесь не было, значит, нет твоей вины в твоём милосердии.

— Тогда за что же Он забрал моего сына, оставив на старости в одиночестве?! За что? — не мог справиться со своим гневом Жакыз.

— У Мамия Беджанова двое сыновей не вернулись с поля боя, — продолжал Карох, — а у него во дворе никогда не было гяура.

— Вы все — гяур да гяур, это который из них? — сделал вид Хатырбай, будто не знает Федора. — Где он?

— Да целый день здесь болтался! — ответил Дудай, не скрывая своей злости. — В темной черкеске, белокрытый такой.

— Валлахи, Дудай, если бы ты не сказал, я ни за что бы не догадался, что тот русоволосый и есть гяур. — Продолжал Хатырбай. — Ведь среди адыгов тоже встречаются белокурые. Даже рыжие случаются. Огненно-рыжие. А этот... он, кажется, слегка прихрамывает на левую ногу?

— Да! — зло пробурчал Дудай. — Чтоб она у него совсем отсохла...

Эфенди, укоризненно глядя на Дудая, спросил:

— А хоть покормили беднягу?

— Он это не прозевает, не беспокойся за него, — продолжал злиться Дудай, хотя и видел, что эфенди был явно недоволен им.

— Каждый, кто был здесь, обязательно должен отведать поминальной еды. Это священная еда. А ты, наконец, уймись, Дудай! Грех берешь на душу своей злобностью, за поминальным столом сидишь.

— Все было хорошо, эфенди Каймет, — заговорил Карох. — Когда смерть витает совсем рядом с нами, не надо показывать ей нашу греховность, Дудай. Спасибо тебе, эфенди, что ты напоминаешь нам об этом.

Опять обмяк Жакыз, опять горестно раскачивался из стороны в сторону:

— Наверно, так, эфенди, наверно, правда твоя, Карох... Но, да простит мне Аллах, скажите, как я жить стану рядом с гяуром после всего, что случилось у меня в доме? Как?! Как я смогу простить ему?..

Эти последние слова Жакыз так сказал, так сверкнул глазами, что Карох забеспокоился. А Дудай, между тем, не унимался:

— Ты не знаешь, Жакыз, как с этим... поступить?! Смерть двух твоих братьев, единокровного сына! А ты не знаешь, как с ним поступить?! Побойся Аллаха, Жакыз!

— Знаю! Не беспокойся, Дудай, знаю! — грозясь словами и взглядом ответил Жакыз, в упор глядя на Хатырбай Цея.

Улыбнулся Хатырбай:

— Зачем тебе голову ломать, Жакыз, просто отвези его, да продай гяурам — пусть выкупают своего соотечественника. И все будет ладно, не обагришь кровью свои руки. Ведь убить безоружного — грех. Воин на поле боя — не убийца, а расправиться с безоружным — убийство, великий грех пред Аллахом.

— Возил я его, возил! — произнес Жакыз. — Не берут, не выкупают.

— Попробуй еще раз, может, теперь и повезет.

— Э-э, будь он трижды!..

Женщины показались на крыльце. Они приехали вместе с Хатырбаем и теперь собрались в обратный путь. «Вот и хорошо, вот и слава Аллаху, что прекратился этот греховный разговор» — подумал эфенди Каймет.

Хатырбай тоже обрадовался этому и стал прощаться с хозяевами. Вскоре, вслед за ними, в сопровождении Дудая, ушел и эфенди Каймет.

Под грушей остались Жакыз и Карох.

— Как мне жить на этом свете, как ходить по земле... — почти простонал Жакыз.

— Тяжело тебе, Жакыз, так тяжело, что я даже и представить себе не могу — умом своим скудным понимаю да сердцем чувствую... Но ты не просто мужчина — на твоих руках осталось две женщины, одна из них носит под своим сердцем твое будущее. Если родит мальчика, то он будет единственным наследником рода Пазадových... Мужайся, мой друг... Ты, наверно, слушаешь меня и думаешь, мол, легко тебе говорить, ведь твой сын жив. Да, жив он, хотя вернулся с поля боя раненым. И кто скажет, что его ждет в следующем бою? Кто знает, может, для него уже отлита

смертоносная пуля, отточена шашка... Прости, брат, что я все это говорю тебе. И еще скажу: зачем ты затаил ненависть к бедному Фидуру?

Увидев, что из сарая вышел Федор и направляется к ним, они замолчали.

Все эти семь дней занятый делами Федор то и дело слышал свое имя, слышал, как одни сочувствовали ему, другие ненавистно косились на него, а то и просто бросали ему в лицо ругательные слова.

Подошел он, понуря голову к Жакызу и Кароху.

— Садись, посиди с нами,— указал на лавку рядом с собою Карох.

Сел Федор.

Дрожали его губы, дрожали руки. Он задыхался от страдания, одолевшего его.

Обхватив обеими руками голову, склонился и зарыдал:

— За что, за какую вину нашу, о Аллах, Ты послал нам такое испытание, за что наказал нас! Лучше забрал бы меня непотребного раба Твоего, чтоб я не волочился по чужой земле, не вызывал у них справедливую ненависть ко мне...

— Довольно! — неожиданно вскрикнул Жакыз, в упор глядя на Федора. — Хватит с меня слез. А то ведь и в самом деле раскиснешь от них. Война есть война, и на войне — как на войне, а слезы воину ни к чему. Хватит!.. Займись делом. Иди на луг и пригони скотину, а то начинает смеркаться. Иди же! Или ты не слышишь меня?!

Ушел Федор.

— Ты веришь его слезам?! — насмешливо спросил Жакыз Кароха.

— Да, верю.

— А я — нет! Притворяется он!

— Не бери греха на душу, Жакыз. Разве ты не видел, как Фидур любил Сабеха, с какой добротой относился ко всей твоей семье.

— Не видел!

— Не ты это говоришь, а... Не поддайся, Жакыз, не поддайся, я очень прошу тебя.

— Кому не поддаться? — удивленно спросил Жакыз.

— Тому, кто сеет зло между людьми, кто противен Аллаху.

— Это мое дело, Карох! За каждый свой грех я сам отвечу перед Аллахом!

Они долго молчали, не решаясь подняться и уйти.

Сгущались сумерки.

Пора было уходить Кароху. Он сказал:

— Твой грех — твой ответ, Жакыз, ты это правильно сказал. Я знаю, что ты задумал. Догадываюсь, потому хочу сказать: ближе друга у меня, чем ты, нет, однако... Однако, если ты или кто другой сделают плохо Фидуру, я стану на его сторону. И никому не прощу. Да и не один я в Заурхабле сделаю это. У Фидура много друзей. Даже не у Фидура, а у его доброты, справедливости, порядочности...

Измученный горем, одурманенный греховностью, Жакыз, кажется, не понял Кароха и изумленно спросил:

— О чем ты говоришь, мой добрый друг? Что такого я сказал? Да не смотри ты на меня так, как на врага своего! Что случилось?

— Пока ничего не случилось, но трава без ветра не колыхнется. Пусть Аллах сделает день смерти Сабеха последним горестным днем для Пазадových. Пусть ваша сноха родит вам доброго и достойного наследника, пусть тот новорожденный назовется, как того хотел Сабех, Аюбом. Пусть Аюб будет таким же добрым, честным, мужественным, как Сабех. И ты знаешь, Жакыз, Сабех называл Фидура своим старшим братом, и, как у старшего брата, он многому научился у него... Ты слышал, что я сказал о тех, кто обидит Фидура, а потому хочу встречаться с тобою только с добром, только с радостью.

Склонил голову Жакыз, чтобы Карох не увидел его слез:

— Спасибо, спасибо, мой добрый, старый друг.

XXV

Девять лет назад, когда привезли Федора в Заурхабль с кровоточащей раной, связанного по рукам и ногам, он не был таким несчастным, как сейчас, в день поминовения Сабеха.

Колодец с журавлем, резная калитка и такие же ворота — все это его работа. Но ни они, ни ухоженный огород, ни

виноградник, ни молодые яблони и абрикосы, им же посаженные, им же ухоженные, не только не радовали, а казались постылыми. Мрачным виделся лес на предгорных холмах, небо — угрюмым, даже каким-то угрожающим, а аульский минарет выглядел нелепым среди турлучных домов.

Он ходил по двору то с метлой, то с граблями, то с вилами — что-то убирал, что-то перебрасывал, не понимая, зачем делал это. Потом вдруг почувствовал: он, Федор, хромоногий, тяжелый на ходу, а в его глубине, в самой что ни на есть глубине была... душа. И душе этой очень хотелось покоя. Такого покоя, какой бы никто не нарушил, не потревожил — ни Жакыз, ни Айшет, ни Клава, ни внук Феденька.

Душа его хотела смерти!

Как же это, как же это? — удивлялся Федор, а тяжелое, неуклюжее тело говорило: очень просто. Видишь, на стене сарая висит веревка. Возьми ее, уйди за сарай, а еще лучше — подалее в лес, и там найдешь покой, который уже никто и никогда не нарушит. Тебе станет так легко, как никогда не бывало в жизни...

— Господи! — воскликнул Федор. — Это дьявол искушает! Помоги мне, Боже! Спаси, сохрани и помилуй...

Спустя день под старой грушей теперь сидели Жакыз и Дудай.

— Валлахи, я не знаю, как буду теперь держать в своем дворе это собачье отродье, как выдержу!..

— Видишь ли, Жакыз, не все в жизни получается так, как нам хотелось бы...

— Умом-то, может, я и смирился бы, а вот мое мужское сердце, зов моих предков требуют отмщенья. Карох все примирял меня, все мягкие слова говорил. Соглашался я с ним, соглашался умом, а сердцем! Нет! Отомщу за сына, я отомщу за своих братьев!

— Успокойся, Жакыз, не рви сердце, оно тебе еще пригодится. А я хочу тебе сказать... Я должен сказать тебе...

— Что ты должен сказать? — насторожившись, спросил Жакыз.

Дудай видел, как страдал, как ожесточился сердцем Жакыз, и не знал, чем помочь ему, как убавить в его душе

жестокость. Дудай мог это сделать, но тогда самому станет больно, а своя боль больнее всякой чужой. И все-таки Дудай решил принять в свое сердце боль, чтобы хоть немного убавить жестокость Жакыза. А если сказать правду, то в этой жестокости была вина и Дудая, потому он и решился:

— Думаю, Жакыз, мне надо покаяться, повиниться перед тобою.

— В чем, Дудай? Чем ты провинился передо мною? — еще сильнее насторожился Жакыз.

— Виноват я перед Сабехом, но его уже нет, значит, я должен повиниться перед тобою. Грех я взял на душу.

— Да не тяни ты! Не мучай, говори!

— Не гневайся, Жакыз, я знаю, как обрушит на меня свой гнев Аллах, так хоть уж ты пожалей, прости мне мой грех... Сабех, когда умирал, сказал: «Вот видишь, Фидур, что получилось... Я не виню тебя...»

— Прямо так и сказал?! — изумился Жакыз. — Может быть, ты и теперь что-нибудь не так говоришь?

— Прямо так и сказал.

— Почему же ты сразу... почему промолчал, неправду расплодил?

— Я боялся сделать тебе больно, ведь ты так ненавидишь гяуров, что...

— Ненавижу — да! Ведь они убили моих братьев, а теперь еще и сына!

— Вот видишь, а твой сын так относился к Фидуру, так говорил о нем... Как тут быть?..

Жакыз грозно глянул прямо в глаза Дудая:

— Повтори еще раз те слова Сабеха, поклянись, что говоришь чистую правду.

Дудай встал и сказал, понутив голову:

— «Вот видишь, Фидур, что получилось со мной, с нами... Я не виню тебя, Фидур», — дрожащим от волнения голосом произнес Дудай. — Аллах свидетель — именно эти слова были последними у Сабеха.

— Садись, Дудай, садись. Я верю тебе, — проговорил Жакыз и опустил голову, вдруг так отяжелевшую. Лицо его было бледным. Он тяжело и судорожно дышал, едва справляясь с болью в сердце.

Они долго сидели молча.

Потом Жакыз заговорил, горестно раскачиваясь:

— Ты, Дудай, тяжкий грех принял на свою душу, не сказав мне правды о кончине Сабеха, тебе и ответ держать перед Аллахом, но мог бы случиться и еще больший грех, если бы я убил Фидура, если бы я его на куски разорвал....

Помолчал Жакыз в раздумье и, тяжело вздохнув, добавил к сказанному:

— Но ты не подумай, что я смирился. Нет, буду до последнего дыхания защищать нашу землю, веру наших отцов. Святую веру.— И, склонив голову, помолился про себя, прося прощения у Аллаха и Его благословения. Легче у него стало на душе, оживились скорбные глаза: — А где сам-то Фидур?

— Скотину управляет.

— Позови его.

Недовольно поморщился Дудай, так ему не хотелось идти за Федором, но все-таки пошел, а вернувшись, сказал:

— Я пойду в дом. С сестрой поговорю.

— Сходи, сходи. Но с женщинами слишком, слышишь, не распространяйся.

— Конечно, Жакыз. Зачем женщинам знать о наших мужских делах.

Пришел Федор с вилами в руках, он еще не закончил раздачу корма скотине:

— Ты звал меня, хозяин?

— Да, садись-ка сюда. Поближе садись. Я хочу поговорить с тобою, хочу передать последние слова Сабеха, сказанные Дудаяю.

— Я знаю их.

— Откуда, кто тебе сказал? — насторожился Жакыз: «Уж не ходят ли разные сплетни?»

— Да на похоронах люди говорили.

— Кто говорил?

— Как обычно — все. Один другому. Вспоминали добрыми словами Сабеха, говорили о его добрых делах, о мягкой его душе. Мол, Сабех был истинным мусульманином, мол, Аллах, конечно, откроет перед ним двери рая... А еще говорили о его последних словах.

— Но ведь их слышал один Дудай. Значит, от него пошел разговор, но... Не держи обиды, Фидур, на Сабеха.

— О чем ты говоришь, Жакыз? — очень удивился Федор.— Мне обижаться на Сабеха? Да у меня во всем этом белом свете, во всей Черкесии не было никого ближе, чем Сабех. Я любил его настоящей мужской любовью, как своего младшего брата. Сам Сабех просил, чтобы я его так называл, хотя он — мусульманин, а я христианин, он — черкес, а я русский. Он был мне братом, моим любимым братом.— Федор не смог сдержать слез — торопливо отвернулся от Жакыза.

— Спасибо, Фидур, спасибо тебе за твою доброту к моему покойному сыну... А еще я хочу, чтобы ты знал самые последние слова Сабеха.

— Я знаю их.

Они оба долго молчали.

Жакыз молчал, потому что не знал, что еще можно добавить, а Федор молчал, соблюдая почтение перед хозяином. И все же заговорил первым.

— Не надо обижаться на Дудая, надо помолиться за него. У нас есть такая молитва: спаси, Господи, и помилуй ненавидящие и обидящие меня, не остави их погибнуть мне ради грешного. Грех Дудая — это его грех, а наше дело помолиться за него.

— Мы тоже за смирение, но я не знаю, когда надо смириться перед судьбой, когда простить врагу, а когда ненавидеть его, убивать.

— Лучше нам не думать об этом, Жакыз: ведь Господь создал человека по образу и подобию своему, мы должны любить...

— О Аллах Всемилостивый, помоги мне, научи меня!.. — почти простонал Жакыз и, опустив голову, подумал: «Я знаю, я понимаю, о Аллах, своим грешным умом, а горячее сердце противится. Я понимаю, а оно — нет. Я хочу простить Фидуру, я даже хотел бы по-братски обнять его, а оно — нет».

Федор видел это, чувствовал страдания Жакыза, видел, как в его сердце боролось добро со злом. Ему тоже хотелось обнять Жакыза по-братски, да как это сделать, как?!

— Если я тебе больше не нужен, то пойду встречать скотину — стадо скоро пригонят.

«Да, да, тебе лучше уйти. От греха уйти, от беды уйти», — подумал Жакыз и сказал:

— Да, конечно... Иди, Фидур, иди.— И когда тот пошел, Жакыз все-таки не сдержался и бросил вслед: — Только далеко не уходи.

Бросил эти слова Жакыз и пожалел. Даже застыдиллся.

Федор оглянулся, грустно улыбнувшись, подумал: «Ничего, Жакыз, ничего. Господь милостив, поможет нам с тобою».

Ушел Федор. Жакыз остался один. Двор ему показался каким-то громадным и страшным своей пустотой. В тени за сараем, у колоды старого дуба, за углом дома ему чудились какие-то призраки. И будто незримо бродила по двору тень Сабеха.

Солнце клонилось к закату, погружалось в громадную тучу, поджигало ее своим яростным золотистым светом.

И там, в небе, была пустота. Пугающая, призрачная.

Прошелся Жакыз по двору в один конец, в другой, подошел к плетню.

На молоденьких вишнях уже набухли почки, вот-вот брызнут веселой белизной цветы.

Слезы покатались из глаз Жакыза — эти молоденькие вишенки Жакыз сажал с Сабехом.

Упал грудью на плетень и дал волю слезам, дал волю сердцу, и только хотел, чтобы никто не услышал его рыданий, не увидел его слез — никого он не хотел пускать в свое отцовское горе.

Скрипнула дверь в доме.

Жакыз торопливо вытер кулаками слезы. Оглянулся.

Никого.

Показалось.

И он тяжелыми шагами направился в дом.

Кутас, слышав шаги свекра, заспешила из комнаты Гошехан к себе. По обычаю адыгов невестка не должна видеться с глазу на глаз со свекром, потому и заторопилась в свою комнату.

Он подошел к постели Гошехан, положил руку на ее лоб:

— Ты, я гляжу, совсем расхворалась.

— Ничего. Пройдет...

Он сел на табурет рядом с кроватью. Зажал руки между колен, опустил голову:

— Как же пройдет, если ты совсем слегла.

— Ничего, пройдет это, пройдет. Аллах милостив.

— Старайся, Гошехан, старайся. Нам нельзя падать духом, иначе что же делать нашей бедной невестке?

— Да, Жакыз, нам нельзя, мы должны помочь Кутас одолеть горе, должны помочь ей подарить нам наследника.

— Да, да. Наследника нашего рода, продолжателя нашего Сабеха.— Помолчал, потом сказал: — Становится уже совсем темно, я зажгу лампу.

— Не надо. Так сердцу будет покойнее, а невестка, чтобы ей было не так одиноко, пускай зажжет. Зажги, нысэ¹, зажги лампу...

Гошехан устало замолчала.

— Ты хотела что-то сказать? — участливо спросил Жакыз.

— Я хотела спросить, Жакыз. Что с Фидуром?

— Ну что вы все заладили — Фидур, Фидур! — воскликнул Жакыз, хлопнув себя по ляжкам.— Чтоб он провалился в преисподнюю к самому шайтану!

— Не говори так громко, Жакыз. Что невестка подумает о своем свекре? Услышит громкое, нехорошее слово и забеспокоится.

— Не буду, не буду,— устыдился Жакыз.

— Я только и сказала о Фидуре потому, что он столько горя принес в нашу семью, а что будет впереди? Думал ты об этом?

Он озадачился:

— А ты? Ты думала об этом?

— Мало ли что думает женщина,— уклончиво ответила Гошехан,— ее дело слушать, что скажет муж, что он повелит.

— Не хитри, Гошехан, я по тебе вижу, ты думала об этом, ты хочешь мне что-то сказать.

— Думала, конечно,— и Гошехан тихонько простонала, этим как бы прося снисхождения к себе, к больной.— Может быть, нам лучше отпустить его? Ради нашего покойного сына. А?

Жакыз опешил. Непонимающе глянул на жену:

— Ты что? В своем ли ты уме?! Вместо того, чтобы убить его, отомстить за нашего сына, за моих братьев, она

¹ Нысэ — невестка.

хочет его отпустить! Значит, пусть он идет к своим, берет там ружье и убивает наших братьев? Пусть рушит нашу землю?! Ты это хотела сказать!

Гошехан испуганно натянула на себя одеяло:

— Я только и хотела сказать...

— Она хотела сказать! Замолчи, так будет лучше, так будет покойнее на том свете душе нашего сына.

Жакыз выскочил во двор и заходил в темноте, заходил, будто зверь в клетке.

«А где этот мерзавец? Пригнал ли он скотину, накормил ли?»

Прислушался Жакыз: хрустели травой коровы, пофыркивали лошади в конюшне. А что этот свет в его комнате какой-то непонятный — то ли он есть, то ли его нет. Может, и его там уже давно нет?!

Кинулся Жакыз в сарай.

На столе перед складнем теплился крошечный светильник. Федор стоял на коленях. Крестился, низко, до самого пола кланялся.

— Молишься? — буркнул Жакыз. — Молись своему гяурскому богу. А скотину управил?

Закончил молитву Федор, поднялся с колен:

— Накормил, напоил, а как же, хозяин. Все как полагается быть, не беспокойся.

— А я и не беспокоюсь. Зажги лампу. — Зажигая лампу, Федор сказал:

— В эти горестные для нас дни надо почаще обращаться к Господу.

— О своем сыне я буду обращаться к твоему богу?! — возмутился Жакыз. — И не учи меня, сам знаю, когда и что делать!

— Если я обидел тебя своими словами, прости меня, хозяин.

Тихие слова Федора еще больше рассердили Жакыза. Он выскочил из комнаты и вскоре вернулся с колодками. Бросил их Федору:

— Обуйся! И замок хорошенько закрой! Так, хорошо. Давай сюда ключ!

Надев колодки и подав Жакызу ключ, Федор спросил:

— Ты больше мне не веришь, Жакыз?

— Веришь, не веришь! Я так спокойнее буду спать!

— Я рад, что хотя бы этим успокоил тебя. Доброй ночи тебе, Жакыз, всему твоему дому покойной ночи. Да хранит вас Аллах.

И когда вышел Жакыз, Федор повернулся к иконе: истово, широко перекрестился:

— Господи, спаси, сохрани и помилуй рабов Твоих Жакыза, Гошехан, Кутас. Мусульмане они, однако же — создания Твои. Помилуй их, помилуй.

Жакыз, выйдя во двор, остановился посередине, глядя в звездное небо. Ему казалось, что где-то там, бесконечно далеко покоится и душа Сабеха.

С одной стороны он успокоился, что надел колодки на Федора, а с другой — как же это он мог надеть колодки на того, кого Сабех называл своим братом!..

— Помоги, Аллах, вразуми меня несчастного! — вслух, перед звездным небом произнес Жакыз.

На другой день к дому Тыганова прискакал на коне мальчишка и прямо у ворот закричал:

— Карох, где ты? Скорей, Карох, Айшет тебя просит поспешить к Пазадовым, там убивают бедного Фидура! Скорее, Карох!

Не дожидаясь, пока ему оседлают коня, Карох ссадил мальчишку и умчался на его коне.

Соскочив с коня у ворот Пазадовых и вбежав во двор, Карох увидел: на пороге, стиснув ручищами бритую голову, сидел Жакыз и горестно раскачивался из стороны в сторону, будто его шатало могучим ветром.

В окне, вздымая руки, вся растрепанная, что-то отчаянно кричала Гошехан.

Напротив Жакыза с опущенным ружьем стояла Айшет и тоже что-то отчаянно говорила.

Из огорода на старческих, небыстрых ногах поспешал Мамий Беджанов и с ним еще двое мужчин.

Посередине двора, в колодках, покорно опустив руки, стоял Федор. Он молчал.

Бросился Карох, стал между Жакызом и Айшет:

— Что случилось?!

— Карох, именем Аллаха, возьми у меня это проклятое ружье, — простонала Айшет. — В Жакыза шайтан вселился.

«Застрелю, кричал, убью Фидура!..» Отдай ключ от колодок, слышишь? Отдай, Жакыз!

— Уходи, женщина, а то я и тебя порешу, — прохрипел Жакыз, подняв на Айшет налитые кровью глаза.

Пот ручьями катился по его большой, угловатой бритой голове.

— Успокойтесь! — властно поднял руку Карох. — Дай ружье, Айшет, и иди в дом, к женщинам.

Задыхаясь от быстрой ходьбы подоспел с мужчинами Мамий. Он уже понял все и, укоризненно глядя на Жакыза, негромко сказал:

— Как ты мог, Жакыз? Как ты мог поднять руку на безоружного стреноженного человека! А я ведь всегда думал о тебе как о порядочном человеке, истинном мужчине.

— Я не поднимал на него руку, Мамий, Аллах тому свидетель. Не поднимал. Как тяжело мне дышать. Я совсем задыхаюсь...

Мамий подошел к Жакызу, положил ему руку на плечо:

— Ничего, ничего, сейчас это пройдет, только возьми себя в руки. Я знал твоего отца и твоего деда — о-о, это были достойные люди! Не урони же и ты этого достоинства, чести рода Пазадовых не урони. А зачем здесь ружье?! — строго спросил старик у Кароха.

— Оно не заряжено, Мамий.

— Все равно — уберите его с моих глаз!

Поднялся Жакыз, умоляюще глядя то на Мамия, то на Кароха, попросил:

— Ради Аллаха, уведите от меня его... Уведите, а то я могу не совладать с собою и впаду в великий грех. Прошу вас.

Спустя дня три после этого события к воротам Тыгановых подошел Жакыз. От дома, приветливо виляя хвостом, однако виновато прижав уши, бежал Мишид и тихонько повизгивал. Жакыз укоризненно сказал ему:

— Значит, и ты сюда перебрался, бросил меня.

— Добро пожаловать, Жакыз, — пошел ему навстречу Карох, — рад видеть тебя. Как вы там поживаете, что у вас новенького?

— Все хорошо, Карох, все спокойно. Так спокойно, что на душе становится тоскливо. А как вы тут поживаете, что хорошего слышно в вашем конце аула?

— И у нас все тихо, мирно, и мы радуемся этому, благодарим Аллаха за Его доброту к нам. Что же ты стоишь у ворот? Проходи, пожалуйста.

— Некогда мне, Карох, — замявшись, сказал Жакыз. — Я же говорю тебе, Карох, пусто у меня в доме, пусто во дворе и совсем пусто в грешной душе моей. А еще... больно мне вспоминать о том, что случилось на днях. Если бы не Айшет, быть бы большой беде — я мог стать невольным убийцей.

— Как это — невольным? Или ты себе не хозяин? — стараясь не обидеть Жакыза, мягко спросил Карох. Мягко, но и не без упрека.

— Ну-у... когда сердце от боли разрывается, то меркнет, наверно, разум, тьма овладевает человеком, а может быть, как сказала Айшет, шайтан одолевает... Я уже ходил к старику Беджанову, повинился перед ним, а теперь вот и к тебе пришел: простите меня.

— Мы все предстанем пред Аллахом, один Он нам судья, один Он может простить наши грехи. Думаю, раз уж ты понял великую греховность своего поступка, то уже одно это очень смягчает твою вину. Аллах видит это и сменит Свой гнев на милость. Усерднее молись, Жакыз, и твоя грешная душа успокоится.

— Спасибо, спасибо, ты — настоящий друг, Карох... А где бедняга Фидур? Я хотел бы повидать его, поговорить с ним и забрать с собою домой.

Карох молчал.

Жакыз нетерпеливо переступал с ноги на ногу, смущенно поглядывал на Кароха:

— Я опять сделал что-нибудь не то, не так?

Карох будто не слышал вопроса.

— Фидура нет дома, — потом скупое сказал и решительно, как бы не желая отвечать на все другие вопросы.

— А где же он? — встревожился Жакыз.

— С Муратом уехал в лес. По дрова.

Не сдержал обиды Жакыз:

— Значит, мой пленник теперь работает на тебя! Тебя ублажает?

— Зачем ты сказал это нехорошее слово, Жакыз? Они поехали в лес, чтобы заготовить дров нашей соседке, вдове.

— Это хорошо, очень хорошо, что он работает для вдовы. Когда вернется из леса, скажи ему, пусть возвращается домой. Мы ждем его.

— Думаю, тебе бы самому надо поговорить с Фидуром, самому сказать, позвать его...

— А он что, забыл, с какого двора ушел? — начал обижаться Жакыз.

— Но ты же сам просил, чтобы мы его забрали, а иначе, мол не ручаешься за себя... Как же он вернется? Зачем?

— Я понял тебя, Карох, я понял,— смиренно сказал Жакыз и обратился к Мишиду: — Но ты-то, я думаю, пойдешь со мной, вернешься?

Мишид, виновато прижав уши, опустив хвост, пошел прочь.

— Тебе тоже у Тыгановых лучше, чем у Пазадовых? Так, что ли, Мишид?

— Не обижайся на него, Жакыз, не обижайся на меня и Фидура. Ты мудрый человек и все понимаешь разумом, остается только смирить свое сердце.

— Я все понял, Карох,— опять угрюмо проговорил Жакыз и пошел к калитке...

...Вечером того же дня, когда солнце ушло на покой, затихли поля и луга, погрузился в благостную вечернюю тишину аул, Карох сказал Федору:

— Собери-ка свои вещички, и, пока Жакыз Пазадов смирился, мы тихонько отправимся с тобой в путь. Тихонько, чтобы никто ничего не видел, не знал. Пока чтобы не знал. Ты понял меня, Фидур?

— Кажется, понял. Умом понял, а сердцем...

— Для сердца — все впереди.

— Господи! Как же это — вдруг! Карох!

— Не давай пока сердцу волю, Фидур, быстренько собирайся — и в путь.

А что ему было собираться? Как голому подпоясаться, усмехнулся Федор. Положил в свой старый солдатский мешок складень, балалайку, бритву да ложку с вилкой и ножом, и, конечно, письмо от Клавы. Потом передумал: складень и письмо достал из мешка и спрятал за пазуху.

Повернувшись лицом на восток, прочитал молитву, положил три земных поклона.

— Я готов, Карох.

— Теперь осторожненько проберись огородами за околицу и там, на опушке леса жди меня. У старого дуба.

На одном коне Карох и Федор всю короткую летнюю ночь лесными тропами пробирались к расположениям русских войск.

Когда забрезжил рассвет, когда с долин стали подниматься туманы, они были уже на берегу горной речки.

Спешились. Карох указал плеткой на противоположный берег:

— То берег твоей свободы, Фидур. Там Шабежская крепость. Речка эта только шумливая да ворчливая, на самом деле совсем не страшная. И не глубокая. Не иди поперек воды, а наискосок, вниз по течению. С островка — на островок, с камня — на камень и ты окажешься дома. — Карох так улыбнулся, ему было так хорошо, будто это он спешит к себе домой, будто это он идет к своей свободе. — Тебя будут спрашивать, что да как, ты всем им отвечай, мол, сам бежал из плена. Так будет и мне лучше, и тебе.

Федор погрустнел. Ему не хотелось расставаться с Карохом — ведь он его считал своим братом. А еще — не хотелось ему обижать Жакыза: бедняга и так страшно наказан судьбой.

— На сердце у него такая тяжесть, такое горе! — сказал Федор. — Мне жаль его, очень жаль.

— Ты прав, Фидур. Жакыз часто прикидывается и жестоким, и жадным, даже свирепым. В душе он другой.

— Я знаю. И Айшет, и Гошехан — мне их тоже будет не хватать... Да и мальчишкам кто теперь сделает свистульки?

Карох весело подмигнул:

— Я сделаю. Я научился хорошо их делать.

Они по-мужски, по-братски, крепко обнялись, прижались горячими щеками.

— Ну, хватит! — сказал Карох. — В добрый путь, Фидур.

— Да хранит тебя Аллах, Карох.

Шумела речка. Из-за далеких гор поднималось солнце.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Знойное лето 1859 года...

Солнце еще только поднималось из-за горизонта, но уже было жарким, а, поднявшись в зенит, становилось раскаленным, размыто-белым и палило немилосердно. Ни дуновения, ни ветерка. От зноя никли долу травы, желтели листья на деревьях. Быстрые веселые птицы и те не спешили в слинявшую высь, забивались в гущу кустов.

Жарко от солнца, еще жарче от винтовочной и пушечной пальбы. Гудела пушечная канонада в долине, поднималась к небу, катилась в горы.

С жалким скарбом уходили люди из пылавших аулов, бросив на произвол судьбы то, что составляло смысл их жизни, оставляя могилы своих предков. На дорогах и тропах тоскливо мычали коровы, испуганно блеяли овцы, тревожно ржали лошади, плакали дети. А прикрывали их от врагов все, кто мог держать в руках оружие.

Царские войска захватывали лучшие земли адыгов для своих будущих крепостей, станиц, хуторов, строили дороги, прорубали просеки в лесах.

Но какой человек отдаст запросто так землю своих предков, свою землю-кормилицу, какой хлебороб смирит свое сердце, глядя, как его поле засевают недруги... Не от злобы, не от ненависти, а от боли за попанную отчую землю адыги обнажали кинжалы против пришельцев, от боли сердечной нападали они на солдат, которые пришли сюда не по своей воле. Нелегко было устоять им с кинжалами, шашками да винтовками против регулярных частей, вооруженных самым современным оружием, численностью в сотни раз больше, чем отряды адыгов?..

Вот и Джамбеч Дагужий со своим отрядом пытался, как мог, защитить аул Бечхабль, а когда увидел, что не устоять перед натиском царских солдат, перед казаками, стал прикрывать уход аульчан в горы. Но и это оказалось нелегким делом — в живых остался он один...

Джамбечу шел тридцатый год, когда он женился на красавице Сурет.

— То-то счастье привалило Джамбечу! — говорили у него на свадьбе, на шумном и веселом пиру, на который съехалось много людей.

Но счастье, как вольная птица, — сегодня оно в твоих руках, а завтра вспорхнуло — и нет его, только сладким воспоминанием живет в твоей памяти...

Как мог быть счастлив Джамбеч сегодня, если несчастье обрушилось на его отчий дом, аул, на родные горы.

Нет тебе счастья, если его нет на твоей земле.

Легко раненный в руку повыше локтя, с ружьем всего лишь при одном-единственном заряде, Джамбеч отправился в горы, чтобы найти там Сурет с восьмилетней дочкой Афипсой. Где они? Сумели ли добраться до Заурхабля к его тетке? Если добрались, то, слава Аллаху, им будет хорошо.

Тяжко было на душе Джамбеча, трудно идти в душном лесу, но тревога за судьбу жены и дочурки гнала и гнала его вперед.

В стороне от дороги лежал многовековой дуб, должно быть, поваленный бурей. Сел Джамбеч на могучий кряж, прислонился отяжелевшей от жары и усталости головой к ветке, вздохнул облегченно, думал, отдохнет немного, подремлет — и дальше, но закрыл глаза и почувствовал, что не стало ему легче, тишина встревожила его, ведь он совсем отвык от нее: ружейная стрельба, артиллерийская канонада, звон клинков, сабель и кинжалов, яростное ржание коней, стоны раненых, отчаянная брань давно уже стали привычными для него, до того привычными, что, казалось, ничего иного нет больше в этом мире, и вдруг — такая глубокая тишина!

Совсем рядом, чуть не у самого уха Джамбеча, дремотно попискивала какая-то птичка. Горько-соленый пот струился по его щекам, по усам и бороде, солонил губы. Тревожное предчувствие одолевало Джамбеча.

В ауле Наджикохабль родились Джамбеч и Сурет, на его поросших муравой улицах, перетекавших в луг, что разбежался зеленым половодьем от околицы к предгорьям. Они росли, ходили по одним улицам, тайком засматривались друг на друга, чувствуя первые гулкые удары сердца — волнения зарождающейся любви. В Наджикохабле

сыграли они свою свадьбу, родили дочку на радость себе, на радость родителям. А три года назад к Наджихохаблю пришли царские солдаты. Хозяева не хотели отдавать его... И он никому не достался — сгорел дотла, как горят аулы с камышовыми и соломенными крышами, с плетневыми сараями. Разъяренный ветром огонь в считанные часы превратил все строения в груды обуглившихся головешек.

Не может прожить человек без огня, но как он ужасен, как ненавистен, когда обращает в пепелище все, что человек создавал с таким трудом и с такой любовью.

Вчера же сожгли и Бечхабль. Это был девятнадцатый аул, в котором за последние два года Джамбеч со своей семьей пытался найти приют...

Подняв руки перед собой ладонями вверх, Джамбеч молился про себя: «О Аллах, именем адыгов, которые чтят Твое величие и Твою справедливость, прошу — накажи жестокосердных царских генералов, накажи генерала Кухаренко за его жестокость, за то, что он сеет на нашей земле смерть и губительный огонь. Пусть все беды, которые генералы принесли к нам, обернутся против них самих. Молю тебя, Всесильный, помоги Карбатыру Зану сделать то, что не удалось его отцу, князю Сафербию Зану. Если Карбатыр все-таки создаст Всечеркесский меджлис, создаст единое Черкесское государство, только тогда, наверное, нам и удастся выстоять в войне с царскими войсками, удастся сохранить свободными свои земли, свою свободу, свободу наших детей. Вложи, о Аллах, в сознание всех наших князей любовь друг к другу, любовь к единой земле адыгов, угаси разногласия между ними...»

Что это?!

Он услышал:

— Не бойся, не бойся, нынэ¹, это птичка пролетела. Успокойся. Я сейчас взберусь на дерево и натрясу тебе груш. Отойди в сторонку.

Джамбеч узнал голос жены. Он бросился в чащу и увидел на дереве Сурет, увидел Афипсу и все твердил, стараясь не испугать их:

— Это я — Джамбеч! — он поднял на руки дочку. Сурет, спрыгнув с дерева, обняла их обоих и залилась слезами. —

¹ Н ы н э — ласковое обращение к младшим, чаще — к детям.

Как вы оказались здесь? Почему не в Заурхабле? Перестань плакать, Сурет, перестань, надо благодарить Аллаха за то, что мы живы.

— Да, да, Джамбеч, слава Аллаху, если бы не Он, мы пропали бы в Заурхабле.

— Почему? — удивился Джамбеч. — Что там случилось?

— Солдаты окружили Заурхабль, нам с Афипсой едва удалось вырваться оттуда и спрятаться здесь в лесу.

Джамбеч опустил на пень, прижимая к груди Афипсу:

— О Аллах, за что Ты посылаешь нам такие муки?!

Скажи, за что? Чем мы провинились перед Тобой?.. Горе нам, горе. Моя бедная тетушка, должно быть, погибла в Заурхабле. Видно, пришел конец нам всем.

Сурет заметила окровавленную повязку на руке Джамбеча:

— Ты ранен!

— Пустяки. Царапина.

— Как же пустяки, если кровь?

— Тебе больно, тат?! — воскликнула Афипса.

— Нет, доченька. Для мужчины это обычное дело.

— Нан, ему больно, я вижу — больно! — Сурет достала из сумки цветастый шелковый платок. Тот самый, что Джамбеч подарил ей после свадьбы.

— Садись поудобнее, я перевяжу.

— Жалко из-за такого пустяка портить платок. Это ведь наша с тобой память.

— Перевяжи, нан, тате так больно.

Конечно, платок — мелочь, но он из той тишины, из счастливых дней, которые теперь уже далеки и потому особенно дороги. Но что делать — Сурет уже перевязывала. К тому же ее прикосновения были так приятны Джамбечу, что он смирился. Как в душный знойный день путнику дорог глоток воды из студеного ручья, как в ненастную погоду ему нужен луч теплого солнца, так утомленному воину, оглохшему от грохота войны, опаленному ее неистовым огнем, дорого простое, но такое успокаивающее прикосновение любимой женщины.

Прикрыв глаза, Джамбеч всецело отдался исцеляющей воле Сурет.

— Нан, а груши очень вкусные, их так много!

Улыбнулся Джамбеч — он знал, какими твердыми и кислыми бывают эти дички — как же они изголодались, бедняги, если дички девочке кажутся очень вкусными.

— Собирай, доченька, все собери в сумку, они нам еще пригодятся в дороге, — сказала Сурет и тревожно подумала: «Куда нас выведет дорога? Благословен Аллах, что привел к нам нашего Джамбеча. Укажи нам, Боже, дорогу в тихий угол, уведи нас от войны».

Джамбеч тоже думал о дороге, тревожился: где, кому препоручить семью.

Между тем перевалило за полдень. В лесу наступила пора затишья, приближалось время прохлады.

Сурет и Афипса собирали груши.

Джамбеч стал прислушиваться: с западной и восточной сторон доносилась артиллерийская канонада. С запада — яростнее, где-то совсем рядом били пушки, и чистая ружейная стрельба слышалась совсем неподалеку.

— Ты о чем задумался, Джамбеч?

— Слышишь, с западной стороны бой уже совсем рядом. Думаю, жена моя знает, где должен находиться ее муж в такое время, если он владеет оружием.

— Знаю, — ответила Сурет и опустила голову. Помолчала, потом с тоской посмотрела на Джамбеча: — Знаю, Джамбеч, хорошо знаю.

Афипса чувствовала, что ее родители говорят о чем-то, что отдается болью в их сердцах, и в ее черных глазенках под круто изогнутыми тонкими бровями обозначилась тревога.

— Вот я и думаю, — продолжал Джамбеч, — где вас надежнее укрыть, чтобы потом со спокойной душой вернуться к товарищам.

— Пусть хранит тебя Аллах, пусть Он всех вас хранит от вражеской пули, — тихо сказала Сурет.

В горах, по одну сторону неширокой долины, стояли солдаты Нижегородского полка. Они пришли сюда по монаршей воле, они обязаны были исполнять воинскую присягу на верность царю и Отечеству, должны были по приказу своего командования покорить непослушных адыгов.

По другую сторону долины стояли адыги, они были вооружены несравненно хуже своего противника. Но если царские солдаты пришли покорить эту страну, то адыги стояли у порога своего родного дома, они защищали его — в этом состояла главная разница между противостоящими воинами.

К адыгам пришло свежее подкрепление, им удалось не только потеснить царских солдат, но и пробить брешь в их порядках, рассечь полк на две части, и если один из флангов не выдержит нового наступления адыгов, то другой окажется в окружении, что чрезвычайно опасно, и генерал Граббе послал своего штабного офицера Махатадзе за свежим подкреплением.

Для грузина Махатадзе горы были родной стихией. На своем скакуне по горным тропам он скакал легко, что называется, летел быстро, и поручение генерала Граббе выполнил быстро. Возвращался не спеша, напевая что-то родное, протяжное.

Вдруг пуля просвистела над головой, едва не задев ее. Махатадзе, не сдерживая коня, выхватил шашку и обрушил ее удар на стрелявшего адыга. В кустах тоже кто-то был. И его достал выстрелом из пистолета.

Все произошло внезапно. На войне, как на войне. А потом случилось невероятное. Такое, что, казалось бы, не должно было случиться ни при каких обстоятельствах, ни на какой войне!

— Нан, нан, что с тобой!.. Тат, что с нашей нан?! — с криком выскочила из кустов девочка. Она подбежала к отцу, лежавшему, раскинув руки, на траве. Какое-то мгновение она стояла в нерешительности, не понимая, что произошло, потом, поняв что отец мертв, потемнела, изменилась лицом. В одну секунду девочка стала, как показалось Махатадзе, нет, не взрослым человеком и не человеком вообще, а самой сущностью гнева.

Многое повидал Махатадзе на войне, но такого еще никогда не видел — такого обнаженного ужаса войны, с которым он вдруг столкнулся один на один.

Афипса схватила ружье отца, но не могла его поднять. С какой ненавистью она смотрела на Махатадзе!

Он хотел бросить коня в галоп и ускакать.

Девочка поняла, что ей не поднять ружья, и, обессилев, упала лицом в траву и так горько, с таким отчаянием закричала, и крик этот был такой силы, будто не ребенок кричал вовсе, а само небо исторгло этот крик, это горе... Девочка отбивалась, кусалась, царапалась. Наконец она обессилела и затихла на руках у Махатадзе. Может быть, подумал он, потеряла сознание. У него перед глазами все еще стояли убитая им ее мать, отец — широко раскинувший руки на траве...

На поляне в полку Махатадзе окружили солдаты.

Афипса сидела на траве, уткнув лицо в колени.

— Неужели это она, звереныш, так отделала вас, ваше благородие?

— А за что, ваше благородие? Что вы ее сюда привезли?

— Дикая кошка да и только!

Махатадзе было неприятно слышать такое, но что делать — они могут посмеиваться, потому что не были на той тропе, потому что не пережили того, что пережил он, убив отца с матерью этого ребенка, убив у нее на глазах. Да и как можно обижаться на них, огрубевших в боях, — разве война хоть кого-нибудь, хоть на одну каплю делала лучше, мягче?

Махатадзе молчал.

Подошел генерал Граббе. Выслушав доклад Махатадзе о выполнении задания, поблагодарил его за службу и, увидев девочку, спросил:

— Что за красавица пожаловала к нам в гости? Откуда она взялась?

— Я привез. Подобрал по дороге, — ответил Махатадзе, не сказав, однако, что убил ее мать и отца.

— Как тебя звать, дитя? — присел генерал перед Афипсой. — Ну? Подними головку. — Он взял ее за подбородок, чтобы увидеть лицо девочки.

Афипса ударила его по руке и с такой ненавистью посмотрела на генерала, что тот ощутил то же самое, что на лесной тропе ощутил и Махатадзе. Не ребенок смотрел на него — сама ненависть.

Генерал даже вздрогнул, но все-таки заставил себя улыбнуться девочке:

— Не бойся, хорошая, я ничего дурного тебе не сделаю. Ты лучше скажи, как тебя зовут?.. Конечно, она, видимо,

не знает по-русски. Есть у нас, кто знает по-черкесски? — обратился генерал к солдатам, скрывая перед ними свое замешательство, вызванное в нем взглядом девочки.

— Старый солдат Анаскевич из полкового лазарета жил у черкесов в плену, он хорошо знает их язык. Прикажете позвать?

— Не надо. Отведите ее к нему и скажите, что я просил его быть поласковее с ребенком. Потом я решу, как быть с нею дальше.

Генерал, разумеется, знал, что такое война, что такое ее жестокость и кровь, но ведь он уже давным-давно не ходил в атаки, в конные схватки, давно не убивал человека собственноручно. У него было, если так можно выразиться, генеральское восприятие войны, с высоты командующего, а этот ребенок, эти детские глаза... Кстати, он и раньше, с самого начала военной карьеры ни разу не сходил с войной вот так, как сегодня: ему показалось, он не только ощутил ее дыхание, услышал крики черкесов, сердцем почувствовал их боль. Нехорошо от этого стало генералу, непозволительно нехорошо, и он заторопился, приказав князю Амилахвари:

— Отведите девочку к Анаскевичу, прикажите ему быть с нею, как это сказать... Пусть накормит, обогреет... Ребенок все же.

II

Солдаты стали расходиться. Чем меньше их оставалось, тем легче становилось Афипсе. Она стала осматриваться вокруг. Должны же быть здесь и женщины, а если они есть, ей будет легче — можно заплакать, уткнувшись в колени — теплые, мягкие колени, как у мамы, и плакать, плакать, сладко плакать.

Не было женщин.

К ней подошел мужчина с густыми усами и бородой, как у ее отца. Она посмотрела на него, и ей стало немного, на самую малость легче. Он улыбнулся большими темно-кариыми глазами.

И на ее бледном личике сама по себе затеплилась улыбка. Думая, что девочке грузинский язык будет ближе русского, мужчина обратился к ней по-своему:

— Я не знаю, как тебя звать, а потому просто говорю: девочка, пойдем со мной.

Афипса, услышав язык убийцы ее отца и матери, вдруг кинулась к дереву, уцепившись за него ручонками, угрозно воскликнула:

— Не подходи ко мне, не подходи!

— Я отведу тебя к добрейшему человеку.

— Не подходи, не подходи! — еще сильнее закричала девочка.

Амилахвари знал, что девочку в полк привез Махатадзе, значит, там у них с нею что-то произошло, что-то, наверное, ужасное, если она пугается даже звуков грузинского языка. Князь попытался еще раз приблизиться к девочке, но она закричала громче, сверкая глазенками.

Господи, помилуй нас, помолился он про себя, и сказал:

— Хорошо, хорошо, я не иду к тебе. Посмотри, ни на шаг не приближаюсь,— говорил князь по-русски, удивляясь, сколько ненависти, сколько страдания было в ее взгляде.— Я не хочу тебе зла, хочу, чтобы хорошо тебе было. Даже сам генерал Граббе приказал относиться к тебе с добром. Я поведу тебя к старому солдату, который жил у вас. Это добрейшей души человек. Он накормит тебя, ты поговоришь с ним на твоём языке. Пойдем, моя хорошая.

Она пошла к нему. Доброта не нуждается в переводчиках — она понятна каждому без слов.

Князь взял ее за руку:

— Меня зовут Ваню. Иван Гивич, а тебя как?.. Не понимаешь? Не беда, сейчас Федор Данилович все нам прояснит. Пойдем, милая, пойдем, хорошая, к самому доброму человеку во всей нашей округе, а может, и на всей земле. Пойдем. Да вот и он сам. Здравствуй, Федор Данилович, здравствуй. Встречай гостью.

Припадая на левую ногу, из полкового лазарета вышел Анаскевич и остановился в удивлении:

— Боже милостивый, что за красавицу вы привели ко мне, князь! Откуда взялась эта ласточка в нашем грешном крае? Откуда, откуда ты такая выискалась? — слова, обращенные к Афипсе, Федор Данилович сказал по-адыгски, приветно протянув руки к девочке.

Афипса услышала родную речь и стремглав кинулась к хромоту солдату.

Кинулась, потом вдруг остановилась, оглянулась на доброго бородача, что привел ее сюда. Нехорошо было покидать его, очень плохо и все-таки она кинулась к Анаскевичу, а тот, присев на корточки, уже ждал ее, раскинув руки.

Она упала ему на грудь, забилась в беззвучном рыдании, орошая ее горячими слезами.

— Поплачь, милая, поплачь, моя хорошая, легче тебе станет.

И Афипса плакала.

Данилыч не тревожил ее. Говорил про себя: поплачь — изойдут слезы, с ними и горе изойдет. Хоть сколь-нибудь, все ж изойдет.

— Да откуда взялась она, князь, как попала к нам, ваше сиятельство?

— Махатадзе ее привез... Стычка у него произошла с ее отцом... Мать тоже там была. Ну и...

Федор Данилович крепче прижал к себе девочку, стал молиться. Негромко, но вслух:

— Господи, отец наш небесный, помилуй раба Твоего, их благородие Махатадзе, помилуй воина. Господи, спаси, сохрани и помилуй нас грешных, неслухов Твоих. А еще — помяни в царствии Твоем новоприставленных, чьи имена не знаю, Боже. Мусульмане они, нехристи, Боже, иначе тоже дети Твои. Благослови меня, Господи, принять отроковицу сию малую. Она тоже нехристь, но тоже ведь творение Твое. Господи, помилуй нас своею благодатию... Вот и хорошо, ласточка моя, вот и легче тебе стало, дитячко ты мое малое. А теперь пойдем — умоемся, волосики причешем. Есть у тебя гребенка, обязательно есть. Главное, не бойся никого, коль я с тобою рядом, да и то надо сказать: бородатые казаки только с виду хмурые, а сердцем — добрые. Истинный Господь, добрые, война только их... Война-война...

Умытая, причесанная, почти успокоившаяся девочка сидела за столом рядом с Данилычем, подозрительно поглядывая на тарелку дымящегося борща.

— Не бойся, ласточка черноглазая, свинины там нету. Говядинка, говядинка в борщичке, так что поешь, ведь оголодала, поди.

Последние два дня Афипса с матерью только и ела дикие яблоки и груши, вернее, уже и есть их не могла, оскому набила.

От тарелки исходил такой аромат, что девочка забыла о страхе перед чужими людьми. Хлеб был белый, какого не видела раньше Афипса, был высоким и очень душистым. И такой мягкий!

— Не торопись, ой, не торопись, ласточка, а то обожжешься! Не торопись, все это твое, все тебе.

И князь Иван Гивич Амилахвари, сидевший за столом напротив Афипсы, и Федор Данилович с умилением смотрели на девочку.

Федор Данилович говаривал:

— Творить другому радость — это и есть суть любви к ближнему. Дитячко ты мое, дитячко! Ласточка ты моя! За что ж тебя так наказал Всемилостивый Аллах? За что? Какие у тебя могут быть грехи, у невинного ребенка? О Господи, о Господи!..

Поела Афипса, вытерла губы полотенечком, расшитым красными петухами, и теперь уже так улыбалась, как может улыбаться благодарный ребенок.

— Наелась? Вот и славно, моя ласточка. Я что-то не слышал, сказала ли ты «Аллах-дуриллах»? Поблагодарила ли ты Бога за то, что Он накормил тебя?

Афипса смущенно молчала.

— Разве ты не слышала, как у вас в доме после еды благодарят Аллаха?

— Слышала. Так всегда говорили тат и нан. — Опустила голову и робко прошептала: — Аллах-дуриллах!

Она не забыла поблагодарить Бога, она просто не знала, можно ли это говорить за столом у чужих.

— Какая ты у меня молодчина, какая ты у меня славная девочка! Я очень доволен тобой. — Данилыч отечески погладил ее по головке. — Мы с Иваном Гивичем что-то не слышали, как тебя зовут. Скажи нам, пожалуйста.

— Афипса.

— О-о, какое славное у тебя имя, какое красивое. Вы слышали, ваше сиятельство, как зовут нашу красавицу?

— Как не слышать, конечно, слышал — Афиза.

— Афипса, Афипса! — твердо повторила она, догадавшись, что бородач неправильно произнес ее имя.

— Аферым! Молодец, моя доченька, нельзя портить имя человека, оно от Бога. Но ты не обижайся на князя, он не знает нашего с тобой языка и сказал твое имя по-грузински. Для человека его язык — самый красивый. И правильно. Князь и по-русски не очень горазд говорить, а мы его научим и по-черкесски. Как ты думаешь, Афипса, научим?

— Да,— согласно закивала головой, заулыбалась князю, ведь он был первым, кто понравился из чужих ей людей. Немного понравился, просто она его не боялась, как всех остальных.

— А тебя я научу русскому, но и черкесского не дам забыть. Нельзя, грех большой забывать свой родной язык, свой родной аул. Если забудешь, станешь похожей на степную траву перекаати-поле, которую ветры гоняют и гоняют. Твой аул — самый красивый из всех аулов...

Вошел доктор Плуталов:

— Батюшки, это чья же такая прелестная гостья?

Афипса шмыгнула за Данилыча, прижалась к нему.

— Не бойся, доченька, не бойся этого человека. Это Сергей Петрович, он доктор, лечит больных. Ну иди, покажись ему и назови свое имя. Ну же, не бойся!

Она выглянула из-за спины Федора Данилыча, пытливо посмотрела на доктора быстрыми, осторожными глазенками и потом сказала:

— Афипса.

— Какое красивое имя! — воскликнул доктор. И она поняла, что имя ее понравилось. Улыбнулась доктору.

— А фамилию свою скажи. Как вас звали в ауле? Скажи доктору, обязательно скажи,— попросил Данилыч.

Афипса теперь уже смело вышла, хотя все еще держалась за руку Федора Данилыча:

— Дагужиевы мы... из аула Наджикохабль.

— Ах, какая молодец! А я — Сергей Петрович Плуталов! — сказал доктор и поклонился, как кланяются даме, улыбнулся.

Уснула Афипса, уткнувшись носиком в подушку. Все уже спали в крепости, только часовые стояли на своих постах. Не спал и Данилыч. Как не силился, не мог уснуть.

Побродил по двору, а потом пошел к речке. Часовой у ворот спросил:

— Что маешься, Данилыч, чего не спишь?

— Да так. Нога к непогоде заныла, вот и решил немного походить, размять ее,— сказал неправду старый солдат.

Тропинкою пошел к речке, к валуну под старым карагачом, где любил посидеть, когда хотелось побыть с самим собою. Любил послушать говор речки, помолчать со звездами. Сегодня они были крупными и, как сказал он про себя, говорливыми. Бывает, они светятся, не мерцают, а бывает, вот как сегодня, перемигиваются, словно бы шепотом переговариваются.

Чаще всего каждый видит войну с одной стороны, так сказать, со своей позиции, а Данилыч повидал ее с двух сторон, а точнее сказать, видел и с двух сторон, а еще изнутри, увидел и понял недоступное другим. Девять долгих лет пробыл он в плену у черкесов. Вспомнил теперь, как был ранен в ногу, как его хотел добить в отместку за гибель двух своих братьев Жакыз Пазадов, как его спас Карох Тыганов, пристыдив Жакыза, мол, грех большой убивать безоружного, раненого.

Смирением и добротой, трудом своим Федор смягчил жестокость Жакыза, и стал почти членом семьи Пазадовых, а их сын Сабех называл его своим старшим братом. А потом в бою был убит Сабех, и Жакыз в гневе своем хотел прикончить Федора, и опять спас его от смерти Карох Тыганов. Вон на ту дальнюю поляну у речной излуки привел ночью и сказал:

— Уходи к своим, и кто бы тебя ни спрашивал, говори, мол, сам убежал.

И Карох Тыганов, и Сабех, и соседка Пазадовых, вдова Айшет были людьми редкой душевности. Да и тот же Жакыз — как ему быть мягким, если убили двух его братьев, единственного сына, жгли, тиранили его родную Черкесию. «Нет-нет, он добрый, война пыталась сделать из него зверя. Пыталась, и все-таки он одолел ее».

«Дагужиевы мы, из аула Наджикохабль...»

Да-да, Джамбеч тоже был из Наджикохабля, помню... Приходил как-то посмотреть на меня... Потом лихо танцевал на свадьбе Сабеха... Красивый, чуть ли не саженого

роста мужчина. Большеголазый. Кто он был Афипсе? Может, отец или дядя? Может, просто однофамилец?..

Когда увидел Данилыч Афипсу, ему показалось, что знает эту девочку. В Заурхабле он мастерил девочкам куклы. И одна, на которую была очень похожа Афипса, рассказывала ему разные истории о своих куклах...

А еще — он любил играть для ребятишек на балалайке. Девять лет прожил Данилыч в чужой стороне, и все эти годы хоронили и хоронили черкесы убитых русскими своих воинов у него на глазах, а теперь хоронят и хоронят у него же на глазах русские своих воинов, убитых черкесами. С той стороны оплакивают своих сыновей матери, и с этой, где-то в далекой России...

Зачем Господь послал ему эту девочку, зачем ему Афипса? Просто так? Нет, просто так ничего не бывает.

Тревожно, неуютно стало на душе у старого солдата.

Кажется, совсем немного посидел он на теплом, за день нагретом валуне, а — глядь, на востоке уже стали гаснуть звезды, будто закрывали глаза, уходя на покой.

Вечером генерал Граббе созвал офицерское собрание. Сначала он поговорил о военных делах, а потом рассказал об Афипсе.

— Думаю, господа офицеры, как исстари повелось в русской армии, будем черкешенку по имени Афипса считать дочерью полка. Содержать ее за казенный полковой кошт станем, а еще, думаю, каждый из нас из своего месячного жалованья будет откладывать Афипсе на приданое. Мы должны ее хорошо воспитать и потом выдать замуж.

Офицеры согласились со своим командиром, однако слово взял полковой священник отец Георгий:

— Николай Павлович, — обратился он к командиру полка Граббе, — традиции нашей российской, православной армии священны, но ведь, да простится мне, повторяюсь, православной армии! Как же мы удочерим иноверку? Хоть и ребенок она еще, однако басурманка. Над этим считаю своим долгом священника заострить ваше внимание.

Зашумели, заговорили офицеры.

— Традиции, конечно, священны, но... не крещенная в нашу веру!

— Надо подумать, надо обсудить и принять решение милосердия,— говорили другие.

— Уж больно много шуму вокруг девчонки! — пренебрежительно высказался Махатадзе.

Генерал поморщился, улыбнулся:

— Я позволю себе напомнить вам, господин Махатадзе, и вам, батюшка, известные слова Всевышнего о том, что Он не делает различия между иудеем, эллином и варваром, мы все суть дети Его возлюбленные. О вере девочки, о ее вероисповедании — ваша забота, отец Георгий.

Афипса отныне — дочь Нижегородского полка Российской Императорской армии. Узнал об этом решении офицерского собрания Данилыч и развел руками:

— Как же это, как же? Вольное дитя вольных гор и вдруг — дочь Нижегородского полка, дочь того самого полка, от пули которого погибли ее благословенные родители! Правоверная мусульманка и вдруг — православная христианка. Не наломать бы нам дров, не накликать бы беды.

Федору Даниловичу вспомнилось, как однажды к нему пришел эфенди Каймет:

— Как живется тебе у нас, Фидур?

— Хорошо живется.

— Как нравится тебе земля наша, небо наше?

— Очень нравятся.

— А не хотел бы ты принять нашу веру мусульманскую?

Понимал Федор Данилович, что его ответ может стать ему приговором, но не оробел и ответил, как на душе было:

— Хорошая у вас вера, правильно вы говорите, что Бог один для всех людей. Но моя вера — это вера моего отца, деда, прадеда, всей моей земли, как же я отступлюсь от них, как же я могу стать изменником!..

— Верные твои слова, Фидур,— сказал эфенди Каймет.— Если ты изменишь своей вере, то нашей и вовсе в любую минуту можешь изменить. Верные твои слова. Пусть сам Аллах нас с тобою потом рассудит.

— А это надо убрать? — Федор покосился на свой походный складничек, стоявший на столе.

— Зачем же, зачем, как же ты молиться станешь?

Если случался какой-нибудь нерадивый прихожанин, эфенди Каймет укорял его: «Ты посмотри на Фидура, посмотри! Как он соблюдает свою веру. Ты же — правоверный, но не уважаешь Аллаха, как тому подобает быть».

Иногда кто-нибудь из аульчан сердился на Федора, пытался оскорбить его, унижить, и Каймет, выказывая свое уважение, защищал его, а когда приезжал полковник Лапинский, чтобы завербовать Федора Даниловича Анаскевича в свой легион, когда угрожал ему, эфенди своей мудростью помог ему избежать этого.

«Афипса еще совсем маленькая, совсем ребенок, — думал Данилыч, — вырастет среди нас и, возможно, станет православной христианкой. Помоги ей, Господи, благослови ее, Боже.

III

Сердце не копит прошлых бед, чтобы не погибнуть под их тяжестью. Оно идет навстречу светлому, радостному, тем более, если это сердце ребенка.

Афипса оказалась не такой уж дикой и пугливой, как многим показалось вначале. Разговаривали они с Данилычем на адыгском, но Афипса уже понемногу начинала осваивать и русский. «Давай», «возьми», «хлеб», «вода», «спасибо», «хочу есть...».

Она смешно коверкала русские слова, Федор Данилович как-то не сдержался и рассмеялся. Афипса сердито нахмурилась — обиделась. Он сказал ей, что и сам коверкал черкесские слова, показал, как это он делал, и Афипса весело рассмеялась и больше не обижалась.

Первые дни она почти не отходила от Данилыча, а потом расстояние между нею и стариком стало постепенно увеличиваться. Чем меньше боязни в ней оставалось перед всеми русскими, тем больше появлялось любопытства к новому, неведомому ей миру. То из окна смотрела она, что происходит во дворе, то из-за плетня наблюдала за солдатами, пытаясь понять их. Они оказались в большинстве своем веселыми и добродушными, угощали ее конфетами, пряниками, а один солдат подарил ей вырезанную из дерева куклу, лошадку. Некоторые из солдат заходили

к доктору вроде бы за какими-нибудь порошками, за советами, а на самом-то деле приходили повидаться с Афипсой, которую они с легкой руки князя Амилахвари звали Афизой — легче так выговорить. Она сначала обижалась на них за такое искажение ее имени, а потом привыкла и откликнулась. Даже если новые знакомцы спрашивали как ее зовут, она иногда называлась Афизой.

Ребенок — это далеко от казармы, хоть на капельку, но ближе к дому, по которому скучали солдаты, — вот и шли повидаться с девочкой, погладить ее по головке, угостить чем-нибудь, посмеяться, пошутить с нею.

Сначала Афипса пугалась бородатых казаков, пугалась их больших шершавых рук, когда они обнимали ее, однако вскоре не только привыкла, но ей даже было приятно; ведь точно так же ее обнимали мама и папа. А по князю Амилахвари она просто скучала.

— Дядя Ваню Амалави пришел! — радовалась она его появлению. А если он долго не приходил, тревожилась и спрашивала у Данилыча:

— Где, где Амалави? Почему нет дяди Ваню?

Полюбила князя Амилахвари, возможно, потому, что бородой и усами, грустными глазами он был похож на отца. И на коленях у него сидела так же, как у отца, и покопаться в его косматой бороде любила.

А еще Афипсе очень нравился доктор — «Сейгей Петович Путалов». Так она с важностью произносила его полное имя. Он одевал ее в некое подобие белого халата, и она потом сидела в его кабинете во время приема больных. Приходили больные — кашляли, охали, а то и стонали. Он слушал их через деревянную трубочку, стучал пальцами по спине, по груди, иногда, случалось, разрезал маленьким ножичком нарывы. Афипса считала его, Сергея Петровича Путалова, волшебником из маминых сказок.

Сердце не копит бед и хранит в глубине то, без чего сама жизнь может оказаться бессмысленной.

Нельзя забыть дом и улицу, где прошло твое босоное детство. Помнила Афипса свой аул Наджикохабль горящим, потом другой, третий — тоже горящими. Ей иногда казалось, что вся земля — это огонь и пожары. А

еще: отец и мать. Они лежали на траве, под горячим-горячим солнцем.

Да мамины ласковые руки, сказки, отцовы грустные глаза. А как он умел весело смеяться, так весело, что и Афипса начинала покатываться со смеху.

Все это было, но остались они в детской памяти, в детском сердце лежащими на траве, в страшной неподвижности, которая называется — смерть. Не знала Афипса, что эта неподвижность называется смертью, не знала, что такое — смерть. Детским разумом не знала, а сердце ее знало.

Весело жилось маленькой, любимой всеми Афипсе, но иногда она садилась у окна, долго-долго смотрела на далекие горы и становилась похожей на старуху. На старую, мудрую женщину.

— Шарик, Шарик, ко мне! Кому я сказал — ко мне! — кто-то из раненых солдат крикнул из окна лазарета.

Глянула Афипса, увидела мохнатую рыжую собаку и обмерла: ей вспомнилась собака в горящем Наджикохабле, вспомнился их Мишид.

Выскочила Афипса из комнаты и закричала Данилычу:

— Это Мишид, это наш Мишид! Он не сгорел, он прибежал ко мне!

Все понял Данилыч. Обнял Афипсу:

— Верно, не сгорел. Это он, Мишид. Шарик-Мишид — ко мне! Иди же сюда, Мишид, — подчеркнул новое имя собаки Данилыч, — иди к своей хозяйке.

Плакала Афипса. Шарик-Мишид лизал ее руки, лизнул в щеку.

— Они сожгли наш аул, они много аулов сожгли. Эти, — она кивнула в сторону казармы. — Они убили моих тату и нану. Ты слышишь, Фидуй? — так она звала Федора Даниловича. — Я знаю, махаджэ¹ убил их. Он, он!..

— Успокойся, моя хорошая, успокойся, а то Мишид волнуется. Ты слышишь, как он жалобно поскуливает, просит тебя успокоиться.

— Ты боишься их? Этих боишься, Фидуй?!

¹ М а х а д ж э — жестокий, отъявленный убийца.

— Чего же их бояться, ведь они тоже несчастные, их тоже убивают, тоже калечат, как и меня искалечили. Это не они, это война.

— А войну кто делает?

— Не знаю, должно быть, божья кара.

— За что?

— Не знаю, ласточка моя. Если бы знать!..

— Анаскевич! Где вы? — кликнул из окна доктор.

— Мы здесь, Сейгей Петович, — за Данилыча ответила Афипса.

— Пожалуйте ко мне.

Ушел Данилыч, а Афипса затеяла игру с Мишидом. В догонялки. Смеялась девочка, лаял пес, а то рычал угрожающе, но жмурился весело, дескать, шучу я. Догоняй меня! У-у-ух!

— Посмотри, что Афизка делает с Шариком! Он же злока невозможный, не подойти к нему, а тут — ты погляди! — удивленно говорил солдат.

— Чего ему на дитя злиться. Дитя безгрешно, — отвечал другой.

Бывает же такое: собаку хозяина, у которого Данилыч промучился девять лет, тоже звали Мишидом. Вот такой же рыжий, мохнатый волкодав. Кавказская овчарка. Собака свирепая, признающая только своего хозяина, а тут случилось, Мишид привязался к Данилычу, хромоногому, несчастному человеку. Привязался — и все тут. Своим собачьим сердцем, собачьим разумением понимал совсем слабого, но очень доброго, ласкового человека. Понимал и по-своему, по-собачьи жалел. Придет бывало вечером в сарай, где жил Федор Данилович Анаскевич, ляжет у его ног и дремлет. Тут уж никто, даже хозяин Жакыз Пазадов не мог и приблизиться к ним — зарычит Мишид, покажет свои грозные зубы.

Сердился на него Жакыз, очень сердился, но обижать не смел; Мишид был могучим и умным псом, отару овец надежно берег и от волка, и от худого человека.

— Федор Данилыч, что с вами?! Я прошу вату, а вы что даете? Никак размечтались о чем, милый мой человек?

— Задумался, ваше благородие, помилуйте, ради Христа, старого растяпу.

Во дворе послышалось свирепое рычание и потом угрожающий лай Мишида.

Прихрамывая, Данилыч выскочил на крыльцо и увидел стоявшего по ту сторону калитки Махатадзе.

Мишид, поднявшись на задние лапы, стоял у плетня и лаял на Махатадзе. Рядом с ним была Афипса.

— Возьми его, Мишид, возьми этого махаджэ!

— Рядовой Анаскевич, уймите этих зверей, иначе я сам справлюсь с ними! Быстро!

— Пошел вон, паскудник! Ну! — прикрикнул Данилыч на собаку.

Пес, поджав хвост, однако не переставая скалить зубы, отошел в сторону.

— И тебе скажу, моя ласточка, нехорошо человека травить собакой, а если еще и офицера, совсем плохо.

— Но он — махаджэ, махаджэ! — со слезами на глазах повторяла Афипса, отойдя к Мишиду.

— Что это она все талдонит? — подозревая что-то плохое, спросил Махатадзе.

— Не слышите разве? — с раздражением сказал Федор Данилович. — Так она выговаривает вашу фамилию по-черкесски, и больше ничего. Пойдем, Афипса. Пойдем в дом, милая.

— И чего вы нянчитесь с этой черномазой, почему позволяете ей такое? Так-то вы ее воспитываете, прививаете уважительность к русскому офицеру! — зло выговорил приказный¹ Тришков.

Данилыч выругался про себя.

— Виноват, господин приказный, — сказал он Тришкову и с такой горечью, с таким осуждением посмотрел на него, что тот поежился и ответил неуклюже:

— Подумаешь! Слова не скажи.

IV

— Пряма-таки не девчонка наша Афизка, а живой огонек! — сказал солдат.

¹ П р и к а з н ы й — казачье войсковое звание, соответствует ефрейтору.

— Живой да веселый! — согласился другой.
— А подросла-то, вон как подросла, будто на дрожжах поднялась.
— И разругалась, расцвела, что цветок полевой.
Данилыч спросил Афипсу:
— Ты не забыла часом, ласточка моя, что ты — черкешенка? Ну что же ты молчишь?
— Ты что говоришь, Фидуй? Как я могла забыть себя?
— Да ты ведь теперь больше по-русски говоришь, чем по-черкесски. Чего доброго, и вовсе забудешь родную речь.
— Не забуду! А мы давай с тобой так будем: я говорю по-русски, а ты мне говоришь по-черкесски. Тогда и будет получаться очень хорошо: по-черкесски — по-русски. Здорово, Фидуй!
— Ну выдумщица, ну выдумщица! А что на это скажет приказный Тришков? Анаскевич, скажет, совсем к черкесам переметнулся, гнать его надо из российской армии!
— Пусть говорит, ты же знаешь, что все это неправда.
— Я-то знаю, да приказный большой мастер разные сплетни распускать.
— Ну и пусть! — сердилась Афипса. — Дурной человек ничего доброго не может сказать о другом.
— Послушай, откуда у тебя такие слова?!
— Не у меня. Амалави так говорил.
— А все же лучше этого Тришку не трогать. Упаси нас Господь от него.
— Не нужен он мне, тебе не нужен! — И она кинулась на спину Данилычу, обвинив ручонками его шею. — Давай лучше играть в «хачиба-чибэха». Ты не забыл?
— Как я мог забыть! Давай! — он стал покачивать на спине Афипсу. — Хачиба-чибэха...
И опять ему вспомнился Заурхаль, опять взволновал его. Только, бывало, появлялся на улице, тут же бежали ему навстречу ребятишки, прося поиграть с ними в «хачиба-чибэха». С удовольствием играл, а иной раз ему чудилось, что он в своей деревне, что играет со своими внуками. Он шептал про себя: «Господи, благодарю Тебя за радость мою».
Вошел доктор.

Обрадовалась ему Афипса. Сел он на диван, и она взгромоздилась к Сергею Петровичу Плуталову на колени, припала головкой к груди:

— Я соскучилась по тебе, Сейгей Петович.
— Вот я и пришел. Расскажи, все ли у тебя хорошо?
— Ну-у-у, я не знаю...
— Что-нибудь нехорошо, моя дорогая Афиза?
— Сейгей Петович, — с укоризною посмотрела она на доктора, — я совсем не Афиза.
— Извини, пожалуйста, Афипса. Не обижайся.
— Обижаюсь, — надула губки Афипса. — Ты меня обидел, я потому и сердитая, а тебя тоже кто-нибудь обидел? Ты не хорошо смотришь — глаза сердитые. Кто тебя обидел? Солдаты?
— Солдаты доктора не обижают, — сказал Данилыч, — они его любят, ведь он их спаситель.
— Я знаю! Тебя обидел Тришка.
— Почему Тришков? — удивился доктор.
— Он всех обижает. Он плохой, плохой! А еще очень плохой этот, махаджэ, очень плохой, — заблестели глаза Афипсы. — Он убил моих тату и нану.
Доктор поморщился, ему не нравилось, что так сложился разговор, которого он стал избегать, чтобы хоть как-то залечить глубокую рану девочки, чтобы погасить в ее сердце ненависть, страшный недуг, так уродующий человека, разъедающий его жизнь и жизнь других, на кого направлена эта ненависть.
Ненависть в детском сердце... Есть ли что-нибудь страшнее детской ненависти?..
«Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй нас грешных», — помолился про себя Сергей Петрович и, полный душевной боли, не знал, как ему быть, что сказать девочке. И он, не очень-то осознавая себя, заговорил:
— Твой отец стрелял первым. Если бы не промахнулся, то он тогда был бы убийцей!
— А мама! — возмущенно воскликнула Афипса.
— Не стреляла, потому что у нее не было ружья, а если было бы, она не отомстила бы за смерть твоего отца?

Афипса растерялась, умоляюще смотрела на Данилыча, словно прося у него помощи.

Доктор прижал к себе девочку и совсем тихонько, на ушко, спросил:

— А если бы ты смогла поднять ружье?

Афипса припала лицом к груди доктора и заплакала навзрыд, совсем как взрослый человек. У Сергея Петровича сердце зашло болью, и он, целуя ее головку, просил:

— Прости меня, деточка, прости, мой ангелочек. Мы никогда, никогда не будем говорить об этом, прости меня.

Данилыч осуждал доктора. Забрал у него Афипсу, прижал к себе и пошел из комнаты:

— Будь она проклята — война! Будь проклята!..

Два дня доктор не находил себе места, чувствовал себя виноватым перед ребенком. Мучился, не знал, как загладить свою вину. Все думал, не ожесточил ли он этим разговором сердце Афипсы, не посеял ли в нем семена настороженности, которые обернутся рано или поздно плодами отчуждения и ненависти.

— Сейгей Петович, — встревоженная, вбежала к нему Афипса, — Мишид больной, лапа болит!

С нею вошел и Данилыч:

— У Мишида кровоточит передняя лапа — то ли он подрался с уличными собаками, то ли еще что.

Афипса схватила доктора за руку:

— Пойдем, пойдем! Ты хороший, Сейгей Петович. Хороший. Пойдем!

Он захватил свой докторский саквояжик, обрадованный приходом девочки, ее добрыми глазами.

Мишид лежал в конуре и грозно рычал, когда подходил к нему доктор с Афипсой и Данилычем.

— Это опасно, Данилыч, пес очень раздражен.

— Иди сюда, Мишид, доктор полечит тебя. Иди, не бойся, доктор хороший, он хороший, — говорила Афипса по-русски, а потом стала говорить что-то по-черкесски.

Мишид жалобно поскуливал, тяжело ворочался, а потом, прижав виновато уши, нехотя вылез из конуры и покорно лег на траве. Афипса села у его головы — гладила мохнатую шею, чесала за ухом. Федор Данилович тоже на всякий случай сел у головы с другой стороны, готовый

укротить собаку в случае чего. Все, однако, обошлось по-хорошему — Мишид только поскуливал да иногда угрожающе обнажал желтые крепкие зубы.

— Мишид — хороший, доктор — хороший, Фидуи — хороший, Афипса — тоже хорошая, — сказала и весело рассмеялась. — Хорошая, хорошая, все хорошие!

Мишид ушел в конуру. Афипса, доктор, Данилыч сидели на скамейке, врытой под старым могучим буком, щурились на солнце. Им было хорошо. Всем троим — хорошо.

— Сергей Петрович, — заговорил Данилыч, — Афипса не обижается на тебя за то, что ты неправильно произносишь ее имя.

— Сергей Петрович, Фидур! — весело, правильно называя имена, воскликнула Афипса, — не обижаюсь, совсем не обижаюсь, ни вот столечки, вы тоже не должны на меня обижаться. Никто не должен ни на кого обижаться!

— Молодец, молодец, моя хорошая, мой ангелочек! — доктор обнял Афипсу.

— Но! — поднял руку Данилыч. — Но! У черкесов есть обычай — если ты кого-нибудь неправильно назвал, исказил его имя, то обязан за это откупиться, сделать ему хороший подарок. Значит...

— Значит! — обрадованно воскликнула Афипса. — Доктор должен подарить мне красивое платье, красивый платочек, а то у меня все износилось.

— Да, куплю! Обязательно куплю. И платочек, и башмачки — расписные, сафьяновые. Но ты, Афипса, — доктор хитро сощурился, — тоже должна одарить меня и Федора Даниловича за наши неправильно произнесенные имена. Подаришь нам по хорошей рубашке.

— А где я их возьму?

— Купишь на базаре! — озоровал доктор.

— А деньги?! Где я возьму деньги? — кажется, испугалась она.

— Деньги — это трын-трава, — включился в игру и Данилыч, — деньги найдем! Главное, чтобы ты подарила, чтобы с добром. Поняла?

— С добром?.. Поняла. С добром! А Мишид? Шарик?

— Мы и ему купим портки! — рассмеялся Данилыч.

— Пойдем на кухню,— сказал солидно доктор,— потребуем у повара хороших костей с мясом, это и будет нашему пострадавшему Мишиду подарок. А пока подари ему это,— он достал из кармана куски сахара и подал Афиписе.

— Ого! — воскликнула Афиписа.— Так много ему одному?! Нет-нет! И я хочу сахарку. А ты, Фидур?

— Очень хочу.

— Тогда поделим на троих. Тебе, Мишиду, мне. Один кусочек остается, я его отдам тебе, Фидур.

— Спасибо, но лучше Мишиду,— посоветовал Данилыч.

— Пусть,— согласилась Афиписа и понесла порцию Мишида в конуру.

Вечером, уложив Афипису в постель, Данилыч вернулся к доктору в его комнату.

Сергей Петрович сидел за столом в глубоком раздумье. Что произошло с девочкой? За эти два-три дня, после того неприятного, даже болезненного разговора она точно повзрослела — в ее искристых детских глазах появилась раздумчивость и глубина. Печаль вместо ненависти? Или просто печаль заслонила, спрятала ненависть?

— Иногда я смотрю на нашу ласточку, и мне кажется, что она уже совсем взрослая женщина,— сказал Федор Данилович,— разговаривает с нами почти на равных. Словами, может быть, еще детскими, а глаза — возможно, вот так когда-то смотрела ее несчастная мать. Так мне чудится. Или я не прав?

— Да, да,— рассеянно ответил Сергей Петрович.

— И зачем Махатадзе привез ее сюда?

— Как зачем? — удивился доктор.— Если бы он ее не привез, оставил в диком лесу, она погибла бы там.

— Нет, не погибла бы, дорога привела бы ее в аул, к своим.

— Сомнительно, очень сомнительно, Федор Данилович. Да и что б она делала в ауле без отца и без матери в это тревожное, жестокое время? А у нас в полку мы хорошо ее воспитаем. Подрастет — отдадим в хороший столичный пансионат. Она получит прекрасное образование — дочь Нижегородского полка. Красавица, черкешенка. У меня есть родственники в Москве, в Петербурге. Ее примут, как родную.

— Эх, Сергей Петрович! Образование, воспитание. Петербург, Москва! Зачем ей эта неволя, зачем ей эта распрекрасная золотая клетка, отец родной? Вы не знаете, что такое чужая земля, чужой народ, даже самый раздобрый, самый благородный. Вы не знаете, что такое тоска по родному слову, по песням, по бабушкиным сказкам. На чужбине даже небо — и то кажется иным, чем над твоим родным домом. Да ведь еще она — черкешенка, а это, у-у, как важно! Черкесы, народ-то небольшой, в сравнении с российским, можно сказать, совсем крошечный, армия какая у нас — о-го-го, да наша война с ними длится почти пятьдесят лет. Чуешь, Петрович, почти полвека! И никак не можем их усмирить, никак не справимся с ними. Да хоть и справимся, хоть подавим их наглухо, хоть и перестанут они нападать на наши станицы да крепости, однако же сердцем своим не смиряются, вольностью своей не поступятся. Пусть только в душе, но останутся вольными.

— Я думаю, Федор Данилович, Афиписа ведь еще совсем ребенок, она вырастет в нашей среде, в нашей культуре, в наших обычаях и к зрелым годам забудет свой аул. Ребенок — это глина, из которой можно вылепить что угодно.

— Не-е-ет, ваше благородие: человек, хоть он еще и ребенок, но не глина, ни в коем разе. Я в свои восемь лет уже ходил за сохой. До сей поры, хоть от деревни своей начисто отвык, наглухо забыл, так это только кажется, с внешней стороны вроде бы, а душою — мое детство по сей день бродит по полям да по лугам нашим, ютится, тешится в избе, что топилась по-черному. Без того солнышка, что над нашей деревней всходило, до сей поры не бывает света в моем окне. И не надо перечить мне, ваше благородие, не по рассказам я все это знаю, за девять лет плена ощутил и сердцем своим, и разумом. Ох, Сергей Петрович, думаю, на горе-горькое привез Афипису в Нижегородский полк Махатадзе, тем более, убив у нее на глазах отца и мать. Как это выравнять, как смириться, как исправить душу ребенка? Как?!

— Да что уж вы запрочитали, Федор Данилович, ровно бы над покойником, что уж вы вгоняете меня в эдакую безысходность? Да скажите, голубчик, как нам быть, что делать?

— Можно мне вопросом вам ответить?
— Разумеется.
— Случись, сейчас залетела бы к нам в комнату ласточка, птичка вольная, что бы вы стали делать?
— Данилыч, дорогой, зачем вы так со мной? Каждому понятней понятного — надо пошире открыть окна и двери, чтобы она могла улететь. Но Афипсе-то нашей куда лететь, куда?! Не обгорят ли ее крылышки?! Ведь в огонь да в полымя полетит...
Заговорила, забормотала в спальне Афипса, снилось ей что-то.
Прислушались.
— О чем она? — обеспокоился доктор. — Что она так горестно говорит?
— Матушку свою спрашивает забрать ее отсюда. Простится к себе в аул. Мать отвечает, мол, сгорел он весь дотла, так я понимаю, а девочка возражает, мол, не сгорел, совсем целым остался, и Мишид наш, говорит, тоже не сгорел, здесь объявился и поведет домой. Господи, помилуй нас грешных.
— Да в чем же грех-то наш с тобою? В чем, Данилыч? — не то возмутился, не то отчаивался доктор.
Сначала Федор Данилович и сам так думал, дескать, вырастет у нас девочка, воспитаем мы ее по-своему, а теперь присмотрелся к Афипсе и понял, что «человек не глина, даже если он совсем маленький», в нем есть Божье предопределение. И еще подумал: если бы тогда Жакыз и Карох бросили его на поле боя, он истек бы кровью и помер. А хоть бы они и предали его смерти, был бы Федор в раю: ведь каждому воину, павшему на поле брани за отечество, прощаются все его грехи. Не страдал бы он в неволе столько лет, да и теперь ему не сладко вдали от родины, от семьи. К тому же неизвестно, что ждет его здесь, чем кончится его греховная тропинка. Об Афипсе Данилыч тоже подумал: как жить ей среди тех, кто убил ее родителей, сжег ее дом, как жить да еще и улыбаться им — уж не лучше ли было ей умереть на той злосчастной поляне? Подумал так Данилыч и воскликнул про себя: «Куда ты, куда ты, пыль дорожная, как смеешь вторгаться

в такое?! Господи, помилуй, прости мне, непотребному рабу Твоему, дерзость мою».

Сергей Петрович подошел к окну, распахнул его.

Небо ему показалось таким густо-черным, будто оно было затянуто темными облаками. И звезды, и Млечный Путь были необыкновенно яркими. А внизу, под переливавшимися на хмуром небосклоне звездами, были горы. Неприступная в своей могучей неподвижности гряда гор.

Сергею Петровичу захотелось в степь, где земля и небо сливаются воедино, где простор, которому и конца-краю нет. Он чуть не закричал: домой, хочу домой, пустите!

Далеко его дом, ой как далеко, а звезды — тихие, переливчатые. В отличие от неприступных гор звезды успокаивали, вливали в душу свет благодати и умиротворение.

К вечеру золотистое небо на западе стало иссиня-темным. Задул ветер и обрушил на черную землю табуны белого летнего снега. Белого, пушистого, веселого, даже озорного в своей чистоте и яркости, вроде бы даже как не настоящего, а придуманного волшебником.

— Фидур, Фидур, иди скорее сюда! — восторженно кричала на крыльце Афипса.

— Что там еще приключилось у тебя? — недовольно спросил Данилыч, недовольно потому, что она отрывает его от дела, от такого приятного дела: шашлык мариновал, свежую баранину разделявал, заливал виноградным уксусом.

— Посмотри, Фидур, ну посмотри же, как они красиво пляшут, как весело поют!

— Эй, что ты там выдумываешь? Где пляшут в эдакую непогодь, кто поет? — он вышел на крыльцо.

— Мальчишки и девочки в белом. Разве ты не видишь?

Понял Данилыч: слышала и видела Афипса то, что хотела видеть и слышать, чего просило живущее фантазиями детство. Понял он и снисходительно улыбнулся:

— Как не видеть, очень даже вижу и мальчиков, и девочек-снегурочек в волшебных платьицах, а песен что-то не слышу, туговат стал на ухо.

— Жалко, что ты не слышишь. Они так красиво, так весело поют! — щебетала Афипса, а потом и сама запела детскую адыгскую песенку.

«Ах ты щебетуха, ах ты красавица моя, любушка-голубушка»... Ему так стало весело, хоть самому запой.

Снега за ночь выпало почти до колен. Раным-рано вышел Данилыч во двор с деревянной лопатой и стал прокладывать дорожки к калитке, к полковому лазарету, к конуре Мишида, к конюшне. Раскраснелся от свежести зимнего утра, от удовольствия работать лопатой, подхватывая ею сугробчики — легкие, искристые под румяным солнцем. Сначала он сбросил овчинные рукавицы, потом папаху, а потом и овчинный полушубок бросил на сугроб.

Работал, работал! Мурлыкал какую-то веселую песенку, что раньше певали у них в деревне про веселый мороз да про белый снег, да про зиму-зимушку, про веселу матушку.

На крыльцо вышла Афипса — в дубленой шубейке, в шерстяном платке, крест-накрест завязанном на спине, и в вязаных варежках. Из-за гор поднималось такое большое, такое красное солнце, что Афипса даже испугалась, закрыла лицо руками и закричала:

— Фидур, где ты? Я тебя не вижу, а ты видишь меня? Я совсем не могу смотреть, закрой это солнце.

— Да что ты, доченька! Эдакую красоту закрывать. Рождественское, новогоднее солнышко! Ты погляди на него, полюбуйся! Ну, ну! Не бойся, открой глазенки. Ну вот, ну вот и хорошо. Ты уже умылась?

— Да, Фидур.

— Позавтракала?

— Поела, Фидур.

— Ты хорошо одета, тепленько?

— Хорошо одета.

— Значит, хорошо. Мы сейчас с тобой поедem по воду.

— Ой, ой! Солнце совсем мешает мне смотреть.

— Ничего, обвыкнешься. Из дому-то вышла, вот тебя яркость эта и одолевает. Вскоре это пройдет. И прошу тебя, говори по-русски, а то услышит приказный Тришков, опять будет ругаться.

— Пусть ругается. Он не только на меня и тебя, на всех ругается. Нана говорила о таком человеке: в нем больше

зла, чем добра, пусть он побольше ругается, тогда из него скорее выйдет зло.

— Может, ты и права, может, но все ж лучше не вызывать брани, не зlobить человека, даже если он злой сам по себе.

— Ладно, Фидур, не буду. Мишид, Мишид, ко мне!

«А может быть, — уже про себя говорил Данилыч, — и в самом деле, чем больше ругается человек, тем скорее выйдет вон из него зло? А если, кроме зла, в нем нет ничего? Тогда как же? Выругает свое зло и останется пустым? Как мешок дырявый? Эва-эва, мудро-то как. Пустой мешок уже никого не обременит тяжестью...»

— Доченька, ты не зови Мишида, Сергей Петрович взял его с собой на охоту. Иди ко мне да пойдem в конюшню. Запряжем лошадушек да по первопутку, по свежему снежку, да при красном солнышке поедem по воду.

В сани набросали свежей душистой соломки, уселись поудобней, и только Данилыч отпустил вожжи, сытые, застоявшиеся лошади с ходу взяли добрую рысь. И только курился снег следом за санями, только похрапывали кони, да звонкое небо высилось над ними, да солнце навстречу!

— Тебе не холодно, доченька?

— Совсем нет, ни капельки! — развеселилась и Афипса, обвыкнувшись с ярким солнцем, с ярким снегом. Даже не обвыклась, а как бы стала с ними единой, стала их живой, осмысленной, одухотворенной частью. И, наверно, у ребенка это получается органичнее, ведь он непосредственнее, ближе к их простоте, чистоте.

Раздались ружейные выстрелы.

Один.

Другой.

Раскатились выстрелы по горам, по белому снегу, к чистому небу, нарушив их величественный покой, их первозданную чистоту.

— Не бойся, ласточка, это охотники, наверно, зайчишек залучили, а может, и самого хозяина косолапого.

— Сергей Петрович стрелял?

— Должно быть, и он.

— Собаки, собаки! Мишид лает! Наш Мишид! Ой, а если они и его убьют?

— Нет, не убьют. Собаки их верные помощники.

Речка тоже была такой же чистой, как первый снег, как солнечное небо. Веселой говоруньей была, будто не просто бежала она с гор к морю, а на своем вечном языке рассказывала о вечности.

Данилыч сдал сани задом к самой воде и стал наполнять бочку, черпая синюю воду ведром.

Афипса сначала лепила снежки и бросала в воду, смотрела, как речка подхватывала их и уносила, а то и вовсе разбивала о камни. Потом погрузнела, глядя на другую сторону речки, на дальние горы, на ближний лес, на белые шапки далеких вершин.

— Фидур, а где адыгские земли?

— Черкесские, говоришь? — продолжая наливать воду, переспросил Данилыч и сам же ответил: — Дак вот тут же и есть они. Кругом черкесские, нет здесь иных...

— А крепость наша... на чьей земле?

— На черкесской, знамо дело, — сказал и спохватился: к чему это она клонит?

— Земля адыгская, а адыгов нет?

— Как нет! А мы с тобой разве не черкесы, — нашелся Данилыч.

— Но нас так мало, а их так много. А скажи, Фидур, почему адыги ушли отсюда?

— Война.

— Что война?

— Война прогнала их.

— Зачем война?

— Не знаю, — ответил он и подумал: «Господи, огради меня от ее вопросов, от ее боли огради».

Поехали обратно.

Афипса сидела спиной к лошадям, смотрела на горы и молчала. Это молчание мучило Данилыча: он знал, Афипса смотрит на горы, думает о них, думает о своем ауле, и от этих дум болит ее сердечко. Надо бы посадить ее рядом с собою, и она не видела бы горы, но зато видела бы крепость, свою тюрьму.

О Господи! И чего ж она молчит! Ему бы надо было заговорить, но он не знал, о чем, у него словно язык отнялся, мысли спутались. Вернее, все думал и думал, как тяжело

девочке, думал, что ей будет еще тяжелее, когда повзрослеет, когда ее сердце потребует большего, чем детское. Возможно, повзрослевшая разумом Афипса и сможет смириться со своей долей, но сердцем — нет. Однако же есть черкесы на службе у русских, есть, которые живут в Петербурге и Москве, правда, те сами так решили, сами того захотели и уехали по своей воле, а невольник никогда не смирится с неволей. Да еще такая невольница, как Афипса. Вон у нее какой характер! Не отступится от своего.

Что же будет с нею, когда подрастет, к какому берегу прибьется? Да и прибьется ли? Данилыч отнес бы свою девочку хоть за сто верст, в самые неприступные горы отнес бы, только бы знать — куда, к кому? Ведь сейчас в каждой черкесской семье, в каждом ауле свое горе, своя горячая беда.

— Афипса!.. Ты что, не слышишь меня?

— Ты сказал что-то, Фидур?

— Я сказал, ты не соскучилась по князю Амилахвари? Не соскучилась по своему Амилави?

— Очень соскучилась!

— Тогда радуйся: завтра он возвращается из Тифлиса.

— Правда?! — Афипса обернулась к Данилычу и захлопала в ладошки. — Он привезет мне подарки. Он говорил, что обязательно привезет мне из Тифлиса много подарков!

— Конечно, если сказал, то обязательно привезет. Князь настоящий мужчина, не любит бросать слов на ветер, так что радуйся, — сказал Данилыч и, увидев веселой Афипсу, почувствовал, как защищало его глаза. — Ух ты ветер, ух какой злой, слезу из моих старческих глаз выдавил. Вот противный! Ну пошли, родные! — взмахнул он кнутом над крупами лошадей. — Веселей, веселей!

V

Генерал Николай Павлович Граббе командовал войсками в Чечне, в Дагестане, был среди тех, кто пленил Шамиля, разгромив его войска, последние два года командовал Нижегородским полком в Черкесии.

Любая война — это кровь, это жестокость, а долгая война на Кавказе была особенно жестокой. Если большая, могучая армия не может справиться с малыми силами неопытного в военном искусстве, плохо вооруженного противника, она раздражается, она свирепеет, она становится жестокой и беспощадной.

Генерал Граббе говорил:

— Мы воюем против тех, кто воюет против нас. Воюют воины, а не мирное население, господа. И еще, господа, одно очень важное замечание: мы солдаты, мы воины нашей державы, а не убийцы. Это надо твердо помнить всем, не только помнить, но и руководствоваться. Каждодневно как на поле боя, так и в селениях мирных людей.

В первую же встречу с Афипсой Николай Павлович приказал всем быть к ней отечески заботливыми и добрыми, как полагается относиться к дочери полка. Приказал и потом время от времени справлялся, все ли хорошо у девочки, не жалуется ли она на что-нибудь. И однажды ему доложили, что Тришков и Махатадзе с неприязнью относятся к Афипсе. Он вызвал их к себе. Вызвал и рядового Анаскевича.

Генерал знал Махатадзе года три или четыре, а приказного Тришкова узнал сравнительно недавно, впервые увидел его близко в тот самый день, когда в полк привезли Афипсу. Ему недавно минуло восемнадцать лет, а выглядел он — худенький, невысоконый — почти подростком. Особенно рядом с плотным, несколько грузным Махатадзе. Хоть и густые были у приказного каштановые усы, но они выглядели на узком, бледном лице как-то несерьезно, будто приклеенные. Десятилетним мальчиком он лишился отца и матери, был усыновлен в Чечне первым Хоперским полком, а позже, уже будучи приказным, был переведен по просьбе одного казачьего атамана в Нижегородский полк Граббе.

— Разумеется, вы знаете, господа,— заговорил генерал,— нравственные принципы Императорской армии России, что касается лично меня, то я считаю своим врагом только того, кто поднял на меня оружие... Пригласил же я вас сегодня не по военным делам, хотя они имеют непосредственное отношение к тому, что меня волнует. Я

имею в виду нашу пленницу... прошу прощения, дочь нашего Нижегородского полка.

— С Афизой что-нибудь случилось? — вскинулся Махатадзе. Настороженно взглянул на генерала и Тришкова.

— Слава Богу, с нею все в порядке. Как зовут нашу воспитанницу, Николай Савельич? — обратился генерал к Тришкову.— Кажется, Афипсой?

Тот поднялся, стал во фронт:

— Так точно, ваше превосходительство!

— Садитесь, садитесь, приказный. Верно — Афипса, а не Афиза.— Генерал мельком взглянул на Махатадзе. Мельком, но значительно.— С самого детства нас учат уважать свое имя, имя каждого человека, потому что каждый из нас, каждый человек — это личность. Исказить его имя — значит оскорблять личность, а это, господа, вы знаете не хуже меня — грех. Некоторые из нас недовольны, что рядовой Анаскевич, сидите, сидите, Федор Данилыч, что рядовой Анаскевич иногда разговаривает с Афипсой по-черкесски. Дескать, это вражеский язык. Я думаю, это в корне неверно. Нашими врагами были французы, турки, но никогда не были нашими врагами французский или турецкий языки. Слово — это то, что отделяет по воле Господа человека от всего тварного мира, что возвышает его над ним. Да и скажите по совести, кому придет в голову осуждать человека за то, что он знает английский, французский или какой другой язык. Мы все согласны, что знание языков расширяет наш кругозор, нашу культуру... Если бы Федор Данилыч не знал черкесского, если бы не разговаривал на нем с Афипсой, как он научил бы девочку русскому языку, как приобщил бы ее к великой русской культуре? А как вы полагаете, Бесо Виссарионович? Не надо вставать, сидите,— обратился генерал к Махатадзе.

— Что до меня, ваше превосходительство, не думаю, чтобы эта маленькая дикарка приобщилась когда-нибудь к большой культуре, сроднилась с нами. Она не может, она не простит мне...

— А вы, Бесо Виссарионович, простили бы ее, если бы она убила ваших родителей?

Побагровел Махатадзе. Тихо стало в кабинете. Кажется, тишина до того напряглась, что могла, что должна взорваться.

Встал генерал, вышел из-за стола, прошелся по кабинету, остановился около Махатадзе. Улыбнулся.

— Вы, Бесо Виссарионович, православный христианин, вы образованный человек, офицер, думаю, безусловно справились бы с собой и безусловно простили бы. Я не ошибся, Бесо Виссарионович?

— Было бы трудно, было бы невыносимо трудно, но я постарался бы простить.

— Постарались или простили бы?

— Простил,— выдохнул Махатадзе. Тришков вытянул руки по швам:

— Разрешите, ваше превосходительство, и мне сказать.

— Да, конечно.

— Разрешите быть совершенно искренним?

— Именно об этом и прошу вас.

Все трое стояли друг против друга. Рядовой Анаскевич тоже встал. А как же иначе, ведь офицеры стоят! Сам генерал стоит. Вытянулся в струнку старый солдат.

— Ах, зачем, зачем, батюшка Федор Данилыч! Зачем?! Просту садиться. Я слушаю вас, приказный.

Еще бледнее обычного стал Тришков:

— Естественно, я, как и Бесо Виссарионович, истинный христианин, но, каюсь, помилуй меня, Боже, помилуй, не смог бы справиться с собою. Басурманы убили моих родителей, и я мстил и мстил им. Жестоко. Ведь они тоже очень жестоко обошлись с моими родителями. Не знаю, смогу ли вообще забыть это, смогу ли когда-нибудь простить и не мстить. Пожалуй, нет и нет! Извините, ваше превосходительство.

— Успокойтесь, пожалуйста, приказный. Успокойтесь. Я прекрасно понимаю вас, я всем сердцем чувствую боль вашего сердца, однако... Однако мстительность — это удел натур мелких. Солдат русской армии всегда был высок своим благородством. Вспомните, господа, как мы поступили с Наполеоном, с Шамилем? И вообще, как обращаемся с военнопленными. Почему не расстреляли Наполе-

она и Шамиля, виновных в тысячах и тысячах смертей наших людей? Да потому что мстительность — великий грех перед Господом. Может быть, самый тяжкий. Я хочу, приказный, чтобы вы не истолковали мои слова превратно, не расценили их как требование или паче чаяния — как приказ. Упаси Господь, я говорю человеку, который не может справиться со своей мстительностью, лучше уйти из армии, уйти подальше от тяжкого греха. Нет-нет! Прошу вас, если вы одолеете в себе это чувство, я рад буду, я буду рад, если вы будете служить со мною в одном полку. Буду рад, говорю это совершенно искренне. Теперь о девочке, о дочери нашего Нижегородского полка. Мы все в ответе за нее. Чему мы можем научить ее своей неприязнью к ней, даже презрением? Только зло вселим в ее душу. Каждому из нас следует хорошенько помнить об этом. Теперь, господа, о Федоре Даниловиче. Вы не должны на меня обижаться, господа, что я на такой важный разговор с вами пригласил рядового. Думаю, если всерьез задуматься, он уже давно не рядовой — старый, заслуженный солдат, который годится вам в отцы. Да, годится, поэтому и сидит с нами рядом на равных. Больше того — спасибо ему за его доброту и мудрость по отношению к нашей девочке. Пожалуйста, Федор Данилович, приведите Афипсу.

— Ваше превосходительство, я думаю... — робко начал Данилыч.

— Правильно думаешь, Федор Данилыч, неприятно, даже больно, вероятно, будет Афипсе, но что делать, что делать? Надо же нам как-то прокладывать тропинку в ее гордое детское сердце, иначе все будет плохо и бессмысленно. А что думаете на этот счет вы, господа?

Махатадзе торопливо, согласно закивал курчавой головой, а Тришков неопределенно пожал плечами и сказал:

— Надо, ваше превосходительство.

— Иди, голубчик Федор Данилыч, за нашей девочкой, за нашей дочерью.

Вошла Афипса, держась за руку Данилыча, увидела своих недругов, испуганно попятилась назад, спряталась за спиной старика.

— Здравствуй, голубушка, здравствуй, наша ласточка! Я так по тебе соскучился, а ты прячешься. Иди ко мне, моя хорошая. Иди же, не бойся, здесь все твои друзья.

Данилыч нагнулся к Афипсе:

— Поздоровайся с Николаем Павловичем. Иди к нему и поздоровайся, он ждет тебя.

Она высунулась из-за Данилыча, пролепетала:

— Здравствуй, Николай Палич,— и стремглав мимо Махатадзе кинулась к генералу.

Он подхватил ее, что называется, на лету и усадил к себе на колени. Она уткнулась лицом в его грудь.

— Это сколько ж времени я тебя не видел? Должно быть, больше месяца. Как ты выросла, как похорошела. Дай же я на тебя посмотрю... А глазенки почему стали мокренькими? От радости, наверно? Конечно, от радости. Батюшки, что за платице на тебе такое красивое! Откуда оно у тебя?

— Сергей Петрович подарил. А Фидур подарил платочек. Он дома остался, я не надела его. А Мишиду подарили сахар. Мне тоже вышел кусочек и Фидуру — тоже. Доктор подарил.

— Оказывается, ты очень счастливая, раз тебя так одаривают. Я тоже подарю — поеду в Тифлис и привезу много подарков. Куплю самые красивые во всей Грузии.

— Когда поедешь, Николай Палич? Скоро?! — живо заинтересовалась она.

— Скоро. Только, пожалуйста, повернись лицом к господам — офицеру и приказному, а то нехорошо получается — сидеть к ним спиной.

Афипса повернулась, но тут же опустила голову, чтобы не смотреть на них.

— Почему ты на них не смотришь? Или боишься их?

— Нет! Совсем не боюсь!

— Не надо бояться. Бессо Виссарионович добрый человек, он спас тебе жизнь. Если бы он оставил тебя в лесу, а там очень много злых волков, они съели бы тебя.

— Нет! Не съели бы! Я — сильная. А он — махаджэ. Я не хочу на него смотреть!

Данилыч шепотом на ухо сказал генералу, что означало слово «махаджэ».

— Ты неправа, Афипса, он спас тебя, ты погибла бы одна в лесу, а он привез тебя к нам, ты стала нашей дочерью, мы все, все любим тебя. Правду я говорю, Федор Данилыч?

— Истинную правду, ваше превосходительство. Я говорил ей об этом. Она нас тоже любит, вот только господина...

— Тришку тоже не люблю!

— Ты хотела сказать — Тришкова, правда? — мягко заметил генерал. — Нехорошо портить имена. Очень нехорошо, когда портят твое имя, правда?

— Правда,— буркнула Афипса и добавила: — Тришков не велит нашу собаку называть Мишидом.

— А разве та собака — Мишид, а не Шарик?

— Мишид,— заверила Афипса.

— Откликается на это имя?

— Да, откликается, потому что он и есть Мишид.

— Ну, если Мишид, значит, Мишид,— согласился генерал,— Тришков, наверно, просто не знал этого.

Тришков согласно кивнул головой, потому согласно кивнул, что генерал велел ему своим взглядом, а сам не хотел и показал Николаю Павловичу своим видом, на что генерал ответил ему тоже своим явным неудовольствием, нахмутив брови.

— Он не велит Фидуру разговаривать со мной по-черкесски! — не унималась Афипса, искоса поглядывая на Тришкова.

— Я думаю, с сегодняшнего дня никто не станет запрещать вам говорить по-черкесски. Вы свободны, господа. А тебе, Афипса, я припас шоколадку. Ты ела шоколад?

— Что это такое? — удивилась Афипса.

— Конфета такая,— он достал из ящичка стола шоколадку в блестящей яркой обертке и дал Афипсе.

— Батюшки! — воскликнул Данилыч.— Я век свой доживаю, а никогда не пробовал шоколадку. Ну до чего ж счастливая ты, Афипса!

Она развернула шоколадку, лизнула, потом немножечко откусила, закрыв глаза, пожевала.

— Нравится? — спросил генерал.

— Кажется, вкусно.

— Ну и чудесно. Садись на диван, наслаждайся, а мы с Федором Данилычем немного поговорим.

— Ух! — воскликнула Афипса, сев на диван. Он был таким мягким, что она даже испугалась. — Ух, как здорово!

— Вот и отлично, я рад, что ты улыбаешься.

— Думаю, ваше превосходительство, приказный Тришков еще немного покуражится и перестанет. Его тоже понять надобно — ему очень больно, не остыла в нем страшная боль, а сам-то он человек добрый. Добрый парень. Совсем мальчишка, хоть и приказный. С Махатадзе будет потруднее. Бесо Виссарионович часто заходит к нам, приносит ей разные угощения, подарки, ласково разговаривает с нею. Он же все понимает, у него самого все кипит внутри, а тут еще Афипса. Косится и косится, называет его, хоть и по-черкесски, однако убийцей. Попробуй такое перенести. Тяжкое испытание послал ему Господь, значит, надежда только на самого Господа. Молиться ему надо, чтобы Всевышний смягчил сердце девочки. Она все тоскует и тоскует. Понятное дело, ей чужда наша жизнь. Чужда и непонятна, а потому и противна. Ей нужны горы, мальчишки и девчонки одного с нею роду-племени. Да как ей все это устроить, как? Я бы на что угодно пошел, только бы спасти ее.

— Верно, верно, Данилыч. Ты прав, она права, а судьба — сама по себе, нам с нею, должно быть, не управиться.

А еще генерал думал о том, что сойдут снега, наступит тепло, и черкесы, должно быть, возобновят свои вылазки, нападения. А из Петербурга все идут и идут приказы — в кратчайший срок завершить победоносно войну, поставить черкесов на колени. Генерал, конечно, хочет закончить войну, однако — «поставить черкесов на колени»? Это ему не нравилось. Закончилась бы война, и судьба Афипсы пошла бы иной дорогой...

— Николай Палич, — громко вмешалась Афипса в разговор, — как называется эта конфета? Я забыла.

— Шоколад. Вкусно?

— Вкусно.

— А тебя вкусно кормят?

— Я не люблю борщ!

— Почему?

— В нем свиное сало! Бр-р-р-р! И каша, и мясо — все пахнет свиным салом!

— Я тоже не люблю сало. Тоже говорю — бр-р-р! С самого детства почему-то не любил. Надо девочку избавить от него. А что бы ты хотела есть?

— Лищипс-пастэ.

— Мясо барашка, говядины или курицы с соусом и с крутой кукурузной кашей, — объяснил генералу Данилыч. — Она очень тоскует по своей еде. Иногда уставится на горы, и не оторвешь ее. Похоже, очень тоскует. По своему аулу тоскует, по горам.

— Естественно, тоскует. Каждый человек тоскует по своей родине, она для него самая красивая. Как в ней побороть эту тоску, как Афипсу породнить с нами — ведь она теперь наша дочь.

— Помоги нам Господь! — перекрестился Данилыч.

— Скажи, Федор Данилыч, не смог бы ты хоть изредка готовить ей черкесскую еду?

— Очень даже смогу, пусть только позволят и дают продукты. И девочку буду приучать к кухне, к хозяйствованию.

— Вот и отлично. Я распоряжусь... У них все, должно быть, с перцем, томатом?

— Да, огневое.

— Так ты и меня иногда приглашай на обед. Я любитель разных народных блюд.

— Как не пригласить! Особенно, если приготовлю индейку! Пальчики оближете. Так завтра же и спроворю, в честь воскресенья. Куплю на базаре индейку и такое блюдо заделаю!

— Сколько стоит индейка, я дам вам деньги.

— Что вы, ваше превосходительство, чай, на индейку из своего кошта найду.

— Пожалуй, даже интересно: рядовой угощает генерала. Спасибо. А потом сочтемся.

— Сделайте милость, окажите честь отобедать у нас с Афипсой.

— Очень хорошо, спасибо тебе.

Данилыч что-то сказал Афипсе по-адыгски. Она восторженно захлопала в ладоши:

— Приходи к нам обедать, Николай Павлович,— наконец-то Афипса четко произнесла отчество генерала.— Я знаю, как готовить вкусное щипс-пастэ, нана меня научила немного. А ты...

Застеснялась Афипса, потупилась.

— Не стесняйся,— сказал генерал,— скажи, пожалуйста, чего ты хочешь? Может, шоколадку?

Она опять восторженно захлопала в ладоши, заулыбалась, а генерал тихонько сказал Данилычу:

— Какое прекрасное качество у нее есть — застенчивость. А вы говорите — мстительность. Ее застенчивость — от Бога, а скверному научили взрослые. Нам надлежит исправить эту грубую ошибку.

— Вы правы, ваше превосходительство,— Данилыч поддержал генерала,— нам надо исправить эту ошибку.

Полковой священник отец Георгий, как-то встретив генерала, опять озабоченно сказал:

— Если маленькая черкешенка будет нашей дочерью, то ее следует окрестить.

— Как это будет? — удивился Николай Павлович.— Она уже давно стала дочерью Нижегородского полка. Вы же были на офицерском собрании.

— Был, конечно. Однако, если она вне нашей веры, значит, не дочь наша. Она уже более полугода живет, а все некрещеная. Это большой грех, ваше превосходительство.

— Мое дело, батюшка, заботиться о военных делах полка, а о душевных — ваша обязанность, так что грех сей примите на свой счет.

— Каюсь, каюсь, ваше превосходительство.

— Вы часто бывали у девочки, разговаривали с нею о Господе Боге?.. Вот видите. Федор Данилыч делает все, что он может, да не очень много может он, не столь силен в делах веры, как вы, батюшка, так что уж просим вас, от имени всего полка нашего — займитесь душой нашей полковой дочери.

Мягко, так сказать, отчитал отца Георгия, очень мягко, но тот залился краской:

— Каюсь, каюсь, ваше превосходительство. Займусь обязательно. Думаю, к весне, да именно к весне, а не дальше, она станет настоящей христианкой.

— Спасибо, пошли вам Бог удачу на этом трудном, но богоугодном пути.

VI

Был на исходе второй месяц зимы, вот-вот уже должна грянуть весна, однако морозы и не думали слабеть. Больше того, не переставая, дул такой сильный и такой холодный северный ветер, что невозможно, как говорится, было высунуть носа. Влажный снег, остуженный морозом и ветром, превратился в такой снег, что человеку можно было по нему ходить, не проваливаясь. И хотя за окном свирепствовал, как говорила Афипса, синий ветер, в доме было тепло, оттого что в печке весело горели жаркие буковые дрова. Тепло, душисто было в комнате, и свирепый «синий ветер», гулявший за окном, казался веселым, шаловливым.

А тут еще три воробья за окном!

На молодой рябине, выросшей за домом в затишке, они до того забавно гонялись друг за другом, до того смешно нахохливались и пронзительно чирикали, что Афипсе казалось, будто и она с ними перепархивает с ветки на ветку, разговаривает на их воробьином языке. Весело, очень весело было Афипсе стоять у окна и мысленно играть с воробьями в догонялки. Но вот два воробья улетели, а третий почему-то остался. Нахохлился, съежился весь, будто обиделся на своих друзей, будто они бросили его в одиночестве.

— Эй, ты почему остался? Почему сидишь? Ты же замерзнешь! Нельзя одному — быстрее лети к друзьям! Или не слышишь?!

Она залезла на подоконник, стояла на нем коленками и стучала в стекло:

— Улетай, улетай, бестолковый! Нельзя одному!

А он не улетел. Ей до того стало его жалко, что она готова была заплакать:

— Фидур, Фидур, скажи ему, нельзя одному! Совсем нельзя.

Данилыч на кухне разделывал курицу и слышал, что Афипса ему что-то говорит:

— Я занят, готовлю мясо для щипса.

— Ну иди же сюда, скажи этому глупому воробью, а то он замерзнет.

— Да что там у тебя, доченька? Господи! — старик, прихрамывая, кинулся к окну, подхватил на руки Афипсу. — Разве же можно так! Упадешь, разобьешься.

— Не упаду, не разобьюсь! А ты скажи ему, пусть улетает, а то пропадет. Он остался совсем один. Ты посмотри, ты посмотри, к нему крадется этот противный кот. Мишид, Мишид, где ты?! Прогони кота! Скорей!..

А воробей и сам уже увидел опасность и улетел. Афипса вздохнула облегченно. Данилыч, держа на руках девочку, сказал:

— Нельзя одному, иначе пропадешь, правильно ты сказала, а сама все одна и одна, чуждаешься наших людей. — Афипса нахмурилась и ничего не сказала в ответ.

— О-хо-хо, пойдем, доченька, приготовим щипс и пастэ.

Они резали мясо, готовили все необходимое для соуса, для пастэ. Печка жарко горела. Из ее открытой дверцы время от времени как бы выстреливали искорки. Данилыч спросил:

— Ты знаешь, к чему эти искорки вылетают?

Она пожала плечами.

— Ну вот, еще черкешенка! Надо знать свои обычаи, свои приметы, иначе что ж это получится. Нехорошо.

— А ты скажи, скажи, и я буду знать!

— Искорки выпархивают навстречу дорогому гостю. Быть ему сегодня у нас.

— Может, Амалави приехал?!

— Пора, пора уже Вану Гивичу вернуться, однако сегодня у нас будет другой добрый гость, — он улыбнулся в свои седые усы.

— Кто же, кто?! Скажи, пожалуйста!

— А ты сама вспомни. Подумай и вспомни, кто к нам должен прийти на щипс и пастэ, для кого мы сегодня готовим?

— Знаю, знаю! — захлопала в ладошки Афипса. — Ник!

— Какой еще Ник? — озадачился Данилыч.

— Он же мне сказал сам: тебе трудно, сказал, говорить мое полное имя, называй меня просто — Ник.

— А-а! Вон какой у вас уговор секретный, — обрадовался Данилыч, что развеселилась Афипса.

Обрадовался Федор Данилович и тут же загрустил, углубился в свои горестные раздумья, которые время от времени посещают его, тревожат.

Конечно, любят в полку Афипсу — и доктор Плуталов, и князь Амилахвари. Солдаты оживляются, стоит только среди них появиться девочке, оживляются, озаряются улыбками: в казарме, на военном плацу и вдруг — девочка! С косичками, с чистыми глазенками, с таким смехом, что казарма как бы и вовсе перестает быть казармой, а солдаты солдатами. Даже ружья вдруг тоже становятся бессмысленными: разве цветущей яблоне, ромашкам на лугу, горному ручью нужны ружья, казармы?

«Любят в полку Афипсу, но Боже правый, что с нею будет дальше?» — думал Данилыч.

У барина, хозяина Данилыча на Вологодчине был сад под стеклом — всякие диковинные растения там произрастали. Больше всего Федору запомнилась пальма, что росла под стеклянной крышей. Сажени три, пожалуй, была та пальма. Хрустальным замком называли башню. Пальма — красавица-раскрасавица! Листья — зонтиками. Зеленые-презеленые, блестящие. Красавица, а смотреть Федору на нее было больно, потому что не знала она, что такое настоящее солнце, вольный ветер, как поют птицы в ветвях деревьев, как разбойно-весело в джунглях у нее на родине. И тепло было пальме в самую лютую стужу, да все не то, все ненастоящее. Вот и получалось, думал Федор, что сама пальма при своей красоте, но без вольной воли не пальмой была, а несчастьем в чужом краю.

Тяжкая мысль одолела Данилыча, с великим трудом он отбил ее от нее:

— Так прямо и сказал генерал: зови меня Ником?

— Так и сказал,— уверила Афипса.
— Его превосходительство и вдруг — Ник?
— Да! — с гордостью подтвердила Афипса.
— Вот он у нас какой добрый, какой хороший человек генерал, правда, моя ласточка?

— Добрый?.. Хороший?.. — изменилась в лице Афипса. Заблестели ее глазенки не то тревогой, не то тоской и болью.

— Я сказал что-то не то, чем-нибудь обидел тебя? — встревожился Данилыч.

— Если он такой добрый, такой хороший, как ты говоришь, почему не велит отвезти меня в аул?

«Вот оно как!»

Даже руки у него опустились, он перестал резать мясо. Как бы задохнулся и не сразу заговорил, не то с сожалением, не то с упреком глядя на девочку, вдруг повзрослевшую, вдруг переставшую быть ребенком.

— Разве ты забыла, что некому приехать за тобой, что и аула уже... твой аул, как бы тебе сказать... — Ему больно было выговорить «сгорел», потому он и замолчал.

— Я знаю,— сказала Афипса,— что нет нашего аула, что нет моей наны и моего таты, но есть же другие аулы, есть другие адыги, много есть адыгов в горах.

— Правда твоя, правда твоя — в горах много адыгов, много аулов, правда твоя, но у нас, кажется, подгорает пастэ,— обрадованно вскричал Данилыч,— надо хорошенько помешать! Обязательно помешать! — и он пошел к печке, довольный, что так ловко прервал трудный разговор.

Помешал деревянной ложкой пастэ, подложил дров в печку, вымыл руки.

Афипса взяла нож, стала резать мясо:

— Фидур, ты собираешься готовить лиципс?

— Да.

— Настоящий лиципс? Но его надо готовить, Фидур, из мелко нарезанных кусочков мяса.

— Крупные тоже ничего. Уварятся.

— Уварятся, но лучше нарезать маленькими, вот такими кусочками. Смотри.

— Э! Откуда ты это знаешь? — удивился Данилыч.

— От наны. Она очень вкусно готовила, лучше всех в нашем ауле. И меня учила.

— Ну если от наны, тогда давай резать помельче. Показывай мне, хорошо?

— Это совсем просто: вот так, вот так. Видишь?

— У, как ловко у тебя получается, будешь настоящей хозяйкой, хорошим поваром!

— А ты знаешь, Фидур, для настоящего лиципса нужны чеснок, острый перец, лук, сушеная адыгская кинза, мука...

— Все есть! На базаре у адыгов купил много разных душистых трав. Сделаем лиципс настоящий, огневой, как ему полагается быть у адыгов, только не знаю, понравится ли наше блюдо Нику, не испугается ли он перца? — ловко орудуя ножом, развеселился Данилыч, уйдя от тягостного разговора с Афипсой.— Вдруг не понравится?

— Обязательно понравится!

— Как ты говоришь? — удивился Федор Данилович.— Откуда знаешь?

— Знаю,— лукаво улыбнулась большими черными искристыми глазами Афипса.— Повар на кухне говорил, что генерал очень любит острые черкесские блюда... А ты на меня не обижайся, Фидур, я больше не буду говорить о нашем ауле, о Нике, чтобы он меня отправил туда.

— Э-э, ласточка моя, мне ли на тебя обижаться! Мне ли, моя хорошая, нам ли всем на тебя обижаться! У меня ведь тоже сердце есть, оно тоже болит, постанывает, когда я вспоминаю аул, где прожил девять лет, где видел от адыгов добро. Э-э, не надо лучше об этом говорить, моя хорошая. Кончится зима, солнышко станет веселее смотреть на землю, на людей. Все повеселеют, смотришь, и станут люди от этого добрее.

— Солнышко доброе, люди тоже должны быть добрыми, чтобы не обижать солнышко, чтобы небо не обижать.

— Должны, моя добрая, да не получается у них. Беда-беда-лажная!

Афипсе вспомнился воробей, сидевший на сухой ветке дерева, к которому подкрадывался рыжий кот. Такой жирный, противный. Он должен вот-вот схватить воробья, но тот вовремя увидел кота-разбойника и улетел. То-то

радость Афипсе была — улетел, улетел от противного жирного кота!

— Фидур, как ты думаешь, тот воробышек теперь не одинок, нашел он своих друзей?

— Думаю, воробышек тот нашел себе друзей, ведь никто в этом мире не живет в одиночестве, дочка. Так Бог сотворил наш мир. Дикий волк и тот находит себе спутника жизни. А как же! Обязательно.

— Ты правду говоришь, Фидур: вот и я не одинока, и ты тоже. Мы с тобою вдвоем.

— Конечно, конечно, моя хорошая, вдвоем мы с тобою. Пусть ты черкешенка, а я русский, но мы оба сотворены Господом Богом. Я уже старик, можно сказать, доживаю свой век, а ты только начинаешь его, вот Господь и послал мне тебя в помощь. Вырастешь, станешь еще красивее, моя умница.

— А потом что будет?

— Э-э, сначала надо дожить, а потом уж и посмотрим.

— Как ты думаешь, Фидур, я так на все время и останусь в полку дедушки Ника?

— Это тоже как Бог повелит. Может, останешься, а может, нет. Время, оно, ух, какое разное! Один день и тот с утра бывает солнечным, а потом затуманится, а то и вовсе грозой разразится да громом, так загромыкает, так загромыкает, потом глядь — и опять солнышко!

За разговорами не заметили, как время прошло, как комната наполнилась запахами мяса, поджаренного лука, кинзы, запахом разопревшей кукурузной крупы — словно все эти запахи пришли с поля, огорода. Всего лишь запахи, а комната стала другой, вроде бы просторной, как само поле.

— Попробуй, дочка, на соль — не пересолить бы. У нас, у русских, говорят: недосол на столе, а пересол на голове.

Афипса рассмеялась:

— У нас тоже почти так же говорят. Но ты не пересол, думаю, надо перцу добавить.

— Не много ли будет?

— Нет, хорошо будет. Добавь немножко.

— Будь по-твоему... А теперь иди приготовься встречать гостя. Надень самое красивое платье, причешись хорошенько, глазыньки подвесели.

— Как это, Фидур?

— У вас же говорят: гость в доме — счастье в доме?

— Говорят.

— Вот и улыбнись ему. Счастью улыбнись, гостю улыбнись, Господь тебя за это вознаградит.

— Когда гость придет, тогда и улыбнусь.

— Гость, гость, а мне-то ведь тоже хочется, чтобы ты улыбнулась. Ну вот, ну вот, моя красавица, моя добрая девочка. Спасибо, родная.

К назначенному сроку пришел генерал в сопровождении доктора и прямо с порога восхитился:

— О, какой аромат у вас, какой букет запахов! Слышу, слышу, это ты, наша красавица, так вкусно все приготовила, так ароматно!

— Нет, это Фидур, а я только помогала ему, — залилась краской смущения Афипса.

— Нет, она, она готовила, это я ей помогал, — запротестовал Данилыч. — Все она, мама ее научила. И от природы у нее такое чутье хозяйшки.

Совсем смутилась Афипса, опустила глаза.

— Молодец, молодец, Афипса. Скромность — вторая красота женщины, может быть, самая главная, самая привлекательная. А теперь подойди ко мне. Это мой подарок, это наш с доктором тебе подарок. — Генерал протянул Афипсе большой кулек со сладостями.

Мужчины у стола перед тем, как приняться за трапезу, прочитали «Отче наш», снова перекрестились.

Афипса всегда с интересом смотрела и слушала, как молятся русские, не совсем понимая слова молитвы, но слышала в них благоговение, похожее на благоговение молитв, которые произносили ее мать и отец.

— А разве у вас не молятся перед едой? — спросил генерал Афипсу.

— Молятся. У нас говорят — «бисмиллах», сказав это слово, она наклонила голову. Молитвенно наклонила, как это делала мать.

VII

Жизнь военного гарнизона крепости свершалась согласно уставам, приказам, распоряжениям, проистекала от утренней зари к полудню, от него — к вечерней заре и через темную ночь — иногда глухую, иногда тревожную, — к утренней заре, чтоб с нею все начать сызнова, но в то же время повторяя вчерашний, позавчерашний день, прошлую неделю, месяц, год.

Генерал Граббе был вершиной этого порядка, строгим блюстителем, гарантом.

Доктор Плуталов лечил больных, неся на своих плечах тяжесть сострадания и милосердия к солдатам.

Князь Амилахвари смотрел за дисциплиной и воинским порядком, воинским достоинством младших чинов, рядовых, стараясь самому быть порядочным, примерным, достойным своего звания и титула.

Один из офицеров заботился о продовольствии для гарнизона, чтобы были сытыми его солдаты и офицеры, другой думал об оружии, боеприпасах, чтобы третий мог водить солдат в бой. Пусть порох всегда будет сухим, а шашка острой.

Война — единственная цель гарнизона, его рядовых, офицеров, генерала Граббе.

— За веру, царя и Отечество! — напутствовал воинов отец Георгий, молясь о живых, отпевая погибших.

Махатадзе храбро сражался с адыгами, но возвращался в крепость и старался задобрить подарками Афипсу, дочь своих врагов, ставшую дочерью полка, а значит — дочерью этой самой крепости. Его сердце словно было рассечено надвое, болело, искало покоя.

Почти то же самое происходило с приказным Тришковым — он тоже храбро сражался с адыгами, а к девочке стал смягчаться, иногда улыбался ей, угощал конфетами. Случалось иногда, что чувствовал щемящую близость к Афипсе, жалость. Вероятно, ее и его сблизало то, что обоих осиротила война, а сироты они и есть сироты — особая форма родства между людьми.

Лишь двое в той крепости, в том военном гарнизоне жили совершенно иной жизнью, чем все другие, — Федор

Данилович Анаскевич и Афипса. Им бы в каком другом месте жить, подальше от крепости, от солдат, от пушек и ружей, даже вовсе бы не слышать о них, но где взять, где найти такое место? Нет его во всем мире. И раньше не было, и, как знать, возможно, и никогда не будет. Данилыч в рассуждении об этом так говорил: «У каждого цветочка на лугу, у каждого кустика свое место, а уж о человеке и говорить не следует: где родился, там и пригодился, где обозначили, там и назначили. Все в руках Божьих».

Однако, хотя Данилыч и числился рядовым, состоящим на службе в Нижегородском полку, генерал приказал не посылать его ни на какие работы — пусть занимается «маленькой пленницей» или чем другим. А чем другим? Ничего другого у него не было — только Афипса: и у нее был один-разъединственный он — Фидур.

Генерал Граббе, князь Амилахвари, доктор, Тришков, Махатадзе и солдаты виделись с нею от случая к случаю. Увиделись, поговорили, поудивлялись ее сметливости, остроте ее детского ума, да на том у них все и кончалось. О том, как жила Афипса, чему истинно радовалась, чем печалилась, знал один лишь старый солдат Анаскевич.

Отец Георгий настоятельно требовал от Данилыча, чтобы он готовил девочку к крещению в православие, а это означало, что он должен научить ее молитвам, правильно креститься, свято верить в Христа Спасителя.

«Научить вере! Разве может такое быть? Научить! Вера это так: если она есть, значит, есть, а если нет, если Бог не дал, то никакая наука не поможет», — так рассуждал Данилыч, а сам все же учил Афипсу.

Она несколько раз слышала из своей комнаты, как отец Георгий разговаривал с Данилычем, как строго требовал: «Нехорошо, дитя живет нехристом у нас, басурманкой живет. Поторапливайся, старый грешник».

Афипса сказала Данилычу:

— Я не хочу, чтобы отец Георгий из-за меня обижался, сердился на тебя. Учи меня, учи. Я быстро всему научусь, вот увидишь.

И он учил, удивлялся ее памяти, легкости, с какой она все воспринимала, а однажды вот что увидел и услышал.

Афипса в своей комнате с кем-то разговаривала. Данилыч заглянул в приоткрытую дверь и увидел ее, сидевшую на диване с большой куклой, подаренной ей генералом. Она посадила ее к себе на колени и была очень серьезной, даже сердитой.

— Что случилось, деточка, чем ты так занята, чем недовольна? Или тебя обидел кто-нибудь? — спросил Данилыч.

— Я учу Машу креститься и читать молитву «Отче наш», я ее учу, а она лентяйка, не хочет, вот я и сержусь на нее. Как отец Георгий на тебя сердится.

Улыбнулся Данилыч:

— Не буду вам мешать, занимайтесь. Только сердиться не надо. Если сердисься, молитва не получится, грех произойдет да и только, так что ты уж, доченька, поласковее будь с Машей.

— Я постараюсь, но это трудно... Слушай, Машенька, внимательно, не вертись по сторонам, молиться надо спокойно, с душою. А главное не ленись, а то узнает отец Георгий и накажет тебя, меня с тобою заодно. Скажет, почему ты плохо учишь Машу, почему плохо?! И Фидуру тоже будет нехорошо: какие у тебя непослушные дети, скажет он и нахмурит, нахмурит свои такие большие брови, будто усы у него на лбу. Генерал Ник тоже обидится, он во всем любит порядок. Садись поудобнее. Так. Перекрестись. Сложи три пальчика вместе, вот как соль из солонки берешь. Хорошо. А два других прижми к ладошке. Три пальца — это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Теперь тремя пальчиками прикоснись ко лбу. Ой, я совсем забыла! Сначала надо сказать: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так, сказали. Три пальчика на лоб, теперь — на правое плечо, теперь — на левое. Молодец, доченька... Фидур, слушай, как будет молиться Машенька.— И Афипса тоненьким голосочком, совсем как мышонок, вроде голосом куклы стала читать: — «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго...» Ты слышал, Фидур?

— Да.

— Понравилось?

— Да, очень понравилось. Вы хорошие девочки. Так скажет о вас и отец Георгий, и сам генерал.

— А теперь другая, черкесская кукла Цыраца будет читать нашу молитву. Читай, Цыраца. Хорошенько читай слова, чтобы были кругленькие, хорошие, понятные, хотя... Фидур, конечно, ничего не поймет из нашей молитвы. Называется эта молитва «Кулхоаллах».

— Это почему же я не пойму? — удивился Федор Данилыч.— Или я уже забыл черкесский язык? Ты так считаешь, или нет, Афипса?

— Ты не забыл, а молитву нашу все равно не поймешь.— И Афипса как бы голосом куклы заговорила: — «Бисмилахи рахмани рахим! Кулхоаллаху ахад, Аллаху самэд, лэми елыд, олэми юлэд, олэми екун, лаху куфон ахад...» Аферым, Цыраца, хорошо ты прочитала. Ну, Фидур, ты все понял, а? — лукаво усмехнулась Афипса, выйдя к Данилычу с куклой в руках.

— Как же я мог понять, если не знаю, что это был за язык, на котором ты читала? — Знал, знал Данилыч, что на арабском читала Афипса молитву, слыхивал он, когда жил среди адыгов в Заурхабле, но он видел, как хотелось девочке удивить его, поэтому он и сделал вид, что очень удивился, даже руками всплеснул.— Скажи мне, моя хорошая, скажи, чем ты порадовала старика?

— Это был язык Корана,— с гордостью ответила Афипса.

— А какой это такой язык Корана?

— Арабский!

— Арабский?! У-у! Но ты-то его откуда знаешь?

— Нана научила. Она молитвы из Корана говорила по-арабски. Каждый вечер перед сном она читала мне молитвы, учила меня, как и ты учишь своим молитвам. Если хочешь, я расскажу тебе по-русски эту молитву.

— Очень хочу. Расскажи, пожалуйста.

— «Кулхоаллах» означает по-вашему: «Именем Аллаха милостивого, милосердного. Аллах — один, другого нет и никогда не будет, Ему нет равного и никогда не будет».

Аллах не родился как рождаются люди, Его не сотворили, Он вечный. Он всегда был и всегда будет. Понял, Фидур?

— Я-то понял, а вот наш отец Георгий да и другие священники не поймут, не смогут понять, это я тебе точно говорю.

— А чего же тут непонятного, Фидур? — очень удивилась Афиписа. — Я же поняла, я же выучила. Маленькая, а выучила. Отец Георгий — ученый человек, почему же ему не выучить? Пусть он, пусть все священники выучат «Кулхоаллах», тогда не будут воевать. Зачем воевать, если Бог у всех один, все будут молиться ему, каждый на своем языке.

— Верно, ох, верно ты говоришь, моя умница! А это тебе кто говорил? Тоже нана?

— Нана, нана. Она мне все говорила, она самая умная!

— Верно, ох, верно ты говоришь! — еще раз встревоженно повторил Данилыч и спохватился: «Грех-то какой! Это что же я тут наговорил. Чего же тут такого намолол! Да еще и про отца Георгия! Господи! Господи, помилуй меня грешного, прости мою слабость, Иисусе Христе!» — произнес про себя Данилыч и, чтобы замять этот греховный разговор, примирительно сказал: — Думаю, не сможет отец Георгий выучить молитву, уж очень труден арабский язык. Так труден, что и слова толком не выговоришь, не повернется эдак-то наш русский православный язык.

— Что ты говоришь, Фидур! Что ж тут такого — я-то выучила! И по-арабски, и по-русски «Отче наш» на вашем языке.

— Так то ты! У тебя ум быстрый, да вострый, и язык податливый, легкий да веселый. Так сказал о тебе сам генерал. Другие тоже дивятся, как ты скоро да чисто заговорила на нашем языке.

— А кто другие? Тришка тоже хвалит?

— Обязательно!

— Почему же он тогда нехорошо смотрит на меня? Конфеты дает хорошие, а смотрит нехорошо. Почему, Фидур? Разве я ему сделала что-нибудь плохое?

«Ну беда, опять занесло, опять выправлять», — подумал Федор Данилыч и сказал, будто не слышал последних слов Афиписы:

— А уж как будет доволен отец Георгий, когда ты прочтешь ему все молитвы, что выучила. Только не забывай самого начала: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа».

— И мы так же начинаем наши молитвы: именем Аллаха милостивого, милосердного!

«О Господи» — воскликнул про себя Данилыч, — и тут подвох».

— Аминь — тоже скажу!

— Хорошо-хорошо, доченька.

Заметил Данилыч, что Афиписа читает православные молитвы, как говорится, без души, без страха Божьего, лишь бы отговорить, лишь бы угодить ему, Федору. А свою-то молитву! Хоть и голосом куклы читала, но слышалось волнение, благоговейность слышалась. Наверно, не понимает она этого, не думает — оно само в ней живет, должно быть, с колыбели поселилось, когда над нею молилась мать. Что будет с моей девочкой? Как жить она станет? Что будет думать в душе? Ой, беда! Господи, спаси, сохрани и помилуй нас, детей твоих грешных.

— Фидур, а мои куклы тоже ссорятся!

— Чего они не поделили?

— Черкесская не хочет русскую молитву читать, а русская — нашу.

— Какую нашу?

— «Кулхоаллах».

— Но ведь наша с тобой «Отче наш».

— Ну-у-у, это я тебе, отцу Георгию.

— Да нельзя же так, нельзя! — рассердился Данилыч.

Она опустила голову.

— Нельзя, не буду! — и она бросилась к нему, обняла и горько заплакала. — Не буду, не буду.

— Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй нас грешных! — он взял Афипису на руки и понес в ее комнату. — Все будет хорошо, Господь милостив.

Положил ее на кровать, укрыл одеялом.

Она затихла. То ли уснула, то ли забылась.

VIII

Афипса обычно, просыпаясь ранним утром, бежала со своей подушкой к Данилычу, чтобы, прижавшись к его теплой груди, что называется, позреть, так он это называл, и Афипса с удовольствием повторяла, с удовольствием зоревала в кровати Федора Данилыча.

Вот и сегодня прыгнула со своей койки и в длинной ночной сорочке, с подушкой в обнимку зашлепала босыми ногами к Данилычу.

Но что такое?

Не было Данилыча. Его койка с подушкой в головах была заправлена, на коврик над нею висела балалайка. От стекол приоткрытого окна весело гуляли по комнате весенние зайчики.

— Фидур!

Никто ей не ответил.

— Фидур, Фидур! Где ты! — совсем встревожилась Афипса. Выглянула в распахнутое окно — и во дворе пусто.

Прямо в ночной сорочке, босиком выскочила на крыльцо и, словно бы зовя на помощь, покликала:

— Мишид, Мишид!

Не ответил Мишид.

И сарай с раскрытыми дверями пустой, и телеги в углу двора не было.

Страшно, одиноко стало Афипсе, так одиноко, так страшно, что она горько, уж очень горько заплакала, к чему совсем была непривычна.

Слезливо, с последней надеждой позвала:

— Сергей Петрович! Сергей Петрович!

— Это кто же меня так красиво зовет? Никак Афипса? — вышел из лазарета доктор. За ним на костылях — солдат, он озабочен тревогой девочки.

— Сергей Петрович, где Фидур? Куда он пропал?

— Ты уже проснулась, моя хорошая? С добрым утром, девочка!

— Доброе утро! Где Фидур?!

— Успокойся, моя хорошая, успокойся, Федор Данилыч скоро вернется. Я попросил его помочь мне, — ответил доктор и вскрикнул: — Ой, в каком ты виде, моя красавица,

перед мужчинами! Быстренько иди оденься. Ай-ай, перед всем полком наша красавица предстала в ночной сорочке.

Улыбнулся доктор Плуталов. И Афипса, хоть устыдилась его слов, устыдилась своей ночной сорочки и босых ног, все же улыбнулась: все в порядке с Фидуром.

Кинулась опрометью к себе в комнату, на крыльце все же оглянулась:

— А Мишид где, Сергей Петрович?

— Его взял с собой Федор Данилыч. Они скоро вернуться. Иди, скоренько оденься, умойся, косички заплети и завтракай. Там все у тебя на столе приготовлено.

Заправила Афипса свою койку, привела себя в порядок и в тонком шелковом платочке, с повеселевшими глазами и румянцем на щеках села завтракать.

Федор приготовил яичницу, хлебушек нарезал, кружку молока налил.

Вошел доктор.

Афипса встала из-за стола, как по обычаю и полагалось перед старшим.

— Садись, садись, приятного аппетита.

— Спасибо, Сергей Петрович.

— Яичницу тебе Данилыч приготовил?

— Глазунью.

— О, ты уже и это знаешь?

— Да, — кокетливо ответила она. — Глазунья, омлет!

— Молодец, просто молодец. Тебя уже хоть прямо в гимназию отдавай, для благородных девиц.

— Что такое гимназия для благородных девиц?

— Школа для таких умниц, как ты.

— Я — благородная?

— Да! Умом своим, добротой своей, красотой. Душой благородная.

— Душой? Благородная? Не понимаю.

— Придет время — поймешь.

Во дворе послышались скрип телеги, похрапывание лошади и мужские голоса.

— Приехал, приехал Фидур! — вскричала Афипса, и будто ветром ее вынесло из комнаты.

Как вкопанная остановилась на крыльце. В телеге было двое раненых: один с перевязанной рукой прыгнул

и пошел в лазарет, а другой был, похоже, ранен тяжело — кровянилась перевязанная грудь, нога повыше колена.

— Воды, дайте воды... пить, пить,— со стоном просил раненый, в котором Афипса узнала Тришкова.

— Потерпи, Коля, потерпи, сейчас доктор облегчит твой страдания.

— Пи-и-ить... Дайте, Бога ради, водицы...

Забилось сердце Афипсы тревогой и болью: «Почему они не дают ему воды, ведь он так просит». Она кинулась в дом и вернулась в лазарет с кружкой воды.

Тришков лежал на операционном столе. Доктор разбинтовывал раны.

— Бога ради — пи-и-ить,— все просил раненый.

Афипса уже готова была расплакаться:

— Почему вы не даете ему воды, Фидур?! Возьми кружку! Ну, пожалуйста.

— Спасибо, Афипса,— сказал доктор,— возьмите у нее воду, намочите бинт и оботрите больному губы. Обильно, хорошо оботрите. А ты, милая, иди к себе, не надо тебе на это смотреть.

Очень не хотелось ей уходить, хотелось напоить водой Тришкова, чтобы он не стонал, чтобы легче ему стало. Она даже хотела помолиться, попросить у Бога помощи, вот только не знала — «Отче наш» читать или «Кулхоаллах».

Мишид во дворе подбежал к ней, лизнул руку своим горячим шершавым языком.

— Где вы были? — спросила она у него.— Кто ранил бедного Тришку? Да не скули ты, не скули, все будет хорошо, доктор вылечит его. Ты слышал, как он жалобно просил. Я принесла ему воды. Ты не будешь больше сердиться на Николая Тришкова? Не будешь? Не надо лаять на него, рычать, он такой несчастный, жалко его. А тебе жалко?

Мишид взвизгнул, будто согласился с нею.

— Пойдем, отгоним к конюшне телегу, отнесем в дом ружье Фидура. Зачем он его брал? Он не стрелял там? Не стрелял, это хорошо. А Николай скоро выздоровеет, и мы не будем больше на него сердиться. Понял? Иди к себе, а я — к себе.

Вскоре пришел домой Данилыч.

— Как дела у Николая? — спросила Афипса.

— Не волнуйся, все обойдется. Николай — молодой, крепкий, скоро одолеет свои раны с помощью Сергея Петровича. Дай мне руки помыть, моя хорошая.

Афипса принесла медный тазик, кумган¹ с водой и стала поливать ему на руки. Они были окровавлены. Афипса вздрогнула, чуть не уронила кумган, но справилась — вода полилась на руки Данилыча ровной струей.

— Ты умница, ты хорошо сделала, что принесла воду, но в другой раз знай: тяжелораненному, когда он в жару, нельзя давать пить. Погибнуть может. Вот только губы ему протирают. От этого малость полегче.

Федор Данилыч опустил на колени перед образами и стал молиться:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Скорый в заступлении единственный, Христе, скорее свяше покажи посещение страждущему рабу Твоему Николаю и избави от недуг и горьких болезней...

Рядом с ним опустилась на колени и Афипса. Она еще не знала этой молитвы, а потому, просто перекрестившись, повторяла слова молитвы вслед за Данилычем.

Господи, как стало светло и радостно на душе у старого солдата.

Помолились, постояли на коленях молча.

— А теперь я прилягу, отдохну немного. Утомился очень. Душою утомился.

— Но ты же не завтракал, тебе надо поесть,— озабочилась Афипса.

— Спасибо, доченька, но я сначала отдохну.

Она опрометью кинулась в спальню, и пока он шел — неторопливо, устало,— Афипса разобрала его постель, перебила подушку.

— Садись, садись сюда, я разую тебя.

— Что ты! Я сам!

— Нет,— твердо возразила Афипса, опускаясь перед Данилычем на колени,— нана всегда помогала тате разуться.

— Но у тебя не хватит силенок.

¹ Кумган — кувшин.

— Хватит, я сильная! — и она с непонятной силой и ловкостью сняла с него сапоги, унесла их с собою, чтобы вычистить.

Все сделала Афипса по-хозяйски: убрала тазик и кумган, вымыла и повесила на частоколе сапоги, в комнатах подмела, освежила полы прохладной водою и ушла во двор. То разговаривала с Мишидом, то так просто бродила, подметала у порога своего дома, а потом у крыльца лазарета и все ждала, может, кто-нибудь выйдет и скажет ей о Николае Тришкове. Как он там? Хуже ему или лучше? Однако никто не появлялся, и Афипса совсем разволновалась, посчитав, что там все плохо, потому никто и не выходит.

Совсем извелась девочка, хотела уже пойти и разбудить Федора: пусть пойдет в лазарет и все узнает. И пошла бы, но вот скрипнуло и открылось окошко. Сергей Петрович поманил ее негромко, шепотом спросил у Афипсы:

— Ты не хочешь спросить, как чувствует себя Николай?

Она по лицу доктора поняла, что все у Николая хорошо, и так ответила:

— Фидур сказал, что и беспокоиться нечего, — он молодой, сильный и одолеет болезнь, скоро выздоровеет.

Таким взволнованным шепотом ответила Афипса, что доктор понял, как она беспокоилась за Тришкова, прошла у нее неприязнь к нему.

— Ты не хочешь его увидеть? — заговорщически спросил доктор.

Она смутилась: нехорошо говорить — хочу видеть его, так сказала бы нана.

— Ну иди, иди сюда, посмотри. Он спит.

Поднялась на цыпочки Афипса, ухватившись за высокий подоконник.

Тришков спал. Был он очень бледен, почти как простыня, белым было его лицо. Она даже немного испугалась, однако уверенно сказала:

— Он поправится, Николай еще так молод и силен, Фидур сказал. Обязательно поправится.

Федор Данилыч знал: Николай находился в очень трудном положении — ранение было тяжелым, и потому

весь день тревожился, пытаясь всячески скрывать свое волнение от Афипсы.

Хлопнет кто-то дверью в лазарете, выйдет кто-нибудь оттуда, и он, насторожившись, ждет недоброй вести.

Пройдет час-другой, и Данилыч направляется в палату посмотреть на приказного, послушать разговоры о нем.

Как тут скроешь — все видела, все понимала Афипса и, в свою очередь, тоже старалась не подавать виду, таила свою тревогу от Федора Данилыча.

А еще Данилыч боялся — вдруг Афипса станет спрашивать его, как и где был ранен Николай.

Мстил Тришков за смерть своих родителей, не сдерживал жестокости, да и себя ни капли не жалел, в бою всегда был там, где всего горячее, как говорят, сам искал пулю. Это, конечно, дело его, но зачем же ночью нападать на мирно спавший аул, ведь это слепая ненависть, ничего общего не имеющая с мужеством, храбростью, долгом солдата. И неизвестно еще, как отнесется к этой выходке Тришкова с его казаками-лазутчиками генерал Граббе.

У него хоть и доброе, да все ж генеральское сердце, мужское. И как расскажешь девочке о ночной схватке, вернее, о коварном ночном нападении казаков на аул, о том, как горели дома, метались женщины, старики и дети, будто в геенне огненной.

— Тебе нехорошо, Фидур? Очень нехорошо, я вижу. Ты боишься за Николая? Или другое тебя тревожит?

Он гладил Афипсу по головке большими, старчески шершавыми руками.

— Просто заморился малость, ведь не мальчик. Годики мои, годы, на чужой стороншке. — Снял он со стены балалайку...

Всякий раз, когда снимал балалайку, как бы чувствовал тепло рук Кароха, видел светившиеся добром его глаза. Ведь это Карох ездил специально на базар к казакам, чтобы купить эту балалайку, подарить Федору радость его далекого села, его родины. И глаза аульчан виделись ему. Разной веры они были, на разных языках говорили, все вроде бы разное, все да не все — любовь к земле своей, любовь к небу и Богу для всех едины и слышались они в народных напевах. Слушали аульчане его наигрыши, и от

многого нехорошего забывались, радовались одной с ним радостью...

Сел Данилыч на табуретку и заиграл.

Всего лишь три струны у балалайки, а столько печали, столько боли душевной таится в ней, чуть тронет ее своими пальцами Данилыч. Не выдержала Афипса:

— Не надо, Фидур, не играй больше. Твоя балалайка так плачет, что и я могу расплакаться. Не играй.— Обняла старика Афипса, и он сквозь гимнастерку ощутил ее горячие слезы.

— Доченька моя, Бог милостив, помилует нас, Николай помилует, на все Его Святая Воля. Ваш Аллах тоже зовет к смирению. Не будем гневить Бога, утрем слезки, просветлим свои глазыньки. Ну, ну, вот и хорошо, моя милая, вот и спасибо тебе. Обязательно выздоровеет наш Николай Савельевич. Господь смягчит его сердце, украсит добротой, небесным светом.

IX

Нога Тришкова была прострелена пулей навывлет, кость не задета, а поэтому рана опасности никакой не представляла, ранение в грудь и в плечо — тяжелое, давало сильный жар, но молодой организм достойно сопротивлялся и вскоре пошел на поправку.

Афипса несколько раз в день заходила в палату, приносила ему кисленький компот из сушеных яблок, груш и чернослива, крепкого чайку из душистых целебных трав, купленных Данилычем на базаре.

Ничего не спрашивала у Федора о той ночи, когда был ранен Николай, услышала от солдат, разговаривавших во дворе лазарета. Напрасно опасался Данилыч, Афипса не только знала о жестокостях войны, но и видела их сама, видела смерть своих родителей, ее сердце как бы закаменело от пережитых ужасов и больше не могло уже вмещать их. Ее больше удивило другое: солдаты говорили, что генерал Граббе очень рассердился за прошлую ночную вылазку и твердо сказал: как только Тришков выздоровеет, будет серьезно наказан. Разве он уже не наказан таким тяжелым ранением, такими мучениями? — думала Афипса,

и ей становилось жалко бедного Николая: нет-нет, не может генерал быть таким жестоким, и не может он мучить уже и без того измученного человека.

— Ты что-то сказала, Афипса? — спросил Николай, открыв глаза.

— Нет, тебе показалось.

— А почему же ты улыбаешься?

— Просто так. Ты выздоравливаешь, вот я и улыбаюсь.

А ты о чем все время думаешь?

— Мне есть о чем подумать.

— О чем же?

Из-под русых волос Николай Тришков пристально глянул на Афипсу, словно решаясь на нечто очень важное и непростое для него.

Помолчал, глядя в сторону, в окошко.

— Я давно хотел сказать: прости меня за то, что я обижал тебя. Прости, если можешь. А еще хочу сказать, не сердись на беднягу Бесо Махатадзе, ведь то, что с ним случилось, с твоими родителями... Это тяжкий грех на его душе.

Нахмурилась Афипса.

— Такой тяжкий грех, и он не знает, как его искупить, как снять эту громадную тяжесть со своей души. Он ни в чем не винит тебя — Боже упаси! — он не знает как, чем может вымолить у тебя прощение. Видать, Господь так решил наши судьбы...

— А ты... Что ты думаешь о том ауле, о той ночи? — вздернув остренькие плечики, Афипса встала, нахмурила брови.

— Куда ты, Афипса?! Что с тобой?!

— Ничего, — резко сказала она и пошла прочь, а у дверей остановилась: — Не о Махатадзе думай, а о себе — что ты скажешь Николаю Павловичу, когда он придет?

— Афипса, зачем ты так?

— А как же иначе? — заискрились ее глаза гневом и в то же время болью, растерянностью, — если ты, если вы!.. — Она почти выбежала из палаты. Данилыч во дворе мазал дегтем колеса телеги.

— Фидур! — вскрикнула она и задохнулась от боли, от гнева.

— Что, доченька? Что с тобой, моя хорошая? С Николаем плохо? — встревожился старик. — Чего же ты молчишь? Говори!

— Выздоровливает Николай.

— Так что же тогда с тобой? — он поставил ведро с дегтем. — Ну, что случилось?

— Ты знаешь, Фидур, что сказал Тришков?

— Скажешь — узнаю.

— Он жалеет о той ночи в ауле, сказал мне — прости, что обижал тебя.

— Так и сказал?!

— Да.

— Тришков так сказал тебе?!

— Так сказал.

— Радоваться надо, что Господь его сподобил к добру!

— А еще сказал о Махатадзе. Сказал, что я должна простить убийцу. Нет!

— Что ты говоришь, девочка моя! Радоваться надо, Господь обратил их жестокие сердца к добру. Мы же с тобой много говорили, что люди должны прощать друг другу их прегрешения, только тогда и поселится добро на всей земле. Помнишь?

— Помню, Фидур, но это несправедливо.

— Справедливость? Ой, деточка, у грешных людей у каждого своя справедливость, не разбери — пойми. О милосердии надо говорить, молить Бога о прощении грехов наших, о смягчении Его к нам. Если мы сами не будем милосердными, не будем прощать несчастным людям их грехов, кто к нам будет милосердным, кто нам простит наши прегрешения. Николай первым попросил у тебя прощения. Не только о себе позаботился, душою заболел, но и о друге своем. Пошли, Господи, здоровья рабу Твоему Николаю, пошли ему Твою милость. И девочку мою, доченьку, сподобь доброты своей, смягчи ее сердце. Она добрая, добрая, помоги ей, — Данилыч трижды широко, с поясными поклонами перекрестился.

— Ну... если ты так говоришь, — растерянно проговорила Афиписа, — но махаджэ?... Я не знаю, я хочу, но оно во мне не хочет.

«Я хочу, но оно во мне не хочет», — повторил Данилыч слова Афиписы, вспомнил слова Жакыза, сказанные Мамию и Кароху: «Ради Аллаха, уведите от меня этого гяура, я могу не совладать с собою и совершу великий грех». Грех этот бесом вселяется в человека, думал Данилыч, и справиться с ним можно только с помощью Господа. Вон он, вон, проклятый, даже в дитя вселился».

— Господь с тобою, Афиписа, — с горьким сожалением сказал Данилыч.

— Я буду стараться, Фидур... Я хочу увидеть Николая Павловича.

— Зачем? — удивился Данилыч.

— Надо, — серьезно ответила она.

В тот же день генерал приехал в лазарет. Увидела его Афиписа и выскочила навстречу:

— Здравствуй, Ник!

— О! Как я рад видеть тебя, дочь наша! Я обязательно хотел зайти к вам с Сергеем Петровичем.

— К нам? А Тришков Николай? Ты не зайдешь к нему?

— Как он себя чувствует, этот «герой»?

— Поправляется. Встает с постели, ходит по палате.

— Вот как! Прыток однако... Все же зря ему недавно присвоили хоперцы звание младшего урядника. Пойдем посмотрим, поговорим с ним по-мужски, — генерал взял Афипису за руку.

— Не надо, Николай Павлович, — жалостливо попросила Афиписа, пытаясь высвободить свою руку. — Не надо! Он так сильно был ранен. Он чуть не умер! Говорят, ты собираешься сурово наказать его. Не надо.

— Ладно, дочка, — смягчился генерал, — славная ты у нас, славная моя, храни тебя Господь.

Тришков знал о приезде Николая Павловича и стоял у своей койки, опираясь на палку.

Адъютант подал генералу стул.

— Добрый день, — строго поздоровался Николай Павлович. Помолчал, осматривая палату. — Садитесь, тезка. Посидим, поговорим. Ну-ка, ну-ка, повернитесь, младший урядник. А славно они вас разрисовали, а? Садитесь.

— Досталось немного,— бледно улыбнулся Тришков. Сел, насторожился, ожидая, как говорят, генеральского разноса.

Понимал Николай Павлович младшего урядника, наверно, и сам когда-нибудь бывал в подобном положении. Улыбнулся, пряча улыбку:

— Славно разрисовали, хотя следовало бы и побольше... всыпать. Так я и собирался, да уж больно хорош у вас адвокат,— он похлопал по плечу Афипсу, обнял.

— Она не только ко мне так отнесится — ко всем раненым — вздохнул облегченно Тришков.— Приходит в лазарет, и у нас получается маленький праздник.

Афипса не знала, что такое адвокат, но догадывалась, раз Тришков так хвалит ее. Застеснялась она, зарделась румянцем, хотя сделала вид, будто не слышала похвалы.

— После Господа и Сергея Петровича она у нас самая первая спасительница. И чайку принесет душистого, и приятные слова скажет. Спасибо ей.

— Я всегда говорил,— согласился генерал— что Афипса — чудесная девочка, однако, довольно, а то, чего доброго, еще перехвалим... Мне пора. Пойдем, Афипса. Надо бы с тезкой иначе поговорить, да уж ладно. Выздоровеет, тогда и разберемся, как полагается. Выздоровливайте, младший урядник, и, главное, думайте, хорошенько думайте над своим поступком, над честью и достоинством солдата армии Его Императорского Величества.— Встал Николай Павлович, оставил серьезность и шутливо сказал: — Будь я на вашем месте, Сергей Петрович, то специально бы припас для младшего урядника какую-нибудь тупую иглу, какое-нибудь едучее лекарство, чтобы оно до самых печенок его пронимало, напоминало о грехе и учило уму-разуму. Пойдем, девочка. До свидания!

«У вас прекрасный адвокат, младший урядник»,— вспомнила Афипса слова генерала, прихорашиваясь перед трюмо, когда Николай Павлович уехал.

Она была очень довольна, что хоть немножечко, но защитила Николая от гнева генерала.

На радостях Афипса вымыла полы в комнатах, в сенях, подмела у порога, побрызгала и полила цветы в горшках на подоконниках, всюду вытерла пыль, почистила медный

чайник, надела цветастое платье и, напевая адыгскую песенку, которую так любила петь ее мать, прихорашивалась перед трюмо, немножечко любовалась собою.

«Ишь ты, ишь ты! Эге! — сказал про себя Данилыч, глядя на Афипсу в приоткрытую дверь.— Вон оно как у нас, оттаяли мы маленько, и природа взяла свое. Еще малым-мала, а уже зашевелилось, заиграло в ней естество.— Что же будет дальше, милочка ты моя?»

Уже не первый раз видел Федор Данилович, как вертелась перед трюмо Афипса, как прихорашивалась. И все тайком, украдкой. Похоже, в ней просыпалась девичья застенчивость. Кто-то сказал: стыдливость — это вторая натура женщины; вторая ее совесть и благородство. И к Николаю Тришкову в последнее время она стала относиться чуть-чуть иначе, чем раньше. Самую малость, но иначе — не позволяла себе с ним детскую раскованность, открытость. Не от разума это шло у нее, а от самой женской сути, которая уже пробуждалась, тесня детство. Возраст Афипсы, понятно, это еще не возраст, но для девочек южных, кавказских кровей это уже начало...

Прилег Данилыч отдохнуть, думал поспать немножко, но ничего не выходило — все стояла и стояла перед ним Афипса, у трюмо, лукаво поглядывавшая на себя. В ее по-детски чистых глазах стали появляться грусть, ожидание и уже совсем недетская пытливость.

А Федор Данилыч думал о том, что новый день — это новый свет, новая радость, но и новая забота, новая тревога, весь день, начавшись ласковым рассветом, неизвестно чем закончится, неизвестно, что грядет за новой вечерней зарей, в сумерках, в темноте.

Радостно было Данилычу видеть, как взрослела Афипса, как в ней сквозь детское обаяние и чистоту начинала вырисовываться другая чистота, другая красота — удивительная, призывная и тревожная.

А тут еще Афипса пришла к его сердцу родной дочерью. И это было благом для Федора Даниловича. Конечно, взрастить бы Афипсу, с добром выдать замуж, дождаться внуков. Кажется, все так естественно и просто, даже обязательно, но простота эта — кажущаяся, вот она-то и бередила сердце Федора Данилыча, не давала уснуть.

Х

— Фидур, Ваню вернулся! — обрадованно закричала Афиписа, выскочила во двор к князю Амилахвари.

Он подхватил ее, и она словно вспорхнула на его руках.

— Дитя мое, как ты выросла, как похорошела! — и князь закружился с Афиписой на руках по двору.

— Да, князь, — с гордостью сказал Данилыч, — Афиписа похорошела, прямо-таки заневестилась.

— Что ты говоришь, Фидур! — не без кокетства, еще совсем неумелого, но все же кокетства сказала Афиписа. — Пусти меня, Ваню!

Он опустил ее.

— Теперь дай я на тебя со стороны посмотрю. Верно, верно — заневестилась, но не будем смущать нашу девочку. Пойдем, любушка наша, в дом, там ждут тебя подарки.

На столе лежали принесенные из коляски солдатом две большие картонные коробки.

— Это тебе! Ну? Почему же ты не открываешь их? Смелее, смелее, красавица.

— Такие большие коробки и обе — мне? — удивленно обрадовалась Афиписа, не без робости приближаясь к столу.

В одной коробке были мандарины, апельсины, орехи, конфеты, а во второй — одежда и кукла, одетая в длинное темное платье, повязанная шелковым платком.

— Ой, какая красивая!

— Это грузинская кукла, подарок Анны Александровны.

— Кто такая эта Анна?

— Моя жена. Я рассказал ей о тебе. Она уже тебя любит и обязательно хочет видеть. А пока передает привет.

— Лучше бы ты взял ее с собою. Почему ты бросаешь свою жену? Это ведь очень нехорошо. Мой тата никогда не оставлял нану, потому что очень любил ее.

— Я тоже очень люблю свою Анну, но как привезу ее сюда? Ведь идет война, на дорогах так опасно бывает, что лучше Анне Александровне пока посидеть дома.

Данилыч сделал князю знак, мол, не надо об этом говорить, однако слово уже было сказано, а оно не воробей, вылетит — не поймаешь.

Чтобы как-то загладить возникшую неловкость, князь Амилахвари спросил:

— Нравится тебе кукла?

— Да! Очень красивая и так похожа на черкешенку! Я ее буду любить.

— Ты права, она похожа на черкешенку, потому что мы, кавказцы, все очень похожи друг на друга — ведь мы живем на одной земле, под одним небом, в одних Кавказских горах.

— Вот видишь, небо у нас одно, земля одна, горы одни, мы очень похожи друг на друга, на всех у нас один Бог, а зачем же мы воюем, зачем убиваем друг друга?

— Афиписа! — почти простонал Данилыч, — мы же с тобою так много говорили, все поняли, решили никогда больше не говорить об этом, а ты опять! Ни ты, ни я, ни князь, ни солдаты, ни даже сам генерал не хотим воевать. Мы только выполняем волю того, кто стоит над нами.

— Бог стоит над нами, один на всех, зачем же Он позволяет...

— Афиписа! — сердито воскликнул Данилыч. — Греховодница!.. Господи, спаси, сохрани и помилуй дитя Твоего несмышленного. — Он повернулся к образам, истово перекрестился. — Помолимся Господу нашему.

Молились все трое, каждый про себя шепча молитву.

Больше всего князь удивился тому, что Афиписа тоже крестилась, тихонько молилась; «Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое...» И как чисто произносила славянские слова.

Помолившись, они постояли молча, не нарушая молитвенной тишины. Князь и Данилыч сели на топчан, а Афиписа ушла к себе в комнату. Померяла присланные платье, юбку, блузку, одни и другие башмачки, примерила цветастые шелковые платочки. В самом лучшем платье вышла к мужчинам. Прошлась перед ними. Довольная, счастливая, как и каждая женщина в обновке.

— Эти туфли хорошие, а те, другие, великоваты.

— Очень хорошо, в будущем году в самый раз станут. А эти вот и носи. Да поаккуратнее. Платье тоже побереги. Как говорится, ты одежду один раз побереги, а она тебя десять раз побережет.

— Ты, Фидур, становишься скупым.
— С чего ты взяла такое? — обиделся Данилыч. — Опять выдумываешь.

— Совсем не выдумываю. Ты, наверно, не захочешь угостить Тришку мандаринами, апельсинами.

— А-а, вон куда ты клонишь! — рассмеялся Данилыч. — Да мне-то какое дело, ведь все это богатство — твое, ты и распоряжайся.

— Но что с младшим урядником? Почему его надо угощать? С ним что-нибудь случилось?

— Ты, Ваню, оказываешься, не знаешь, что случилось с бедным Тришкой! Николай решил отомстить за своих родителей, да и сам едва остался живым.

— И что с ним теперь?!

— Ничего, — пожалала плечиками Афипса, — поправляется, но как только выздоровеет, генерал строго, очень строго накажет его.

— Что ты говоришь, откуда у тебя такое? — одернул ее Данилыч.

— А откуда, — нервничала Афипса, — генерал сказал ему: когда выздоровеешь, поговорим, разберемся с тобой. Очень был сердит Николай Павлович. Ты лучше скажи, как наказывают виновного в полку?

— По-разному, — ответил вместо Данилыча князь, — могут посадить на гауптвахту или того строже, смотря какая вина. Военные законы очень строги.

— Вот! Ты слышал, Фидур?

— Ладно, ладно, — примирительно сказал Данилыч, — иди, куда собралась. Да смотри, туфли не испачкай.

— Опять ты, Фидур? Что ли я маленькая!

Оставшись вдвоем, князь и Данилыч посидели молча, каждый думая о своем.

Данилыч тяжело вздохнул. Усмехнулся в усы:

— Вот так и живем, князь, не скучаем.

— Вижу, дорогой Федор Данилович, с Афипсой не заскучаешь, — засмеялся Амилахвари. — Она и вправду вытянулась и, как ты сказал, заневестилась. Меня же больше всего поразило, как она крестилась на образа, читала «Отче наш». Отец Георгий должен быть доволен ею.

— Да что отцу Георгию до бедной девочки, до ее беды. Он думает, если Афипса выучит молитвы, если он ее окрестит, то все пойдет само собой, все будет хорошо, Афипса станет счастливой. Не пойдет, ох, не пойдет, ваше сиятельство!..

— Может быть, ты излишне переживаешь, Федор Данилыч? Излишне? Возможно, все сложится благополучно благодаря Всевышнему.

— Ах, если бы! Ты видел, как она вырядилась! Ты видел, как она заторопилась в обновке к младшему уряднику? Раньше-то терпеть его не могла, а нынче — видишь! Каждый день к нему ходит, а то и дважды в день.

— Ну и что? Молоденький урядник, другого такого в полку и вовсе нет, с кем же ей поговорить. Да еще он ранен, да еще генерал может наказать его строго, а женщина — она и есть женщина, даже в своем малом возрасте. Милосердна, сердобольна, добра к несчастному. Это в женской природе, так что зря ты тут видишь нечто такое.

— Ты прав, князь. Мы, старики, только все поучаем молодых, надоедаем им, а душенька-то молодая свободы хочет, вот наша Афипса и тянется к молодому Николаю Тришкову. А к кому же еще... Да я, по правде сказать, другим обеспокоен больше.

— Чем же, Федор Данилыч?

— Да вот и при тебе заговорила о войне. Никакой управы на девчонку нет. Поговорим, поговорим с нею, как бы договоримся, а она опять и опять. Вот как сегодня.

— Я даже не знаю, что тебе посоветовать, как потушить в ней этот, я бы сказал огонь. Думаю, надо бы мне взять с собою Анну Александровну, привезти ее сюда. Очень бы это помогло — женский голос, женская, материнская доброта, мягкость. У девочки возникли бы совсем другие мысли, другая потребность во взгляде на жизнь. Ты заметил, как она наморщилась: «Лучше бы привез сюда свою Анну». Послушай, Федор Данилович! А не отвезти ли Афипсу в станицу Николаевскую?! Там бы в семейном кругу, среди гражданских людей смягчился ее характер, другие заботы возникли — житейские, семейные, вдали от пушечных выстрелов, от казармы, от солдат.

— Что ты! Господь с тобою, князь! — почти испуганно вскричал Федор Данилович и стал креститься на образа. — Как можно! Не вздумай об этом заговорить с отцом Георгием, он очень обрадуется, что можно избавиться от «басурманки». Он и так уж собирался было отдать ее в монастырь. Прошу тебя, ваше сиятельство. — Он встал, нервно прошелся по комнате. — Прошу, Ваню Гивич! Как же я, что я?.. Как же она без меня, среди чужих и чуждых людей! Нет, нельзя, пощади ее и меня!

— Да, да, — рассеянно проговорил князь. — Ты совершенно прав, а я толком и не знаю, зачем сказал такое... О каком еще монастыре речь может идти. Генерал не захочет из своей дочери сделать монахиню. Из такой прелестной девочки.

— Опасаюсь я, как бы отец Георгий Бальбуциев не уговорил всех, ведь он духовный пастырь полка.

— Вот беда, а я-то, грешным делом, полагал, что вы вместе со священником готовите Афипсу к принятию православной веры.

— Какое там! Как увидит девочку, так и пристаёт, почему она не целует ему руку, не складывает свои ладошки крестом и не просит его благословения. Он очень сердится, Афипса — тоже. Не любит она отца Георгия. Не знаю, как тут быть.

— Николай Павлович знает об этом?

— Сам-то он не видит этого, а сказать ему я не смею, как бы не получился донос на святого отца, очень большой это грех — неуважение к батюшке.

— О каком грехе, о каком доносе ты говоришь, Федор Данилович, — поморщился князь. — Мы все, весь сорок четвертый Нижегородский драгунский полк, отвечаем за судьбу Афипсы, за ее душу. Конечно, надо окрестить ее, но нельзя насилловать сознание, сердце. Очень продуманно, осторожно и, главное, с благородством следует это сделать. Без лишних усилий и давлений, дорогой Федор Данилыч.

— Верно, верно, Ваню Гивич. — Еще раз прошелся по комнате Федор Данилович, постоял у окна, глядя на горы, потом обернулся к князю, долгим просящим взглядом посмотрел на него: — Прикидывал я так и эдак, долго

размышлял и теперь смею нижайше просить тебя поддержать мою просьбу: пусть полк отдаст мне Афипсу, пусть отпустит меня со службы. Мы ушли бы с Афипсой, я воспитал бы ее, как родную свою внучку...

— Нет! — почти вскрикнул князь. — Проси, Данилыч, меня, о чем угодно, только не об этом. Не могу, не согласен, ведь Афипса дочь полка и моя дочь. Да и полюбилось мне это дитя, истинный Господь, полюбилось.

XI

Пришли с юга теплые ветры, пролились дождички и растопили снега. Подсохла на пригорках земля, зазеленела травкой, зацвела мать-и-мачеха, желтыми, яркими огоньками обрадовала луга. Только и остался сиротливо лежать снег в низинах и затишках, под еловыми лапами и в кустах, у заборов и плетней. Сиротливо, обреченно, грязно-серыми холмиками лежал он здесь, покорно ожидая своего конца.

Стали набухать почки на деревьях, засветились веточки верб, вот-вот вспыхнут первые белые алычи, а потом и ранние черешни и вишни.

Еще травка такая малая, что не очень-то ухватишь, но все равно рада скотина, что из тесных хлебов выпустили ее на простор, на солнышко. Радовались, приветно мычали коровы, блеяли овцы, орала петухи и квохтали куры.

Люди жгли дома, убивали друг друга, источали злобу, ненависть, а природа наперекор всему источала щедрость и для тех, кто убивал, и для тех, кого убивали, она не хотела, не умела различать добро и зло.

Люди вместо того, чтобы веселиться на лугу, как вон тот козленок или вороной стригунок, зачем-то затягивали себя в тесные мундиры, обвешивали тяжелым оружием и на утрамбованном плацу ходили шеренгами, нога в ногу, будто были связаны невидимой веревкой.

В горах, заглушая пение птиц, грохочут пушки. Раскатывается по теснинам громкое эхо, будто горы рушатся, будто земля стонет, отзывается этот стон в небе, бродит между облаками. Неужели же человеку дан разум, дано это чудо, чтобы разрушать, чтобы черным дымом

пожаров, их смрадом губить то, чему он должен радоваться. Поют солдаты грозные, боевые песни, словно музыка создана для угроз, для устрашений, а не для воспевания любви.

Возле калитки лежит старый дуб с уже оголившимися ветвями, с отпавшей корой. Ствол такой, что Афипса едва взбирается на него, а потом гуляет по нему, словно по просторной тропе.

— Николай,— крикнула она со своей высоты Тришкову,— а почему вон те солдаты, что строем идут, наверно, на войну, поют? Они от страха поют? Боятся, что их убьют? С песней умирать легче, что ли?

— Когда солдат идет в бой, он не думает о смерти, думает о жизни, уверен, что обязательно вернется героем.

— Странно — убивать с песней,— пожалала остренькими плечиками Афипса.— А моя мама пела, когда укладывала меня в постель.

— Они не только поют. Вернее, сказать, когда кинутся врукопашную, просто кричат.

— От страха?

— Не знаю. Может, от страха, а может, пугают врага.

— А ты кричал?

— Как и все.

— Отчего ты кричал? От страха иди пугал?

— Не знаю.

Она присела, сжав коленки, на краю дуба, смотрела на Тришкова сверху вниз:

— А скажи, ты убивал человека? Видел, как ты его поразил шашкой или выстрелил прямо в него из винтовки?

Николай не хотел прямо отвечать на этот вопрос, неприятное сомнение родилось в нем перед девочкой, перед ее детским (и в то же время не детским) взглядом, и он ответил уклончиво:

— Не с закрытыми же глазами я ходил в бой.

— Ты скажи — видел, как он умирал от твоей пули, от острой шашки?

— Ну... если бы не я его, так он бы меня убил.

— А-а! — вскричала Афипса, выпрямившись.— Махаджэ так же говорит!

— Не знаю, что говорит Махатадзе,— испытывая крайнюю неловкость, заговорил Тришков,— каждому не хочется погибать от руки противника, не хочется, чтобы его считали трусом. В бою есть свои законы, Афипса, которые невозможно нарушить, как реке невозможно снизу течь вверх.

— Ух, какой ты! — не зная, как еще можно возразить, Афипса спрыгнула и убежала во двор.

Данилыч, запрягая лошадей в телегу, слышал разговор Афипсы с Тришковым: «Ну востра, ну востра! Ну погоди, погоди, твое время еще впереди, не на такое будешь натываться. Господи, как мне уберечь ее? Да и возможно ли? Боже! Чем виноват перед Афипсой Махатадзе или этот младший урядник, еще почти мальчик? Господи, помилуй мя грешного, помоги мне, смиренному рабу Твоему».

Афипса пробежала мимо Федора Данилыча в дом, но тут же вернулась:

— Ты куда собираешься ехать, Фидур?

Он усмехнулся в усы:

— Если на телеге бочка, не за дровами же еду.

— Вижу, что по воду, вижу! — все еще горячилась Афипса.— Возьми меня с собой.

— Сначала остынь маленько, а то прямо дым из ноздрей идет!

— Фидур, зачем ты так!

Он рассмеялся:

— Вот теперь ты мне нравишься... А не взять ли нам с собою Николая?

— Ну его! Пусть сидит у калитки.

— Поссорились, что ли? — все улыбался Данилыч.

— Он защищает махаджэ.

— Хорошо, когда товарища защищают.

— Так то товарища, а не махаджэ.

— Афипса! Как тебе не стыдно! Сколько мы с тобой говорили об этом, ему и без твоих упреков так тяжело, что хоть на белом свете не живи.

— Не буду больше.

— Садись на повозку, бери вожжи, а я пойду открывать ворота.

— Николай, садись в повозку, съездим по воду,— позвал Данилыч.

Тришков вопросительно глянул на Афипсу, дескать, садиться мне или нет?

— Хватит дуться! — весело сказала Афипса. — Садись! Водички свежей привезем.

Обрадовался Николай. Сел на телегу, свесил ноги — хорошо стало, что между ним и Афипсой наступил мир.

Все последние дни то дул северный ветер, то сыпался все еще холодный дождь, один раз даже снежок сорвался, а сегодня выдался тихий, солнечный денек. Далекие снежные вершины гор были такими яркими, что казалось, будто они совсем рядом.

Лошади, весело пофыркивая, резво бежали вдоль берега речки. Ее воды были яркими, небесно-голубыми.

Дорога горная, неровная, вся в ухабах, поэтому повозку бросало из стороны в сторону, причиняя Николаю сильную боль, — раны плеча и груди, хоть и затянулись, но все еще болели, когда встряхивало. Было так больно, что он едва сдерживал стон, прикусывая губы.

Оглянулся Данилыч:

— Э-э, парень, да ты совсем бледный! Что же ты молчал, сердешный мой?

Афипса глянула и тоже почти побледнела, будто ощущала ту боль, что и Николай:

— Останови, Фидур! Пойдем, Николай, слезай. Пешком пройдемся. Дай я тебе помогу, — и она, соскочив с повозки, протянула ему руку. Они пошли берегом.

Хорошо им было. Так хорошо, как редко бывает людям.

Разговаривала речка, громко, по-весеннему радостно звенели синицы, орали грачи.

Данилыч сдал задом в речку и стал наполнять свежей водой бочку.

Молодые сидели на коряге у самого берега.

— Погляди, Николай, у неба и у речки одинаковый цвет. Веселый-веселый и такой голубой!..

— И твои глаза тоже стали вроде голубыми. От речки, от неба это.

— У тебя тоже голубые. Совсем-совсем! Не надо ломать веточку, дереву больно!

— У нас такие вот беленькие цветочки на вербе называют котиками.

— Во как смешно: котики!

— Я и хотел подарить веточку. Маленькую. Думаю, верба за это на меня не обидится.

Заулыбалась Афипса, понравилось сказанное Николаем.

— А что я хочу у тебя спросить: ты крещеный?

— Да, конечно. У нас в полку все — и офицеры, и солдаты — православные. Обязательно.

— Грузин Амилахвари тоже крещеный?

— Обязательно.

— Расскажи мне, как тебя крестили. Это страшно?

— Почему страшно? — удивился Николай. — Это великое таинство искупления грехов, это радость человеку, но как меня крестили, не помню, ведь я был совсем маленьким.

— А меня-то будут крестить уже взрослую! Как это будет не знаю.

— Для младенцев есть свой ритуал, а для взрослых — свой. Поведут тебя в храм и совершат таинство крещения, дадут тебе православное имя.

— Как это?!

— Очень просто. Афипса — это мусульманское имя, а раз ты примешь православие, нарекут тебя именем православной святой.

— Ой, как интересно! А скажи: махаджэ тоже православный христианин?

Не успел Николай ответить — увидел на другом берегу у давней излучины речки двух черкесских всадников с ружьями. Один что-то кричал, а другой размахивал кулаком.

«Адыги» — забилося сердце Афипсы.

— Что они хотят? — спросила она Николая.

— Приветствуют нас, — ответил он.

— Кулаком? — удивилась Афипса.

Тут-то в утренней тишине, в весеннем празднестве и раздались два винтовочных выстрела.

— Не бойся, Афипса, их пули сюда не долетят — слишком далеко.

— А я и не боюсь.

И это правда, она совсем не боялась пуль, она просто о них не думала: сердце зажглось у нее не то радостью, не то тоскливой болью. Ей почудилось: еще мгновение — и она очутится на другом берегу, умчится на коне с адыгами.

Куда, зачем?! Это совсем не важно!

Однако адыги уже ускакали. Их будто ветром принесло на тот взгорок и ветром же унесло.

Данилыч бросил коней в галоп, чтобы забрать Николая и Афипсу:

— Скорей, скорей садитесь. Надо быстрее уходить!

— Фидур, Николаю тяжело!

— Придется потерпеть! — Данилыч погнал лошадей.

Стучали колеса, трещала телега, грозясь вот-вот развалиться, выплескивалась вода из бочки.

— Но ведь за нами никто не гонится, Фидур! Пожалей Николая, ему так больно!

— Замолчи! — приказал Федор Данилыч. — Ты еще не успеешь и подумать, как они окажутся впереди, ты плохо знаешь черкесов!

Билось ее сердце: она «плохо знает черкесов», а если бы пули могли достать их, если бы одна из пуль ударила ее? Откуда они появились, ведь Фидур говорил, что отсюда все адыги ушли в горы... И какие красивые они, те двое, на конях, какие ловкие и быстрые!

— Посмотри, Афипса, кто нас встречает?! — обрадовался Данилыч.

— Миши-и-ид! — обрадованно закричала Афипса. — Он, наверно, бежит нам на выручку...

Прошло несколько дней.

— Фидур, ты почему меня обманул, сказал, будто здесь уже нет адыгов?

— Что ты! Я и в мыслях не держал такого! Ты и сама знаешь, в здешней стороне нет черкесов.

— А откуда те двое взялись?

— О-о, откуда! Они народ летучий. Как ветер: его не видно, а он есть. Только что было совсем тихо, а потом такое закрутит, такое разгуляется, не приведи Господь. Нет их вроде бы на этой земле, нету вблизи Шабежско-Ге-

оргиевской крепости, да это только кажется, ты же сама их видела.

«Вон они какие мои адыги», — слушая Данилыча, улыбалась Афипса. Тепло, тепло стало у нее внутри. Тепло и радостно. Как-то печально-торжественно.

Афипса заплакала. Сначала беззвучно, а потом громко, навзрыд. Обнял ее Федор Данилович и почувствовал, как по его старческим, морщинистым щекам тоже побежали слезы.

— Девочка моя, доченька моя родная...

XII

Чем выше поднималось солнце над горизонтом, чем красивее становилась в весенних одеждах земля, тем жарче разгоралась война, тем безнадежнее становилось положение адыгов, со всех сторон обложенных царскими войсками.

Очень мало было у адыгов пушек, пороха и свинца для ружей, яростнее становились рукопашные схватки, ведь у них только и остались кинжалы, сабли да собственная беззаветная храбрость. А еще — горячая, алая кровь, которой они обильно поливали землю своих предков, землю своих детей.

Чем крупнее, сильнее человек, тем он добрее, честнее. Так думали адыги и о великих державах — Англии, Франции и Турции, когда те выступали на защиту Черкесии, ее народа. Верили их сердоболию, доброте, их обещаниям помощи, решительности, но проходили годы, десятилетия, и те посулы превращались в дипломатические хитросплетения, а помощь была такой незначительной, что ее едва хватало, чтобы не потерять адыгам веры в свои силы. «О, великие державы, — иногда восклицали старики, — как мала, почти ничтожна ваша искренность, как велико для вас самих ваше «я», и по нашей вере в Аллаха и по вашей в Христа нет большего греха, чем обмануть, обидеть малого сего: соблазн прийти, но великое горе тому, через кого он пришел на эту грешную землю».

Свои собратья, кавказцы, тоже хороши: сколько имам Шамиль и его наиб Магомед-Амин разжигали огонь нена-

висти адыгов к русским, а теперь благополучно сдавшись в плен им, жили там, как говорится, припеваючи...

А война на Западном Кавказе между тем разгоралась все жарче. В эти дни повсюду только и было разговору о скором приезде царя Александра Второго в Черкессию. Войска готовились к торжественной встрече самодержца, хотели продемонстрировать ему силу его армии, ее боевой дух и преданность Российской империи, а для этого надо было подальше в горы загнать адыгов, стереть с лица земли их селения.

Вот и получалось: кому праздник, а кому — кровавые слезы... Те двое конных адыгов — зачем появлялись они у крепости, чего хотели? Неизвестно Данилычу, а то, что они принесли ему беду, так и говорить нечего.

Афипса жила в крепости, хоть и с трудом, все ж свыкалась со своей неволей — иначе и не хотела называть свое положение — ведь ее воля там, в горах, где на одной высоте с орлами живут адыты, там, где земля сходится с небом, где джигитуют на резвых скакунах такие же красивые и смелые люди, как те двое, не побоявшиеся прискакать к крепости.

«Зачем они, зачем,— все спрашивала себя Афипса и с чисто детской фантазией, с верой в эту фантазию отвечала: — они знали, что я здесь, это ко мне приходили и стреляли вовсе не для того, чтобы убить кого-нибудь, а подать мне сигнал».

Сильно переменилась с того дня Афипса: стала такой же строптивой и своенравной, как раньше, не смотрела на солдат, а словно с ненавистью выглядывала из своего укрытия. Стала плохо есть, похудела, потускнела лицом и глазами. Редко выходила гулять, если выходила, то взбиралась на поваленный ствол дуба и сидела там, безмолвно и тоскливо глядя на горы. А то и вовсе сядет у окна, облокотится о подоконник, подопрет ладошкой щеку и сидит, будто старушка. Живая и подвижная, как и полагается детям, стала совсем вялой. О молитвах и говорить нечего: раньше сама молилась утром и вечером, перед обедом, а теперь — нет. Даже если и напомнит Данилыч, она прочтет молитву так, будто она ей совсем чужая, даже неприятная.

Ушел из лазарета Николай Тришков. Случалось, зайдет она в палату, где он лежал, постоит у порога молча, посмотрит на пустую койку и уйдет. Как знать, возможно, вспоминает свои встречи с младшим урядником, разговоры с ним. Случалось, улыбнется пустой койке, наверно, подумав, что не наказал генерал Николая, не наказал, потому что у младшего урядника «был хороший адвокат».

День клонился к вечеру. Афипса сидела у калитки на врытой в землю лавке.

Подошел доктор Плуталов, сел рядом:

— Добрый вечер, Афипса.

— Добрый вечер, Сергей Петрович,— как-то вяло ответила она.

— Славный вечерок. Свежий такой, душистый. С гор спустился.

— Да, да! — обрадованно согласилась Афипса,— такой хороший, с гор спустился.

— Что-то, девочка моя, ты стала редко выходить на улицу, совсем забыла о своем дубе, не резвишься на нем, как бывало, что-нибудь случилось? Уж не заболела ли?

— Нет, доктор, я здорова.

— И в лазарет совсем не ходишь.

— А зачем туда ходить — я здорова.

— Раньше-то ходила.

— Приходила проведать младшего урядника, поговорить с ним немного, чтобы он забыл о своей болезни. Николая Павловича я тоже давно не видела, совсем он забыл о нас, о лазарете.

— Неправда, он недавно был. Как прежде, разговаривал со всеми больными.

— А обо мне не спрашивал? — почему-то встревожилась Афипса.

— Спрашивал, хотел повидаться с тобою, но вы с Федором Данилычем были в церкви. Очень обрадовался генерал, узнав, что ты пошла в храм Божий. Не застал вас Николай Павлович и потому пошел к Мишиду, с ним позабавился и уехал. Тебе нравится Михайло-Архангельский храм?

— Нравится. Там все так красиво, все блестит золотом, да вот только... запах какой-то непонятный и неприятный, дыму зачем-то много.

Пришел Федор Данилович, принес шерстяную шаль:

— Накинь на плечи, дочка, а то уже прохладно. Я не помешал вам беседовать, Сергей Петрович?

— Полноте, Федор Данилович, какие церемонии. Присаживайтесь. Мы с Афипсой говорили о Михайло-Архангельской церкви. Ей там очень нравится, только смущает, как она сказала, неприятный запах и дым.

Усаживаясь на скамеечку, прихваченную с собой, засмеялся Данилыч:

— Чудачка. С непривычки ей это. Ладан очень приятен на запах и синий дымок приятен.

— Когда свечи горят, когда этот... ладан дымит, тебе это нравится, Сергей Петрович?

— Да! Я очень люблю запах ладана, люблю запах горячей свечи, лампадки. Дома частенько их зажигаю, когда становлюсь на молитву.

— А генерал, Николай Павлович, у себя дома тоже зажигает лампадку и свечи?

— Конечно, а разве вы у себя не зажигаете?

— Бывает, что зажигаем,— ответил за Афипсу Данилыч.— Ничего, она привыкнет к запахам храма.

— Думаю, девочка моя, ты обязательно полюбишь запах ладана, горящих свечей и лампад, однако главное в храме — твоя молитва, проси Отца Небесного, чтобы Он укрепил твой дух, помогал тебе жить во имя Великой Истины Отца и Сына и Святаго Духа.

— Как же я могу, Сергей Петрович, разговаривать с Богом, если некрещеная?

— Если ты уже поверила в Господа нашего Иисуса Христа, значит, можешь к нему обращаться. Он обязательно тебя услышит.

— Фидур, а ты знаешь, что Николай Павлович тоже будет в храме?

— Конечно, дочка, Николай Павлович обязательно будет в храме, и князь Амилахвари будет, и другие офицеры полка. Как же иначе!

— Не все офицеры полка придут! — нахмурилась Афипса.— Махаджэ не придет.

— Если ты не захочешь, он не придет,— смутился Федор Данилыч.

— Не хочу! — еще сильнее нахмурилась Афипса.

— Зря ты так, моя хорошая, зря, моя добрая. Ведь станешь православной христианкой, а для христиан главное — это любовь к Господу и к ближнему. Больше того, девочка моя хорошая, возлюби врага своего...

— Нет! Я говорю — нет! — привычно вздернув узкими плечами, сказала Афипса. Резко встала, позвала Мишида и ушла с ним во двор.

— Слава Богу, что она согласилась принять крещение. Не все, конечно, понимает из христианства, не все принимает и будет исполнять. Ведь даже мы сами далеко не во всем следуем его заповедям. Ой, далеко не всегда. Часто так грешим, так уходим в сторону! Думаю, со временем низойдет и на нашу девочку Господня благодать, на ее доброе сердце.

— Дай Бог, дай Бог! — перекрестился Данилыч.

— С Николаем Тришковым у них наладились добрые отношения. Два молодых сердца быстрее находят друг друга.

— Что ты говоришь, Сергей Петрович,— находят друг друга! Она же еще совсем ребенок. Грех это, грех!

— Напрасно ты так, Федор Данилович. Ежели я говорю, что двое молодых нравятся друг другу, это не означает дурное, нельзя думать о них дурно. Просто у них добрые, чистые, даже красивые отношения, и никакого греха в этом я не вижу.

— Ну, коли так, другое дело. Если честно сказать. Я очень доволен, что она примирилась с Тришковым, смирила свое гордое сердце, и он — молодец, одолел свою ненависть, хотя бы к одной черкешенке. Слава Богу!

— Ал-л-а-ху ак-ба-а-р! Ла-а-ил-ла-а-ху ил-ла-ла-а-ху-у!.. — донесся из-за речки призыв на молитву.— Ал-ла-а-ху-у, ак-ба-р!

— Что это?! — удивленно и озадаченно воскликнул Данилыч. Поднялся и увидел во дворе Афипсу. Она стояла бездыханно...— Господи, Господи, что ж это будет?!

Поднялся доктор, тоже увидел Афипсу:
— Будет то, что и должно быть. На все воля Господня.

Вечером Данилыч по обыкновению уложил в постель Афипсу, перекрестился и ушел в другую комнату, взял в руки балалайку, заиграл.

Как-то князь Амилахвари говорил: «Что за прелесть твоя музыка, Федор Данилович».

«Никакая это не музыка, — отвечал, грустно улыбаясь, Федор, — это слезы души моей, ими только и можно облегчить ее тоску да боль, этим теньканьем да бреньканьем только и вздохнешь, забудешься, а то и вовсе возвеселишься тихим, особым весельем, может, вот так же малая пичуга своей нехитрой песенкой веселит себя...»

Заиграл тихонько Федор Данилович, улыбаясь балалайке, вечернему свету в раскрытом настежь окне...

ХШ

Прошло немало времени, прежде чем Афипса немного успокоилась после того, как увидела на берегу реки двух конных черкесов, когда услышала с того берега призыв к молитве муэдзина.

Данилыч теперь не берет ее, когда ездит на базар, за водой и за дровами в лес — боится, как бы вновь не случилась беда с девочкой. Чуть начинает смеркаться, он наглухо закрывает внутренние ставни на окнах, занимается разными домашними делами, а потом, помолвившись перед образами, перед зажженной лампадкой, ложится спать, чтобы открыть ставни, когда уже совсем рассветет и взойдет солнце. Старается Федор Данилович меньше говорить по-адыгски, рассчитывая таким образом дальше увести Афипсу от ее прежней жизни, приблизить к русской, но однажды они чистили картошку, и Афипса сказала по-адыгски:

- Мы с тобой, кажется, уже совсем обрусели, а?
- Почему ты так говоришь? — по-русски спросил он.
- Я иногда думаю, что ты забыл адыгский.
- А-а, вон ты о чем! — продолжал он по-русски отвечать на ее адыгский. — Как это я могу забыть! Ты просто

забыла, что мы с тобой уговаривались до твоего крещения не говорить по-адыгски.

- Ни единого словечка?!
- Так уговаривались, а уговор дороже козанков.
- Каких еще козанков?!

Рассмеялся Данилыч:

— Кости такие, из коровьих ног. Мальчишки в бабки играют. Игра такая у нас. Козанок — самая дорогая фигура.

- Ни слова по-адыгски? Нет, так нельзя.
- Почему?

— Да потому. Сам подумай.

— А чего думать? Ты ведь по-русски говоришь лучше моего.

— Как это я могу по-русски говорить лучше тебя, русского человека?

— Ты же не только у меня, а и других солдат, у офицеров учишься говорить. Лучше моего иные слова ты иногда выговариваешь.

— Пускай и так, но ты все-таки подумай.

Что она опять затеяла? Ведь все уже так хорошо наладилось. Афипса без напоминания молилась утром, вечером, перед едой, грузинская и черкесская куклы сидели на комод, Афипса теперь играла с Машей, говоря с ней только по-русски, и вот тебе на!

— Я подумал: мы с тобой не будем говорить только по-русски, — твердо сказал он.

— Ага! — захлопала она в ладоши, — сдаешься!

— Вообще не сдаюсь, просто решил тебя уважить. Немного можешь поговорить на своем языке. Но только немного, ведь уже скоро твое крещение.

— Совсем не скоро. Еще целая неделя!

— Она проскочит, как один короткий зимний день.

Странное дело происходит в этой жизни, размышлял Данилыч, конечно, кое-чему он научил Афипсу, но только кое-чему, по-мужски, а откуда у нее взялось остальное, чисто женское? Ладно, если бы в крепости жила хоть одна женщина, а то ведь только мужчины, да и они ведь не хозяйственные, казарменные. Афипса прекрасно готовила все черкесские блюда. Руки мыла, умывалась несколько раз в день, причесывалась, заплетала косу

тщательнейшим образом и очень красиво, всегда была покрыта платочком, если в доме был хоть один мужчина. Сидела всегда красиво. Вот и сейчас на скамеечке, когда чистила картошку: коленки вместе, в сторону от Данилыча. А как в доме убирает, как стирает, гладит, как умеет зашить, пришить! И откуда у нее все это? «Природа-матушка, хорошая наследственность», — говорил доктор Плуталов. И работница, работница! Ни минуты не может сидеть сложа руки — всегда себе дело найдет, если не в доме, так во дворе — подмести, грядку прополоть, цветы на клумбе полить. «Ну хозяйюшка, ну хозяйюшка кому-то достанется!» — радовался Данилыч.

Начистили картошки, Афипса будет жарить.

— Да! Чуть не забыл! — воскликнул Данилыч. — Тебе привет!

— От кого?

— Угадай.

— От Ваню?

— Нет. Подумай лучше.

— От Николая Павловича?

— Опять же нет.

— Тогда от отца Георгия.

— Мы виделись с ним, он справлялся о тебе, но привета не передавал. Ну!

— Тогда не знаю. — Она сразу же, конечно, подумала о Николае Тришкове, но сознаться в этом, считала, неловко, нескромно.

— Ну же, ну же, Афипса! Неужели ты больше никого не знаешь из солдат и офицеров нашего полка?

— Знаю, да вот не могу угадать. Скажешь, вот тогда и узнаю.

— Нет, сама догадайся.

— Ну и не надо, буду я еще голову себе ломать.

— Эх ты! Николай Тришков!

— Пыф! — по-адыгски воскликнула Афипса и отвернулась в сторону. — Больно он мне нужен!

— Пошто так! Или опять поссорились?

— Ничего не ссорились, просто Николай защищает махаджэ... Фидур, ты почему так плохо почистил картошку? И срезал толсто, и глазки пооставлял.

— Конечно, и толсто срезал, и глазки оставил. Пальцы у меня старые, плохо слушаются, не то, что твои — тоненькие, ловкие. Ты думаешь, хватит на всех?

— А сколько будет всех?

— Пятеро из лазарета, мы с тобой да Сергей Петрович.

— Думаю, хватит.

— Ну и ладно.

— Ты, Фидур, убирай здесь все хорошенько, а я сбегаю за водой.

На улице застучали повозки, заржали лошади, загомонили солдаты.

Данилыч и Афипса заторопились во двор. К лазарету подъезжали две повозки с ранеными.

— Господи, помилуй, Господи, помилуй нас, — перекрестился Данилыч. — Раненых привезли.

У одной из повозок Афипса увидела Тришкова. Младший урядник наклонился над раненым:

— Бесо! Бесо Виссарионович, не уходи, не умирай! — и зарыдал Николай, припав головою к умиравшему.

— Ушел, скончался Бесо Виссарионович. Успокойся, Николай, не тревожь отлетевшую душу, — сказал доктор, обняв Тришкова за плечи.

Афипса не сразу поняла, что случилось, а поняв, как-то вся обмякла — так бывает, когда человек сбрасывает со своих плеч тяжесть. Никак не могла она объяснить свои чувства, даже разобраться в них не могла, только чувствовала слабость. И голова закружилась. Сладостно закружилась. Вот как слезы бывают сладкими.

И вдруг громко воскликнула:

— Мишид, махаджэ убили!

— Что ты говоришь, доченька! — старик обнял ее, зажал ладошкой рот. — Покойник перед нами. Надо молиться. Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных. Помяни, Господи, в царствии Твоем раба Твоего Бесо, прости ему все его прегрешения. — Он трижды перекрестился, трижды перекрестил Афипсу.

У нее же кружилась голова.

Гроб с телом Махатадзе стоял на четырех табуретках во дворе полкового лазарета.

Приходили солдаты, офицеры, приносили цветы, сняв шапки, крестились.

Зажгли свечи.

Батюшка Георгий в блестящей на солнце фелони, с кадилом отпевал покойника. Слова молитвы были протяжными, голос священника, низкий, рокочущий, казался Афипсе угрожающим.

Она смотрела из окна своей комнаты на Махатадзе и не узнавала его, чудилось, кто-то другой, незнакомый лежал в гробу с плотно закрытыми глазами. А еще ей казалось, что, кроме покойника, офицеров и солдат, священника, Федора Даниловича, князя Амилахвари и доктора, у гроба и здесь, в ее комнате, находился еще кто-то. Его не видно, не слышно, а он есть. Афипса боялась смотреть в углы комнаты, за комод, боялась смотреть на гроб и на куст шиповника. От его присутствия ей становилось зябко, хотя и одета она была в платье, на плечах — шерстяная шаль, голова повязана платком.

Зябко и страшно было Афипсе.

Стоял у изголовья Махатадзе Николай Тришков и плакал. Не стеснялся своих слез. Потемнел лицом от горя Ваню Гивич. Доктор горевал, раскачиваясь из стороны в сторону. «А Фидур-то чего!» — возмутилась Афипса.

Люди подходили и подходили, снимали шапки, крестились, кланялись.

Неожиданно слезы полились из ее глаз: никто не похоронил ее мать и отца, никто не пришел, чтобы проводить к Всевышнему, а этого убийцу вон как провожают!

Горько плакала Афипса. В гневе отошла от окна. В гневе и жалости к себе, к своему несчастью.

Тихонько скрипнув дверью, вошел Данилыч.

— Ты где пропал, Фидур?! — сердито глянула она на него.

— А где я еще мог быть, Афипса, — во дворе, у гроба.

— Чего они так долго возятся с махаджэ?!

— Да что с тобой, девочка, — истово перекрестился Данилыч, — там покойник, понимаешь, — покойник, его душа перед Господом, а ты! Уймись, смири гнев свой перед вечностью, перед великой тайной смерти и вечного покоя.

— А-а, тайна! Перед Господом!

— Умоляю, успокойся, не говори так громко.

Афипса теперь заговорила негромко, но с неменьшим горем и гневом:

— Его провожают к Богу, а он бросил моих родителей в лесу, на растерзание диким зверям.

Кинулась Афипса к Данилычу, обняла его и дала волю своим слезам, своему горю.

Он гладил ее подрагивающие плечи, головку и тоже тихонько плакал:

— Хорошая моя, доченька моя, успокойся Бога ради, смири себя, уйми свой грех... Не бросал он твоих родителей в лесу, истинный Господь, не оставлял. Я был с теми, кого посылали, чтобы привезти их тела.

Афипса отстранилась от него, умоляюще посмотрела:

— Где же тогда их могила?

— Не знаю.

— И знать не можешь, потому что вы не знали, где их искать.

— Как же не знали, доченька, ведь с нами был Бесо Виссарионович Махатадзе.

— Этот убийца?!

— Тихе, Богом молю тебя, покойник во дворе... Мы с ним искали тела, но не нашли, был слух, что черкесы их забрали. Истинный Господь. Конечно, черкесы забрали, иначе куда им деваться.

— Если черкесы, значит, похоронили на своем кладбище, похоронили, как надо?

— Конечно, конечно.

— Почему же ты раньше мне этого не сказал?

— Думал, уже все забылось у тебя, не хотел сердечко твое мучить.

— Что ты говоришь, Фидур! Если бы сказал, многое было бы иначе.

— Прости меня, доченька, прости старого непутевого... Я пойду во двор.

— Я тоже, — решительно глянула Афипса на Данилыча и направилась за ним, но у двери остановилась. — Нет, не могу. Не сердись на меня, Фидур, не могу.

— И не ходи, — пожалел он Афипсу, — никто тебя не осудит, все знают о твоей беде.

Ушел Данилыч.

Упала Афи́пса на кровать и опять зарыдала, только теперь уже не знала: плакала по-прежнему от ненависти к Махатадзе или от жалости к нему. Не знала она, как быть, какому Богу помолиться, и решила сначала помолиться Аллаху, а потом прочитать «Отче наш». Надо бы ту молитву, которую читал отец Георгий у гроба, но она не знала ее.

Прочитала Афи́пса молитвы и легко стало ее сердцу, не страшно было смотреть на гроб, в углы комнаты, под куст шиповника. И совсем успокоилась, когда перекрестилась на образа.

XIV

Даже обыкновенная житейская истина не так проста в самом деле, как покажется на первый взгляд, а уж о сути души человеческой, даже если это душа ребенка, и речи вести не приходится.

Умер Бесо, и старик увидел у Афи́псы на лице мстительную радость. Конечно, Данилычу обидно было видеть это. Обидно и больно, однако можно ли и Афи́псу винить. Даже мать Бесо разве стала бы винить девочку, родителей которой убил ее сын. А сама она как бы отнеслась к тому, кто убил ее сына!

«Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всемогущими мольбами отжени от мене, смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего»... — молился Данилыч перед образами.

С большущим букетом цветов влетела Афи́пса, будто веселым ветром ее принесло:

— Посмотри, Фидур!

— Ух, какие красивые, какие душистые цветы! — воскликнул Данилыч. — Где ты их набрала?

— Ты смешной, Фидур. Разве не знаешь, где растут цветы?! На нашем лугу! Уй, сколько их там!

— Ты ходила на луг одна?! — встревожился Данилыч.

— Нет! С Мишидом!

— Ну ладно хоть с Мишидом. Не ходи из крепости одна, я тебя прошу. А цветы очень красивые и такие душистые, словно бы к нам в дом сам луг пожаловал.

— Солнышком и небом они пахнут.

— Спасибо, доченька, за такую радость, которой ты украсила нашу тихую комнату.

— Совсем не комнату! Разве ты не собираешься на кладбище, разве забыл, что сегодня воскресенье? И многие, многие идут на кладбище. Много-много людей пришло на луг за цветами.

— Не сердись на меня, моя хорошая, старики все забывчивы, у них слабеет память. Спасибо, что напомнила...

Очень хотелось Данилычу, чтобы Афи́пса пошла вместе с ним на кладбище. Это было бы не Бог весть что такое, думал старик, а все смягчило бы, может быть, ее душу. Хорошо это, хорошо — побывать на кладбище, положить цветы. На могилу Махатадзе. Очень хотелось этого Данилычу, да как скажешь, чтобы не обидеть девочку, не рассердить ее.

Он осторожно, мягонько заговорил:

— Погодка нынче такая славная. И солнышко, и небо тихое. Народу на кладбище соберется много. Из станиц придут почтить память тех, кто ушел в мир иной. Наши молитвы, наша память об ушедших облегчает их участь в вышнем мире. Особенно мы должны молиться в первые три дня после смерти, девять, сорок дней. Это самые трудные дни для них, они очень нуждаются в наших молитвах. Положишь цветы на могилку, это и есть твое уважение к усопшему, помолишься — и вознесется твоя молитва в небеса. Да и потом, после сорока дней, пока живем в этом бренном мире, должны молиться об ушедших: «Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих...»

Афи́псе хотелось сказать Федору, что она совсем не хочет, не будет молиться за того, кто ей ненавистен. Хотелось сказать, но сдержалась и очень обрадовалась этому, обрадовалась своей сдержанности. Афи́пса разгадала хитрость Данилыча и ответила ему своей хитростью:

— Цветы эти Николай Тришков просил тебя отнести на могилку. Ему некогда, не сможет он пойти сегодня, вот и просил тебя.

— Что ж не отнести — это святое дело. А я, грешным делом, подумал, что ты сама додумалась, сама захотела сделать святое дело.

— Конечно, Фидур, я сама додумалась тоже, но первым сказал Николай, он просил меня.

— Получается, оба вы молодцы, решили сделать доброе дело. У адыгов пословица такая есть: сделай добро, брось его в речку, и оно обязательно вернется к тебе сторицей.

— Это что — сторицей?

— Во сто раз больше того, что сделал ты... Однако на чью могилку он велел положить цветы?

— На могилку того, кого оплакивал недавно.

— Спасибо Николаю, он настоящий христианин. Душа недавно погребенного еще витает над нами, нуждается в нашей молитве, чтобы потом отлететь на суд к Господу Богу.

— Фидур, а скажи мне, пожалуйста, у адыгов тоже кладут цветы на могилы?

«О Господи, дитя мое милое, как накрепко ты связана со своей родной землей, со своим несчастным народом. Ты еще многого не понимаешь, но сердце твое все знает, все чувствует. Да будет благо тебе и твоему сердцу за это, да окажет тебе милость Свою Отец наш Небесный!» — подумал Федор и сказал:

— Нет, Афипса, насколько я знаю, насколько помню ваши обычаи, не носят адыги цветы на могилы. Живой цветок утром сорвали, а к вечеру он уже увял, умер, коротечна жизнь его, потому они и не кладут на могилы, на дома вечности. Так мне помнится. Мне пора, пойду на кладбище, а ты оставайся дома, если... если тебе не хочется пойти со мною.

— Я не знаю... я провожу тебя до околицы. Провожу и немного прогуляюсь по солнышку.

«Ах, ты моя хорошая, ах, моя бедная, как трудно тебе!»

— И то дело, прогуляешься по солнышку.

Вот она улица, вот другая, а вот и околица, за которой начинается луг, расплескавшийся веселым разноцветьем, яркой зеленью до самого леса, до его могучей темной стены.

Афипса то ли не заметила, то ли схитрила и пошла луговой тропинкой:

— Ты видишь, Фидур, сколько много цветов, ты видишь, какие они красивые! Ничего красивее их и не бывает, правда?

— Не знаю. Много красоты в этом мире.

— Много красоты, но цветы всех красивее. Я наберу еще немного, положи побольше, если это доброе христианское дело, если и нам кто-то сделает добро.

— Обязательно, обязательно сделает. Вот мы и пришли, тут уже и могилка недалеко. Положим цветы и вернемся вместе.

— Что?! — как вкопанная остановилась Афипса, глаза ее вспыхнули гневно. — Пошли, Мишид, домой! — крикнула она собаке и стремглав кинулась обратно.

Запыхавшись, опустилась на лавку у двора.

Данилыч долго смотрел ей вслед: «Помоги. Господи, рабе Твоей Афипсе унять мятежную душу свою».

Не сиделось ей на лавке, она пошла в комнату, но и там не находила себе места.

В крепости с двумя короткими улицами было едва ли больше полусотни домов. Пусты были эти улицы, пусты дворы, только трое раненых сидели во дворе лазарета.

Солнце тем часом медленно карабкалось в зенит, чтобы оттуда лучше осветить, обласкать землю. Легкий ветерок тербил травы, шептался с молоденькими, только что проклюнувшимися листьями. Речка шумела дремотно, даже ласково, не тревожа покой дня. И уж совсем покойно-величественны были дальние горы в белоснежных папахах.

Ударил колокол. Раз, другой, одухотворяя тишину, призывая верующих к воскресной службе. Заблаговестил колокол, а потом заговорили меньшие, переливчато выстраиваясь в праздничный, торжественный хоровод.

Вскочила Афипса, заторопилась в дом. Стала пред образами, трижды истово перекрестилась:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа... Господи, принеси людям мир и согласие. Живым дай радость бытия, души мертвых упокой в царствии Твоем. Того, кто убил моих ни в чем неповинных родителей, накажи, сожги в геенне огненной. Фидуру ниспошли здоровья и многая

лета. И Ваню Гивичу, и Тришкову Николаю. Пусть шальная, слепая пуля пролетит мимо них... Николаю Павловичу, доброму человеку, тоже дай все Твои блага. Не виновен он, не виновен, не он посылает солдат убивать адыгов, как сказал Фидур, посылают те, кто над ними...

Скрипнула дверь. Вошли отец Георгий и Федор. Они остановились сзади Афипсы и стали молиться. Помолвившись, отец Георгий похвалил:

— Молодец, Афипса, будешь достойной христианкой, помогай тебе Всевышний. Как ты живешь, все ли у тебя хорошо, не жалуешься ли на что?

— Живу, батюшка, милостью и волей Божьей. Все у меня, все у нас с Фидуром хорошо, слава Господу нашему.

— Видишь, отец Георгий, все у нас хорошо, девочка наша, дочь полка нашего растет в вере христианской, Господь всегда на ее детских устах и в сердце чистом, смиренном.

— Вижу, Федор Данилович, — зарокотал своим густым басом отец Георгий, потрянув зачесанными на пробор локонами темно-русых волос, лежавших на его широких плечах. — Как ты думаешь, Федор Данилович, в следующее Воскресенье окрестим дочь нашу, совершим великое таинство во имя Отца и Сына и Святаго Духа?

Афипса согласно склонила голову.

— Да, да! — уверил Данилыч. — Мы уже готовы, так что не тревожься, отец Георгий.

— Ну и слава Богу, ну и слава Богу, — пророкотал священник, протягивая руку Афипсе для поцелуя.

Замер Данилыч в ожидании: как поступит Афипса, не заупрямится ли, как случалось раньше.

Не заупрямилась. Взяла в свои маленькие ладошки большую мягкую розовую руку отца Георгия и легонечко прикоснулась к ней губами.

Доволен, доволен остался отец Георгий. Погладил по головке Афипсу, благословил крестным знаменем и ушел.

— Спасибо, доченька, спасибо, моя родная, не подвела старика. Господь тебя возблагодарит за это.

— Разве Богу стоит из-за этого благодарить меня, у него других дел нет, что ли?

— У Господа нет более важных дел, чем забота о возлюбленных детях своих. И к отцу Георгию ты отнеслась достойно, уважительно, как и полагается нам, грешным.

— Это из-за того, что я ему руку поцеловала?

— Ты же не просто руку поцеловала, ты сердцем своим выказала отцу Георгию уважение!

— Ой! — усмехнулась Афипса. — А если я просто так — чмокнула да и все? Чтобы не сердился на меня, а главное, на тебя.

— Афипса, не грехи, не гневи Бога!

— Разве Богу лучше, Фидур, если красивую, но неправду скажешь?

— Доченька! Умоляю тебя!

— Ладно, ладно, я пошутила.

— То-то! Гляди у меня! — нахмурился Данилыч, гроздя ей пальцем.

А через некоторое время Афипса спросила:

— Выходит, мы не пойдем в следующее воскресенье в церковь?

— Как не пойдем?! Ты опять за свое!

— Не сердись, Фидур, я хочу, чтобы Господь не рассердился на меня, ведь Он, как ты говоришь, все знает о нас, о наших мыслях.

— Знает, обязательно знает! — сказал он и взмолился про себя: «Господи, спаси, сохрани и помилуй дитя Твое малое, помоги, Господи, внуши!»

Не слышала Афипса молитвы Федора, но знала, о чем он молчит, о чем тревожится сердцем своим. Жалко ей стало Данилыча. Она подошла к нему, обняла:

— Господь милостив, как ты говоришь, Фидур, все у нас с тобою будет хорошо.

XV

Чем ближе становился день крещения Афипсы, тем тревожнее было на душе у Данилыча. Поздно вечером, когда ложился спать, и рано утром, с рассветом, когда просыпался, все думал и думал о предстоящем дне. Сначала он думал только об Афипсе, боялся, как бы она не подвела

его, вдруг скажет — не хочу, не пойду, не стану менять своего Аллаха на русского Бога, на Иисуса Христа.

Опасался за Афипсу, а потом беда, как говорится, нагрянула на него с другой стороны: он стал тревожиться за себя. Конечно, он — православный христианин, для него символ веры превыше всего. «Верую во Единого Бога Отца, Вседержателя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век...» А есть же еще магометане. Их тоже миллионы! Что было бы, если бы он принял магометанство? Его назвали бы отступником, даже предателем. А как же с Афипсой? Почему она должна изменить вере своих отцов? «Господи, помилуй, Господи, помилуй мя грешного!» — молился Данилыч. Если бы Афипса была взрослой, если бы сама решила принять православие, тогда, как говорится, вольному — воля, спасенному — рай. Но тут же получается, что он, Федор Данилович Анаскевич, насильно хочет окрестить невинное дитя. Конечно, не совсем насильно, однако, сломав волю ребенка. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного!» Конечно, отец Георгий, да и другие, скажут, мол, молодец Федор Данилович, воспитал в своей вере девочку. А что скажут мусульмане, что скажут...

В комнатах праздничная чистота, порядок — это расстаралась Афипса. Все вымыто. Постели заправлены, покрыты праздничными покрывалами. На окнах свежие занавески. На столе в кувшине — цветы.

Такой болью зашло сердце Данилыча, что он не сдержался, опустился перед образами на колени и стал молиться, стал просить помощи у Господа Бога. Потом обратился к Царице Небесной: «Заступница усердная, благоутробная Господа Мати! К Тебе прибегаю аз, спаси и защити невинное дитя! Отпусти ее к соплеменникам, единоверцам, помоги, Царица Небесная, Мать всех сирых и обиженных на этой грешной земле».

Вошла Афипса:

— День-то какой сегодня! Чудесный! Если бы и завтра выдался такой!

Поднялся с колен Данилыч:

— Будет и завтра такой же хороший и счастливый, не сомневайся, доченька, — он обнял ее, ласково погладил по голове. — А теперь, Афипса, иди погуляй немного, отдохни. — Он отвернулся, чтобы девочка не увидела его повлажневшие глаза.

— Как же так, Фидур! Кто же будет готовиться к завтрашнему дню, если я пойду гулять? Кто погладит белье?

— Я поглажу.

— Нет, Фидур, это совсем не мужское дело! — запротестовала Афипса.

— Всякое дело есть дело, и не бывает отдельно женского и отдельно мужского.

— Неправда. Обязательно есть. Разве женщина не отличается от мужчины? Разве мужчины носят юбки и платки, а женщины штаны и шапки?

— Ну хорошо, будь по-твоему. Утюг стоит на плите, горячий, можешь гладить.

Говорил Данилыч с Афипсой, улыбался да старался шутить, а на душе становилось от этого все тягостнее: как быть, остаться верным своей вере и вместе с тем помочь Афипсе. Даже если согласятся отпустить ее к своим, если найдутся черкесы, которые возьмут ее, что будет делать он, как будет жить без нее, не изведет ли его тоска-кручина... И что это за узел такой тугой завязался, что никак его невозможно развязать. А если разрубить? Невозможно это, совсем невозможно.

Очнулся Федор Данилыч от своих тяжких мыслей сидящим за столом. Афипса уже погладила белье и ушла. Он услышал ее веселый смех за окном.

Выглянул.

Афипса нашептывала по-адыгски Мишиду:

— Завтра в храме меня будут крестить в православие. Распрощаюсь я с нашим Аллахом. И тогда мы с тобой не будем больше разговаривать по-нашему. Давай хоть сегодня наговоримся вдоволь. Ну, ну, поговори со мной.

Мишид трется о ее ноги, повизгивает, будто и в самом деле понимает ее слова, будто очень силится заговорить по-адыгски.

— Хороший ты мой, славный ты мой, не сердись, коли я стану тебя называть Шариком. Шарик, Шарик!

Пес навострил уши, насторожился.

— Не обижайся, я ни в чем не виновата перед тобою. И у русских, и у нас говорят, — все в Божьей воле. Значит, так надо, значит, так и будет.

Жалобно повизгивает Мишид.

— Нет, не быть этому! — вслух сказал Данилыч, отходя от окна, — я не допущу этого. Чую я, Господи, чую, это Твоя святая воля, а не мой каприз. Помилуй, наставь, Господи, на путь Твой.

Горбясь, прихрамывая, Федор Данилыч стал суетливо ходить по комнате, собирать в солдатский мешок свои вещи.

Суетливо, бессмысленно совал в мешок, что попадалось под руку. «Не бойся, моя умница, — про себя говорил, — я не дам тебя в обиду, я покажу им, твоим насильникам! Не по своей воле ты пришла сюда, не по своей воле и уйдешь отсюда — я поведу тебя. Ничего, что погибли твои мать и отец, ничего, что сгорел твой аул, зато есть твой Аллах, есть твоя черкесская земля, а на ней есть и добрые люди — ты по крови и по духу их родная дочь, они не дадут тебе пропасть. Уже скоро кончится война, можно свободно будет ходить по полям, лугам и лесам Черкесии, по ее горам, и мы будем с тобою ходить, мы найдем с тобою самое теплое, самое уютное, самое красивое место твоей земли, нам поможет Бог. Господи, помилуй! Господи, спаси, сохрани и помилуй нас, грешных».

Все говорил и говорил Данилыч, совершенно не вникая в смысл своих слов, они просто изливались из него, из его души.

В комнату вошел доктор Плуталов:

— Что ты сундук раскрыл — куда-то собираешься, что ли? И Афипса с самого раннего утра занята каким-то приготовлением. Что тут у вас происходит, куда собираетесь? Скажи, если это не военная тайна.

Опомился Данилыч. Передернул плечами, словно бы стяхивая с них что-то.

Бросил мешок в сундук, захлопнул крышку. Сел на табуретку, указав доктору на вторую:

— Садитесь, ваше благородие. Афипса молодец, славная девочка...

— Что с тобой, Федор Данилович, какое благородие. Э-э, да ты побледнел, в глазах свет недобрый. Дай-ка, я послушаю твой пульс.

Федор Данилыч протянул доктору руку.

— Э-э, брат, ты или захворал или сильно волнуешься перед завтрашним днем.

— Я так боюсь завтрашнего дня, Сергей Петрович: как бы что не испортилось, как бы не сломалось.

— Все будет хорошо, мой друг. А балалайку зачем — хочешь взять с собою в храм? — доктор с подозрительностью посмотрел на Федора Даниловича. — Тебе надо бы попить горяченького чайку с успокоительными травками да хорошенько отдохнуть, поспать. Приляг, а я принесу кипяточку, заварим травки.

— Спасибо, доктор, спасибо, милый человек, мне уже полегчало от твоих добрых слов.

В субботу утром к воротам подкатили две легкие коляски, чтобы везти Афипсу, Федора Даниловича в Михайло-Архангельскую церковь, но странное дело — двор был пуст. Этому очень удивился Николай Тришков, а войдя в дом увидел Федора Даниловича в постели.

Рядом со старым солдатом сидела Афипса, помахивала над Данилычем веером.

Доктор Плуталов готовил шприц.

— Что с вами, Федор Данилович?! А я приехал, чтобы отвезти вас с Афипсой в церковь. Сегодня должно состояться крещение.

— Ты что, Николай, разве не видишь? Болен Фидур! — недовольно и строго остановила она Тришкова.

— Видеть-то я вижу, да вот и не знаю, что теперь будем делать, — раздумчиво и с огорчением ответил Николай. — В храме уже все готово, батюшка Георгий ждет, певчие пришли. Большое торжество готовится...

— Ничего, — спокойно заметил доктор, — торжество не похороны, можно и отложить до лучших дней. Выздоровеет Федор Данилович, и все состоится, как полагается тому быть.

— Да, но... Сам генерал уже там, князь Амилахвари, все офицеры пришли... Может, без Федора Даниловича... Афипса резко перебила Тришкова:

— Что ты такое говоришь! Как это без Федора Даниловича! Без него я шагу из дома не сделаю. Какой ты безжалостный человек, Николай! Бросить старого больного человека!

— Почему бросить? — слабо сопротивлялся Тришков. — С ним может остаться доктор Плуталов. Как вы думаете, Сергей Петрович? Что ты скажешь, Федор Данилович?

— Я думаю, доченька, — ослабевшим голосом заговорил Федор Данилович, — тебе надо ехать. Сам Николай Павлович приехал и ждет. Он очень огорчится. А со мной ничего тут особенного не произойдет. Помолось Господу нашему, помолось ангелу-хранителю... Прости меня, Боже, прости. — Он искренне молил о прощении за случившееся с ним. Он толком не знал, то ли в самом деле заболел, то ли придумал себе эту болезнь. У него в самом деле болела голова, сильно стучало сердце, горели болью и тревогой глаза. Он понимал, если бы потребовалось, он бы и усом не повел насчет своей болезни, даже не заметил бы ее, а тут — Афипса, судьба ее решалась, а за судьбу ее он в ответе — вот и билось его сердце, тревожилось, вот и не мог себе самому даже сказать, виновен он или невиновен в своей болезни. — Поезжай, дитяtko ты мое.

— Нет! — Афипса гневно глянула на младшего урядника. — Без тебя, Фидур, я никуда не поеду.

Слезы брызнули из ее глаз.

— Мы не поедem, — сказал доктор, — передайте его превосходительству, что в связи с болезнью не может приехать Федор Данилович, а без него, естественно, и крещение не может состояться. Всего доброго, младший урядник.

XVI

Считал Федор Данилович, что придумал себе болезнь, что притворялся, и за это просил у Господа прощения, но нет, целую неделю не поднимался с постели. Доктор сказал, что это был нервный срыв, если бы такое случилось с молодым, он, наверно, достаточно легко привел бы в порядок свои нервы, а пожилому человеку, столько раз

раненному в боях, столько пережившему, выздоровление дается с большим трудом. Так объяснил Сергей Петрович.

Данилыч улыбнулся в свои обвисшие усы и сказал: «Слава Богу, что Он оставил меня в живых, а то и вовсе мог бы смертью покарать. А если не покарал, значит, не видит в моем поступке тяжкого греха? Значит, не видит. Слава тебе, Боже наш, слава!»

Жалко старому солдату Афипсу, ведь теперь все было на ее детских плечах: приготовить еду, накормить его, вымыть посуду, глядеть за чистотой в комнатах. И не только для себя и Данилыча — каждый день приходили проводить больного и солдаты, и офицеры, нельзя, чтобы в доме был непорядок. Афипса до того уставала за день, что к вечеру просто валилась с ног, засыпала, едва коснувшись щекой подушки, чтобы с рассветом проснуться и снова заняться хозяйством.

«Прости ты меня, моя милая доченька, виноват я, виноват, но и без этой беды тебе, наверно, было бы хуже. Ой, было бы! Так что уж будем терпеть, радость моя тихая, свет глаз моих.»

Думал и посмеивался: «За всю жизнь такого еще ни разу не было, чтобы за мной ухаживали, будто за барином. Сподобился, сподобился, земно кланяюсь тебе, доченька».

— Фидур, как ты думаешь, тебя все твои друзья проведали? — хитро сощурившись, спросила Афипса и по-взрослому подбоченилась.

— Вроде бы все, — чувствуя подвох, ответил Данилыч. — А чего это ты вдруг спросила? Скажи.

— Скажу. Не все.

— Кто же не приходил?

— Николай Павлович.

— Ну и что ж, что не был, — ответил Федор Данилович. — Он несколько раз справлялся о моем здоровье, передавал приветы.

— Ну-у-у, приветов я могу сколько хочешь напередать, а вот прийти, посидеть у больного, поговорить с ним, подбодрить — это совсем другое дело.

— Да, да, но у командира полка так мало свободного времени. У него на руках огромный полк.

— Подумаешь — полк! — поморщилась Афипса. — Дел у каждого человека хватает, они, как ты сам говорил, не отменяют любовь к ближнему, самый главный Божий закон... Сергею Петровичу мы тоже, видать, надоели, тоже редко бывает у нас.

— Афипса, — укоризненно сказал Данилыч, — не говори лишнего. Грех нам обижаться на Сергея Петровича, у него сейчас в лазарете столько больных, что хоть бы с ними управиться. То хоть мы с тобой ему немного помогли, а теперь он остался один.

— Ах занят! После утреннего обхода до обеда просто бездельничает. Подумаешь, занят.

— Афипса! Нехорошо ты говоришь, очень нехорошо. Вообще так говорить нельзя, а о старших — тем более. — Осуждал Данилыч резкие речи, а у самого все-таки закрадось сомнение, особенно насчет генерала Граббе. Возможно, Афипса знает нечто такое, чего не знает он?

Вошел доктор Плуталов.

Вскочила Афипса, подогнула доктору стул. Смутилась, даже покраснела, опустила голову.

— Здравствуйте, други мои! — весело поздоровался доктор. — Да ты, Федор Данилович, гляжу, совсем хочешь расхвораться. Негоже это, совсем негоже! — доктор сел, взял руку больного, пощупал пульс. — Ничего-ничего уже. И температура спала. Надо подниматься, разминаться надо, а то совсем залежишься.

— Вот видишь, моя хорошая, — с легкой укоризной обратился Данилыч к Афипсе, — а ты все — лежи, лежи. Совсем не велит мне подниматься.

— Было время, когда тебе надо было просто хорошенько вылежаться, а теперь надобно подниматься. Обязательно. Можешь даже за водой ездить, а через денек-другой и дрова рубить.

Сел Данилыч в постели, поворочал плечами, с охотой грудь распрямил:

— Хорошо уже, хорошо. Голова не кружится, спина не хрустит.

— Ну-ну, встань, пройдишь. Бодрее, смелее.

Спустил ноги Данилыч. Афипса подбежала к нему, чтобы помочь, но он замахал руками:

— Не надо, доченька, я сам с усами. Вот, видишь, — он встал, прошелся по комнате, — все хорошо. Голова ни капельки не болит и совсем не кружится. Надо на конюшню идти, а то мои лошадушки без меня одичали.

— Нет, там все хорошо, — успокоил его доктор. — Мы к ним приставили солдата, он охотно, даже любовно, ухаживает за ними.

— Да, — поддержала доктора и Афипса, — Семен очень любит лошадей, хорошо их кормит, чистит. В упряжке не погоняет кнутом. Покрикивает, и они его хорошо понимают, слушаются.

— Ну и ладно, ну и хорошо, — довольно заулыбался Федор Данилович, прохаживаясь вдоль койки.

Застучала во дворе повозка.

— Да вот, должно быть, и Семен едет по воду, — сказала Афипса и вышла посмотреть.

Доктор и Данилыч остались вдвоем. Сели друг против друга. Помолчали. Каждый думал о своем.

«Может, Сергей Петрович догадывается о моем намерении вернуть Афипсу черкесам? А как он может догадываться? — размышлял Данилыч. — Никак не может, пока я сам не скажу ему. А если скажу? Что будет? Человек он добрый. И мудрый, лучше других поймет меня, поймет Афипсу. А как он любит девочку! А если любишь, не пожелаешь человеку худа, добром своим ему расстараться... Да Сергей Петрович как-то и говорил, что вряд ли это прекрасное дитя приживется на чужой земле, среди чужих людей, в чужой вере. Говорил он так, говорил... А не догадался ли в субботу о причине моей болезни? А? О Господи, укрепи мой дух, наставь меня на путь Твой».

Получалось, будто доктор слышал мысли Данилыча, потому что, помолчав, сказал:

— А в прошлую субботу ты нас очень напугал. Как колотилось сердце твое, жар поднялся как бы беспричинно. В глазах такой огонь горел, что я до сей поры не знаю, как его определить.

— Правда твоя, Сергей Петрович, все болезни от сердца, от грешной души нашей.

— Ты прав, мой друг, — задумался доктор, повторяя: — Душа болит, сердце болит...

— Ты помнишь, Сергей Петрович, я признавался тебе, мол, сердце у меня неспокойно, очень неспокойно.

— Как не помнить, помню. Особенно в ту субботу. Я даже напугался — никогда не доводилось слышать таких ритмов, такой силы ударов.

— Выходит, я и взаправду был болен? — удивился Федор Данилыч.

— А то как же? — в свою очередь удивился и доктор.

— Так почему же ты позволяешь мне сегодня вставать?

— Потому что сегодня ты уже здоров.

— Что ж это за болезнь такая? Странная какая-то.

— Я и говорю — странная. Душа болит. Это странно?

— Душа болит? Совсем не странно.

— А говоришь — странно. И причина мне понятна. Мы с тобой уже говорили об этом.

— Что-то не припоминаю.

— Ну как же, как же! Афипсу предстояло в тот день крестить в православие. Ты боишься, что ей будет худо, что ее мы как бы отрываем от родных корней. Пропадет она, завянет. Все в руках Божьих, мой добрый друг, никуда мы от Его воли не уйдем. Чему быть, того не миновать. Думаю, и генерал догадался о причинах твоей болезни, и князь Амилахвари, как и я, твой покорный слуга. Но мы люди, у каждого из нас есть сердце, оно так же болит, как и твое. Я только вот о чем думаю: вероятно, настанет все-таки день, Афипса станет православной христианкой, если будет на то Господня воля, ведь недаром мы молимся: да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя!

«Что это он говорит?! Совсем другое говорит, чем раньше! — испугался Федор Данилович. — Выходит, он с ними всеми заодно? А как же: «У каждого из нас есть сердце, оно так же болит, как и твое». Как же?..»

XVII

Жизнь есть жизнь, она не останавливается, течет в своем русле, как ей и определено. Афипса принимала ее как есть. Радости сменяли печали, тревоги — покой. А над

всем этим извечное и вековечное: небо и солнце, ветер и тишина.

Жители крепости — солдаты и офицеры, пешие и конные, при оружии в военной форме. Все постройки тоже военного назначения: пять длинных-предлинных казарм, столовая, лазарет, продовольственные, вещевые, оружейные склады да офицерские дома, да офицерская гостиница, почти всегда пустая, мало кто приезжал сюда. Немного в стороне — штаб полка, там же квартира командира полка, генерала Граббе. Хорошо побеленный, симпатичный домик под камышовой крышей, с палисадником у окон — клумба цветов, куст барбариса, персик, а еще — старая, узловатая смоковница, возраст которой давно, почитай, перевалил за сотню.

Случалось Афипсе видеть здесь и женщин, когда они приезжали за телами погибших мужей, сыновей. Всегда со стороны, в черных одеждах, со скорбными заплаканными лицами.

Господи, как тосковало ее сердце по простым разговорам с девчонками-сверстницами, да хоть и со старшими. Как хотелось ей посидеть рядом с древней старухой, прижаться к ней, немного поплакать и долго-долго говорить с нею — неважно, о чем, лишь бы говорить, лишь бы слышать ее журчащий, старческий голос. О Господи, а если бы это еще были адыгские слова!

Нет, только со стороны видела, только в черном, только в слезах да слышала, как они причитали над покойниками.

С некоторых пор здесь стали отводить землю служилым солдатам. Они огораживали ее высокими плетнями и строили турлучные мазанки. Под соломенными крутыми крышами, с маленькими окошками, расписанные синькой на украинский манер.

В ближнем дворе уже обзавелись, похоже, хозяйством. Афипса слышала, как женщина ссорилась с мужем, упрекая его, что он плохо вычистил коровник, не досыта напоил теленка, забыл накормить кур и гусей.

Не любила Афипса крикливых, тем более сварливых людей, но этот женский голос был ей все-таки приятен уже потому, что был он женский. Странно ей было слы-

шать, как женщина командовала мужем, ведь у адыгов это совершенно невозможно, стыдно это, но опять же — приятно было слышать женский голос. Афипса знала, что женщину ту зовут Марфой, каждый вечер или утром выходила она, усаживалась у калитки на лавку, чтобы послушать ее.

— Напрасно ты сидишь, доченька, — сказал Данилыч, запрягая лошадь, — не услышишь сегодня Марфу, хоть весь день до самого вечера просиди.

— Почему не услышу?

— Увезли ее в сумасшедший дом.

— В какой еще такой дом?! Почему?! — Афипса вернулась во двор, к Данилычу.

— Больница такая. Для душевнобольных... Когда убили ее мужа, Марфа тронулась умом.

— А разве она вчера не с мужем разговаривала?

— Нет. С соседом ругалась. Она загоняла к себе его скот, птицу. Ругала его, что он плохо смотрел за ними. Вчера поздним вечером забрали Марфу. Увезли бедняжку. Очень она кричала, не хотела уезжать: как же тут мой муж будет обходиться без меня, кто его обстирает, кто накормит, кто скажет ласковое слово. Ей говорили, мол, убили твоего мужа, но она не верила, называла всех обманщиками и кричала, кричала...

Афипса уже не слышала Данилыча.

Она по себе знала, что такое смерть близких, знала боль, но что человек может потерять от этой боли рассудок не знала, не понимала.

«Страшно, страшно, Господи! Если со мною случится такое, не дай мне жить, заведи сразу же к себе. Как это страшно, Господи...»

— Что ты там бормочешь, доченька. Открой мне ворота. — Открыла. Хотела вспрыгнуть на повозку и сесть рядом с Данилычем на козлах, но он остановил ее: — Не надо, моя хорошая, мы же с тобой уговорились, не след тебе ездить со мной на речку, в лес по дрова. Побалуйся с Мишидом, сходи в палату — повесели раненых.

— Возьми-и-и, Фидур, — обиженным детским голоском попросила она, сложив руки на груди.

— Нет и нет! Это мой приказ, — дернув усами, нахмурив брови, прикрикнул полушутя, полувсерьез Данилыч. — Быстренько открывай ворота и шагом марш! Я мигом обернусь. А ты не забудь закрыть ворота, моя хорошая, — ласково улыбнулся Федор.

— Ты говоришь, быстренько обернешься, мигом, говоришь. Зачем же тогда закрывать ворота? Закрывай-открывай, закрывай-открывай. Пусть ветер закрывает-открывает, а не я.

— И об этом я, кажется, говорил тебе.

— Не говорил, — упрямовала Афипса.

— Тогда слушай. Широкие ворота оставляют открытыми тогда, когда в доме покойник, а если покойника нет, а ворота распахнуты настежь — нехорошо это, очень дурная примета. Поняла?

— Поняла, — буркнула недовольно Афипса.

Простучала телега, закрыла ворота Афипса и, опершись на плетень, смотрела вслед Данилычу. Смотрела на горы, на темный лес, а мыслью была во дворе Марфы.

Тронулась умом.

Сумасшедшая.

Это страшнее смерти.

Кто-то из адыгов сделал ей горе.

Отец Георгий говорил: самое главное в православной христианской вере — любить Бога и любить ближнего. Бога любить — просто, а как любить ближнего? Какого ближнего? — спрашивала она себя. Который убил мужа Марфы, сделал ее сумасшедшей, или русского, который убил адыга и сделал сумасшедшей черкешенку? А еще отец Георгий говорил: «Возлюби врага своего». Как это? Научи. Боже — как?! О Всемилостивый Аллах, помоги мне и Ты!

Долго стояла Афипса. Все смотрела на горы, на лес и мучилась мыслями о Марфе.

— Пошли, Мишид, встречать Фидура. Он не захотел нас брать с собой, так мы все равно пойдем с тобой и встретим его у речки. Шагом марш!

— Куда ты собралась, Афипса? — позвал с крыльца лазарета доктор Плуталов.

— Фидура хотим встретить, Сергей Петрович.

— Неужели вы еще не надоели друг другу? Всего на час и то не можете разлучиться,— как-то криво усмехнулся доктор.

— Зачем ты так нехорошо говоришь, Сергей Петрович?

— Я пошутил.

— Нехорошая это шутка, совсем нехорошая. Фидур — мой дедушка, как он может мне надоесть? А как я могу ему надоесть — он же не зря называет меня доченькой.

— Я к тому это, что ты и мне, можно сказать, родная. Мы столько времени живем вместе, я полюбил тебя не меньше, чем Федор Данилович, а то и больше, глубже, поэтому и хочется...

— Ты мне тоже не чужой, Сергей Петрович,— смягчилась улыбкой Афипса,— но Фидур все-таки дедушка мой!

— Молодец, что так хорошо относишься к старому, больному человеку. В старости самое страшное — одиночество, а ты скрашиваешь его дни. Прибаливать он стал, да и то на исходе шестой десяток. Немалый, немалый для солдата это возраст. Сердце у него стало пошаливать, нога к непогоде сильно донимает. Жаловался: так болит, хоть плачь. Ему бы уйти теперь из армии, уехать в Россию, к себе на родину, ведь в родном доме и стены жить помогают. Он, пожалуй, уже уволился бы, да с тобою-то как быть?

— А разве можно ему уволиться из армии? — обрадованно спросила Афипса.

— Конечно. Но как быть с тобою, вот в чем беда — ты же никого другого, кроме него, не признаешь.

— Тогда пусть увольняется! — восторженно воскликнула она.— Он уволится, и мы уедем!

— Куда?

— Мала Черкесия, что ли? Мало аулов?

— А он разве согласится ехать с тобою в какой-нибудь аул? У него же есть свое родное село...

— Есть, он рассказывал мне, но поедет со мною. Ему очень нравится Черкесия. Он девять лет прожил у нас.

— Не понимаю — как это с тобою? Ведь ты же теперь дочь Нижегородского полка.

— Ну и пусть! А Фидур — мой дедушка. Он старенький, нельзя делать его одиноким. И зачем мне полк, если

есть моя родная земля, мои горы? Я очень люблю и тебя, и Николая Павловича, и Ваню Гивича, но и свой дом тоже люблю. А мой дом — Черкесия.

— Да...— задумался Сергей Петрович.— Все верно. Ты — умница. А если... мать твоя придет за тобой, а ты уйдешь с Фидуром, как же тогда?..

— Что ты говоришь, Сергей Петрович! — возмутилась Афипса.— Ты же знаешь, ее убил Махатадзе! Как же она может придти, скажи, разве покойники возвращаются на землю?

— Ну... на войне всякое бывает. Она так коварна, от нее можно всего, что угодно дожидаться. Придет твоя мать и скажет, потребует у генерала: отдайте мою дочь Афипсу. Потребует, а тебя нет, ты ушла, никто не знает, куда.

Отвернулась Афипса от доктора. В обиде отвернулась.

— Я же сказала: моей мамы нет в живых. Я видела ее мертвой и папу тоже. Сама видела. В лесу.

— Может, я тебя обидел, Афипса?

— Нет! Ты не обидел меня! — крикнула она. Повернулась лицом к доктору и, глядя на него с вызовом, сказала: — Если бы мама была жива, она обязательно пришла бы за мной, Сергей Петрович. Она — настоящая мама. Я знаю.

— Тебя в лесу забрал Махатадзе, как может твоя мама знать, куда он увез, как может найти — ведь идет война.

— Сергей Петрович!

— Прости, Афипса, если обидел.

— Нет! Не обидел! А если придет, я уйду с нею.

— С нею? Бросила бы своего старенького дедушку! Больного, совсем одинокого?

— Он тоже уйдет с нами! Пошли, Мишид, встречать нашего дедушку. Ты хороший, ты добрый пес. Пошли.

Мишид взвизгнул, поднялся передними лапами к ней на грудь, лизнул щеку и с веселым лаем кинулся к речке.

С отяжелевшей головой Сергей Петрович опустился на лавку.

Да, подумал он, этой девочке палец в рот не клади. Умна, решительна и... благородна. Конечно, Анаскевич — мужик, уровень воспитанности — мужицкий, но Афипса постоянно общается с офицерами и, схватывая все, что

называется, на лету, стала благородно воспитанной девушкой.

Задумался доктор.

Не состоялось крещение Афиписы, и недовольными остались многие офицеры. Недоволен отец Георгий и сам генерал Граббе. Они подозревают какую-то вину Анаскевича, его не совсем благоприятное влияние на Афипису. Прямо не говорят об этом, но видно. И еще: многим Афиписа живет сама по себе, иногда даже посматривает свысока на тех, у кого живет, чей хлеб-соль ест. Как-то по-детски, но совершенно определено.

Опасался доктор, как бы не узнали о его «снисходительности» к болезни Данилыча, как бы не назвали его пособником в неблагоприятном деле.

Пожалел он старого солдата, да, если сказать честно, и не понял его, а теперь понял, но — поздно. Получилось, что простой, безграмотный солдат обвел его, образованного человека, как говорится, вокруг пальца. Обидно, досадно. Надо быть более осмотрительным впредь. «Афиписа уверена, что Анаскевич уйдет с нею к черкесам, значит окажется изменником, преступником... То-то он все болтает с девчонкой по-черкесски. Вот тебе и дедушка, вот тебе и беденький, одинокий».

— Доброе утро, Сергей Петрович, — поздоровался Данилыч. Рядом с ним на козлах сидела Афиписа.

— Утро доброе, — сдержанно ответил Сергей Петрович. — Не слезайте, я открою вам ворота.

— Я сегодня привез целебную воду. Нашел источник и решил привезти этой водички для больных. Да и всем нам не грех попить ее. Сильная водичка.

— Ты зэн-зэныпс привез, Фидур? — спросила Афиписа.

— Да! Нашел-таки родничок отличный! Водичка просто удивительная.

— Как ты сказала, Афиписа, — спросил доктор, — зэн-зэныпс? Что это значит, как это будет по-русски?

— Целебная вода, по-черкесски, — вместо Афиписы ответил Данилыч, — а еще ее называют водой богатырей.

— Дай-ка отведасть, — попросил Сергей Петрович.

Данилыч зачерпнул из бочки, подал ковшик.

— О, превосходная вода. Резкая, вкусная, похожа на знаменитый нарзан, что в Кисловодске. Начерпай в ведро и отнесем в палату. Спасибо тебе, Федор Данилович, от имени всех больных благодарю.

— Дай, Фидур, я отнесу больным, пусть они скорее выздоравливают от нашей зэн-зэныпс.

— Отнеси, доченька.

— Как она выросла, — глядя вслед Афиписе, сказал доктор, — прямо — барышня.

— Как же не барышня, если скоро будет двенадцать. Барышня... Говорят: маленькие дети — маленькое горе, большие дети — большое горе. Трудно будет Афиписе, чем взрослее становится, тем все труднее приходится ей. Вырастет, что будет делать дальше среди русских людей, как жить будет, какая дорога ожидает ее. Я денно и ночью молю Бога о Его милости к ней.

— Какому Богу ты молишься? Ведь она некрещенная. Думается, ты и не очень-то хочешь, чтобы она приняла нашу веру. А мы заботимся о ней, о душе дочери нашего полка.

Понял Данилыч доктора, его упрек и осуждение.

— Какому Богу? — вздохнул он. — Он один на всех. И других людей нет на земле, одни у него дети.

«Вон ты куда гнешь! Ясно, свихнулся рядовой Анаскевич, — подумал доктор, — нельзя больше оставлять с тобой Афипису, обязательно нужно сказать князю Амилахвари, он не только начальник штаба полка, но и отвечает перед офицерским собранием за девочку... Как же это я просмотрел поворот у Анаскевича? А возможно, и поворота нет никакого, возможно, он всегда был таким, только умел скрывать себя? Очень может быть. Похоже, столько лет жизни с черкесами не прошли для него даром, посеяли в душе басурманское зерно».

— Сергей Петрович, ты забыл, что ли, о своих больных! — позвала с крыльца лазарета Афиписа.

— Что-нибудь случилось?

— Ждут тебя.

Вечером после ужина, когда Афиписа убирала со стола, Данилыч обратился к ней:

— Ты знаешь, доченька, что я решил? Думаю, уже настала пора разделиться нам с тобой.

Афипса встревоженно оглянулась:

— Как это? О чем ты, Фидур?

— Ты чего так смотришь? Испугалась, никак? Не думай разные глупости. Я о деле... Надо мою койку из этой комнаты перенести в другую.

— Для чего, Фидур? Ты все-таки выдумываешь, я верно сказала. Для чего перетаскивать, скажи?

— Ты знаешь, конечно, что я последнее время стал сильно храпеть. Так сильно стал храпеть, что сам от храпа своего просыпаюсь. Честное слово. Утром встаю уж очень рано, бывает ночью встаю, выхожу во двор. Тревожу тебя.

— Выдумщик ты, Фидур! — Рассмеялась Афипса, а потом нахмурилась. — Вы что — сговорились с Сергеем Петровичем?

— О чем?

— Он мне сегодня тоже всякие глупости говорил. Такое говорил, что и слушать бы не надо.

— Он обидел тебя?

— Доктор сказал, будто моя мама жива, что она бросила меня тогда в лесу...

И брызнули слезы, зарыдала Афипса.

XVIII

Не приходилось доктору Плуталову участвовать в стычках с адыгами, не приходилось стрелять, однако, как говорится, служил он в действующей армии. Много лет проработал в полковом лазарете, лечил раненых, возвращая их в строй, чтобы они сражались и снова попадали в лазарет, чтобы в конце концов их все-таки предавали земле. На войне, как на войне: страдания, кровь, смерть. На войне, как на войне — тяжелой была его ноша, но он как офицер, как медик, как просто добрый человек нес ее терпеливо, безропотно, а теперь вот пришла к нему беда. Такая беда, что он не умел с нею справиться: Федор Данилович Анаскевич несколько лет был ему верным, безропотным и милосердным помощником, так сложилась его солдатская

судьба, был он несколько раз ранен сам и лечил раненых: доктор считал — да оно и в самом деле так — что у него не было никого ближе Данилыча, а теперь между ними «пробежала черная кошка». Доктор Плуталов, офицер, стал присматривать за своим другом, а по правде сказать — следить за ним. Господи, как это унижительно, гадко, но что делать, вдруг Анаскевич и в самом деле задумал предательство, и получится, что доктор был его пособником, значит, тоже предателем.

Что делать, что делать? Надо бы, наверно, посоветоваться с отцом Георгием, поговорить с Николаем Тришковым, а уж потом, обговорив все хорошенько, доложить генералу Граббе.

Надо бы, конечно, надо бы, однако не просто решиться на такое. Да и отца Георгия он все никак не мог встретить так, чтобы доверительно поговорить с ним.

Тришкова генерал Граббе взял к себе в адъютанты, посылал его то и дело в разные отлучки, так что и не застать его дома.

Но больше всего доктор возлагал надежду на князя Амилахвари, на своего друга.

— Сергей Петрович, скорее идите сюда, скорее! — звала Афипса.

— Что там еще за срочность такая! — рассердился доктор, однако подошел к окну и увидел князя, сойти с коня, которому помогал Данилыч. Амилахвари был ранен в руку.

— Скорей, Сергей Петрович, Ваню Гивича ранили! — все звала Афипса.

— Не шуми, Афипса. Пожалуйста, — просил сошедший с коня князь, — не рана, а пустяковая царапина.

— А кровь почему, если царапина?

— Мелочь, а не кровь. Успокойся, моя хорошая девочка, моя сестра милосердия.

— Пойдемте, Ваню Гивич, посмотрим, что там царапина такая, что там за рана, — встретил князя у порога доктор.

Афипса, поддерживавшая раненого за локоть здоровой руки, как обычно, хотела идти с ним в лазарет, но доктор остановил ее:

— Спасибо, Афипса, но я тебя и Федора Даниловича позову, когда понадобится, а пока вы свободны. Проходи, Ваню Гивич.

Афипса обиделась — такого еще не бывало. Она вопросительно посмотрела на Федора Даниловича, а тот только пожал плечами, мол, я тоже ничего не понимаю, такого еще и со мной не бывало, но ничего не поделаешь.

— Вот видишь, Мишид, и Ваню ранили. Слава Богу, хоть не убили, — чтобы отделаться от возникшей неловкости, заговорила с собакой Афипса. — Не бойся, все будет хорошо. Сейчас Ваню перевяжут, и он выйдет, все нам расскажет. Правда, Фидур?

— Правда, но долгонько их что-то нету. Может, там случилось нехорошее?

— Я посмотрю! — не вытерпела Афипса и побежала к лазарету. Заглянула в окно. — Фидур, они просто сидят и разговаривают о чем-то.

— А перевязку сделали?

— Перевязали уже. — Афипса постучала в окно, махнула рукой, дескать, выходите.

— Нехорошо так, доченька, — погрозил пальцем Данилыч, — не надо им мешать. Если разговаривают, значит, дело у них такое.

— Пусть выходит Ваню Гивич, я соскучилась по нему и хочу знать, где и как его ранили.

Но вот наконец доктор и князь вышли.

Афипса подбежала к Ваню Гивичу, взяла его за здоровую руку, жалостливо смотрела ему в глаза:

— Очень больно было, когда ранили?

— Ну что это за рана! Для мужчины — пустяк. Через несколько дней все будет в норме, — смеялся Амилахвари, — хоть снова в бой!

— Все бы вы воевали, все бы дрались, — нахмурилась Афипса, — не можете спокойно посидеть дома.

— Можем, Афипса, — заверил князь, — честное слово, можем. А у вас тут как дела, как себя чувствует Федор Данилович? Слышал захворал он.

— Он тоже настоящий крепкий мужчина, уже совершенно здоров, — заверил доктор.

— Совсем здоров, — заверила и Афипса, — только по ночам почему-то стонет.

— Мелочь, как говорит князь, — виновато улыбнулся Федор Данилыч, — старики народ такой, со своими причудами, на них не стоит обращать внимания. Рассказал бы ты лучше, Ваню Гивич, как дела у нашего Тришкова. Совсем он не хочет с нами знаться.

— Напрасно ты обижаешься на Николая, он славный парень, любит всех вас, велел кланяться. Уж очень он занят. Да, сообщаю новость: хоперцы ему присвоили очередное звание. Он уже, дорогие мои, урядник. У генерала много дел, значит, немало их и у его адъютанта. Мне думается, чтобы попасть к Сергею Петровичу в лазарет, чтобы за ним ухаживала Афипса, новоиспеченный урядник готов на любое ранение.

Вздернула плечиками Афипса, нахмурила брови:

— Ради этого нечего лезть под пули. А не бывает у нас, выходит, забыл. Никакие дела не удержат человека, если он чего-то хочет, а если не очень... тогда передает приветы, поклоны. Ему тоже передайте от всех нас привет! — с явной усмешкой сказала Афипса.

— Ваню Гивич обязательно передаст наши приветы, а также и наши желания видеть его. Только не надо никаких ранений. Афипса права: все бы эти неугомонные мужчины стреляли, сами под пули лезли. Все же пойдем, Афипса, в палату, мне нужна твоя помощь, — попросил доктор.

Никакая помощь ему не нужна была, просто он хотел, чтобы князь поговорил с Федором Даниловичем.

— Посидим немного на лавочке, — сказал князь Амилахвари, — у меня иногда появляется потребность просто посидеть в тишине, помолчать, побыть один на один с небом, лесом, полем. Может быть, уже старею?

— Что ты говоришь, Ваню Гивич! — садясь на лавку, возразил Данилыч, — ты в самую мужскую силу вошел. Как по-ученому говорят, в пору зрелости. Думаю, каждому надо посидеть в тишине, подышать воздухом и погреться на солнышке.

Они говорили, молчали, опять говорили, да все не о том, что их тревожило, зачем остались вдвоем.

— Значит... говоришь, выздоровел?

— Выздоровел, Ваню Гивич, как видишь,— натянута улыбка Данилыч.— Выздоровел. Целыми днями сидим вот здесь с Афипой и препираемся, не можем окончательно решить, кто из нас мудрее.

Рассмеялся Данилыч. Нехорошо как-то рассмеялся.

— Афица — умница,— согласился князь.

— Еще какая умница! Не каждый взрослый может померяться с нею умом-разумом, сметливостью да остротой речи. Прости меня, Ваню Гивич, но ее природная мудрость напоминает иногда о черкесах. Мудрые люди...

Насторожился князь: неужели Сергей Петрович прав, неужели старый солдат душою не с нами, а с черкесами? Впрочем, что тут такого? Каждый народ мудр Божьим соизволением.

— От природы, от рождения у нее мудрость.

— Да, конечно, ты прав, Федор Данилович... Девочка стала частицей твоей жизни, твоей души, и потому о ее народе, о ее близких ты так же думаешь по-доброму, как и о самой Афице.

Помолчали.

— Думаю, дорогой Федор Данилович, ты это прекрасно понимаешь, лучше не напоминать девочке лишней раз о ее близких, о ее родине, ибо это не приведет к душевному покою, не приведет к нашей вере, к любви к России, дочерью которой она теперь стала, став дочерью Нижегородского полка.

— Но, ваше сиятельство, невозможно Афицу заставить забыть о них, заставить полюбить... не знаю, как это лучше сказать...

— Понимаю, Федор Данилович, и все же надо стараться залечить ее душевную рану, привить новые взгляды на жизнь. Наши христианские. Мы с тобою тоже не можем, не имеем права отказаться от веры наших дедов и прадедов, от любви к родине своей.

— Да, да, ваше сиятельство, правда на вашей стороне. Я стараюсь, видит Бог, стараюсь, да не всегда у меня получается, не хватает моего разума, чтобы одолеть все это.

— Да, трудно, чрезвычайно трудно. Ты не сомневайся, что Николай Павлович, все офицеры полка, разумеется,

и я в их числе, доверяем тебе, мы благодарны за твою заботу о девочке. Господь воздаст тебе за твою доброту к сироте.

Федор Данилович приподнялся с лавки, глянул через плетень во двор, нет ли там кого лишнего, потом сел и, несколько понизив голос, сказал:

— Ваню Гивич, я хотел бы поговорить с тобою о том, что меня очень беспокоит, сердце мое разъедает.

— Зачем ты так, Федор Данилович, надеюсь, ничего плохого не случилось.

— Думаю, ваше сиятельство, прошу, надо нас с Афипой развести.

— Как это!? Почему?

— Афица уже не ребенок, женское в ней уже пробуждается, и жить ей со мною совсем рядом — нехорошо. Да и ничего я в этих делах не соображаю, никакой я ей не советчик, не помощник.

— Ах, ты вот о чем,— облегченно вздохнул князь.

— Ей бы теперь в воспитатели дать добрую, мудрую женщину.

— Спасибо, дорогой Федор Данилович, я всегда верил и верю в твою мудрость. Тут ты совершенно прав, я тоже об этом подумывал. Женский глаз, женское сердце нужно нашей Афице. Надо все хорошенько обдумать, обсудить. Ведь в нашем гарнизоне пока нет женщин, да если и появятся солдатские жены, они не могут составить партию нашей воспитаннице. Возможно, придется ее перевести из крепости в подходящее место.

Заныло, забилося сердце старого солдата:

— Куда же перевести, где найти ей подходящее место?

— Ничего определенного пока не могу сказать. Можно только предположить — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Тифлис, Ставрополь...

— А я!? — почти вскрикнул Данилыч.— Я-то как же? Прости меня, ради Бога, князь, за мою стариковскую слабость, простите, ваше сиятельство, старика.

— Полно, полно, Федор Данилович, как же не простить, как же не понять тебя. Но что делать, коли жизнь наша такая греховная, полная всяких неожиданностей, непредвиденных обстоятельств. Думаю, уже скоро кончится война,

поедешь к себе на родину, есть родная земля, которая, надеюсь, дороже здешней. А Афипсу не оставит полк, позаботится о ее образовании, воспитании. Будем надеяться, судьба ее сложится благополучно, счастливо.— Увидев на глазах старика слезы, встал Ваню Гивич.— Поверь, Федор Данилович, душа моя, я не хотел тебя обидеть. Я ведь и в самом деле с глубоким почтением отношусь к тебе.

— Ваню Гивич! — это с крыльца лазарета звала Афипса.

Встал и Данилыч, поспешно вытер рукавом слезы:

— Ваше сиятельство, простите мне мою стариковскую слабость и... я хотел бы, чтоб Афипса ничего не знала о нашем разговоре. Пойдем. Ваню Гивич, я покажу тебе своих лошадей. Молоденьких стригунков покажу. Мы сейчас придем, Афипса.

Федор Данилович заковылял к конюшне. Тяжеленько он стал ходить в последнее время — и старость донимала, и муки душевные, и погода капризничала, ныли и ныли старые раны.

XIX

— Что-то давненько я не слыхивал твоей балалайки, Федор Данилович! — сказал доктор.

— По правде сказать, я почти забыл, что она у меня есть. Если душа в расстройстве, сердчишко пошаливает, какая уж тут балалайка. Да и пальцы, поди, совсем огрубели.

— Вот я и говорю — давненько ты не играл, пальцы огрубели, а ко мне днями гостя приезжает, жена моя, она любит музыку, вот ты и поразомни загубевшие пальцы, чтобы не ударить лицом в грязь перед гостей.

— Да уж не ударим, не изволь беспокоиться. Очень хороший человек твоя жена, Сергей Петрович. Я хоть всего один раз ее видел, можно сказать, накоротке, а понял ее характер.

— Ангелина Парамоновна — казачка, что называется, потомственная, коренная и, как истая казачка, очень веселая в компании, неудержимая. Что попеть, что поплясать

— просить не приходится. Голос у нее сильный — запоем, не удержишься, чтобы не подхватить.

— Казачки они такие! Да и жизнь-то казачья — в походах да переходах, в седле, да у костра — не унывай, казак, нос опустишь — весь пропадешь.

— Верно говоришь, Федор Данилович, жизнь казачья требует силы да удали, уныния не терпит. Лина моя — настоящая казачка. Я-то хоть и не так давно ездил домой, но решил пригласить ее сюда, как ты, наверное, догадываешься, ради Афипсы, а то она среди мужчин совсем одичала. Ты, должно быть, заметил — редко она стала показываться во дворе.

— Взгляд у нее стал другой, фигурой начинает оформляться, невестится моя доченька.

— Особенно этим летом — на глазах взрослеет. Красивенькая была девочка, а теперь красавица расцветает. Держитесь, парни! — развеселился Сергей Петрович.— Ты с Афипсой поговори, подготовь ее к приезду Ангелины Парамоновны.

— Обязательно, а как же. Она, должно быть, обрадуется, что женская душа объявится у нас.

Улыбался Данилыч, но как-то странно, потому что напряженно, лихорадочно думал: не к добру это, ох, не к добру доктор вызывает сюда Ангелину. Сам он придумал или договорился с князем, ведь за Афипсу-то главный ответчик Ваню Гивич. Что они затеяли? Может решили увезти ее с помощью женщины? Надо нам с Афипсой нынче решиться и принять свои меры... А что, если она не захочет бежать, если испугается?

Доктор между тем продолжал:

— Мне кажется, Афипса уже совсем привыкла к нашей жизни. Я не слышу уже, чтобы она говорила по-черкесски. У нее прекрасный русский выговор.

— Да-да,— рассеянно согласился Данилыч,— мало говорит по-черкесски. Не кажется ли тебе, Сергей Петрович, что она нас всех обманывает, только делает вид, что не хочет говорить по-черкесски?

— Ты так думаешь? — обеспокоился доктор.— Мы же все с нею искренни, доброжелательны, как с родной дочерью обращаемся, неужели Афипса может быть такой...

неблагодарной? Не верю, она чище, у нее есть благородство в характере. Просто надо скорее окрестить ее, таинство крещения, думаю, окажет на нее благотворное влияние. Я твердо верю в это, надеюсь на нашу красавицу.

— Дай-то Бог, чтобы все именно так сложилось. Она готова хоть сегодня ехать в храм, но отец Георгий что-то помалкивает, ничего не говорит. Может, он чем-то недоволен?

— Я с ним недавно разговаривал, он сказал, что в самое ближайшее время совершит таинство. Он сам тебе об этом скажет, так что ты, Федор Данилыч, не беспокойся.

Из-за угла выскочил всадник. Это был с новенькими погонами урядника Тришков. Лихо подскакал к воротам, спрыгнул со скакуна, накинул повод на плетень. Войдя во двор, поприветствовал доктора и Данилыча. Старый солдат вместо ответного приветствия озабоченно спросил:

— Что случилось, Николай?

— У меня все в порядке, а у вас что случилось?

— У нас?! — крайне удивился доктор.

— У вас, — повторил урядник, — Афипса просила меня немедленно приехать сюда, потому и спрашиваю, что у вас случилось? А где она сама?

— В доме, где ей еще быть, — озабоченно и в то же время настороженно ответил Федор Данилович. — Пойдемте в дом.

Афипса сидела за столом, читала букварь, присланный ей Николаем Павловичем, и весело поднялась навстречу вошедшим:

— Добро пожаловать, наш гость, добро пожаловать, Николай Савельич.

— Я — гость?! — удивился Тришков. — Я прибыл, потому что ты просила. Ты велела — вот я и приехал, решил, что у тебя ко мне есть какое-то дело.

— Спасибо, что ты приехал, но я... как тебе сказать...

— Господа, — обратился урядник к доктору Сергею Петровичу и к Федору Данилычу, — Афипса желает поговорить со мною, прошу прощения...

— Ты не так меня понял, урядник. У меня нет никакого секрета от них! — спокойно продолжала Афипса. — Прошу садиться.

— Садимся, — в тон афипсиной «светскости» сказал молодой урядник.

Все улыбнулись.

Стоять осталась только Афипса, но и она улыбалась уряднику лукаво:

— Я позвала тебя, Николай, не только на твои новые погоны посмотреть, а чтобы отнести и поставить на прежнее место кровать Фидура. Федор Данилович захворал, он в таких годах, что я не смею его утруждать.

— Ну-у, Афипса, — широко развел руки доктор, — разве я уже не мужчина, разве я не смог бы перенести кровать?!

— Странное дело, — сказал урядник, — стоит себе койка и пусть стоит. Чем она тебе не нравится, Афипса?

— Ты видишь, где она стоит? А где кровать Фидура? Вот. Я боюсь одна спать.

— Доченька, зачем ты конфузишь меня перед людьми, — поморщился Данилыч, — я не хотел бы всем говорить этой неприятности, да ты вынуждаешь меня. — Еще больше поморщился Федор Данилович. — Я... сильно храплю. Так храплю, что просыпаюсь и, конечно, пугаю Афипсу.

— Не слушайте вы его! — капризно промолвила Афипса, взяла с кровати подушку. — Сергей Петрович, помогите Николаю перенести кровать в другую комнату. И балалайку тоже надо вернуть на место. Фидур совсем не храпит, он спит совсем тихонько и не мешает мне, а зачем выдумал все это, непонятно... Так, хорошо, ближе к стенке, ставьте... Теперь ковер надо повесить. Спасибо, спасибо.

Поставили кровать, повесили ковер, балалайку — комната стала прежней, как и была все эти годы.

Ушли доктор с урядником.

Данилыч, нахмурившись, заложил руки за спину, подергивал усами, нервно ходил по комнате, мимо Афипсы, сидевшей у окна.

— Недоволен я тобой, дочь моя, совсем недоволен.

— Если ты о кровати, Фидур, то я тут не виновата.

— Как не виновата? Зачем этот шум затеяла?

— Я же просила тебя, просила, а ты не слушался.

— Почему старший должен слушаться младшего, да еще девчонку!

— Девушку,— мягко поправила Афипса.— не слушаться, а уважить ее просьбу.

— Уважить! Смотрите-ка! А зачем адъютанта его превосходительства вызывала? Зачем тревожила? Что скажет генерал, если узнает обо всей этой нашей глупости.

— Если бы не Тришков, кровать до сих пор стояла бы в прихожей. Если бы был здесь Николай Павлович, тоже мою сторону взял бы.

— Скажите! Ее сторону взял бы! — утихомирился Данилыч и мягко попросил: — Пожалуйста, больше без моего ведома никого к нам не приглашай. Я прошу тебя... и приказываю!

— Если просишь, то, конечно, я уважу тебя, но ты... ты нехорошо тоже поступаешь: считаешь меня взрослой, поэтому оставляешь одну в комнате, а потом и вовсе покинешь! — Заплакала, зарыдала Афипса, прижавшись совсем как маленькое дитя к его груди.— Я не хочу, не хочу!

Обнял и Данилыч Афипсу, и в его глазах заблестели слезы:

— Да перестань ты, перестань, доченька! Что за глупость такую взяла себе в голову! Как это я могу тебя бросить! Не стыдно такое думать, не стыдно меня обижать!

— Фидур, никак ты плачешь! Беденький, мой родненький Фидур. Не надо плакать.— Она гладила его по щетинистым щекам, прижималась к его груди.— Не плачь, я прошу! Если обидела, прости меня. Давай назад перенесем кровать. И балалайку тоже. И ковер. Только не оставляй меня одну, не бросай.

Вытер он слезы рукавом, отстранил Афипсу:

— Тебя обидели, дочь моя? Кто обидел? Может, доктор, может, раненные или еще кто?

— Никто не обидел.

— Почему же ты тогда как говоришь — не оставляй, не бросай одну?

— Я нигде не хотела бы жить без тебя. Куда ты поедешь, туда и я. Даже если поедешь к себе далеко домой.

— Разве не здесь наш дом?

— Нет. Здесь казарма, а твой настоящий дом — далеко на севере, куда уедешь, если уволишься из армии. Я поеду на самый далекий север, с тобой, Фидур.

Федор Данилыч настороженно посмотрел в окно подошел к двери, прислушался. Все тихо.

Взял веник, стал подметать — хоть каким-то делом надо было занять руки, чтобы успокоить растревоженный разум.

— Что ты делаешь, Фидур, будто я не могу подмести.

— А его и подметать нечего, он чистый.

— Тогда зачем подметаешь?

— Не знаю.

Она взяла у него веник и тоже стала аккуратно, с подчеркнутым усердием, подметать чистый пол.

— Иди-ка ты лучше приготовь ужин,— попросил Федор Данилыч.

А вечером, перед тем, как ложиться спать, Данилыч сказал Афипсе:

— Мы с тобой ни о чем таком не говорили. Не говорили и все тут. Это только наше с тобой дело, поняла?

— Как не понять, поняла.

— Теперь помолимся и будем спать.

— Какому Богу?

— Афипса! — прикрикнул Федор Данилович.— Опять ты за свое! Прошу тебя, доченька, моя родная...

— Не буду, не буду! Твой Бог — он и мой Бог.

Они стали перед образами.

— Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...— громко начал молиться Данилыч. Афипса тихонько повторяла вслед за ним.

Когда после молитвы улеглись каждый на свою кровать, Данилыч несколько минут прислушивался, ждал, что Афипса тихонько станет читать свою мусульманскую молитву, но она не стала и вскоре задышала ровно и глубоко. Уснула.

— В руце Твои, Господи Иисусе Христе. Боже наш, предаем дух наш. Ты же нас благослови, Ты нас помилуй и живот вечный даруй нам. Аминь.

Утром следующего дня пополудни Афипса позвала Данилыча к окну:

— Посмотри, кто к нам приехал!

Приехала Ангелина Парамоновна. Дородная, могучая, она с трудом протискивалась в калитку. За нею с чемоданами в руках шел Сергей Петрович. Выглядел он, по сравнению со своей супругой, довольно-таки скромно — и ростом, и фигурой.

— Да-а,— сказал Федор Данилович,— раскормила Парамоновна на кавказских харчах.

— Она не меньше твоей бочки, даже больше! — восторженно воскликнула Афипса.

— Цыц! Бесстыдница! Доживешь до ее лет, может еще больше раздобреешь за своим богатым да щедрым мужем.

— Нужно мне очень! — надула губки Афипса.

— Ладно, не сердись. Гостя следует принимать таким, каков он есть, ведь каждый гость — счастье в доме. Так у вас говорят?

— А какая она мне гостья?

— Очень простая, Сергей Петрович специально ее пригласил, чтобы ты с женщиной побыла, поучилась у нее кое-чему. Ты вон Марфе и то радовалась, а тут — барыня! Она добрая-предобрая! Только с виду такая большая, а уж если пойдет плясать, если запоет свои песни, так милее ее и не увидишь в компании.— Искренне говорил Федор Данилович, а сам все тревожился: чем кончится это свидание, уж не умыкнут ли с нею Афипсу: ухо надо держать востро. «Я, говорит, поеду с тобой и на самый далекий север, а сама-то все думает о горах, об аулах, о черкесах, уж это точно. Да как же иначе. А если мне с нею ехать, что тогда? Жить опять на чужой земле, с людьми другого рода-племени, забыть о своей вологодской деревушке, о родственниках? Э, как это непросто — даже подумать тяжело. Ничего, авось обойдется, Господь милостив».

— Доченька, иди и хорошенько оденься, хорошенько головку причеши, косу заплети. Как ты сама будешь выглядеть, так и гостя уважаешь.

— У нас то же мама говорила.

— Вот и славно. Иди.

Едва Афипса успела одеться и причесаться, как к ней пожаловала Ангелина Парамоновна.

— Добрый день, доброго вам здоровья и всякого благополучия, дорогие наши соседки,— веселым певучим голосом проговорила она, удивив Афипсу радушием, откровенностью и добротой. И голос ее, и походка, и улыбка заставили тут же забыть первые впечатления, даже тучность была ей кстати.— О-о, вон ты какая, Афипса, настоящая красавица, а говорили — ребенок. Подойди ко мне, дитя мое, дай обнять тебя, поблагодарить за добрую помощь моему супругу.— Ангелина Парамоновна обняла, трижды крест-накрест расцеловала Афипсу, словно она была ей близкая родственница. Афипсе даже показалось, будто она уже не однажды видела гостью и даже соскучилась по ней.— И тебе, дорогой Федор Данилович, помощник и радетьель Сергея Петровича, мой поклон и благодарствие с пожеланием доброго здоровья,— поклонилась она в пояс старому солдату и стала осматривать придирчивым хозяйским глазом комнату.— А что — хорошо, уютненько у вас, видна умелая и заботливая рука Афипсы. Молодец, дитя мое, вижу тут я сердце твое женское и хороший вкус.

— Спасибо, спасибо,— поклонился и Федор Данилович,— садитесь, гости дорогие, спасибо вам за радость, что вошла с вами в наше жилище. Афипса, подавай стулья, ухаживай.

— Да мы ненадолго. Скажи, Парамоновна, свое слово хозяйское,— вступил в разговор Сергей Петрович.

— Знаю дело, скажу. Мы еще насидимся у вас, а сейчас приглашаем к себе, откушать, чем Бог послал. На скорую руку я уже кое-что приготовила вкусненькое, домашнее, а то вы, бедненькие, замучены армейской пищей. Мы, казаки, народ быстрый, у нас всегда с собою есть добрый припас, домашний провиант, приготовленный в дорогу — только подогреть, разложить, поставить... Милости просим.

— Великое спасибо,— поблагодарил Федор Данилович. Ангелина Парамоновна взяла Афипсу под руку:

— Пойдем, милочка, нам надо еще немного поколдовать у стола, придать ему изящество.

XX

«Дело-то совсем плохо получается,— думал Федор Данилович,— эта Парамоновна, можно сказать, влюбила в себя Афипсу». С утра и до позднего вечера девочка находилась у Плуталовых — то на квартире, то в лазарете, то на берегу речки, то в полковой лавке обновы покупают, разные сласти. Но самая главная беда его заключалась в том, что куда бы он ни пошел, куда бы ни поехал, всюду, ни с того, ни с сего, обязательно встречал верховых или пеших солдат, а то и самого урядника Тришкова. Что за оказия! Не иначе, как за ним установили негласный надзор.

День ото дня ему все хуже и хуже становилось, все больше он ощущал свое одиночество, подозрительность вокруг себя, будто он враг какой, изменник, будто не старый солдат, не раз испытанный в боях.

Решил он— в ближайшем случае в упор спросит своих преследователей, что им надо от него, кто велел им следить за ним. Прямо спросит, без обиняков, и если они толком не ответят ему, пойдет к самому генералу.

«Плутоватая, плутоватая эта Плуталиха, заморочила девчонке голову, чего доброго, и увезет с собой. Наобещает ей сто коробов счастья, а та, разинув рот, и поверит. Вот тебе и «Фидур-Фидур, я поеду с тобой хоть на самый дальний север». Бабы — они такие, держи востро ухо, гляди да поглядывай!» — не понукая лошадей, ехал Данилыч по воду.

Горестно думал-раздумывал.

Подъехал к берегу — вот они двое всадников. Сам адъютант генерала с солдатом.

Поздоровались всадники. Данилыч не ответил, будто и вовсе не видел их, не слышал.

— Здравствуйте, говорю, Федор Данилыч! — во всю глотку еще раз поздоровался Тришков.— Что-то ты нынче не в духе. Будто туча хмарная нахмурился.

— А чему радоваться-то? — стал наливать в бочку воду старый солдат.

— Да хотя бы славному утречку.

— Эка радость! — хотел напрямик выложить свою обиду, да почему-то вильнул в сторону.— Чему радоваться... Или не видел сколько вчера вечером убитых привезли.

— Как не видеть, если я сам их и привез. Много убитых, да там не только наши. Черкесов привезли, чтобы потом обменять на скотину, а то мы с продовольствием малость подбились. Но сдается мне, Федор Данилович, ты хмуришься, не хочешь с нами по доброму разговаривать по какой-то иной причине.

Федор Данилыч закрыл бочку, выехал на берег, ничего не ответив уряднику.

— Поезжай один,— приказал Тришков солдату,— а я останусь с Федором Даниловичем, приеду позже... Ты все-таки обижаешься на меня или еще на кого?

— За что мне обижаться на тебя?

— Не знаю. Возможно, потому, что стал редко бывать у вас? Но что делать — служба, дела. Уж не за Афипсу ли ты обижаешься?

— А чего за нее обижаться. Она уже взрослая. Почти взрослая и такая самостоятельная, упрямая.

— Говорят, будто она стала засматриваться на мужчин. Походка, говорят, изменилась, стала такая...

— Николай Савельевич,— не без упрека сказал Данилыч,— зачем же ты мне, старику, такое говоришь? Не знаю, как у нынешней молодежи, а у нас это считалось неприличным. Понятно, что Афипса и ходить со временем будет иначе, и на мужчин станет по иному смотреть. У иных девушек даже цвет глаз меняется. И удивляться тут нечему, жизнь, уважаемый урядник, она такая, не спрашивается нас, нашего совета. Мне уже говорили — заневестилась Афипса. Я и сам вижу — заневестилась. Так для того ее и родили на белый свет девочкой.

— Хорошо ты говоришь об Афипсе, правильно все говоришь... но когда она собирается принять нашу веру?

— Как я ее понимаю, Николай Савельевич, она уже давно приняла нашу веру.

— Тогда отчего же ее не окрестят?

— Я, что ли, этому помеха?

— Говорят — ты,— твердо ответил урядник.

— Каким же это образом? — насторожился Данилыч. Даже придержал лошадей.

— Разговор идет, по твоей вине, уважаемый, тогда сорвалось крещение.

— Это когда я заболел? — Федор Данилович почувствовал, что лицо его загорелось, и он немного отвернулся в сторону от Тришкова.

— Не знаю, болен ли ты был, здоров, но в храм не захотел ехать. Разное об этом говорят.

— Урядник Тришков! Хоть ты и чином старше меня, я не позволю тебе так разговаривать со мной!

«Мать честная, что ж я наделал!» — воскликнул про себя Тришков. Ведь князь Амилахвари просил его поговорить с Данилычем мягко, осторожно, чтобы и не обидеть его и узнать истину — в самом ли деле был он болен, не затеял ли что-нибудь нехорошее? Дать бы коню шпоры и ускакать, будто ничего и не было. Вот беда, вот беда. Не зря говорят: слово не воробей, выпорхнет, не поймаешь.

Не дал урядник коню шпоры, а даже немного придержал, чтобы подумать, как выпутаться из неловкости.

И это не дело — отставать от повозки, молчать. И он сказал, что подвернулось:

— Зря ты, Федор Данилович, берешь грех на душу.

Теперь старый солдат резко придержал лошадей. Обернулся к Тришкову:

— Эх, урядник, думаю, среди моих многих грехов найдется местечко и этому. Господь милостив, одна у нас только и есть надежда — Отец наш Небесный.

Только теперь дал Тришков шпоры своему коню и ускакал. А что ему оставалось, раз уж так все сложилось?..

С тяжелым сердцем Федор Данилович вошел в дом, после того как распряг лошадей, дал им в конюшне овса. Вошел в дом и расстроился еще больше — не было Афипсы дома, опять видно, как всегда, пропадала у Плуталовых. «Целыми днями там, целыми днями, будто меня уже и на белом свете нету!»

Взял балалайку и не спеша забренькал тягучую, тоскливую мелодийку.

Вбежала Афипса:

— Фидур! Какую я тебе новость принесла!

— Ты лучше скажи, где была, где пропадала целый день?! — строго оборвал Данилыч Афипсу.

— Фидур, ты плохо слышишь?! Я тебе сказала: очень хорошую новость принесла,

— А я спрашиваю: где ты пропадала целый день? Старший тебя спрашивает. Как надо ему отвечать? Или забыла?

— Фидур, я прошу тебя, не злись, и пусть не плачет твоя балалайка, прошу.

— Я вовсе и не злюсь, просто хочу знать: где ты была?

— С тетей Анжелиной ходила в лавку, потом немного погуляли: у реки постояли, у валуна посидели.

— Не слишком ли часто ты ходишь в лавку с Анжелиной Парамоновной, не надоела ли ты ей? И я... совсем тебя дома не вижу — поднялась с постели — и уже нет тебя.

— Фидур!..

— Да, Афипса, да, дочь моя, ты совсем забыла обо мне. Целыми днями я один и один, не знаю, куда голову свою приклонить.

— Ты опять за свое, Фидур! Нет у меня никого роднее тебя, нет, Фидур! Ну а тут приехала добрая женщина. Все солдаты да солдаты, а тут женщина! Как же мне не побыть с нею. С женщиной, Фидур!

— Добрая, хорошая женщина Анжелина Парамоновна, да боюсь, как бы она не умаслила тебя, как бы потом к себе в Ставрополь не увезла.

— Ой, Фидур! Как это она может увезти меня. Я же не чемодан!

— Спасибо, доченька. Ты хотела мне сказать что-то, новость какую-то.

Постучав в дверь, вошел урядник Тришков:

— Федор Данилович, тебя зовет генерал.

— Меня?! — не то испуганно, не то обрадованно удивился Данилыч.

— Так точно, Федор Данилыч.

— Сей момент. Только переоденусь. — Данилыч пошел в другую комнату.

Афипса встревоженно спросила:

— Зачем Фидур понадобился генералу?

— Не могу знать! — по-военному ответил Тришков.

Афипса поморщилась:

— Ну зачем ты так, Николай, по-солдатски! Если это секрет, то не говори, не заставляю.

— Я не знаю, зачем генерал зовет его. Честное слово.

— Что ж ты за адъютант, если не знаешь! — насмешливо сказала Афипса.

— Оставь его в покое, — одетый в военную форму вышел Данилыч. Он похоже слышал разговор, потому и вмешался. — Если бы и знал, урядник не должен говорить, такой порядок в армии. Это только на базаре все говорят обо всем. Ты лучше спроси у него, почему он так редко стал ходить к нам?

— А! Чего спрашивать. Я и так знаю его отговорки: занят, занят! Подумаешь, адъютант!..

— Хоть и не занят, — робко возражал Николай, — не волен я собою распоряжаться, неволен делать, что хочу. Я — адъютант при генерале, я весь в его воле.

— А я-то думала, адъютант, урядник — это большой начальник, — она не без кокетства улыбнулась Николаю. — Прощаем его, Данилыч?

— Прощаем, — согласился Федор Данилович, — однако нам пора!

У ворот штаба полка стояли две черкесские арбы, голов двадцать бычков. Тут же — адыг, державший поводья оседланных коней.

Федор Данилыч понял: черкесы пригнали скот, чтобы обменять на тела своих братьев, погибших в бою, а его вызвали в качестве переводчика. Тут же у ворот, во дворе — вооруженные солдаты.

В кабинете за столом сидел генерал, рядом с ним князь Амилахвари, тут же стоял Тришков. Поодаль от них сидело трое адыгов.

— Скажи, Федор Данилович, нашим неприятельским гостям, что я знаю о цели их визита. Мне жаль, что между нами нет мира, что на этой войне гибнут не только воины, но и мирные, ни в чем неповинные люди, горят селения, пропадают незасеянные поля. Во вчерашнем бою погибли не только ваши, но и наши воины. Мы знали, что вы сегодня приедете за телами своих братьев, потому и не предавали их земле, никто из нас не посмел их обесчестить. Пусть забирают и уходят с миром.

Перевел Данилыч слова генерала.

Встал старший из адыгов, за ним и двое других.

— Сидите, пожалуйста, — сказал генерал, призывая жестом не вставать.

— Мы встали, — сказал старший из адыгов, — в знак своего уважения к господину генералу. Мы — противники, мы враги с ним, но благодарим, что он согласился передать нам тела наших павших воинов. Это знак истинного воинского достоинства, уважения к противнику. Я хочу сказать, у нас нет вины перед генералом, перед его воинами, мы не виновны в смерти русских солдат, потому что всего лишь обороняемся, защищаем свою землю, свою веру, вековые обычаи нашего народа. Мы знаем, что господин генерал не виновен в этой войне, он всего лишь исполняет волю своего царя, исполняет свой воинский долг. Мы верим в справедливость, мы верим в милость нашего Аллаха, в Его мудрость. Мы благодарим тебя, господин генерал, за твою доброту и воинское благородство. Здесь благодарим, чего не можем на поле боя. — Адыг приложил руку к груди и слегка поклонился с генеральским достоинством.

— Скажи черкесам, Федор Данилович: я благодарю их за искренность, ведь искренность — это тоже мужество, сила и даже благородство, большее, чем в бою, когда над твоей головой занесена шашка для смертельного удара... Если у них нет ко мне вопросов, пойдёмте. Будем отправлять гостей.

Арбы с телами погибших, накрытые черными бурками, уже стояли у раскрытых настежь ворот.

— Ваню Гивич, постройте наших воинов.

Стал генерал перед строем.

— Господа офицеры, воины доблестной русской армии! Перед вами черкесы, которые воюют с нами. Точнее сказать, с которыми воюем мы. По-современному хорошо вооруженные, мы воюем с теми, у которых, в сущности, только и оружия, что кинжалы да шашки, ружья, зачастую без свинца и пороха. Однако вы знаете, чего стоит каждая ваша победа над ними. Их удивительным мужеством, их беззаветной храбростью определяется и ваше мужество, ваша храбрость. Пали Чечня, Дагестан, и только здесь черкесы, в союзе со своими лесами и горами, противостоят

нашей армии, только истинная любовь к своей земле, к своему народу дает им силу, питает дух героизма, которому надо не только завидовать, но и учиться. Не только завидовать и учиться, но и уважать. Они приехали за телами своих братьев, они приехали выкупить их, но мы с вами не были бы истинными воинами, истинными сынами своего Отечества, если бы взяли эту плату. Я горжусь вами, русские воины, высоко ценю славу нашего оружия, но отдаю так же честь достоинству нашего противника.

Перевел на адыгский Федор Данилович речь генерала.

Почудилось Данилычу, а может быть, в самом деле так и было: грянул с неба звон. Чистый, проникновенный. «Спаси, Господи, люди Твоя, вкорени в них страх твой, и друг ко другу любовь утверди, угаси всяку распрю, отыми вся разгласия соблазны...» Крайне удивился Федор Данилыч, увидев Афипсу с Ангелиной Парамоновной у ворот. Но еще больше он удивился тому, что они пошли следом за арбами с покойниками.

— Зачем, куда они?! — заспешил Федор Данилович, заспешил, припадая на хромую ногу.

После завтрака следующего дня к Данилычу пришла Ангелина Парамоновна. Лицо у нее измятое, глаза — красные, припухшие, будто она провела ночь в мучительной бессоннице. Прямо с порога строго потребовала:

— Афипса, иди-ка к Сергею Петровичу! Он ждет тебя.

— Что?! — блеснула глазами Афипса. — Опять секреты от меня?

— Что ты выдумываешь, доченька, какие секреты? — ответил Федор Данилыч.

— Если нет секретов, тогда почему Ангелина Парамоновна отсылает? Почему? — не тетей, а по имени и отчеству впервые назвала ее Афипса.

— О чем ты говоришь, милочка моя, — сбивчиво заговорила Ангелина Парамоновна. — Никаких секретов от тебя у нас нет и быть не может. Если я что-нибудь не так сказала, если обидела невзначай, прости великодушно.

— Я совсем не обижаюсь на тебя, тетя Лина, — немного смягчилась Афипса. — Просто... ну... Фидур, когда вчера разговаривал с адыгами ничего не сказал обо мне. Он что,

боялся как бы они не увезли меня с собою?! Почему, почему?! — не выдержала Афипса, зарыдала и убежала.

— Не беспокойся, Федор Данилович, никуда она не убежит, она слишком любит тебя. Не надо на бедняжку обижаться. Нужно хорошенько понять ее горячее сердце, душу ее девичью, иначе все наши усилия будут тщетны. Она ведь не только к нам, но и к своим так же непримиримо относится. Жалко ее бедненькую, жалко умницу — добрую, чувственную и такую красивую. А красота женщине не дается так просто. Женская красота — это счастье и в то же время — большая беда, как крупный бриллиант, к которому тянется столько жадных, подчас грязных рук. Всю ночь мы разговаривали, спорили с Сергеем Петровичем, думали, как быть с Афипсой, как уберечь ее от бесчестных соблазнительей, от грубых людей, как помочь ей остаться самой собой.

— И что же говорит Сергей Петрович? — насторожился Данилыч.

— А! — безнадежно махнула рукой Ангелина Парамоновна. — Вы с ним одинаковы, как, впрочем, и другие мужчины: вырастим, воспитаем, дадим приличное образование, выдадим замуж за человека умного, красивого, знатного. Ну-да! А ее спрашивали? Какой человек ей нужен, чего хочет ее сердце? Спрашивали? А-а, вот оно и есть! Вы — умные, вы — мудрые, вы, конечно, всегда и во всем правы. Вы, безусловно, считаете Афипса должна поступать, как вы ей посоветуете, а проще сказать, как прикажете, заставите, считая себя безгрешным. Горюшко-горькое!

— Вы-то сами, конечно, разговаривали с ней. Может, она вам что-нибудь сказала, поведала девичье? Может открылась сердцем. Ведь Афипса так уважает вас и любит.

— Сердцем? Разве услышишь, как оно говорит. Можно только почувствовать это. А вы-то, вы разве до сих пор не почувствовали? Ведь ближе вас у нее никого нет.

— Верно, никого. Понял я, чего оно хочет, куда, к чему оно стремится, но мы не можем позволить ему сделать Афипсу обездоленной. Уважаемая Ангелина Парамоновна, черкесы вчера забрали тела своих воинов, чтобы предать их земле, где они родились и росли, это для них обычное

и совершенно обязательное дело. Но как быть с Афипсой, кто ее заберет, куда и зачем. Мы все сердобольны, пока нас не коснется беда, они — тоже: посочувствуют сиротке, скажут много мудрых и добрых слов, но если вы спросите, кто возьмет девочку в свою семью, кто отдаст ей свое сердце, а не только слова... тут-то и будет все очень трудным.

— Вы мужчины, позвольте повториться, совершенно одинаковы. Горе посетило бедную девочку на той злополучной поляне, но я вам скажу, уважаемый Федор Данилович, лучше мыкать горе среди своих людей, среди единоверцев, наследников одной общей крови, чем здесь, среди чужих и чуждых во всех отношениях людей. Я говорила Сергею Петровичу, но он не смог понять меня, говорю вам и не вижу, простите, понимания. Теперь все это скажу генералу Граббе. Николай Павлович человек мягкий, человек благородной души. Надеюсь на это, а если нет?.. Тогда уж и не знаю, как быть.

Слушал Федор Данилович Ангелину Парамоновну и вспоминал, как всю прошлую ночь Афипса во сне говорила с кем-то по-черкесски, как звала кого-то на помощь и горько плакала.

XXI

Все четыре года, проведенные в крепости, Афипсу не покидала память о ее родном ауле, об отце и матери, не покидала тоска по лесам и горам, по родной речи. Но Сергей Петрович, раненые солдаты, Николай Тришков, князь Амилахвари, генерал и, конечно же, Федор Данилович, а теперь еще и Ангелина Парамоновна составляли другой мир, в котором она жила каждый день, к которому привыкла, кое в чем даже полюбила, а после того дня, когда адыги приезжали за телами своих воинов, когда она провожала их за ворота крепости, то подспудное, что жило в ней, вдруг поднялось и заполнило все ее сердце. Ей показалось, что она ушла с ними, оплакивала в ауле погибших воинов, слушала молитву муллы. Ушла с ними и живет в ауле, в большой адыгской семье, а другая Афипса осталась в кре-

пости. Совсем другая, отдельная от той, что поселилась в ауле.

Каждый день после обеда, как только уходил отдыхать Сергей Петрович, ложился вздремнуть Федор Данилович, Афипса мягкой кошачьей, неслышной походкой уходила из дома, даже не уходила, а выскальзывала, перелезала через плетень и почти бегом, с легкостью птицы устремлялась к речке, к громадному валуну, похожему на копну сена, взбиралась на него, усаживалась на выступе, словно в каменном кресле, над бурлящей водой и смотрела на ближний лес, на холмы и дальние горы в белых папахах. Смотрела, пыталась там увидеть себя — в ауле, среди девочек, среди женщин, похожих на ее маму.

Сердце начинало биться гулко-гулко, взгляд туманили слезы. Ей казалось она слышит голос муэдзина, призывавшего правоверных на полуденную молитву. Иногда так ясно видела аул, себя, дом, в котором жила с отцом и матерью, что закрывала глаза, затихала, будто бы погружалась в сон, и сидела так до тех пор, пока не успокаивалось сердце, не унималась боль.

Долго она сидела так, потом шла домой.

Однажды за нею увязался Мишид. Он тоже взобрался на валун, лег рядом с Афипсой, положил мохнатую голову ей на колени.

— Как ты думаешь, Мишид, — заговорила она по-адыгски, — не лучше ли нам было бы вон за тем лесом, у той белой горы? — Мишид ласково взвизгнул. — Конечно, там еще лучше. Раз ты согласен со мною, значит, еще не забыл адыгский язык. Молодец, ты — настоящий друг. При Фидуре тоже можно разговаривать по-адыгски, он тоже настоящий друг.

— Эй, Афипса! Ты чего забралась туда? — это спрашивал Тришков, вдруг оказавшийся почему-то у валуна.

— Захотела, потому и забралась, а тебе какое дело, что ты за начальник такой!

— А с кем разговариваешь? Сама с собой?

— Ты что, урядник, меня уже за сумасшедшую принимаешь? Как это я стану разговаривать сама с собой! С Мишидом разговариваем. А что случилось?

— Этот мохнатый бездельник тоже забрался на вертохуру? Зачем? И почему ты его не Шариком называешь, а Мишидом, почему по-черкесски разговариваешь? Опять за свое? Не забывай, что ты дочь полка Российской армии!

— А ты тоже не забывай, что я — черкешенка! Тебе же было сказано Николаем Павловичем, всем было сказано — на каком языке хочу, на том и разговариваю. Пойдем, Мишид, не обращай на него внимания. Если он опять такое будет нам говорить, мы пойдем с тобой к Николаю Павловичу. А вон и наш Фидур идет! — Афипса с легкостью горной серны спустилась с валуна. Сиганул оттуда с веселым громким лаем и Мишид.

— Что случилось? — спросил Федор Данилович. — Почему у тебя глаза на мокром месте? Тришков обидел?

Афипса ничего не ответила, только махнула рукой. Данилыч понял, что к чему.

— Ладно, идите домой, я вас догоню. — Данилыч подошел к уряднику: — Ты что, Тришков, опять обидел девочку? Как тебе не стыдно, а еще в адъютантах ходишь.

— Рядовой Анаскевич! — окрикнул Тришков, распрямив грудь. — Как вы разговариваете со старшим по чину?

— Ах ты, сукин сын! — побагровел от гнева Федор Данилович. — Ты посмотри, он — старший по чину! Да ты весь, со всеми своими потрохами, не стоишь погон рядового Анаскевича, его боевых ран и заслуг перед Отечеством! — Федор Данилович, хоть и старик уже, хоть и хромоногий, но плечами своими, грудью, взглядом старого солдата был, что называется, на две головы выше, внушительнее худенького урядника. Взял Данилыч Тришкова за грудки: — Чем ты опять довел до слез бедную девочку?!

Задохнулся урядник, почувствовав, как Данилыч приподнял его над землю.

— Федор Данилович, пустите вы меня, ради Бога. Люди увидят — срам-то какой мне и вам! Пустите.

— Мне-то за что срам? — засмеялся Данилыч.

— Скажут, рядовой, уважаемый человек, а как нехорошо поступает с урядником.

— Какой мне срам! — еще пуще рассмеялся Данилыч, опустил урядника и зачем-то вытер руки о штаны. — Весь мой срам вместе с кровью моих ран там остался, в бою. А

тебе, урядник, должно быть грешно и стыдно, что обижаешь несчастную девочку, Божье творение обижаешь. Последний раз спрашиваю, чем обидел Афипсу?

— Я не знаю... какая тут обида. Просто сказал, чтобы она не разговаривала с Мишидом по-черкесски, чтобы звала его Шариком. — Тришков поправил воротничок, одернул гимнастерку. — Ни в чем я не виноват. Не надо было разрешать черкесам приезжать за телами в крепость. Вот Афипса и расстроилась. Генерал...

— Замолчи, Тришков! Не твое дело обсуждать распоряжение генерала, указывать такому человеку! Ты понял меня, урядник! — грозно надвинулся грудью Федор Данилович на Тришкова.

— Чего ж тут непонятного.

— То-то! Если еще раз обидишь Афипсу, смотри у меня! Думаю, не след тебе после этого даже подходить к ней, коли ты, с позволения сказать, такой хам.

— Что ж мне теперь и словом с нею перемолвиться нельзя? — виновато глянул на старика Тришков.

— Я говорю — ни единого обидного слова чтоб не услышала из твоих уст дочь полка. Все! — Отрубил Федор Данилович, и, прихрамывая, пошел домой.

За углом сарая, у плетня, он услышал Ангелину Парамоновну:

— Нет, Сергей Петрович, нет! Ты не прав! Зачем вы из девочки, из черкешенки, чьи отцы и деды были и остаются басурманами, хотите сделать русскую, велокосветскую, православную девицу!? Зачем?! Этого я никогда не смогу понять. Разве можно заставить любить, причиняя ей боль, страдания. И имей в виду, доктор Плуталов, русский интеллигент, тебе это никогда не простится. О! Да вот он и Федор Данилович. Честно говоря, он тоже хорош — не хочет с девочкой говорить по-черкесски, на шаг от себя боится отпустить ее, будто на цепи она у него: в лес не ходи, к речке — тоже, на луг ни шагу без него. Такая милая девушка и такой старый хвост за нею стелется. А вот бы вам с Сергеем Петровичем запретить говорить по-русски, тосковать по России, во что бы вы превратились!

— Хватит, Ангелина Парамоновна! — строго остановил супругу Сергей Петрович и обратился к Федору Даниловичу: — Где Афипса?

— Вся заплаканная, зареванная пошла домой. Опять ее Тришков обидел своей глупой ретивостью.

— Вот еще новость! — покосилась на мужа Ангелина Парамоновна. — Оттого, что мы будем играть в жмурки, ничего путного не получится. Давайте сядем рядком да поговорим ладком.

— Ох, не могу я, — быстро поднялся Федор — побегу домой, хоть как-нибудь успокою Афипсу, а потом и приду к вам.

Шел он и ему вдруг вспомнилась Айшет. Ну-да, она была такой же миротворицей, как Ангелина Парамоновна. Она всех и всегда хотела примирить друг с другом, заботилась о нем вот так же, как Ангелина Парамоновна об Афипсе, о Федоре Даниловиче. «Господи, как много на грешной земле добрых, верных Тебе людей...»

Афипса лежала на койке ничком. Данилыч сел с нею рядом, погладил ее остренькие плечи, по голове погладил своею большой, хоть и тяжелой, но ласковой рукой.

— Не горюй, доченька, не кручинься. Пока я жив, никому не позволю тебя обижать. Тришков уже получил свое, получают и другие, если посмеют оскорбить тебя.

— А что ты сделал Тришкову? — поднялась и села рядом с Данилычем Афипса.

— Приказал ему, чтобы обращался с тобою вежливо, не смел бы грубого слова сказать, не злил тебя.

— А я и не злюсь на него, Фидур, — почему-то виновато опустила она глаза.

— Отчего же тогда плакала? Разве он не обидел тебя?

На вопрос Афипса ответила вопросом:

— Чего мы ждем, Фидур?

— А чего нам ждать-то, Афипса? Слава Богу, мы живы и здоровы, хлебом-солью не обделены, как и вчера, нынче пришел светлый день, придет и завтра, взойдет солнышко по милости Господа нашего, нам только и остается молиться Богу, радоваться Его милостью и сыновне благодарить.

— Я не об этом, Фидур.

— О чем же? — удивился Данилыч. — Скажи, пожалуйста, свое слово, я пойму его и тогда буду знать.

Знал, знал Федор Данилыч, куда гнет Афипса, на что намекает, да виду не подавал, старался не тревожиться, да как тут быть спокойным. Он вздохнул только и продолжил:

— Ждем, когда война окончится. Думаю, теперь уже скоро, под уклон пошла она.

— Опять ты не то говоришь, Фидур. Почему ты хитришь со мной, не веришь, что ли?

— Верю, да все никак в разум не возьму твоих слов.

Афипса усмехнулась, укоризненно покачала головою:

— Говорил ты: тот не мужчина, который своего слова не держит. Сколько раз говорил — уйдем за речку. Уйдем, уйдем, а сами все сидим, сидим, ругаемся с Тришковым.

— Не шуми, не говори так громко, доченька. Не ровен час — стены и те уши имеют... Не торопи меня, милая. Всему свое время, яблоко с дерева и то не упадет, если еще не созрело. Не торопи меня, хорошая моя, людям своих забот не показывай, а то догадаются и помешают нам. Молись и терпи.

Данилыч снял со стены балалайку.

— Фиду-у-ур, пожалуйста, не играй, — взмолилась Афипса. — Опять так затренькаешь, что мне плакать захочется. Ангелина Парамоновна говорит, когда ты играешь: «затосковал, заплакал наш Данилыч». Пожалуйста, не надо.

— Хорошо, — он повесил на место балалайку, — не буду, а ты иди умойся, причешись, надень платьице, которое получишь, ведь ты у меня, как говорят люди, заневестилась.

Покраснела Афипса, хотела прикрикнуть обиженно на Данилыча, но только улыбнулась застенчиво и спросила:

— А какое платье тебе больше всего нравится?

— Не платье красит девицу, а красна девица украшает платье. Какое наденешь, все на тебе — горазд, все на тебе расцветает.

Совсем застеснялась Афипса, отвернулась:

— Ладно, ладно. Иди, я оденусь и тут же выйду.

— Хорошо, только ты не очень долго кружись перед зеркалом, а то мы не дождемся тебя.

— Дождетесь!

Оделась, развеселилась, напевая перед зеркалом свою давнюю, еще детскую песенку.

Вышла на крыльцо.

Увидела ее Ангелина Парамоновна, восторженно всплеснула ладошками, не сдерживая восхищения, сказала:

— Боже, неужели это наша миленькая девочка! Как ты красива, как хороша собой! Я едва узнала тебя, дитя мое! А платье, что за платье на тебе. Ой, Федор Данилович, смотри да смотри за нею, не пускай одну гулять, а то умыкнут ее. Тот же молодой урядник Николай Савельич Тришков первым это сделает!

Совсем сгорая от застенчивости, раскрасневшись, Афипса воскликнула:

— Тетя Лина, не надо так! — и спряталась за ее спину.

— Ничего, мое солнышко, ничего, — обняла она Афипсу. — Застенчивость тоже украшает, но, когда она уж слишком, то может повредить. Чувство меры во всем превыше многих благодетелей. Ты — умница, все понимаешь.

Приветливо поскуливая, виляя хвостом, подбежал пес и стал тереться о Афипсу.

— Тише, Шарик, тише! Не вздумай прыгать, а то испачкаешь платье. Ну, ну!

Федор Данилович заметил про себя, что Афипса назвала собаку по-русски, и похвалил ее: «Молодец, доченька, верно говорится — ум хорошо, но хитрость иногда бывает полезна». Конечно, Ангелина Парамоновна спорит с доктором, отстаивает свободу Афипсы, но! Как знать, как знать! Может, это игра, которую, тонко ведет Ангелина Парамоновна? Ведь если что-нибудь неуютное случится с Афипсой, за это будет в ответе и доктор Плуталов, а его благополучие — это благополучие и его супруги. Да и вообще, они ведь русские люди и должны вести себя, как долг обязывает.

— У мужчин — мужские дела, а у женщин — женские, — сказала Ангелина Парамоновна. — Вот вы тут и оставайтесь, а мы с Афипсой пройдемся к реке. Как молвится: на людей посмотрим и себя покажем. Пойдем, девочка, — Ангелина Парамоновна взяла Афипсу под руку.

— Пройдитесь, погуляйте, — согласно закивал седой головой Федор Данилович, — да только осматривайтесь,

не со всяким заговаривайте, а то ведь разные люди, иные могут и обидеть. Солдат он что, грубый, невоспитанный, любитель побалагурить...

— С солдатами у меня просто, — перешла на шуточный тон Ангелина Парамоновна, — Смирно! Кру-гом! Шагом марш! А то и на плацу построю всех!..

— Не надо, моя дорогая, — подхватил Сергей Петрович — а то как бы не обиделся генерал, что ты его солдатами командуешь.

Мужчины весело рассмеялись.

— Слава Богу, все у нас хорошо! — сказал Данилыч, скрывая свое беспокойство.

— Все у нас великолепно! — согласился доктор. — Пойдем в лазарет, там у нас с тобой есть кое-какие делишки, однако, что там за шум?.. Посмотри, Федор Данилович, как окружили солдаты мою супругу, как они хохочут! Похоже, она что-то веселое рассказывает им. Молодец она у меня! Со всяким человеком умеет обойтись, хоть с солдатом, хоть с офицером, хоть и в великосветской компании. Для каждого у нее есть свое дело.

— Верно, верно, — согласился Федор Данилович, однако встревоженно посматривал на плац. — А где же Афипса?

— Как это — где? Или не видишь ее в объятьях Ангелины Парамоновны?

— Вижу теперь, однако нехорошо девушке находиться среди мужчин. Не только у черкесов, но и у нас тоже. Неприлично это. Пойду заберу ее, или пусть идут они, как собрались к речке.

— Да не тревожься ты, Ангелина Парамоновна не позволит ничего фривольного.

Все-таки Федор Данилович пошел туда, к веселящимся солдатам.

Отшумел, успокоился день. И тихий вечер тоже угасал, призывая все живое к покою, чтобы завтра встретить новый шум нового дня.

Федор Данилович остался очень доволен тем, что перед образами, перед зажженной лампадкой встала и Афипса. Сама подошла, без его напоминания.

— Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! Боже, буди милостив нам грешным...

Афипса негромко повторяла слова молитвы следом за Федором Даниловичем.

— В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже наш, предаем дух наш. Ты же нас благослови, Ты нас помилуй и живот вечный даруй нам. Аминь.

Ушла Афипса, а Данилыч продолжал молиться уже про себя. Просил Господа Бога успокоить сердце Афипсы, просил унять ее норы, помочь ей примириться со всеми, кто живет с нею рядом. И о себе просил: «Трудно мне, очень трудно, Господи, наставь, научи, как быть мне с рабой Твоей, чтобы и ее не обидеть, не оскорбить, и чтобы самому остаться православным христианином. Помогни мне, помоги, Царица Небесная, помоги мне, ангел Божий, хранитель мой святой».

Утро выдалось таким же тихим, смиренным, как и прошлый вечер, только ветерок был хоть и самую малость, но свежее и как бы радостнее. Да и как же ему не быть радостному, если из-за гор уже поднималось улыбочное солнце.

— Ты за водой собираешься, Фидур?

— За водой если пойдешь, у нас говорят, никогда назад не придешь. По воду у нас ходят, по воду ездят.

— Ой, как интересно. Возьми меня с собой.

Старик на минутку задумался, а потом махнул рукой:

— Ладно, поехали. Только... Ты ведь уже не маленькая, люди скажут о тебе — дедов хвостик. Куда дед, туда и она.

— Ну и пусть говорят, — ответила Афипса и легко вспрыгнула на козлы к Данилычу.

По дороге к речке, а потом и обратно им встретились двое верховых — они вежливо поздоровались, сказали, мол, сегодня выдалось хорошее утро.

— Славное утро, — ответил им Данилыч, а когда отъехали от них, недовольно проворчал: — Чего они тут шастают? Вынюхивают что-нибудь или просто так шлындают? Не-ет, не может быть — вынюхивают, а что?

— Они всегда ездили с Тришковым, а сегодня без него. Почему бы это? — кажется с грустью произнесла Афипса.

«Ишь ты, — усмехнулся Данилыч, подумав, — никак соскучилась моя хорошая? А? Ой, гляди, девка!»

У ворот им встретились генерал Граббе и Тришков.

Они спешили. Генерал обрадовался встрече, распростер объятья:

— Здравствуй, Афипса, здравствуй, Федор Данилыч! Я так соскучился по тебе, моя девочка, ведь мы уже давненько не виделись. Ну, иди же ко мне, я обниму тебя.

Афипса спрыгнула и подошла к нему.

Генерал обнял ее, поцеловал в голову:

— Вон ты как выросла, мне даже наклоняться уже не надо. Как поживаешь, дитя мое, как твое здоровье, Федор Данилович? Надеюсь, вам передавали мои поклоны.

— Да, да! — весело уверила Афипса.

— Тришков мне всегда много о вас рассказывает. Чего же ты молчишь, Афипса?

— Я слушаю вас, Николай Павлович... У нас с Федором Даниловичем все хорошо. Нам весело — ведь у нас такая милая гостья, Ангелина Парамоновна.

— Да, очень милая женщина! — согласился генерал. — Добрая и мудрая... Однако на днях она была у меня, я немного пожурил ее.

— За что же, Николай Павлович? — тоном защитника спросила Афипса. — Вы же сами сказали, что она добрая и мудрая женщина.

— Не спорю — достойная.

— Почему же вы ее ругали?

— Афипса! — с укоризной посмотрел Федор Данилович на Афипсу. — Прошу тебя.

— Федор Данилович, — успокаивающе глянул на старого солдата генерал, — Афипса уже взрослая, может задавать мне разные вопросы. Даже серьезные... Я пожурил Ангелину Парамоновну за то, что она не привела тебя ко мне в тот день, когда черкесы приезжали за телами. И на тебя я в обиде за это, уважаемый Федор Данилович. Мы не прячем Афипсу, пусть все знают, что мы не похитили ее, что она не пленница, а дочь нашего полка. Но довольно об этом. Послушай, Афипса, я завтра еду в Екатеринодар. Ты бывала когда-нибудь в городе?

— Нет.

— А хочешь поехать со мной?

Афипсе очень хотелось поехать, повидать город, но неприлично показывать свой восторг, и она уклончиво ответила на вопрос вопросом:

— А где этот город?

— Не очень далеко. Доедем за день. Да не смотри ты так на Федора Даниловича — он дисциплинированный солдат, и, конечно, не посмеет возражать генералу. Да ему и самому, наверно, хочется, чтобы ты поехала, посмотрела город. А если хочешь, то мы и его возьмем с собой.

XXII

Верно говорится: мужик задним умом крепок. Другой-то сперва все хорошенько обдумает, обмозгует и уж потом за дело принимается, а мужик сначала сделает, наломает дров, а потом задумается. Вот как теперь Федор Данилович.

Можно было раз в жизни прокатиться в рессорном генеральском фаэтоне, запряженном горячими рысаками. Хоть и где-нибудь на заднем сидении или на козлах, а все же в генеральском. С ветерком да с бубенцами под дугой. Побывать в казачьей столице, пробежаться по ее мощеным улицам! Мир поглядеть! Да еще — рядом с Афипсой!

Ведь приглашал Николай Павлович, приглашал! Не поехал старый! Думал, немного отдохнет от Афипсы, от ее колючих словечек, пронзительных взглядов, думал, наведет в доме порядок. Нечего ему делать в городе. Не будет же он, хромоногий, шлындать рядом с генералом, вертеться, что называется под ногами. Да и Афипса может смущаться присутствием неказистого старика. Его седые неприбранные волосы, жидкие вислые усы, морщинистое, скукоженное старостью лицо не будет украшать их компанию. Так рассуждал Федор Данилович, не подумавши хорошенько, и теперь мучился.

Ну скажи на Божью милость, чего в доме порядок наводить? Подмел, вымыл полы, полил цветы на подоконниках — и все! А теперь вот он болтался, как неприкаянный, — от стенки к стенке, из комнаты во двор, со двора — в комнату.

И все думы, думы, как надоедливые летние мухи.

У Николая Павловича, конечно, свои дела в городе, много знакомых, с которыми он захочет повидаться. А что будет делать Афипса? Не станет же она ходить с генералом в штаб, к его знакомым: ведь его знакомые, его друзья для нее — чужие люди.

Кто покормит ее той вкусной едой, к какой она уже так привыкла под крылышком Федора Даниловича? Кто уложит ее в постель, прочитает над нею молитву на сон грядущий, перекрестит и скажет уже ставшее для нее совершенно обязательным:

— Да сохранит тебя Господь, дитя мое.

Кто скажет ей это тихое, ласковое слово, кто улыбнется ей, чтобы спокойно спалось. Генерал?! Он не посмеет войти к ней в спальню, неприлично это. Урядник Тришков? Он и вовсе не посмеет войти. Да он, огрубевший на войне, и не знает нужных слов — мягких, теплых, ласковых. А тут еще он перед самым их отъездом повздорил с ним. Чего доброго, этот человек станет за него мстить Афипсе. Он такой! Если бы знал, что им предстоит такая совместная поездка, он, наоборот, умасливал бы урядника, задабривал, но как знать, как узнать! А в дороге, как ей придется бедняжке? Путь-то длинный, у каждого человека есть свои надобности. Как девочка в такой долгой дороге будет чувствовать себя среди мужчин? Только и надежды на деликатность Николая Павловича. Он-то, конечно, деликатен, из высшего общества, но Афипса-то, ух, как норовиста! Хоть генеральский фаэтон сопровождают трое всадников, трое надежных телохранителей, но черкесы на своих быстрых конях, да с кинжалами, с винтовками тоже не лыком шиты, могут так напасть из засады, что охрана и пикнуть не успеет. И зачем он отпустил Афипсу, зачем вообще понадобился этот Екатеринодар?..

Измучился. Извелся Федор Данилович.

Пусто в комнате. Кровати, столы, стулья — все это пустота, если нет среди них живого человека. Все только и живое тогда, когда оживляет его человек. Вот и думалось Данилычу: Афипсы нет здесь, значит, все мертво, все ничемно. Взял в руки балалайку, да тут же вспомнил

Афипсу и повесил ее обратно на стену. Показалось, и там, в Екатеринодаре, Афипса услышит его тоску, печаль, его боль сердечную.

Солнце тоже какое-то сердитое. Небо, хоть и ясное, однако тревожное, низкое.

Все одно к одному.

А тут еще — платяной шкаф! Полез он в него за чистой сорочкой, а там висят и платица, и кофточки, и юбочки Афипсы. Ему даже показалось, что он услышал ее голос. Вроде бы она окликнула его.

И Плуталовых уже который день что-то не видно. Куда они запропастились? Да ничего не запропастились, живут сами по себе, а он зачем им нужен, зачем нужен им никудышний старик.

Один Мишид только и радовался Данилычу — приветливо повизгивал, вертел хвостом и прыгал к нему на грудь, норовя лизнуть старика в щеку и таким образом выразить ему свою любовь.

— Ну что, Мишид, ты тоже скучаешь по нашей молодой хозяйке? Скучно, скучно, брат, нам с тобой без нее, нечего греха таить. Не надо было отпускать ее, а теперь хоть плачь, не поможешь... Давай съездим за свежей водичкой, порадуем наших солдатушек-ребятушек, да и сами проветримся, прогуляемся — все не так гадко на душе будет.

Данилыч запрягал в водовозку пару лошадей, Мишид сидел тут же и с вниманием слушал своего хозяина, словно понимал каждое его слово.

— Наши с тобой люди — военные, а слово свое держать не умеют. Даже сам генерал Граббе Николай Павлович, командир прославленного Нижегородского полка, обещал вернуться через три дня, а сегодня уже пятый пошел. Слышь, ты — пятый!.. Слушай, Мишид, слушай, пес мой дорогой, ты не знаешь, куда Плуталовы подевались? Не знаешь? То-то оно и есть. А-а! — воскликнул неожиданно Данилыч. — Сегодня же воскресенье, воскресенье нынче, праздник! Может в гости к кому пошли, может, в церковь. Как ты думаешь, в церковь? Да скажи ты мне словечко, а то все вертишь и вертишь хвостом. Ладно, не сердись на старого. Старость это, брат, такая штука: хочешь сердись

на нее, хочешь не сердись, ей все равно, она гнет и гнет свое... Ну, милые, трогайте, трогайте, родные.

Выехав за ворота крепости, Данилыч усмехнулся, остановил лошадей, спрыгнул с козел:

— Похоже, совсем ты, рядовой Анаскевич, из ума выжил: едешь по воду, а в бочке-то полным-полно воды! Ну, чудака-рыбак, на воде стоит и пить просит. Точно так же и ты, Анаскевич, с бочкой, почти полной воды, по воду едешь. Как тебе это нравится, Мишид?

Вытащил Данилыч затычку, из бочки ударила сильная струя.

Запрыгал. Залаял весело Мишид, отскочив в сторону.

— Ага! Испугался?! То-то! Полай, полай, погромче, позвонче, все на душе полегче будет.

Вылилась вода, растеклась по дороге мутным ручейком.

— Ну вот, мои родные, теперь вам полегче будет, а то что ж такое получается — туда с водой, обратно с водой. Нехорошо это, совсем нехорошо. Не сердитесь на меня, память совсем ослабла, а тут еще Афипса — совсем памороки отбила... А что это сегодня не видать моих «телохранителей?» Должно, не меня они караулили, а за Афипсой наблюдали, ее караулили. Конечно, ее. Боятся, как бы не сбежала в горы, что ли? Чудаки! Куда ж она убежит, куда без меня?! Э! Глянь-ка, Мишид, вон они и Плуталовы, легки на помине. Посмотри, под ручку идут, с букетами цветов, ровно бы молодожены. А ведь хорошо это, хорошо, коли муж с женой столько лет да все дружно да ладно, благослови их Господь. Раз сами душа в душу живут, значит, и детей своих такими воспитают...

Федора Даниловича в полку принимали за бобыля, а в самом-то деле, у него была жена, Клавдия Ивановна, двое детей. Это сколько же лет он их не видел? О-о, так много, что не враз и сосчитаешь. Изредка приходили к нему письма от Клавдии Ивановны. Изредка, потому что неграмотной была Клава, ей приходилось искать грамотея, чтобы написал, а потом за много верст нести то письмо на почту. «Ох, Россия ты наша матушка, как велика ты да неуютна, непроходима».

Вздыхал и вздыхал Данилыч.

«Из полка-то меня отпустят. Сказали, скоро отпустят. А как же Афипса? Если бы Николай Павлович отдал ее мне, я увез бы девочку к себе в деревню, она стала бы не дочерью полка, а дочерью Анаскевичей... Выдали бы ее замуж за хорошего человека, нарожала бы она нам с Клавдией Ивановной внуков... Черкешенка? Ну и что. Хорошо. Мне все едино — черкешенка, казачка, русская. Только бы окрестить ее, чтобы она стала православной христианкой, а раз православная, значит, наша, родная».

— Добрый день, Федор Данилович! Что ты в этакую пору вдруг по воду едешь? — спросил Сергей Петрович.

— Занудился он у нас, совсем занудился, — рассмеялась Ангелина Парамоновна. — Зачем-то воду вылил, а теперь опять по воду едет. Без Афипсы совсем потерялся, ходит по земле и никого не видит.

— Это вас не видно, — робко возразил Данилыч, — запропастились куда-то.

— Вот я и говорю — никого не видишь. Мы-то каждый день, с утра до вечера дома, — все улыбалась Ангелина Парамоновна.

Смутился Федор Данилович:

— Что верно, то верно. Занудился я в одиночестве, а с водой... Вчерашняя была в бочке, вот и решил свеженькой привезти.

— Конечно, у нас всегда для больных должна быть свежая вода, — пришел на выручку старику доктор.

— Да-да, свеженькая... Вот только ума не приложу, Сергей Петрович, они же собирались через три дня вернуться, а уже пошел пятый. Не заболела ли Афипса? Может, что-нибудь другое с ними приключилось?

— Успокойся, пожалуйста, Федор Данилович, — если бы что чрезвычайное с ними произошло, давно бы стало известно в полку. Просто генерала задержали какие-нибудь дела, вот и все. Зато сколько новостей они нам привезут! — подбадривал доктор.

— Хорошо бы... Зачем я пустил ее, почему не поехал с ними?

— Да не казись ты, Бога ради, — вмешалась Ангелина Парамоновна, — вернуться, как миленькие, никуда не денутся они.

— Дай Бог, дай Бог. Я и утром и вечером молюсь за их благополучие, у Господа прошу милости к ним, прошу и Царицу Небесную, защитницу нашу.

— Вот и хорошо, душа моя, — похлопал ободряюще по плечу Данилыча доктор.

— Спасибо на добром слове, на добром сердце вашем великое спасибо. Вы домой идете?

— Да, — ответила Ангелина Парамоновна, — что-нибудь там надо сделать?

— Беспокоюсь — приедет Афипса, а нас нет никого. Я приготовил хороший обед к ее приезду. На плите обед, горяченький, так что покушайте свеженького. Да вы, Ангелина Парамоновна, как-то изъявляли желание попробовать черкесскую еду. Так вот там стоит четлибж — жареная курица с острой подливкой, каша кукурузная — пастэ у них называется. Отведайте, пожалуйста, уважьте старика.

— Спасибо, это мы с Сергеем Петровичем сейчас с удовольствием.

— А я, значит, поехал по воду, — обрадовался Данилыч. Тронул лошадей, позвал Мишида.

Неловко сделалось Федору Даниловичу, что иногда подозревал в недобром к себе и Афипсе Плуталовых. А зря, совсем, получается, зря. Другие косятся, когда слышат черкесскую речь Афипсы, а Ангелина Парамоновна даже просит девочку поговорить по-черкесски.

— Поговорите, поговорите, а то я живу на Кавказе среди черкесов, а не слышала их говора. Язык каждого народа — это кладезь многовековой мудрости.

Сдал Данилыч водовозку в речку, стал черпать ведром и наливать бочку, как услышал с другого берега:

— Эй, гяур лохматый, ты зачем мутишь чистую воду?

Вскинул голову Федор Данилович и увидел двоих всадников на той стороне, на пригорке. Сгоряча выхватил из-под соломенной подстилки ружье, но тут же сообразил, что ни он, ни адыги из своих ружей на таком расстоянии не достанут друг друга. Сообразил и обрадовался. Не достанут, значит, не будут стрелять. Другое дело, если бы черкесы спустились с пригорка, подошли поближе к речке, но они не собирались спускаться.

Поднял он ружье, чтобы видели черкесы, и положил его, мол, видите, я — мирный.

— Валлахи, почему вы решили, что я испорчу воду? Мне ведь тоже нужна чистая вода,— сказал Федор Данилович по-адыгски.

— Ты что, адыг? — удивились всадники.

Рассмеялся Федор Данилович:

— Можно подумать, будто вы одни умеете говорить по-черкесски.

— Тогда почему же ты на русской стороне?

— Потому, что служу в русской армии.

— Адыг, а служишь у поганых?

— Русский я, потому и служу в русской армии.

— А где научился так хорошо говорить по-нашему?

— Был в плену. В Заурхабле. Знаете, наверно, Кароха Тыганова?

— Мы не из Заурхабля, из другого аула. Но Кароха хорошо знали. Его уже нет в живых, гяурская пуля сразила беднягу.

— Е-во-вой! Бедняга Карох. Доброй души был человек.— Федор Данилович склонил голову в знак своего сочувствия, своей скорби. Помолчал, как того требовал обычай, потом продолжил: — Достойный был человек Карох. Истинно достойный: мужественный, добрый. Честный. Аллах да откроет перед ним двери рая. Передайте его жене Тамрай, сыну Мурату и дочери Джансуре мои искренние соболезнования, мою сердечную боль.

— Тебя как зовут, добрый человек?

— Скажите им — Фидур. Они знают.

— Спасибо, Фидур, но никого из тех, кого ты назвал, тоже нет в живых.

— Как же это!? — с нарастающей тревогой, но пытаюсь себя сдерживать, воскликнул Федор.

— А так! — ответили с того берега.— Там уже и аула того нет. Был аул, а теперь только головешки от него остались, да печные трубы торчат.

— Подожди-подожди! — вскричал Федор, теряя самообладание. К самой воде подошел, стоял на валуне, над пенившейся водой, что билась о камень.— Как это — аула

нет? Жакыз Пазадов, Дудай, эфенди Каймет, Мамий Беджанов? Где они?

— Валлахи, какой ты непонятливый! — рассердился черкес. От боли в сердце сердился. А тут еще вороной жеребец не стоял на месте — слышал тревогу, слышал боль своего хозяина и все силился подняться на дыбы, силился вырваться на простор, уйти от боли и тревоги.

— погоди, кунак, не горячись. Пожалуйста, прошу тебя: скажи мне обо всем спокойно. Мужчины — ладно, они — воины, а женщины? Ведь они — матери. Невестка Пазадовых Кутас, жена Сабеха, ходила на сносях...

— Прошу тебя и я, добрый человек, не надо больше ничего у меня спрашивать. Давай лучше помолчим. Не надо тревожить их души.

Билась. Билась вода о валун, а Федору казалось, что это у него в голове кипело, билось.

«Как же, человек еще не родился на свет, а его уже убили! Как же это? А бедная Гошехан, Айшет?.. Я говорил Айшет, что все в ее жизни образуется — ведь она еще так молода, так красива. Обязательно должно образоваться, ведь у красивой женщины и жизнь должна быть красивой, а иначе как же, иначе зачем красота?»

У Федора одни плечи, а на них две тяжести легли. Две боли жгли их, две смертных тоски: далеко Вологодчина, без которой нет и быть не может Федора Даниловича Анаскевича. И вот эта, многострадальная земля, что на том берегу, что здесь — и без нее нет и быть не может Федора.

Две тяжести, две боли в его сердце. Две тяжести, две боли под одним, под единым голубым небом...

Те двое всадников и Федор Данилович долго молчали, склонив головы, потом с того берега спросили:

— Как же ты опять оказался здесь... у тех, кто убивает нас. Как решился на такое? А?

— Это долгая и трудная история,— он хотел рассказать, как Карох привез его ночью к русским, привез, рискуя своей головой, но зачем говорить им это, ведь они могут оговорить Кароха, мол, гяура, которого надо было убить, привез к своим, дал ему волю, чтобы... Нет-нет, нельзя

этого допустить, не надо им ничего про это знать. Помолчал Федор Данилович, а потом сказал: — Ведь русский, значит, и душа у меня русская, так же, как у вас — адыгская.

— Выходит, ты настоящий гяур?

— Не знаю — гяур или нет, но то, что русский — точно. Сын русской матери, русской земли.— Он подумал об Афипсе, хотел сказать на тот, на другой берег какие-то слова о ней, но какие?! Этого-то он и не знал, потому и молчал.

— Слушай, если ты и в самом деле добрый к нам, если понимаешь, душою болеешь за нас, исполни нашу просьбу, маленькую просьбу.

— Если смогу, почему же не исполнить. Скажите.

— Не мог бы ты нам помочь незаметно, тайно проникнуть в Шабержскую крепость. Так незаметно, чтобы солдаты не успели опомниться от нашего набега. А?

— Вон вы как... А скажите, уважаемые... Нет, неуважаемые, разве адыги уже перестали ценить мужество и ценят предательство? Если бы я выполнил вашу просьбу, если бы предал своих братьев, неужели бы вы не стали меня презирать?! Я не верю, что ваши отцы, ваши матери учили вас такой черной гадости.

Черкесы, громко выругавшись, дали шпоры своим коням и, будто подхваченные ветром, унеслись.

XXIII

Всю неделю в лазарете, во дворе, в доме у Плуталовых только и было разговоров, что о поездке Афипсы в Екатеринодар. И разумеется, в самом центре всего этого была Афипса. Оказывается, она отличный рассказчик. Конечно, ее рассказы больше всего нравились Федору Даниловичу: об одном и том же он спрашивал у Афипсы по нескольку раз — уж очень интересным ему все казалось.

— Фидур, не могу же я тебе об одном и том же рассказывать десять раз! Все спрашиваешь и спрашиваешь, будто первый раз слышишь.

— Оно так и есть: слушаю, слушаю, а все чудится, будто первый раз ты мне рассказываешь. Ну прямо как сказки

— их по сто раз рассказывают детям — да и взрослым тоже! — и каждый раз интересно, каждый раз душа замирает или радуется. Истинный Господь! Я все тут очень волновался: вдруг тебя там голодом уморят? Ты ж не станешь есть еду, которая тебе не понравится. Скорее с голоду помрешь, чем согласишься есть невкусное.

— Что ты, Фидур! Мы там целыми днями только и делали, что ели, закусывали, опять ели. А блюда какие! Ты, наверно, и названий таких не знаешь: бифштекс, рагу, ростбиф! А всякие сладкие блюда?! Пирожные, суфле, пудинг. Кофе со сливками, кофе с молоком. Ты пробовал когда-нибудь?

— Что ты! — замахал обеими руками Данилыч.— Я и слов таких не слыхал!

— Столы длинные-длиннющие! Все белое, как снег. Накрахмаленное, называется. И стулья, и кресла — тоже в белом. В чехлах. А на столе, Фидур, тарелки, тарелочки, ложки, ложечки. Такое все красивое, так блестит и сияет, что и браться боязно, как бы не испортить. Это сначала, а потом, когда привыкла — хоть бы что. И кресла, диваны разные тоже такие мягкие, что сначала боязно на них садиться, а потом тоже — ничего... Эти вот, эти... салфетки! Их затыкают за воротник, чтобы не накапать себе на грудь, не испортить кофточку жиром.

— Надеюсь, Афипса, ты не опозорилась?

— Что ты говоришь, Фидур! Всегда не веришь, не доверяешь, думаешь, что я все еще маленькая. Главное — что? Не торопиться. Я сначала смотрела какую салфетку за воротник, а какой губы вытирать. Сначала смотрела, какой вилок что есть, в какую тарелку накладывать, а уж потом и делала так же, как они. А тут еще — ножом, ножом надо резать! Ой, как это трудно, Фидур! А самое трудное вилку держать в левой руке. Ой, как трудно! Но я быстро наловчилась! Правду тебе говорю. Николай Павлович даже удивился и спросил: кто же тебя научил так славно вести себя за столом? Я сказала — Фидур.

— Так и сказала?!

— Так и сказала.

— Боже, за что же мне такая честь?

— Чудак ты, Фидур, а как я могла иначе?

— Спасибо,— сказал Федор Данилович. Ему еще хотелось сказать Афиписе, что он ее так любит, так благодарен за ее доброту к нему, за то, что она украшает его старость, и хоть иная, не славянская кровь течет в ее жилах, он считает ее своей дочерью. Да и как же иначе, ведь говорится в Евангелии, что пред Господом все люди равны, всех он одинаково любит, он, Данилыч, пришел к адыгам как завоеватель, был у них пленником, и они относились к нему с уважением. Не мог всего этого Федор Данилыч сказать Афиписе, и, благодарно улыбнувшись, сказал по-адыгски:

— Выходит, доченька, ты выучилась дома и отправилась на хасэ, то бишь в общество... И хорошо, хорошо, что ты не торопилась за столом, показала свою сдержанность. Молодец, тут ничего ни добавить, ни убавить.

— Фидур, они сидят за обедом по два, по три часа, успеешь и поесть хорошенько, и людей послушать. А еще я тебе хочу сказать, как они называют друг друга: госпожа, сударыня, мадемуазель, мадам. Я сначала никак не могла понять этих слов, а потом уразумела.

— А тебя они как называли?

— Известно как — мадемуазель. Это по-французски.

— Вот это да! — воскликнул Данилыч. — Милочка ты моя, хорошая ты моя, а я тут очень переживал, что отпустил тебя. Оказывается, напрасно переживал.

— Конечно, напрасно, ведь я все время была рядом с Николаем Павловичем, он так заботился обо мне, все другие видели это и тоже относились уважительно. Ма-д-му-а-зель! — и Афиписа весело, по-ребячески рассмеялась.

Ангелина Парамоновна терпеливо молча слушала этот разговор, потом, улыбнувшись, сказала:

— Думаю, Федор Данилович, после столичных разнослов Афиписа теперь не станет есть твоих приготовлений, они покажутся ей совсем невкусными, слишком грубыми.

— Вот-вот, Ангелина Парамоновна, я тоже об этом самом думаю и не знаю, что делать.

— Зачем ты так говоришь, Фидур?! Их ростбифы да суфле хороши только чтобы попробовать в гостях, а настоящая еда — наша с тобой, домашняя, родная.

— Молодец, Афиписа, молодец, наша красавица,— вступил в разговор и доктор.— Недаром говорится: в гостях хорошо, а дома лучше. Разные заморские блюда надо попробовать, чтобы знать, из интереса попробовать, а настоящую силу человеку дает его небо, его хлеб-соль, стены дома родного.

— Ты, Фидур, готовишь лучше всех на свете, вкуснее всего самого вкусного! Доктор правильно говорит.

Весь расплылся от счастья Федор Данилович. Усы его и те взбодрились, глаза стали ярче, ушла из них стариковская усталость:

— Где же ты сидела за большим обеденным столом, с кем рядом?

— По левую руку от Николая Павловича, а по левую руку от меня — хозяйская дочь.

— Она моложе тебя? — с любопытством спросила Ангелина Парамоновна.

— Нет. На два года старше, а ростом мы с ней одинаковые. Мы спали в одной комнате. А какие постели у них! Ангелина Парамоновна, такие постели — все отделано кружевами, вышивкой. А перины да подушки прямо воздушные какие-то!

— Как зовут хозяйскую дочку?

— Марией. Мария Савинова. Правда, красивое имя, Фидур?

— Да, очень красивое, достойное. Царица Небесная, мать Спасителя — Мария,— с благоговением ответил Данилыч Афиписе.

— Маша обещала писать мне письма. Я тоже буду ей писать.

— Это хорошо, Афиписа,— поморщился Федор Данилович,— хорошо, да только... некрасивые у тебя буквы получаются, как бы не осрамиться тебе.

— Что ты говоришь, Фидур! — обиделась Афиписа.— Я буду очень красиво писать. А еще Николай Павлович говорил, что во время моего крещения в храме меня нарекут Марией.

Нахмурился Данилыч, забеспокоилось его сердце при последних словах Афиписы. «Ее будут крестить, ее будут все-таки крестить!»

— Это хорошо, доченька, что тебе дадут такое имя, а... когда будут крестить генерал не говорил?

— В нынешнюю субботу. А разве тебе не сказали, Фидур?

— Кому же еще сказать, если не мне,— все больше нарастала тревога в его душе,— даст Бог, все обойдется, как надо. В прошлый раз из-за меня не состоялось. В этот раз небось обойдется благополучно.

— Что же вы молчали, Федор Данилович! — воскликнула сокрушенно Ангелина Парамоновна. — Крещение — это такое важное, такое торжественное событие! Надо хорошенько к нему подготовиться. Мы ведь не чужие Афиписе, ее праздник — наш праздник. Ее тоже надо хорошенько подготовить.

— Афиписа давно уже к этому готова,— охваченный тревогой, Федор Данилович старался быть спокойным. — Слава Богу, девочка обута, одета, все у нее есть.

— Я о другом! После крещения надо накрыть праздничный стол. Думаю, мы не ударим лицом в грязь — приготовим блюда не хуже, чем были в Екатеринодаре. Будут у нас и отбивные, и бараньи котлеты, торт приготовим с такими украшениями, что глаза разбегутся. В Екатеринодаре был торт, Афиписа?

— Нет.

— А у нас будет! Обязательно будет! Да с таким кремом, что язык проглотишь!

— А, вы об этом,— рассеянно проговорил Данилыч.

— Да, об этом! — продолжала возбужденно Ангелина Парамоновна, — пусть генерал увидит, что мы тоже не хуже столичных!.. Сегодня какой день? Среда? Батюшки, совсем мало остается у нас времени. Прямо сейчас же надо приниматься за дело. Вы, Федор Данилович, должны обеспечить нас свеженькой бараниной для отбивных и говядиной для бифштексов. Обязательно купите молочного поросенка. Мы зажарим его целиком. Спиртным займешься ты, Сергей Петрович. Водочка, хорошее вино. Постарайся добыть и заграничного. Надо бы шампанского.

— Будет и шампанское,— заверил доктор, с хитрецей подмигнув Федору Даниловичу,— есть у меня одна лазейка, добуду шампанского и настоящего бургундского.

— Спасибо, дорогой. Жалко, мало времени, а то я приготовила бы нашей казачьей горилки, настоящей на степных и горных травках. Ты, Афиписа, тоже не сиди без дела: займись своим гардеробом. Все надо выстирать, отгладить. Вот ты нам о Екатеринодаре рассказывала, разве это город! Поедешь в Петербург, в Париж!

— Ой, тетя Ангелина! Зачем мне Париж, Петербург — лучше наших гор ничего не бывает. Да и Фидура как я оставляю, он заскучает без меня. А вас с Сергеем Петровичем как оставляю!

— Спасибо, спасибо,— благодарил Сергей Петрович,— за Федора Даниловича тоже большое тебе спасибо, хорошая ты наша девочка!

В совершенной растерянности сидел Данилыч и как-то обиженно, кисло улыбался. Он неправду здесь сказал — никто ему не говорил, что на ближайшую субботу назначено крещение. Знал Данилыч, что придет этот день, но что вот так неожиданно?! Само по себе крещение не радовало его, несло с собою тревогу. А то обстоятельство, что не предупредили об этом, он усматривал в этом недоверие ему. Недоверие тому, кто больше всего беспокоится об Афиписе, тому, для кого она стала родной дочерью, болью и печалью его сердца...

Когда они остались вдвоем, Федор Данилович обиженно сказал Афиписе:

— Почему же ты, доченька, не предупредила меня, поставила перед Плуталовыми в такое неловкое положение.

Она прижалась щекой к его груди:

— Не обижайся на меня, Фидур, мне велели молчать, велели, никому не говорить.

— И мне не велели говорить?! — изумился Данилыч.

— Велели тебя обрадовать в пятницу.

— За день до такого!.. Кто же тебя этому научил, кто такое коварство сотворил?! Неужели Николай Павлович?!

— Нет. Он только и сказал, что меня нарекут Марией.

— Так кто же?! — совсем разволновался старик.

— Князь Амилахвари.

— Князь?! — воскликнул Федор Данилович, но тут же одернул себя и продолжил совершенно спокойно: — Да

какая разница, кто говорил. Я на тебя совсем не обижаюсь. Слава Богу, наконец придет этот торжественный день,— проговорил Данилыч, пристально глядя на Афипсу. Она была спокойна, никак не отразилась на ее лице тревога или озабоченность, или неудовольствие. И он подумал: «Раз Афипса спокойна, раз она душой решила принять крещение, чего же мне волноваться. Если ей хорошо, значит, и мне хорошо. Слава Господу Богу нашему, что сподобил нас с девочкой, что провел через трудный перевал к дороге Господней. Мы, чистые душой, отправимся в субботу и дочь моя Афипса станет православной христианкой, наречется Марией. Слава Тебе Боже наш, слава Тебе».

За печкой давно прижился сверчок, от его тихой трели в доме становилось уютно и покойно.

Федор Данилович, слушая своего запечного сверчка, вспоминал свою далекую деревню, окрестные луга, молчаливо-угрюмые леса и начинал потихонечку дремать...

— Фидур, ты спишь?

— Да уже дремлет. А ты чего не спишь? Может, нездоровится тебе?

— Нет, Фидур, я здорова.

— Почему же не спишь? Тебя что-нибудь тревожит?

— О каком поросенке говорила тетя Лина?

— Видишь ли, у нас, у русских, по большим праздникам подают к столу зажаренного целиком маленького молочного поросенка. А чего это вдруг вспомнила? Если не захочешь, можешь его не есть.

— Я не об этом.

— О чем же?

— Просто так.

В этом «просто так» Федор Данилович услышал недоброе, но все-таки возможно спокойнее сказал:

— Спи, доченька, спи, завтра у нас с тобой много разных дел и хлопот.

Афипса молчала, но Федор Данилович чувствовал, что она не собирается спать, тревожится. А сверчок за печкой все пел и пел свою тихую, успокаивающую песенку,

словно требовал от хозяев тишины и покоя, словно желал им доброго сна.

— Фидур, после крещения я стану русской?

— Ты станешь православной христианкой.

— А Николай Павлович говорил, стану русской.

— О-о, чтобы стать русской, нужно многое одолеть в себе, многое узнать из того, чем богат русский народ, узнать его доброту...

— Не хочу! — вскрикнула Афипса, сбросила одеяло и села.

Данилыч тоже сел. Оторопел он, все никак не мог сообразить, что случилось, ведь Афипса вчера совсем не возражала против крещения, даже вроде бы была довольна, ждала этого торжества.

— Ты что... как это не хочешь? Просто так, или сердцем не хочешь, сердцем не принимаешь?

— Не хочу! Не принимаю!

— Тише, не надо так громко,— попросил Данилыч.

Она заговорила тихо, просительно:

— Перевези меня через речку. Родненький Фидур, перевези меня через речку. На ту сторону перевези.

— Господи! — шепотом произнес Федор Данилович, но показалось ему, будто закричал он.— Господи... Что там будешь делать? На той стороне?

— В горы, к адыгам уйду.

— Деточка моя, не торопись, не горячись, сначала надо все хорошенько обдумать.

— Обдумала.

— Когда ты обдумывала?

— А я и не переставала думать.

— Я переправлю тебя через речку, а ты возьмешь да и передумаешь — что тогда?

— Не передумаю! — твердо сказала Афипса.

— Тогда быстренько вставай — поедем! Быстренько-быстренько! Собери в узел самое необходимое.

Собрались. Связали два узла и, крадучись, пробрались в конюшню.

Оседлал Данилыч коня, приторочил узлы.

Гулко и тревожно билось его сердце, и еще ему казалось, что он слышит, как стучит сердце Афипсы.

Выбрались из крепости.
— Теперь надо быстрее через поле! К речке! А там нас уже никто не достанет! Держись за мной! — он дал шпоры коню, бросил его в галоп.

В крепости ударил набатный колокол.

— Нас засекли!

Трое всадников скакали им наперерез.

— Стой! Стой, стрелять буду! — это кричал урядник

Николай Тришков. Федор Данилович узнал его голос.

Раздалось несколько винтовочных выстрелов.

Данилыч ощутил сильный удар. И жар, будто закипела у него внутри кровь.

— погоди, погоди, доченька, тут со мной что-то...

Остановилась лошадь. Шумно, встревоженно храпела.

Федор Данилович хотел слезть с лошади, но не смог — раненое тело было уже слишком тяжелым — упал на землю. Ему показалось, что где-то совсем рядом обвалилась гора — такой грохот пошел по-над полем.

— Афиписа... доченька, прости... — с трудом прошептал Данилыч.

Ему увиделся Карох, поднимавшийся на спокойно-голубую гору.

Федор Данилович, напрягая последние силы, отчаянно закричал:

«Карох, мы идем с тобой! Подожди-и-и, помоги нам! Господи!..»

Он лежал на траве, широко раскинув руки.

Глаза его были так крепко закрыты, словно он боялся, что они могут открыться и он увидит что-то нежеланное, а, возможно, и страшное.

Не хотел Федор открывать глаза.

Афиписа опустилась перед ним на колени, щекой припала к его щеке, услышала его тепло и решила, что он жив, просто забылся.

Афиписа приложила ухо к его груди, надеясь услышать сердце и, когда поняла, что не откроет глаза Федор, не очнется, она закричала вне себя:

— Фидур, родненький мой!..

Афиписа упала лицом в траву и громко, по-детски горько заплакала.

Не откликнулся Федор Данилыч. И Афиписе показалось, что и она ушла с ним, с Фидуром...

XXIV

Афиписа после гибели Федора Даниловича, в траурных одеждах безмолвной черной тенью бродила по двору лазарета, иногда за воротами крепости. Она бы и вовсе не выходила из комнаты, если бы не Мишид — он почти ничего не ел и, лежа посередине двора, уткнувшись мордой в землю, так надсадно и жутко выл, что всем становилось страшно. Унять его тоску, какой-то зловещий вой могла одна лишь Афиписа. Она выходила во двор, садилась рядом с Мишидом на траву, гладила его, и он затихал. Потом шли гулять, пес с опущенным хвостом брел за Афиписой.

Ангелина Парамоновна в связи с такой бедой отложила свой отъезд домой. Она стала еще добрее, ласковее к Афиписе, у себя дома кормила ее, не оставляла на ночь одну — ночевала вместе с нею, спала на койке покойного Федора Даниловича.

Внимателен и добр был к девочке Сергей Петрович, однако один на один с супругой сказал ей:

— Не надо винить урядника Тришкова, Лина, он всего лишь исполнил свой воинский долг.

— Долг, долг... Он убил Федора Даниловича, — урезонивала мужа Ангелина Парамоновна.

— Господь с тобою, — крестился Сергей Петрович, — я считаю, старик Анаскевич сам себя убил.

— Это каким же образом?

— Зачем ты спрашиваешь, Лина, зачем так сердиться! Ты же прекрасно понимаешь, о чем я говорю... С того дня, когда Данилыч притворился больным, чтобы не состоялось крещение, я потерял к нему доверие. Ждал от него какой-нибудь подножки, но что он дойдет до предательства, никак не мог предположить.

— Не говори так, Сергей Петрович, не смей! Федор Данилович был истинно русский человек.

— Русский?! А зачем же он пытался перебежать к черкесам, к нашим врагам?!

— Он истинно русский человек, смею повторить это, он любил девочку, как может любить только настоящий отец, поэтому желал Афиписе счастья...

— Подожди! — прервал Ангелину Парамоновну доктор. — «Любил, настоящий отец...» — это всего лишь красивые слова. Как бы поступила ты, если б твои дети захотели уйти к черкесам, к врагам нашим?

— Если бы они решили сделать по своему убеждению, по своей доброй воле, я пошла бы с ними.

— Ангелина! — угрожающе крикнул Сергей Петрович. — Как ты смеешь говорить такое!

— Не только говорить, но и сделать, — твердо ответила Ангелина Парамоновна.

— Глупость величайшая! Не бросишься же ты в воду, если они туда бросятся?

— Я буду там, где мои дети, и всегда останусь верной своему материнскому долгу. Возможно, я не права, но иначе не могу. Понимаешь — не могу! Точно так же, как не смог Федор Данилович.

Заложив руки за спину, глубоко дыша, Сергей Петрович прошелся по комнате:

— Кроме всего прочего, уважаемая Ангелина Парамоновна, эта басурманка не была ему дочерью.

Встала и Ангелина Парамоновна:

— Впредь при мне, уважаемый доктор медицины, офицер русской армии, интеллигентный человек, прошу Афипису не называть басурманкой. Даже не прошу, а требую. Тем более, коли ты — православный христианин, если считаешь, что все люди нашей земли созданы нашим Господом Богом, который любит всех людей. Понимаешь, Сергей — всех! Один Он всем им судья, но не мы с тобой. И это великолепно понимал Федор Данилович, истинно русский человек, истинно православный христианин, мы любим Бога, значит, отдаем ему себя целиком. Мы отдаем себя каждому, кого любим, а иначе это не любовь, а сделка... я не знаю, чья пуля убила Федора Даниловича, царство ему небесное, но чья бы она ни была — то ли урядника Николая Тришкова — это мерзкая пуля.

Они стояли друг против друга.

Доктор перешел на спокойный тон.

— Лиана, ты не права. На месте Тришкова я поступил бы точно так же — пристрелил бы предателя, чтобы самому не попасть под военный суд за попустительство, чтобы не опозорить свое офицерское звание.

— Тебе военный суд, военный устав, офицерское звание дороже всего, а мне — суд Божий. И давай больше не будем об этом говорить. Позволь мне пойти прогуляться.

Сиротливо стояла посредине двора водовозка. К телеге были привязаны лошади и щипали скудную траву. Конура Мишида тоже выглядела неуютно. И лес, и горы, и жаркое небо — все казалось Ангелине Парамоновне сиротливым и неприветливым.

Думала увидеть во дворе или у ворот Афипису вместе с Мишидом, но их не было.

Пошла в комнату. Все прибрано, чисто и пустынно.

— Афиписа! Девочка моя, где ты?

В другой комнате тоже не было никого.

Испугалась Ангелина Парамоновна и, выбежав на порог, позвала:

— Сергей Петрович! Сережа!

— Что с тобой? Что случилось? — всполошился доктор, выйдя из лазарета.

— Афиписы нет дома! И во дворе нет, и за воротами!

— Вещи ее дома?

— Пойдем вместе. Мне страшно.

Сергей Петрович налился гневом:

— Я знаю, где эта басурманка, эта упрямица. Она убежала! — он кинулся в конюшню, оседлал коня. — Вот мы и досюсюкались с нею, а она — все свое. Но я догоню ее! — он ускакал в сторону реки.

— Если вы ищите Афипису, — в раскрытое окно лазарета сказал раненый, — то она пошла в сторону погоста.

— Господи, как это — на кладбище, зачем? — грузная, переваливаясь с боку на бок, Ангелина Парамоновна затропилась на кладбище. И все казнила себя, что оставила девочку одну. «Хорошо, если она в самом деле на кладбище, а если Сергей Петрович окажется правым, если она убежала? Упаси, Боже! Помилуй нас грешных рабов Твоих, отведи от несчастной девочки черную беду... Отчего же она раньше не ушла? Дожидалась сорока дней? Может

быть, ведь сегодня как раз и исполнилось Федору Даниловичу сорок дней. Если она ушла к своим, помоги ей, Боже, в опасной дороге».

Вошла Ангелина в кладбищенскую калитку и услышала Афипсу, слышала ее рыдания.

— Афипса! Девочка ты моя, хорошая ты моя! — с этими словами Ангелина Парамоновна опустилась на могилку, обняла Афипсу и тоже заплакала. — Поплачь, вместе поплачем, облегчим свои души... Сегодня сороковой день Федору Даниловичу, сегодня душа его, добрейшего человека, отлетает в вышний мир.

Они поднялись.

Перекрестились, поклонившись могилке, холмику, еще не обросшему травой. На нем лежало много цветов, принесенных солдатами из крепости, из станицы.

— Упокой, Боже, раба Твоего Федора, и учини его в рай, идеже лица святых, Господи, и праведницы сияют, яко светла, усопшаго раба Твоего Федора упокой, презирая его вся согрешения.

Афипса не знала этой молитвы, а потому только крестилась и кланялась.

— Теперь пойдем домой, помянем Федора Даниловича. Там уже все готово... Как я испугалась, когда не нашла тебя дома, уж до того испугалась, что и сообразить не могла самое простое: конечно, наша девочка пошла на могилку.

— Это я виновата, тетя Лина, надо бы вам сказать, а уж потом и идти, да вот... — и Афипса опять не удержала слезы.

До самого дома шли молча.

Афипса все смотрела на небо, сегодня оно казалось ей таким высоким и таким зовущим, какого она раньше никогда не видела. «Душа Фидура отлетела туда и смотрит на нас. С такой высоты, с такого яркого неба смотрит. Здесь я, здесь Фидур, я с тобой», — подумала Афипса и улыбнулась высоте, где теперь находился Федор Данилович.

За стол не садились, ждали, что кто-нибудь придет, хотя бы Амилахвари, но и он почему-то не пришел. А о Тришкове и говорить было нечего: как он мог придти! Генерал? Он был в отъезде.

— Прошу к столу, — пригласил Сергей Петрович, налил водки, Афипсе налил компот. — Пусть земля будет пухом нашему незабвенному Федору Даниловичу...

Выпили, не чокаясь. Афипса отпила немного компота.

— Таких людей, каким был Федор Данилович, на всей нашей земле российской редкие единицы: души — золотой, солдатом — редкостной храбрости, человеком — высокой порядочности, и Афипсе нашей — отцом родным.

Заплакала Афипса. Обняла ее Ангелина Парамоновна прижала к груди, расцеловала:

— Не плачь, моя хорошая, не тревожь слезами душеньку Федора Даниловича.

Сергей Петрович продолжал:

— Удивительный был человек, а вот не послушался меня... Но, может, ты скажешь несколько слов, Лина, ведь он хорошо, я бы сказал, так свято относился и к тебе.

— Налей еще по рюмочке... Царство небесное ему, он заслужил его на нашей брэнной, грешной земле. Пусть будет земля ему пухом. Только не плачь, Афипса, радость ты моя, не надо тревожить его душу.

— Вот я и говорю, не слушал меня Федор Данилович и эдакую беду сотворил...

— Фидур ничего плохого не сделал, Сергей Петрович, — резко перебила Афипса.

Ангелина Парамоновна бросила на мужа осуждающий взгляд:

— Как ты можешь, Сергей? В такой день о покойнике можно говорить только хорошее или ничего не говорить. Это старая народная мудрость. Господь ему судья, а не мы с тобой грешные, возможно, во сто крат грешнее покойного.

— Да, конечно, но... — смутился Сергей Петрович и попытался загладить свою вину: — Если ты, Афипса, хочешь уйти к своим — это твое право. Если нужно, я помогу тебе в этом. Думаю, и Николай Павлович не будет перечить твоему желанию.

— Нет Сергей Петрович, — вытирая носовым платком слезы, обильно катившиеся по ее щекам, сказала Афипса. — Теперь я отсюда не уйду, я не брошу здесь Фидура одного.

Ах, как удивилась этим словам Ангелина Парамоновна, как еще больше возлюбила девочку. Доктор тоже удивился.

Хорошая девочка Афипса, знал доктор, но что она способна на такой, как он сказал про себя, благородный поступок, не ожидал.

Очень обрадовались такому твердому решению девочки генерал Граббе и отец Георгий.

За Афипсой был подан лакированный генеральский фаэтон. Вернее сказать — сам генерал Граббе и князь Амилахвари приехали за нею.

Кто-то смутился, что в такой светлый день Афипса была одета в траурные одежды. А Николай Павлович спокойно на это ответил:

— Это ее праздник, она ему и хозяйка... А потом, черные одежды ей так к лицу, просто прелесть!

С поднятым верхом, чтобы не тревожило яркое солнце, в сопровождении десяти всадников фаэтон, мягко покачиваясь на рессорах, помчался навстречу утреннему ветерку, навстречу новой, а потому и тревожной жизни.

Весело бежали кони, запряженные в мягкий генеральский фаэтон, забавлялись под верховыми ездоками скакуны — раздували розовые ноздри, стлали по ветерку хвосты и гривы. Только сзади, почти голубая пыль вздымалась из-под копыт, из-под колес.

Птицы вдоль дороги в кустах и на деревьях умолкали, когда подкатывал фаэтон. Словно не из боязни, а из любопытства умолкали. И такая тишина, такая благодать кругом, будто и никакой войны, будто райская жизнь хозяйничает на земле — в дальних и ближних лесах, на холмах и вершинах гор.

Афипса сидела рядом с генералом и неотрывно смотрела в окошко. Если бы вместо генерала сидел Фидур, подумала она, это была бы совсем другая поездка, и солнце было бы иным, и фаэтон, и десять молодцеватых всадников. «Это я во всем виновата, из-за меня он погиб. Моя вина, мой крест». Она тогда спросила у него, что такое «нести свой крест»? И он рассказал, как нес на Голгофу крест Спаситель, нес во искупление грехов человеческих. Вот ей теперь придется, как она себе сказала, нести этот тяжкий грех. Нести свой крест.

— Что же мы едем и все молчим, молчим,— сказал Амилахвари, потом добавил: — И Афипса молчит...

— А о чем говорить, Ваню Гивич? — грустно-грустно спросила Афипса.

— Рассказала бы о поездке в Екатеринодар.

— Это была прекрасная поездка, Ваню Гивич! — вдруг Афипса преобразилась. — Просто чудесная.

— Спасибо тебе, доченька, — генерал после смерти Федора Даниловича стал называть Афипсу, как это делал Анаскевич, только доченькой. — Я тоже думаю: мы хорошо съездили. Такая же прекрасная погода стояла. Тогда нас сопровождало трое всадников, а сейчас — десять. А как же иначе! — воскликнул Николай Павлович. — Мы не просто в гости едем, в другую жизнь едет наша прекрасная Афипса, едет, образно выражаясь, к Господу Богу нашему. — Он перекрестился. Перекрестилась и Афипса с Амилахвари. — А Марию Савинову ты не забыла? — генерал перевел разговор на другую тему.

— Конечно, нет, но... Жду от нее письма.

— Уж не в обиде ли ты на нее? — спросил Николай Павлович.

— Она обманула... Обещала писать и до сих пор не ответила на мое письмо.

— Вовсе не обманула тебя Мария Савинова, два письма для тебя от нее лежат в штабе.

— Почему же они там лежат, а не у меня? — обиженно спросила Афипса.

— Штабному писарю задам нахлобучку. Это он виноват, что до сих пор не передал тебе, хотя обязан тут же передавать письма адресату.

— Вот видите, какая я нехорошая — сразу осудила хорошую девочку.

— Большой вины твоей тут нету, но все-таки не надо торопиться плохо думать о человеке. Подумай о нем лучше — и никогда не согрешишь.

— Что же мне пишет Мария?

— Помилуй Бог, Афипса, разве я посмею читать чужие письма! Правда, Ваню Гивич?

— О да! Однако посмотрите вперед!

Кончился лес, и на возвышенности, посредине станицы Новониколаевской, поднялся Михайло-Архангельский собор. Он показался Афипсе таким высоким, что золотой купол с золотым крестом задевал за белые облака. Увиделся грозным, но ведь из него, подумала Афипса, душа Фидура вознеслась в рай, когда его отпевали. Войдет она в храм и станет ближе к Фидуру. Он увидит ее и обрадуется.

Потом, когда в храм ее ввели под руки Николай Павлович и Ангелина Парамоновна, будущие крестные отец и мать, она глянула вверх и увидела высокое голубое небо, будто храм весь открыт небу.

Глянула, мысленно улыбаясь Фидуру.

И пение хора будто с неба доносилось, а не с клироса. И отец Георгий в золотых ризах, и мерцавшие огоньки лампад, свечей — все Афипса воспринимала парящим над землей.

Больше всего она боялась той минуты, когда ей придется предстать перед отцом Георгием.

Ее подвели к купели.

— Крещается раба Божия Мария! — торжественно громко провозгласил отец Георгий. — Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа — аминь!

Она без ропота произносила заученные наизусть молитвы, целовала крест, широко крестилась. Погружая голову в приятно прохладную воду купели, она мысленно улыбалась Фидуру...

Ей дали отчество генерала, она стала Марией Николаевной Дагужи-Нижегородской.

Уже одетую как всем показалось, торжественную, ее первыми поздравляли крестные отец и мать:

— Поздравляем тебя, наша дочь во Христе, — обняла ее Ангелина Парамоновна, — будь счастлива, наша дорогая Мария Николаевна.

— Зачем же так официально, — возразил генерал, — это когда она вырастет, станет совершеннолетней, а пока мы будем звать ее милым именем — Машенька.

— Машенька, именно — Машенька, — восторженно провозгласил доктор.

Снова — генеральский, лакированный фаэтон, эскорт из десяти всадников, веселое солнце, а Афипса... Мария стала грустной:

— Мария, Маша — красивое имя, но разве мое, Афипса, хуже?

— Отнюдь нет, — сказал генерал, — очень красивое имя Афипса, но... такой порядок, раз ты приняла православие, то и имя у тебя должно быть православное. Но, если ты хочешь... пожалуйста, мы будем тебя звать и Афипсой, пока не привыкнешь к новому. Верно я говорю, господа? — обратился Николай Павлович к сидевшим в карете.

— Да, конечно, конечно! Пусть тебя это не огорчает, Маша, — подтвердил доктор.

— А еще я хотела... не сердитесь на меня, не сердитесь, Николай Павлович, но я хочу спросить: почему мне не дали отчество Фидура, его фамилию? Ведь он меня воспитал!

— Ты — славная наша доченька, спасибо тебе за твои слова, спасибо что чтить память Федора Даниловича, ты во многом совершенно права, — говорил Николай Павлович, испытывая некоторую неловкость, — но ты — дочь Нижегородского полка, будешь носить фамилию его, а если тебе не нравится отчество, мое имя, я, конечно...

— Нет, нет! — воскликнула Афипса. — Что вы, ваше превосходительство! — впервые она назвала таким образом генерала и положила голову к нему на плечо.

Тихо стало в фаэтоне. Только мерно стучали копыта лошадей по каменистой дороге, будто это само время отбивало свой ритм.

— Тихий ангел пролетел, — после некоторого молчания сказала Ангелина Парамоновна.

— Кто пролетел? — удивилась новокрещеная.

— Твой ангел, он принес тебе добрый путь, тебе, православной христианке, — ответила Ангелина Парамоновна.

— Спасибо, — сказала Афипса-Мария и плотнее прижалась к плечу генерала, отвернувшись, чтобы не увидели ее набежавших слез...

XXV

Нижегородский полк готовился к приезду Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского Александра Второго. Полк должен будет сопровождать его в Абадзехию. Дело это непростое и небезопасное, так что забот хватало всем, поэтому как-то угас до некоторой степени интерес к Афипсе, ставшей Марией Николаевной Дагужи-Нижегородской. Правда, не только поэтому — просто во многом улеглись сомнения, волнения, прошла острота. Успокоились Плуталовы и Амилахвари — сделано доброе дело. Успокоились те, кто косился на Афипсу, как на басурманку: чего теперь коситься, если вера православная взяла верх, как не порадоваться вновь обращенной, как же не улыбнуться ей, не поздороваться.

Сложнее было у Тришкова. Он тоже радовался и, может быть, больше, чем все другие, крещению, но вместе с тем у него как бы удвоилась вина перед Афипсой, которая так ему нравилась, что сердце заходило от восторга, когда он встречал ее. Виноват в том, что с самого первого дня появления ее в полку нехорошо к ней относился, даже презирал, а главное, — смерть Федора Даниловича. Больше всего обижало Николая то, что Мария здоровалась, в общем хорошо относилась к тем, кто был в наряде с Тришковым, кто стрелял по Федору Даниловичу. Он не раз упрекал себя, говоря, что надо ему, русскому воину, иметь свое собственное чувство достоинства, не поддаваться упрямой гордычке. Забыть и всего только! Но проходил день-другой, и ноги несли его туда, где могла быть Мария. Однажды он подумал: ведь она — восточная женщина, по их законам не имеет права противиться воле мужчины, не имеет права относиться к нему свысока. Решив так, он встретил ее, поздоровавшись, взял за руку.

— Подожди! — приказал. — Нам надо поговорить!

Она вырвала руку и так гневно посмотрела на него, что он даже слегка вздрогнул.

— Не смей ко мне прикасаться! Уходи прочь!

— Маша! Мария, прошу тебя, — негромко, прося пощады, как ему думалось, приказал. — Я требую, чтобы ты выслушала меня.

Она стояла полуоборотом к нему, высоко подняв голову. Едва заметно кивнула, мол, слушаю.

— Нельзя же быть такой жестокой и злопамятной. Ведь ты простила моих товарищей, примирилась с ними. — Она молчала.

— Примирилась, — так он понял ее молчание. — Но ведь ты не знаешь, как и никто не знает, чья из трех пуль настигла беднягу Федора Даниловича. Так почему же ты думаешь, что именно моя?

— Я действительно не знаю. Никто не знает. Но они не презирали его, не называли черкесским предателем.

— Я виноват в этом и перед тобою, и перед памятью Федора Даниловича.

— И еще скажу: те двое уважали Федора Даниловича, значит, и стреляли просто так, а ты... Ты не любил его, потому именно твоя пуля нашла его.

Он побледнел. Не ожидал такого оборота. Никогда не думал об этом.

— Если бы ты знала, Мария, если бы ты знала, как я мучаюсь. Я говорил об этом на исповеди отцу Георгию, а теперь перед тобою, как на исповеди, при таком покаянии, какое только мне одному известно. Отец Георгий сказал: когда солдат вернется с войны домой, церковь целый год не допускает его ко святому причастию, так не просто прощается нарушение заповеди Божьей — не убий.

Они долго стояли молча, каждый глядя в свою сторону, каждый слыша свое растревоженное сердце.

Она сказала:

— Я верю в твое раскаяние, попробую простить. Но не сразу.

Сказать, что с этого дня у них наладились дружеские, приятельские отношения, было бы неправдой. Да, они не стали коситься друг на друга, говорить колкости, но и, как говорится, не торопились друг другу в объятья. Здоровались, перебрасывались простенькими разговорами, улыбались и расставались.

Было тут еще и другое: не могли они долго не видеться. Может быть, Мария и не сознавалась в этом, вернее, не хотела сознаваться, но все было именно так: она скучала

по Николаю, если долго не виделась с ним, хотя и не хотела себе в этом признаваться.

Ангелине Парамоновне давно приспела пора ехать домой, но она не могла бросить Афипсу одну. Да и после крещения не могла так просто уехать, покинуть Марию в одиночестве. Ангелина Парамоновна откладывала отъезд день за днем, и как-то незаметно вроде бы прошло лето, наступила осень. А тут еще это обстоятельство: приезд императора.

Собиралась в дорогу и Афипса. Вернее, собирала ее Ангелина Парамоновна, укладывала вещи в чемодан, в коробки, в корзинки.

— Учись, детка, искусству жить в походе. Это большое искусство. Мы, казаки, знаем его отменно. Надо так уложить вещи, чтобы нужное в дороге всегда было под рукой. А еще скажу тебе: ты, молоденькая девушка, будешь одна среди мужчин, держи себя так, чтобы они чувствовали твою женскую силу, чтобы уважали ее, служили ей. Они должны заботиться о тебе, как заботятся о драгоценностях.

— Как это сделать, я не знаю, не понимаю.

— Вот эдак! — сказала Ангелина Парамоновна, подбоченившись, гордо глядя через плечо. Сказала и рассмеялась: — Шучу, конечно, сама не знаю, как. Оно само в нас женщинах живет — чувство собственного достоинства, красоты, стыдливости и большой воли... И ты у меня гляди, доктор Плуталов! После Федора Даниловича, ты один в ответе за Марию не только перед честью Нижегородского полка, но и перед Самим Господом Богом!

Доктор широко раскрыл в удивлении свои круглые глаза, развел руками:

— Ангелина Парамоновна! Лина! Зачем же ты так плохо думаешь обо мне, о своем дрожайшем супруге, офицере русской армии. Пылинки не дадим сдуть с нее лишней, с нашей Машеньки, не позволим потускнеть ее юной красе.

— То-то! — в шутку пригрозила Ангелина Парамоновна. — Знаем мы вас — гусаров!..

— Ну спасибо, ну спасибо, — шутил и Сергей Петрович. — Я совсем не беспокоюсь о Марии Николаевне, ее

будет охранять весь доблестный полк, а вот как ты поедешь домой? Одна среди грубого мужичья, ведь они...

— Что они?! — грозно перебила его супруга. — Или ты забыл, кто я такая, чьего роду-племени буду?!

— Милая моя женушка, — извинялся Сергей Петрович, — я совсем не знал об этом. Знаю, что ты — потомственная казачка, в седле с шашкой в руках управляешься не хуже казака, но все-таки — женщина, прекрасная, но слабая половина.

— Опять ты за свое. Которая, может быть, из женщин и слабая, но я к таковым не принадлежу. Не изволь беспокоиться, дорогой. — Все это громко, даже несколько театрально произносила Ангелина Парамоновна, как бы напутствуя Машу.

Афипса понимала двусмысленность этого разговора между мужем и женой и улыбалась, мол, согласна, все понимаю, спасибо вам.

Во двор въезжала телега для нее.

Мишид с таким злобным лаем кинулся наперерез, что лошади захрапели и рванулись в сторону.

— Мишид! — закричала Афипса. — Ко мне, Мишид!

А он лаял и лаял, не пускал лошадей к крыльцу.

К нему с палкой направился один из солдат.

— Не надо! — остановила его Афипса. — Пойдем, Мишид, со мной.

Опустив мохнатую голову, пес побрел за нею.

Они шли молча.

Афипса была совершенно уверена в том, что Мишид хорошо понимает людей, их язык. Случалось, кто-нибудь неуважительно говорил об Афипсе, и пес хмурился, а то и рычал, он радовался, если о ней говорили добрые слова. Вот уже несколько дней он почти не ел, ночами жалобно скулил, с отчаяньем смотрел на Афипсу. Это началось когда заговорили о скором отъезде Афипсы.

Они подошли к валуну, Афипса села на теплый камень. Мишид — напротив нее. Пес смотрел большими немигающими глазами так, будто вот-вот заговорит человеческим языком, скажет ей горькие слова упрека.

— Мне тяжело, Мишид, мне очень тяжело. Ты — мой самый лучший друг и должен помогать мне в горе, а ты... Ну не смотри на меня так, не смотри.

Афипса заплакала.

Мишид жалобно взвизгнул, уткнув мохнатую морду в ее колени, крепко-накрепко зажмурил глаза, наверно, чтобы она не видела, как он плакал.

— Господи, Господи, как мне тяжело расставаться с тобой, с моей последней надеждой, но я не могу, понимаешь, не могу взять тебя с собой — они не позволяют... Пожалуйста, мой дорогой друг, не рви мое сердце, будь сильным и крепким. Ну, ну! Давай попрощаемся здесь, пусть никто не увидит наших слез.

Она обняла Мишида.

Они долго сидели вот так — молча.

— Пойдем.

Мишид покорно плелся за нею.

Потом залез в конуру и до самого конца не вылезал оттуда, только хмуро смотрел на все, что происходило во дворе.

Ангелина Парамоновна сама уложила вещи в задке телеги, устроила из соломы что-то вроде гнезда для Марии:

— Тут и мягонько, и удобно тебе будет. В этом чемоданчике дорожная провизия, в этом уголке баклажки с водой. Это баночки с вареньем. А если дождик нагрянет, — тут тебе добрая казачья накидка.

Подскакал Николай Тришков на лихом вороном коне.

— Ты будешь сопровождать Машу? Гм... Марию Николаевну? — начальственно спросила Ангелина Парамоновна и строго глянула на урядника.

— Так точно! — обрадовался Николай.

— Гляди у меня, Николай Савельевич! Своей собственной головой отвечаешь за наше дитя. Понял?

— Так точно!

— В случае чего — из-под земли достану! А вы, мужики, кто такие?

— Я ездовой, рядовой Селиверстов, — ответил бородач, а это — мой молодой помощник Гречкин.

— Так точно, рядовой Гречкин, — подтвердил молодой ездовой, — не извольте беспокоиться, все будет исполнено в наилучшем виде.

— Вижу, славные вы ребята, помогай вам Бог.

— Рады стараться! — по-петушиному звонко ответил русоволосый помощник ездowego Гречкин.

Заплакали обе женщины. Жалобно взвизгнул Мишид. Обнялись. Трижды крест-накрест расцеловались.

— Храни тебя Господь, Машенька. И не будем разводить сырость, а то вон они уже на нас косятся, подумают, что мы и в самом деле — слабый пол. — Перекрестила телегу, перекрестила Марию и стала про себя читать молитву.

Хорошо держалась Афипса, но отъехала телега десятка на два шагов, не выдержала, спрыгнула и бросилась обратно к Ангелине Парамоновне, обняла ее и разрыдалась.

— Хватит вам, дорогие мои... сильные женщины, пора в путь, — сказал Сергей Петрович.

Тронулась телега, следом за нею верховые — трое солдат, урядник Тришков и доктор Плуталов.

Миновали чагарник.

— Стойте, — скомандовала Афипса. Спрыгнула с телеги и пошла на погост. Спешился Тришков, пошел следом за нею. — Не ходи, не мешай мне! — прикрикнула она на него.

— Пожалуйста, не командуй мной, — вежливо, но твердо ответил урядник, — я сам знаю, что мне делать.

Увидела Афипса, что к погосту шли и спешившиеся верховые, ездвые с телеги, не стала больше возражать Николаю Тришкову.

Первым к могиле Федора Даниловича прибежал Мишид. Он сел у могилы и тихонько поскуливал.

Принесли на могилу полевые цветы доктор, Тришков, солдаты.

Не плакала Афипса. Сухими, но воспаленными были ее глаза. Боль и страдания сделали их суровыми. Она молилась про себя. Молились доктор, Николай, солдаты. Молились, прощаясь с могилами тех, кого знали, кого хоронили, с кем делили тяжесть военной страды.

Оставляя могилы своих товарищей, подумал Сергей Петрович, мы оставляем с ними частицу своего сердца,

своей боли и совести, уносим с собой обязанности перед памятью о них, памятью ушедших наших дней. Ушедших навечно. Господи, помилуй нас грешных, сотвори вечную память погребенным здесь.

Низко наклонившись, шептала слова молитвы Афипса. Молилась, и ей казалось, что ее видит и слышит Федор.

Части Нижегородского полка с двумя сотнями хоперцев на другой день спустились в долину Кужипса.

Черкесские лазутчики знали о каждом шаге рот, эскадронов и батальонов полка, казачьих сотен, тылов, наблюдали за ними невидимо для русских. Адыги строго соблюдали заключенное с русскими перемирие на время пребывания здесь царя. Они старались не вызывать огонь на себя, не только огонь, даже малейшего беспокойства.

Царские войска тоже не хотели столкновений, поэтому стороной обходили адыгские аулы, однако горные дороги были такими сложными и трудными, что иногда этого не удавалось избежать. Афипсе хотелось поговорить с кем-нибудь из адыгов: просто поздороваться, спросить, откуда они, но они угрюмо опускали головы, не хотели разговаривать. А то и просто с ненавистью смотрели на солдат, значит, и на нее — даже хуже, скажут — предательница.

Ведь это ее родные братья и сестры, в их жилах течет одна и та же кровь древних предков, они говорят на одном языке, им пели одни и те же колыбельные, что и ей.

Как все-таки непроста жизнь. Рубят на войне люди пашками, убивают пулями, а встретятся на базаре, называют друг друга кунаками, веселятся от души. А завтра, где-нибудь на горной тропинке, опять сойдутся насмерть.

Так, бывало, говорил Федор и укоризненно, тяжело качал головой, а теперь Афипса, глядя на своих угрюмых родичей, повторяла его слова и тоже качала головой — горько, укоризненно.

И высокое небо, и просторные дали, и хитрозапутанная тропинка по краю пропасти, и веселая песня шаловливой речушки — все родное Афипсе, и в то же время — чужое.

Кто мог поручиться, что какой-нибудь адыг, у которого сожгли дом, убили родных, не сдержит свой гнев и не

пошлет горячую пулю в Афипсу, как казачку, которая ехала в сопровождении верховых?

Люди, что же вы?! Когда ваши горячие сердца остынут от гнева и воспылают любовью друг к другу?

— Стой! Кто такие?! — грозно закричал урядник Тришков, привстав на стременах.

Из-за поворота показалась повозка в сопровождении шестерых конных казаков и двоих адыгов.

Поклонами они поздоровались друг с другом, военные взяли под козырек.

— Из аула Кайхабля едем мы, — доложил старший из сопровождавших казаков, — в Екатеринодар направляемся с этой великой бедой, — он кивнул на повозку.

— Что за беда? А эти черкесы — кто такие? — строго попытывался Николай Тришков.

— Черкесы эти — наши кунаки Шумаф Хажоков и Магомет Упчажоков. Они вместе с нами сопровождают тело генерала Кухаренко... Якова Герасимовича.

— Генерал Кухаренко?! Погиб?! — вскричал Тришков и спрыгнул с коня. Подошел к телеге с бледным лицом и трясущейся рукой отвернул полу черной бурки.

Все спешили. Обнажили головы. Опустились перед повозкой на колени, трижды перекрестились.

Все, кроме адыгов. Они сидели неподвижно и строго глядели куда-то в сторону.

Афипса осталась сидеть на повозке. Ей почудилось, что она рядом с адыгами, тоже смотрит в сторону, будто бы и не было с ними никакого покойника.

Покойник, смерть — во всех концах света, для людей всей земли, означают одно и то же: щемяще сжимается сердце, печаль полонит душу и каждый вдруг осязаемо и остро ощущает свою незащитность и малость перед грозными предначертаниями судьбы, неизбежную конечность бытия.

Двое адыгов и Афипса смотрели в сторону от повозки, но своими чувствами были рядом со смертью, рядом с ее могуществом. Не разумом, наверно, а чем-то иным неведомым и высшим, тем, чем жив человек, благодаря чему называется человеком.

Поднялись мужчины с колен.

— Мария Николаевна, прошу вас,— сказал доктор,— урядник, помогите ей спуститься.

Афипса торопливо слезла с повозки, торопливо, вскользь глянула на покойника, быстренько трижды перекрестилась и вернулась на свое место. Усаживаясь услышала, как говорили между собой адыги.

— Тебе не кажется, Магомет, что эта девушка уж очень похожа на черкешенку?

— Похожа, Шумаф, прямо — настоящая черкешенка, но тот казак назвал ее Марией.

«Нет, нет! Я Афипса, а не Мария!» — хотелось закричать ей адыгам, выпрыгнуть из повозки, броситься к ним и убежать. Чтобы сдержать свое зашедшее сердце, чтобы не закричать и остаться сидеть в повозке, она закрыла лицо ладонями и до крови прикусила губы.

Ездовые заговорили между собою.

— Жалость какая! Знал я его превосходительство,— сказал Селивестров.— Добрым человеком был, сердечным, и вот, поди ж ты, убили.

— Я тоже слышал,— отозвался Гречкин,— казаки его очень хвалили. Сказывали настоящий боевой командир. Ух, эти черкесы!..

— Гречкин! Не болтай лишнего! — пригрозил Тришков, и кивнул на Марию, мол, черкешенка рядом с тобой.

— Да я что, не я, а они убили генерала. По мне так пусть они живут, на все Господня воля, а не моя,— повинился Гречкин.

— То-то — на все Господня воля,— согласился урядник, одобряюще глядя на ездового.

— Слышь, Маша,— заговорил Селивестров,— а о чем говорили промеж себя твои земляки? Небось, материли нас, а?

— Очень вы им нужны! — сердито ответила Афипса.— Обо мне говорили, признали меня черкешенкой.

— А чего ж ты им не открылась?

— Какая же я теперь черкешенка! Гяурка я! — вконец рассердилась Афипса и спрыгнула с повозки.

Доктор спешил. Обнял ее.

— Селивестров! Ты опять за свое! — подскакал к повозке Тришков и замахнулся на ездового плеткой.— Еще слово и так огрею, что мать родную вспомнишь.

— Виноват, ваше благородие! Да и... пошутил я, простите, за ради Христа, Машенька,— попросил Селивестров.

— Вот так-то оно будет лучше,— унялся Тришков.

XXVI

Нижегородский полк походным порядком прибыл в просторное Мамрукское урочище для встречи с императором.

В центре урочища, окруженного лесистыми склонами, уже стоял походный царский шатер. Полукругом возле него — посромнее шатры царской челяди. Еще дальше — палатки штаба полка, а на склонах — солдатские. В стороне разместились походные кухни. Вся площадь разбита линиями будущих торжественных построений. Стояли вкопанные в землю флагштоки, ожидая боевых стягов, знамен, которые взвоятся в торжественные минуты встречи императора.

Повозка подкатила к шатру начальника штаба полка. Князь подал руку Афипсе:

— Прошу, мы приехали.

Они вошли в шатер, состоявший из двух комнат. В передней стояли две койки, заправленные белоснежным бельем, две тумбочки и два стула. Два небольших окошка.

Вано Гивич, войдя в шатер, перекрестился:

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Господи, мольбы тебе и моления приносящих, от всякого вреда — соблюди невредимы...

Афипса тоже перекрестилась и повторяла про себя слова молитвы вслед за князем.

— Проходи, доченька, проходи Мария Николаевна. Как тебе здесь, нравится?

— Нравится,— пожав плечами, ответила она.

— В передней будем жить мы с Николаем Павловичем, а во второй — ты.

Афипса обрадовалась и спросила:

— Совсем, всегда будем здесь?

— Нет, во время пребывания Августейшего Императора нашего Александра Второго.

— А потом?

Князь пожал плечами:

— Не знаю. Как война подскажет, как будут вести себя черкесы.

— А что — черкесы?! — тревожно вскинула она брови.

Пожалел Ваню Гивич о своих словах и теперь пытался загладить неловкость.

— Как тебе сказать... война еще не кончилась, поэтому могут быть всякие неожиданности.

Уже минула первая половина сентября, а лето все еще не хотело сдавать своих позиций. В урочище было тепло, зелено, весело, птицы еще пели по-летнему, и зори были ясными, яркими, и небо — голубым и чистым, может, потому было таким, что неподалеку, за горным перевалом, лежало горевшее бирюзой море.

Со дня на день ждали императора.

С утра до вечера роты и эскадроны маршировали под барабанную дробь, под раскаты духового оркестра.

— Подравняйся!

— Четче шаг!

— Что там за каналья, кто шеренгу ломает! Повторить пять раз! Ма-арш!

Стрекотали кузнечики, порхали бабочки, птицы пели, журчал ручей — все будто правило свой последний летний бал.

Афипса сидела на краю обрывчика и смотрела вниз, в тесную расщелину, откуда вытекал маленький ручеек чистой воды, которая меж камней, поблескивая на солнце, устремлялась к речке.

Смотрела Афипса и с грустью думала о том, что этот совсем маленький ручеек сам по себе, но, добежав до речки, вливаясь в нее, перестает быть самим собой, как бы умирает. Вот так и она ушла из своего маленького, даже крошечного аула, влилась в людскую гущу, став дочерью Нижегородского полка, перестала быть сама собою: жила в военной крепости, теперь — в этом громадном лагере, не сама она пришла в крепость, не по своей воле оказалась в урочище, не по своей воле уедет еще куда-то.

Спустилась к ручейку, умылась его прохладной водой, вроде бы обнялась, поцеловалась с ним. Породнились. Солеными слезами своими породнились с ручейком, который тоже не может жить сам по себе, становится безвольной большой горной речкой. Бурной, суетной.

Стрекотали кузнечики, порхали бабочки. Малая пичуга села на веточку, уставилась своими глазенками на Афипсу и торопливо-торопливо что-то рассказывала ей. Может быть, она тоже такая же, как этот ручеек, как Афипса? Конечно, что она значит в этом бесконечном лесу, в бескрайнем небе, где гуляют своевольные ветры!..

Поднялась на холм и услышала запах дыма. Его приносил ветерок, тянувший со стороны ущелья.

Афипса, поднявшись на цыпочках, выткнув шею, пристально смотрела, надеясь увидеть там аул или хотя бы чабана с отарой овец. Слухом напряглась, — может, услышит адыгскую песню.

Глаза слезились от напряжения, в ушах шумело, но ничего родного так и не увидела, не услышала, хотя было оно совсем рядом. И когда брела в лагерь, все виделось ей отец и мать на злополучной поляне. Еще живыми виделось, тоскующими. И те двое адыгов, что сопровождали тело генерала Кухаренко, и те, что приезжали за телами своих погибших воинов, и просто мужчин в белых праздничных черкесках, женщин в длинных платьях.

Виделось, не давали спать.

Афипса ворочалась в постели, вздыхала.

— Маша, ты не спишь? Что с тобой, моя хорошая?

Не ответила Афипса.

«А где Фидурова балалайка? Куда она делась? Надо было взять ее на память, — думала она. — На память? Чтобы вот так не спать ночами от воспоминаний?

— Фидур! — позвала Афипса.

— Что с тобой, девочка? — отозвался Амилахвари. —

Что случилось? Это я, Маша, дядя Ваню.

— Ой! Извини, дядя Ваню, мне Фидур приснился.

— Часто он тебе снится?

— Не очень, но снится.

— Надо, доченька, помолиться за Федора Даниловича, помянуть его. Похоже, он тревожится там о тебе... Какой

был прекрасный человек, какой добрый, сердечный. Помяни его, Боже в царствии Твоем, даруй ему Твое царствие небесное.

— Даруй, Господи, рабу Твоему Федору царство небесное, сотвори ему вечную память,— взволнованно помолилась Афипса.

— Спи, моя хорошая, ночь только уж очень душная.

Едва успел сказать эти слова Ваню Гивич, как блеснула молния, и оглушительной силы ударил гром.

Ударил гром и раскатился по горам, дробясь и затихая где-то в глубине ущелий.

Князь вскочил, зажег свечу:

— Если тебе страшно там одной, иди и ложись на койку Николая Павловича.

— Нет, Ваню Гивич, мне не страшно. Фидур говорил, что гроза — это когда Господь напоминает людям о своем могуществе. А еще Фидур говорил, что надо перекреститься и сказать: Господи, помилуй мя грешную. Я так и сделала. Мне совсем не страшно. Пусть боятся грешные люди, а нам с тобой нечего бояться, нет за нами тяжких грехов. Верно я говорю?

— Верно, верно, ты еще совсем чистое дитя.

— Ты тоже чистый.

— Ой, не знаю, деточка. Господь меня рассудит. Мы живем в греховном мире, среди грешных людей, среди дьявольских происков. Трудно, трудно быть чистым.

— Ваню Гивич, а я?.. Как ты думаешь?

— Я сказал: ты еще совсем чистое дитя.

— Не знаю, не знаю... Фидур говорил, что безгрешен один Господь, а нам лучше всего думать о себе, как о грешных, и просить Спасителя: Господи, Иисусе Христе, помилуй мя грешную.

— Да, да. Господи, помилуй нас грешных.

И трепетный огонь молний, и грозные раскаты грома постепенно стали слабеть и не только не пугали Афипсу, а даже баюкали.

Она уснула.

«Нет, я совсем не сплю, у меня в самом деле выросли крылья, сейчас я, сейчас полечу!» — Слегка присела Афипса, потом оттолкнулась и полетела. Расправила

крылья и парила над землею, как парят орлы высоко в небе. Совсем близко подлетела к снежным вершинам гор и воскликнула от восторга — так они были красивы и совсем рядом. Потом полетела над лесом и слышала хор поющих птиц. Потом полетела над полями и лугами. Работали крестьяне, паслись коровы и овцы. Кто-то сказал ей: «Ты видишь, как красива земля! Все это людям, чтобы и они были такими же красивыми, щедрыми и мирными». Может быть, это и есть рай? Конечно, если люди больше не воюют, значит, это и есть рай. Так думала Афипса... Возникла музыка, какой ей никогда не приходилось слышать. Громче, громче!

Она открыла глаза. В шатре было так же солнечно и светло, как в небе, где она летала. И музыка. Это играл духовой оркестр.

Выглянув в окно, увидела горевшие на солнце медные трубы оркестра, цепи солдат в парадных мундирах.

Афипса быстренько оделась.

На столе накрыт был завтрак, но ей не хотелось тратить время на еду. Она выскочила из шатра. Солдат с ружьем, стоявший у входа, сказал:

— Вам не велено отлучаться далеко от шатра. Я приставлен для вашей безопасности и для всякого успокоения.

— Как же это не отлучаться?! — удивилась Афипса. — Ведь царь, наверно, приехал, я тоже хочу видеть его.

— Так точно, царь-батюшка прибыли! — восторженно доложил солдат, вытягиваясь так, будто перед ним стоял император. — Однако... Черкесов тут много, потому и...

— Где черкесы?!

— Извольте, госпожа, сюда поглядеть. Видите?

Забилось, заколотилось ее сердце: за цепочкой русских солдат, на пологом склоне урочища, она увидела адыгов. Пеших, конных...

— Что они там делают?! Сражаются друг с другом, что ли? Чего шашками размахивают?

Засмеялся бородач:

— Это, милая барышня, называется джигитовкой. Ловкость свою показывают, военное умение. Посмотри, милая барышня, что они там выделывают! Ну ловкачи! Не хотел бы я с ними встретиться в бою. Ох, не хотел бы!

Восхищался бородач, смеялся в свое удовольствие, потом глянул на побледневшую от волнения Афипсу:

— Напужали они вас, Мария Николаевна? Да не бойтесь же, это игра у них такая. Да чего же вы боитесь своих, родных черкесов?

— Да вовсе я не боюсь,— ответила Афипса, неотрывно глядя на адыгов, пытаюсь рассмотреть их лица, пытаюсь услышать их речь.

— Теперь сюда глядите, Мария Николаевна! Царя-батьюшку встречают наши однополчане, славные нижегородцы-молодцы.

Гремел оркестр.

Выстроенные напротив августейшего шатра роты и эскадроны кричали «Ура», подбрасывали шапки.

Адыги, в ожидании царя, стояли молча и с достоинством изредка палили из пистолетов вверх.

Очень удивилась Афипса:

— А они,— протянула руку в сторону, где стояли адыги,— тоже приветствуют царя?

— Как же не приветствовать! Ведь перед ними Самодержец России, самой сильной во всем мире державы!

— Но они-то за что его приветствуют? Ведь он... его войска... — и Афипса запнулась.

Понял ее бородач, поскреб затылок:

— Оно, конечно... барышня... Может, черкесы задобрить хотят Его Величество.

— Черкесы — задобрить? Ты плохо их знаешь! — с нескрываемой гордостью сказала Афипса, потом попросила: — Давай подойдем к ним поближе.

— Ни в коем разе! Я за вас головой отвечаю. Не дай бог, какая-нибудь шальная пуля залетит. Вы вон какая нарядная да красивая, позавидует какой-нибудь ретивый да пульнет.

«Наверно, он прав,— подумала Афипса,— а почему бы и не пульнуть в предательницу, в гяурку». Заболело, заныло ее сердце.

Гремел оркестр.

Кричали люди.

Палили из ружей и пистолетов. Терпкий запах пороха стлался по ущелью.

Афипса стала креститься, шептать: «Боже милостивый, спаси, сохрани и помилуй их грешных. Помоги им, помоги, Боже, стать мирными и добрыми... Великий Аллах, и Тебя прошу, приведи к миру детей Твоих на Твоей священной земле».

Пальба, крики постепенно стихали.

— Переговоры начались,— объяснил бородач,— черкесы с Его Величеством о мире должны договориться, умягчи Господь их души.

Замолчал оркестр. Только блестели трубы.

Солнце, поднимавшееся к своему зениту, тоже как бы напряглось в тревожном ожидании.

Березы и клены, тронутые первой осенней позолотой, были торжественно веселыми, а темные сосны и ели — строгими.

Стало совсем тихо. Так тихо, что было слышно, как жужжали шмели, собирая последний нектар на осенних цветках горного луга.

— Смотрите, Мария Николаевна,— закричал бородач.— Смотрите, это идет со своими приближенными Его Величество Император Александр Второй. Смотрите.— И замер казак, взяв ружье на караул. Почти не дыша, продолжал объяснять Афипсе: — А ему навстречу идут черкесские послы. Будем молить Бога, Мария Николаевна, чтобы они замирились — устали мы, заморились до невозможности от крови, от злобы! Господи, вкорени в них страх Твой и друг ко другу любовь утверди, угаси всякую распрю между ними.

— Кто они, эти черкесы, ты не знаешь? — вытягивая шею, напрягая взор свой, спросила Афипса.

— А Бог их знает, я не привык к их фамилиям,— немножко расслабился казак, опустил винтовку к ногам.

Царь со всей свитой и черкесы остановились в нескольких шагах друг от друга. Русские взяли под козырек, а адыги, приложив руки к груди, приветствовали легким поклоном.

— Пойдем к речке, я хочу умыться,— попросила Афипса.

— Не велено, госпожа! — робко возразил казак.

— Если ты называешь меня госпожой, то выполняй, что я велю. Пошли.

Казак озадаченно пожал плечами и покорно поплелся за Афиписой к ручью. Она умывалась, а он сторожко оглядывался по сторонам — не приключилась бы какая неприятность. Ох, уж эти черкесы, не знаешь с какой стороны и когда они нагрянут на тебя. Ох, ужо эти господа офицеры, чистые каналы, упекут под арест, если увидят, что он нарушил приказ.

Афиписа омыла лицо холодной водой, утерлась концом платочка и потом забавлялась с ручьем — бросала в него камешки, брызгалась и все улыбалась, будто разговаривала с ним.

Переговоры были короткими и решительными.

Царь Александр Второй сказал:

— Согласно Адрианопольскому мирному договору, заключенному нами с Турцией, земли Черкесии стали землями России, а черкесы — подданными Российской империи. Так что извольте сложить оружие и живите с нами мирной жизнью, будьте нашими добрыми и законопослушными гражданами.

Адыгская депутация возразила царю, сказав, что Черкесия никогда не принадлежала Турции, черкесы никогда не были ее подданными, поэтому у нее нет права распоряжаться нами и нашими землями. Адрианопольский договор вы заключили с Турцией, а не с Черкесией. Вы пришли завоевателями на нашу землю, вы должны уйти из Черкесии. Мы не можем стать вашими подданными, можем стать только лишь добрыми соседями. А если — нет, то мы будем защищать свою землю, свой народ.

На этом и закончились переговоры.

— Уже, уже! — зашептал казак. — Боже милостивый, они идут сюда!

Поднялась Афиписа от ручья и увидела царя, шедшего впереди всех, генералов, увешанных блестящими на солнце орденами. А главное, увидела рядом с царем Николая Павловича, так обрадовалась, что хотела помахать ему рукой, но спохватилась: ведь там царь, он уже увидел ее. Свернув с дороги, государь направился прямо к ней.

Батюшки! Завопил про себя казак и обмер. Вроде бы как совсем стал неживым. Его Императорское Величество!

А царь, улыбаясь, подошел к Афиписе:

— Вы кто такая, мадемуазель? Как вас зовут?

Лишь на мгновение растерялась Афиписа, а потом выпрямилась (как это делала Ангелина Парамоновна) и с достоинством ответила:

— Я — дочь Нижегородского полка, Ваше Величество. — Хотела добавить, что она черкешенка, но ее опередил генерал Граббе, заговорив с царем по-французски:

— Эта девочка, Ваше Величество, черкешенка, сирота. Живет у нас уже несколько лет, приняла православие, наречена Марией.

— По-русски хорошо говорит, а черкесский помнит?

— Возможно, помнит, но, вероятнее всего уже забыла.

— Да, ни к чему ей этот язык. Думаю, он ей в дальнейшей жизни совсем не понадобится. — Сказав это, он перешел на русский: — Однако, Николай Павлович, такую... красивую, смысленную и быструю умом девушку нет смысла держать здесь. Она должна быть хорошо воспитана и образована, коли является дочерью Нижегородского полка. Думаю, надо отправить ее в Тифлис, а лучше в Петербург. — Царь обернулся к Афиписе, ласково улыбнулся ей: — Что же вы, милая красавица, не назвали своего имени?

— Меня зовут... В Михайло-Архангельской церкви меня нарекли Марией. Я теперь — Мария Николаевна Дагужи-Нижегородская. Настоящее мое имя — Афиписа, Дагужи Афиписа. — Твердо произнесла она.

Император немного поморщился, но тут же решил, что верность украшает человека. Одолевая свою неприязнь к непокорным черкесам, отечески, царски погладил Афипису по голове. — Мария Николаевна Нижегородская... — Славная фамилия. Думаю, вы будете достойной дочерью тех, кто удочерил вас, дал такое высокое имя — Мария, такую славную фамилию — Нижегородская! А скажите, милая красавица, умеете ли вы молиться по-православному, знаете ли «Отче наш»?

— Знаю, Ваше Величество.

Афиписа перекрестилась.

Царь тоже перекрестился.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь.

Александр Второй негромко повторил:

— Аминь.

— Отче наш,— начала Афипса.— Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Аминь.

— Аминь! — повторили и царь, и вся его свита.— Вы хорошо, вы прекрасно прочитали эту главную нашу молитву. Вы — настоящая христианка! — Он кивнул кому-то из своей свиты, что-то негромко сказал по-французски, тот подал ему горсть серебряных монет. Александр Второй протянул их Афипсе: — Пожалуйста, дитя мое, примите мой скромный подарок, купите себе любимых сладостей.

XXVII

Царь привел в исполнение свою угрозу: от Анапы до Адлера стояли боевые суда, морская пехота отрезала адыгов от моря и наносила удары по шапсугам, убыхам и натухайцам. Войска, воевавшие в Чечне и Дагестане, научившиеся искусно сражаться в горах, перешли Кубань и наступали на Абадзехию, со стороны Екатеринодара, Лабинска и Ставрополя наседали казачьи полки.

Царские войска стремились поставить на колени адыгов, покорить их своей воле. Но и адыги не отступились от своих слов, так сражались, с таким мужеством и самоотвержением, что кто-то из царских генералов сказал: «Этот маленький, по сравнению с российским колоссом... народ, достоин быть непобежденным — так велико мужество и самоотвержение, так велика любовь к своей земле, к Родине этого народа».

Горели аулы, зарастали чертополохами некогда возделывавшиеся поля. Сотни тысяч адыгов уходили к своим единоверцам в Турцию, однако и там не находили приюта — турки просто не могли принять такое количество беженцев. Да и нужны им были черкесы лишь для того, чтобы использовать их в военных действиях на Балканах.

Горели аулы, лилась невинная кровь...

Настала пора выполнить и другую волю царя — отправить Афипсу в Тифлис или в Петербург. Некоторые даже поговаривали, не оставить ли ее в Екатеринодаре или в Ставрополе, так для полка будет меньше мороки, но воля царя — превыше чьих-то желаний, и решено было отправить ее в Тифлис.

Самой Афипсе, конечно, хотелось бы остаться на адыгской земле, поближе к могиле Федора, но кто станет считаться с ее желанием против воли царя! Она поедет в Тифлис. Так решил генерал Граббе.

Настал день, и Афипсе снарядили фаэтон. Сопровождать ее до самого Тифлиса будут князь Амилахвари и Николай Тришков.

— Николай Павлович, нельзя ли нам по пути в Тифлис заехать в Шабежскую? — спросила Афипса генерала.

— Никак ты соскучилась по крепости? — ответил генерал, поняв однако, о чем говорит Афипса.— Видишь ли, Машенька, можно, конечно, но уж очень большой крюк придется делать. И к тому же... время тревожное, дорога туда опасная. Мы решили отправить тебя в Тифлис через Владикавказ. Так и ближе, и безопасней. Я знаю, я понимаю тебя, Маша, Мария Николаевна, и обещаю, что со временем обязательно побываю в Шабежской, обязательно зайду на могилку к Федору Даниловичу.

— Правда? — и глаза ее заблестели слезами.

— Правда. Слово офицера.

— Спасибо.

— Успокойся, моя хорошая, вытри слезы, не беспокой душу Федора Даниловича, царство ему небесное.

И генерал, и князь Амилахвари, и урядник Тришков, и Афипса перекрестились.

Помолчали.

— Еще я тебе обещаю,— продолжил Николай Павлович,— если, даст Бог, все окончится хорошо, я обязательно свожу тебя на могилу Федора Даниловича, а если... война коварна, деточка, если не я, то Ваню Гивич свозит тебя, верно я говорю, князь?

— Не надо никаких если, Николай Павлович! — твердо сказал князь Амилахвари.— Окончится война, и мы все

вместе съездим в Шабежскую, почтим память и Федора Даниловича, и всех, кто похоронен там... Урядник, все ли готово?

— Так точно, все готово.

— Тогда помолимся перед дорогой.

Каждая тропинка, каждый поворот, перелесок или придорожный валун в непокоренной Черкесии таили опасность, и только когда фаэтон переправился через Лабу, опасности, можно сказать, остались позади.

Майкоп, Лабинск, Пятигорск...

Горы, леса, опять горы и — степь! Афипса впервые увидела такой необозримый простор, такую ширь. Увидела и поняла, как необъятна земля, поняла и спросила: зачем люди воюют, если у них такие просторы, такая бесконечность?!

В Пятигорске путники остановились на ночлег в самой большой и шумной гостинице.

Во время ужина в ресторане Афипса увидела двух черкесов. Они сидели за соседним столом. Увидела и подумала, что уже так далеко уехала от дома, думала, что больше не увидит их, а они и здесь. Рядом сидят! Забилося ее сердце, застучало. Она опустила голову, чтобы не увидела ее волнения.

— Радуются мужики, радуются, что война идет к концу, что взяли они верх над всем Кавказом, — сказал черкес, который с виду был постарше своего товарища.

— Говорят, русский царь к абадзехам приезжал. Как ты думаешь, правда это?

— Говорят, приезжал, приказал своим войскам изничтожить адыгов вместе с их аулами. Все, говорят, приказал сжечь. Е-е, Хасан, посмотри-ка сюда: не черкешенка ли эта девушка?

— Что ты, Даур! Какая она черкешенка! Марфушка! Или ты не видел, как она крестилась?

— Ну и что? Моздокские адыги во всю едят свинину! Только облизываются да похваливают.

Тришков спросил у Афипсы:

— Ты поняла, о чем они говорили?

Она ответила ему сердитым взглядом.

— Нужно ей это! — возразил князь. — Она и не слушала их, а хоть бы и слушала, наверно, ничего не поняла бы. О чем могут говорить эти мохнатые! — сказал князь и спохватился — нехорошо, нехорошо, вон как сердито смотрела на него Афипса, обиделась, должно быть. — Я вижу, мы уже поели, давайте поблагодарим Господа за хлеб насущный и пойдем к себе — ведь нам завтра рано подниматься в путь-дорогу.

Не утерпела Афипса, когда выходили из зала, все-таки оглянулась и посмотрела на адыгов. И опять — заныло сердце, защемило.

На девятый день, миновав Нальчик и Владикавказ, путешественники прибыли в Тифлис. Но и здесь долго не задерживались — познакомили Афипсу с частным пансионом мадам Фавр, осмотрели его. Пансион понравился Афипсе, понравилась ей и хозяйка. А потом отправилась в родное село князя Амилахвари — Чали, что в Горийской губернии. Там ее очень приветливо, гостеприимно встретила жена князя Анна Александровна:

— Поживешь у меня, как говорят, в семейном кругу, а уж потом поедешь в пансион, где и будешь жить и учиться. Что ты на это скажешь, Маша?

— Спасибо, я так рада!

— Вот и отлично. Теперь давай отпустим мужчин, им предстоит долгий обратный путь. Я говорю — долгий и скучный, потому что тебя не будет с ними.

Обнял, поцеловал в щеку Афипсу князь:

— Будь счастлива, Машенька. Нам не только в дороге, но и в крепости будет грустно без тебя. Пиши письма, мы будем очень рады.

— Ты, Николай, передавай всем в полку мои приветы, скажи, что я уже соскучилась по ним. Ты тоже пиши мне.

— Конечно, даже ничуть не сомневайся, думаю, что не успеешь сильно заскучать, как кончится война, и мы приедем за тобой.

— До свидания, Ник, — впервые она сама протянула ему руку и посмотрела без особого стеснения в глаза.

— До скорой встречи, Маша, — взволновался Тришков и, круто повернувшись, чтобы не тянуть далее грустное расставание, ушел.

Вано Гивич говорил, что Афипса — вылитая грузинка. Может быть, но это только ему кажется. Сама же Афипса считала, что мальчишки и девчонки в Чали и девушки — смуглые, большеглазые — похожи на черкешенок, но не совсем, так же, как горы и леса Грузии, речки и небо очень похожи на Черкессию, однако они иные. Не скажешь, хуже они или лучше, просто — другие, просто — чужие. Они тоже могут нравиться, быть очень красивыми, но все-таки — не твоими. «В людях твоего народа, в твоей родной земле, — говаривал Фидур, — есть тайна, которая известна только тебе да твоим землякам, в ней-то и заключается любовь, она-то и делает тебя родной, силу дает».

Да и в самом деле, думала Афипса, и разговор у них гортанный, и черкески носят такие же, и женщины ходят в длинных, до самых пят, платьях, и еда у них — острая, душистая, а все-таки все грузинское, а не черкесское.

Вспомнился опять Федор Данилович.

Вспомнилась Шабежская крепость.

Афипса взяла красивый альбом в дорогом сафьяновом переплете, подаренный ей Николаем Павловичем.

На первой странице — фотография императора Александра Второго. Строгий и уж очень какой-то большой. Намного больше, шире в плечах того, какого она видела, с каким разговаривала.

На второй странице — Великий князь, наместник Кавказа. На третьей — генерал Граббе, за ним — князь Амилахвари и другие офицеры полка, Николай Тришков. На каждой карточке — собственноручная подпись того, кто на ней запечатлен. Большинство из офицеров Афипса знала, встречалась с ними, а есть и такие, которых не знала — новенькие, прибывшие взамен погибших. А солдат сколько! Она их знала и по лазарету, и просто так — они тянулись к девочке как к теплу уюта, домашности, семьи. Сколько их похоронено на полковом кладбище!

А черкесов! Аллах Всемилостивый! Когда же все это кончится?

Никогда?

Ей стало страшно.

Она захлопнула альбом, с горечью подумала: «Как жалко, что в нем нет фотокарточки Фидура, чем он хуже,

скажем, Тришкова». Очень досадно ей стало. Сколько раз Фидур собирался сфотографироваться. Даже с нею хотел сняться, а вот — нет ничего... Крестная, Ангелина Парамоновна, обещала ей прислать свою карточку. Если придет, Афипса приклеит ее рядом с доктором Плуталовым. Нет, она приклеит на самой первой странице, перед карточкой царя. Добрая, добрая Ангелина Парамоновна, по сути заменившая ей на какое-то время родную мать. Спасибо. Еще бы карточку могилы Фидура. Как только Тришков пришлет ей письмо, она ответит ему и попросит сделать фотографию могилы Фидура. Как хорошо, что она взяла на память его балалайку. Пусть хоть что-то будет от него.

Что это?!

Ей послышался голос муэдзина. Она подбежала к окну.

Нет, это ей почудилось — звонили в церкви. Маленькая, с золотыми луковками куполов церковка возвышалась над кривыми улочками селения Чали, над каменными домами, заборами, над высокими, стройными тополями.

Афипса перекрестилась, помолилась, почувствовала душевное облегчение.

«Интересно, что там написал Тришков на своей странице?» Афипса раскрыла альбом и прочитала: «Дарю на добрую долгую память с надеждой, что наши с тобой пути сойдутся навсегда». «Что это он выдумал? — будто не понимая смысла написанного, спросила она себя и почувствовала тайное тепло в сердце. Да он и говорил, что-то похожее, когда расставались... Когда кончится война, мы приедем за тобой».

Вошла Анна Александровна.

Ангелина Парамоновна — женщина могучая и телом, и голосом, а Анна Александровна — худенькая, стройная, мягкая характером, с тихим голосом.

— Машенька, доченька, доброе утро! Ты и сегодня встала раньше нас, не сердись, пожалуйста.

— Доброе утро. Это вы, ради Бога, на меня не сердитесь, что беспокою вас, но... у военных очень строгий распорядок, я привыкла к нему.

XXVIII

— Да-да, конечно... Однако, девочка моя, ты теперь живешь и будешь жить не среди военных, значит, и к распорядкам тебе придется привыкать иным. У нас в доме так рано встают только слуги. Не мешают они тебе, не шумят?

— Нет-нет, Анна Александровна, мне никто не мешает. Я ко всему привычна.

— Думаю, ты со временем привыкнешь к нашему распорядку. Кстати, такой распорядок почти во всех приличных домах. Давай присядем. Я хочу тебя попросить. Если можешь, называй меня мамой Анной.

— Да, но,— смущенно улыбнулась Афиписа,— на грузинском языке «мама» означает «папа».

— Откуда ты узнала? — удивилась Анна Александровна.— Знаешь грузинский?

— Нет, совсем нет, просто поняла из разговоров соседских девочек.

— Ты же не грузинка, вот когда научишься говорить по-грузински, если захочешь, тогда и назовешь по-грузински.

— А меня не засмеют девочки?

— Думаю, что нет. Они славные и понятливые.

— А как дядя Ваню?

— Ему тоже будет приятно, если ты станешь звать его папой. Папа Ваню, мама Анна. Мы будем очень рады.

— Хорошо.

— А теперь идем в столовую, нас ждут. Еще я должна сказать, что распорядок в пансионе, где ты будешь жить и учиться очень схож с нашим, семейным, так что привыкай.

— Распорядок,— задумчиво сказала Афиписа,— в армии тоже так говорят. Строгий распорядок.

— Тебе, должно быть, очень надоела жизнь в полку, доченька?

— Нет, совсем нет. Я привыкла ко всему и мне было легко. Даже приятно.— ответила Афиписа, но добавить «мама Анна» еще не решилась.

Минуло более полугода, как Афиписа приехала из Чали в пансион мадам Фавр.

Каждую неделю к ней приезжала Анна Александровна, чтобы погулять с нею по городу, чтобы побаловать вкусеньким домашнего приготовления. С материнской нежностью относилась княгиня к Афиписе.

Много приходило писем из Нижегородского полка, на которые она исправно отвечала. Почтил своим вниманием и почетный солдат Нижегородского полка Великий Князь, наместник царя на Кавказе: два раза в месяц от его имени Афиписе привозили подарки, а один раз он с подарками явился в пансион и сам.

А уж если сюда приходил кто-нибудь из полка, приезжавший по служебной надобности, то радости Афиписы, казалось, не было границ.

В пансионе не знали такого внимания к другим воспитанницам, как к Марии Дагужи-Нижегородской, и тем не менее мадам Фавр была недовольна ею.

— Прошу вас зайти сегодня ко мне,— холодно, даже недовольно как-то сказала мадам Фавр княгине Амилахвари.

Анна Александровна знала хозяйку пансиона как женщину добрую, благовоспитанную, любящую своих воспитанниц и вдруг — такая холодность, такой официальный и немного угрожающий тон!

Что могло случиться с Машей? Неужели что-нибудь неприличное? Но не может такого быть! Хоть Анна Александровна и знала близко Машу всего полгода, но Ваню Гивич знает ее уже много лет, и всегда так нежно о ней отзывался, всегда говорил, что есть в девочке благородство характера, врожденная порядочность.

Возможно, мадам Фавр недовольна полком? Но полк не только регулярно оплачивает содержание Маши, но вообще помогает пансиону, чем только может.

Что же случилось?

Возможно, у мадам Фавр было просто дурное настроение, или ее кто-нибудь обидел и она не смогла сдержать себя?

Дорога из крепости почти через весь Кавказ в Тифлис, жизнь у Анны Александровны, в пансионе — все это было для Афиписы неведомое, новое, интересное, порой даже захватывающее, и потому отвлекало ее пока от бед, которые постигли в Черкесии ее родителей, Федора, от крови и страданий, принесенных войной. Но вот прошло время, стерлась новизна, стала буднями, память все чаще и чаще начала возвращать ее в Черкесию. Афиписа не знала слова ностальгия, его знало ее сердце. Тоска по родине — услужливая память питала ее живыми красками прошлого, память будила сердце, рождая в нем нестерпимую боль.

Сначала у Афиписы появились подруги, с которыми она весело проводила время. Но окончилось и это. Теперь она все чаще уединялась, любила просто так посидеть на скамье и смотреть на небо, на горы, в ту сторону, где, как ей казалось, находилась Черкесия. Смотрела на облака и завидовала будто живым существам, которые уходят по небу туда, где остались лежать в земле ее отец и мать, где похоронен Федор. Иногда, забывшись, она даже разговаривала с ними, просила передать приветы Тришкову, доктору Плуталову, просила от ее имени поклониться адыгским горам и лесам, пролиться теплым дождиком на родные луга и поля, проплыть легким облачком, белой птицей над ними.

Вот и сегодня Афиписа сидела на скамье в Тифлисе, а душой была в Черкесии. Неподалеку от нее девушки затеяли свои забавы. Такие счастливые, такие веселые. Нахмурившись, Афиписа отвернулась от них. Эти грузинки вдруг стали ей неприятными, наверно, потому что грузин Махатадзе убил ее родителей. Нахмурилась, но тут же подумала: чем они виноваты? Разве Фидура не русские же люди убили? А разве самого Махатадзе не адыги убили?

Сидела с закрытыми глазами и разговаривала с Ангелиной Парамоновной. Вернее, рассказывала ей о себе, о своей боли и тоске. Так с нею стало случаться с той поры, когда в пансионе она почувствовала себя одинокой, когда стала разговаривать с облаками.

«Мама Ангелина, где вы? Откликнитесь, очень прошу вас. Все мне пишут, а от вас только и пришла одна весточка. Уж не забыли ли вы меня? А Сергей Петрович тот и вовсе

забыл, только с Тришковым передает приветы. А что мне от тех приветов да еще, когда их передает Тришков. Совсем другое дело письмо. Я перечитываю их по нескольку раз: как соскучусь, так опять читаю... Если бы вы знали, мама Лина, как я скучаю по вас, по Сергею Петровичу, по всем нижегородцам... Относятся здесь ко мне хорошо, но завидуют, что я получаю подарки от самого наместника, что один раз он даже ко мне в гости пожаловал. Завидуют, я это вижу, от этого мне больно. Учат меня французскому языку, грузинскому — зачем они мне, если за все время я ни единого словечка адыгского не слышала, приходится самой с собою разговаривать по-своему, чтобы не забыть язык матери. Еще Фидур говорил, что нельзя забывать свой родной язык, вот я и разговариваю, спрятавшись в кустах нашего парка. Мадам Фавр называет меня только Нижегородской, будто я и вовсе не Дагужи, а это очень обидно — словно половину от меня отделили, а другую, родную, задевали куда-то. Да если бы только мадам Фавр, а то и Анна Александровна морщится, чуть только я заговорю о Черкесии. Почему вы меня оставили одну? Прошу вас — приезжайте и заберите отсюда. Не хочу, не хочу быть здесь! Они думают, если окрестили, я стала русской, забыла свою родную землю, забыла тату и нану, которые дали мне жизнь. Ведь если бы не они, меня и вовсе не было бы на белом свете...

— Маша, Маша! Да что с тобой?! Я никак не могу тебя дозваться. Что с тобой, моя милая?! — встревоженная подошла к Афиписе Анна Александровна. — Зову-зову, а ты, ровно не слышишь.

— Анна Александровна, здравствуйте! — поднялась навстречу княгине Афиписа. — Простите, просто задумалась. Ой, какая вы сегодня нарядная Анна Александровна! — по-прежнему не назвала княгиню «мамой Анной». — В прошлую неделю вы приходили и потом в пансионе у девочек только и было разговору о ваших нарядах, а сегодня! Сегодня вы — еще лучше, еще красивее, опять девочкам будет о чем поговорить!..

— Неужели я и в самом деле так красива и нарядна? Вы с девочками не преувеличиваете? — не дожидаясь ответа, поцеловала Афипису в щечку, стараясь не выдавать

свое плохое настроение.— Но что с тобой милая? Ты так бледна, опять сидишь в одиночестве, как и в прошлый раз. Разве у тебя нет подруг?

— Вы, в самом деле, очень красивы, Анна Александровна,— уклонилась Афипса.

— Давай посидим. Поговорим. Не скрываешь ли ты от меня какую-либо свою неприятность? Будь со мной искренна, ведь ты моя дочь, ближе меня у тебя нет никого. Что случилось?

Они сели на скамейке под старым развесистым дубом.

— Я ничего от вас не скрываю,— неуверенно сказала Афипса.

— Тогда почему тобой недовольна мадам Фавр?

— Недовольна? Она сама вам так сказала? Когда?

— Сейчас, когда я шла к тебе. Она непозволительно холодно обошлась со мной. Может, с тобой случилось что-нибудь неприятное?

— Анна Александровна! Неужели я похожа на такую!

— Конечно, нет, доченька... но... всякое может случиться, ведь все мы живые и грешные люди.

— Ничего не понимаю: учусь я неплохо, никаких замечаний по поведению нет, во всем послушна. Не знаю, почему так обошлась с вами мадам Фавр. Однако...— дрогнул голос Афипсы.— Это я недовольна некоторыми преподавателями и самой мадам Фавр.

— Чем они тебя обижают? — удивилась княгиня.

— Они из меня половину сделали, называют только Нижегородской, это же половина, только половина моей фамилии! — Афипса не сдержалась и, припав к груди княгини, горько расплакалась.

— Милая моя, хорошая моя, стоит ли из-за этого плакать! Я им сегодня строжайше накажу называть тебя полным именем — Мария Николаевна Дагужи-Нижегородская. Давно они стали полуфамилией тебя называть?

— С первого дня.

— Зачем же ты терпела? Надо было сразу мне сказать. Ну, успокойся, доченька, уже все позади.

— Спасибо, что вы понимаете мою боль. А еще я хочу у вас спросить: в какой стороне находится Черкесия?

Княгиня не ожидала такого вопроса и не нашлась сразу, что ответить.

— Здесь у нас север, здесь запад. На северо-западе от Тифлиса и находится Черкесия. Вон за теми горами,— указала она на редколесные предгорья.

— Так это совсем рядом! — восторженно воскликнула Афипса.

— Нет, Маша, это очень далеко. Я просто указала тебе направление. Несколько дней пути. Может быть, даже целый месяц.— Встревожилась княгиня, ей показалось, не к добру спросила Афипса, не зря с таким восторгом смотрит в ту сторону. Но что делать, что делать, разве она отказалась бы когда-нибудь от своего Чали, от Грузии, разве смогла бы забыть свой родной язык. Худо-бедно, но грузины сумели договориться с Россией, обошлись без войны, живут своей единой землей, единым народом, но почему же не сумели договориться черкесы? Вон сколько несчастий возникло, сколько крови невинной пролито.— Понимаю я тебя, понимаю, дитя мое, но хватит об этом. Посмотри, какую книгу я тебе привезла. Какую красочную! Это русские народные сказки.

Афипса стала листать без особого интереса:

— Это я читала... это — тоже, и это. В нашей библиотеке есть все эти сказки, былины. Русские, а черкесских — нет.

— Что поделаешь, нет в этой книге и грузинских сказок, а их так много, они так прекрасны!

— Да, и мне хотелось бы почитать старинные черкесские сказки. Я помню некоторые из них — нана рассказывала.

— И в этом я понимаю тебя — обязательно найду книгу черкесских сказок, если она есть,— сказала княгиня и подумала, что в Тифлисе издаются журналы и газеты, в которых рассказывается о черкесах, но с ними не надо знакомить Машу, не надо бередить ее и без того изболевшееся сердце.

Раздался звонок.

— Время обеда, Анна Александровна.

Вставая, княгиня попросила:

— Очень прошу тебя: не сиди в своей комнате, как обреченная, больше гуляй в парке и, пожалуйста, заведи

себе подружек — без этого нельзя, одиночество никого к добру не приводило. Ты лучше озоруй, балуйся, чем изводить себя тяжкими думами.

— Нет, Анна Александровна, я не буду озоровать, но, даю вам слово, и запираюсь в своей комнате не буду.

— Вот и славно, Машенька. Пусть не теснятся в твоей прекрасной головке мрачные мысли, не нагружай свою душу печалью. Война идет к концу, и Нижегородский полк, даст Бог,— княгиня перекрестилась,— князь Амилахвари и другие возвратятся в Тифлис, все мы соберемся в одну семью, обретем долгожданный мир и покой. И тогда, как говаривал мой покойный отец, перед тобой распахнется весь удивительный Божий мир!

— Федор Данилович тоже так говорил, пусть земля ему будет пухом, царство ему небесное,— перекрестилась Афипса, погрузнела.

Княгиня тоже перекрестилась:

— Говорят, это был чудесный, истинно русской души, человек, но, к сожалению, мне не довелось его повидать, он многому хорошему научил тебя.

— Он сам многому хорошему научился у адыгов, с которыми прожил девять лет, и многое из этой жизни поминал добром,— в миг Афипса преобразилась.

— Да, да, мне рассказывали об этом. Черкесы — древний народ, мудрый, каждый же народ несет в своих сокровищницах большой запас благодати, добра, культуры. Все хорошо, моя милая доченька... Однако мне надобно еще зайти к мадам Фавр. Через неделю я опять приеду к тебе.

— Анна Александровна, я совсем забыла о письмах. Пожалуйста, отправьте их. Я быстренько сбегая за ними!

Княгиня смотрела на уходившую Афипсу и улыбалась, вспомнив себя в молодости. Она тоже была вот такой же стройной, грациозной. Впрочем, ее и сейчас называют стройной и грациозной, говорят, не даром она княгиня, все в ней княжеское. Любовалась Анна Александровна Афипсой и удивлялась: откуда у нее, у крестьянской девочки, столько грации, изящества, столько чувства собственного достоинства! Что ж, вполне возможно, в глубине давнего времени у нее были предки из знатного рода. Вполне возможно. «Шея у нее — лебединая, ножки — горной

газели, острота мышления — чрезвычайная. И дались ей эти черкесы! Выбросить ей надо все это из головы и счастливо жить! Тифлис, а потом — и Петербург! Я уверена, и ко Двору она со временем будет счастливо представлена, не даром ее заметил сам Государь!»

Вернулась Афипса, принесла пять писем.

— Это кому же ты, уважаемая Мария Николаевна, написала столько писем? — с лукавой усмешкой спросила княгиня.— Если не секрет.

— А вы смотрите сами, на конвертах все написано, какой тут секрет.

— Хорошо, хорошо,— стала рассматривать конверты княгиня,— генерал Граббе — ясно, князь Амилахвари — тоже, про доктора Плуталова знаю. А это? А. П. Плуталова, в Ставрополь ей письмо.

— Супруга доктора, Ангелина Парамоновна, моя крестная мама.

— Да-да, припоминаю. А это? Николаю Тришкову. Ты пишешь ему?

— Я только из вежливости отвечаю на его письма.

— Вежливость — это хорошо, но... знаешь, я думаю, урядник Тришков совсем тебе не пара... Думаю, когда ты пойдешь в свет, поднимешься на его вершину, там, и только там, встретишь истинно суженного тебе. Вежливость — хорошо, но, Боже избавь, не подавай ему никакой надежды. Даже тени надежды не подавай. Я, как мать, желаю тебе истинного счастья. Пожалуйста, помни это и во всем доверяйся мне. Особенно в делах душевных, ведь они самые сложные.

— Спасибо вам, Анна Александровна, вы так добры и доброжелательны ко мне, спасибо,— ее бледное личико слегка покраснело.

Мадам Фавр — высокая, совсем не гнущаяся, с тонкими, извилистыми губами, пригласила княгиню:

— Прошу вас, садитесь, будьте любезны.

Они сели друг против друга, вежливо улыбаясь, как бы соревнуясь в вежливости.

— Я желала бы сказать вам несколько слов о вашей уважаемой воспитаннице Марии Нижегородской.

— Я — вся внимание, мадам Фавр, однако, простите, замечу: вы неполностью произносите имя моей воспитанницы Марии Николаевны Дагужи-Нижегородской, — приподняв голову, по-княжески произнесла Анна Александровна. Хотела добавить: дочери славного Нижегородского полка. Хотела еще раз уязвить мадам Фавр, но сдержалась, только добавила: — Простите, я прервала вас.

— Мы поговорим и об этом, — сдерживая своей благовоспитанностью раздражение, ответила мадам Фавр, блеснув большими круглыми очками. — Я ничего дурного не хочу сказать о Марии Нижегородской, — подчеркнула слово «Нижегородская» — она для своих четырнадцати лет очень умна, сообразительна, имеет прекрасные способности для учебы. Мария выделяется своей красотой, умом среди всех моих воспитанниц. Я очень мало знаю, что из себя представляют ее соплеменники, эти... черкесы, живущие где-то там, далеко, в диких горах...

— Мадам Фавр! Упаси вас Боже сказать это при Марии Николаевне. Я повторяю — упаси вас Боже.

— Я думаю, княгиня, я прежде всего забочусь о самой Марии Нижегородской. Она должна забыть своих соплеменников, только тогда поднимется в обществе на высоту, достойную ее ума. Я приказала воспитателям, учителям и всем воспитанницам не говорить с Марией Нижегородской о ее соплеменниках, о Черкесии.

— Теперь я понимаю, почему Мария Николаевна всегда одна, в стороне от всех воспитанников.

— Да! Она одинока, она слишком горда и потому не общается с воспитанниками. И знаете, княгиня, Мария иногда разговаривает сама с собою на своем темном языке. Я не могу позволить...

— Мадам Фавр, как вы смеете! — не сдержалась Анна Александровна. Может быть, эта залетная госпожа и грузинкам запретит говорить на их родном языке, возможно, она и их считает дикими и темными детьми гор? — Я настаиваю, мадам...

Мадам Фавр криво усмехнулась:

— Машу Нижегородскую воспитываем мы! И если к нею случится что-нибудь неприличное или еще хуже, то отвечать придется нам.

— Кроме всего прочего, мадам, вы можете обидеть не только меня, но и весь Нижегородский полк, — говорила княгиня, а сама думала, конечно же, надо что-то сделать чтобы остудить в Марии эту тягу к своему черкесскому языку, к Черкесии, иначе ничего путного не получится. Конечно, надо, но не так же грубо! — Если вы будете и впредь так относиться к Марии Дагужи-Нижегородской, я тот час же заберу ее от вас.

За стеклами очков мадам Фавр блеснули насмешливые искорки зеленоватых глаз:

— Если вы захотите забрать Марию Нижегородскую, княгиня, то вам придется сначала испросить на это разрешения у генерала Граббе... Кстати, Его Высочество наместник Кавказа поддерживает меня в том, что надо выбросить из головы Марии ненужные мысли о черкесах и это самое — Да-гу-жи. Главное же, зачем я вас хотела видеть, заключается в том, что Марию надо переводить в институт благородных девиц святой Нины.

Теперь криво усмехнулась и княгиня:

— Таким образом вы хотите избавиться от Дагужи-Нижегородской? Не так ли?

— Отнюдь нет! Я просто уверена, что мой пансион тесноват для такой одаренной девушки. Видит Бог, я говорю вам правду, видит Бог, я желаю Марии Нижегородской только добра.

— Извините, мадам Фавр, — смягчилась Анна Александровна, — вероятно, вы правы. Но надо посоветоваться и с начальником штаба славного Нижегородского полка князем Амилахвари.

— Да, конечно. А я напишу генералу Граббе, Николаю Павловичу. Я только хотела бы добавить к нашему разговору: не следует распространяться о мнении Его Высочества... Так, надеюсь, будет лучше.

XXIX

В институте благородных девиц святой Нины шумно и весело готовились к встрече 1864 года.

Шумно, весело и нетерпеливо готовились к новому балу-маскараду еще и потому, что решил почтить

этот бал своим присутствием Великий князь Михаил Николаевич, наместник Кавказа. Конечно, это очень почетно, однако девицы радовались главным образом тому, что с Его Высочеством придут на бал офицеры. Женихи. Разумеется, об этом не говорилось, однако подразумевалось. Втайне каждая девица надеялась встретить друга сердца, своего принца.

Не меньше девиц, а возможно, больше их волновались матери: с одной стороны, они боялись озорников-соблазнительцев, а с другой тоже надеялись втайне на будущее счастье своих дочерей. Как тут не волноваться!

А что касается самих офицеров, то и они готовились к торжеству: фабрили и подбривали усы, стриглись у лучших парикмахеров. Надеялись в огнях новогоднего фейерверка полюбоваться глазками, щечками и губками, потанцевать да пофлиртовать, а если повезет, то, может быть, и встретить свою любовь, свою принцессу.

С волнением ждала нового года и княгиня Анна.

Обычно его встречала в кругу семьи, в княжеском имении в Чали, в этом году так не получалось уже потому, что князь Ваню Гивич находится в Черкесии. И, конечно, причиной была Маша, к которой княгиня уже настолько привязалась, что беспокоилась о ней, как о родной дочери. Да и генерал Граббе просил ее не оставлять девочку без опеки, без ласки.

Как только Афипсу перевели из пансиона мадам Фавр в институт благородных девиц святой Нины, Анна Александровна открыла в Тифлисе свой дом со всеми хозяйственными службами и прислугой, соответствующими княжескому достоинству. Пусть все видят и знают, кто такая Мария Николаевна Дагужи-Нижегородская, пусть она ни в чем не знает нужды.

В институте Афипса тоже всех удивляла своей памятью, своими способностями усваивать курс учебы легко, даже с блеском. И здесь Афипса сначала увлеклась, ожидалась новизной жизни, но вскоре это прошло — не завела подруг, все свободное время проводила в одиночестве.

Взрослела на глазах Афипса, уже неловко было называть ее девочкой. Девушка, барышня. И не полуграмотная девочка, а многое прочитавшая, познавшая девушка. Не

только разумом, но и сердцем она повзрослела, но есть вещи, которые до самой глубокой старости, до смерти остаются неизменными или почти неизменными в зависимости от того, кто ты, какой силы ты человек.

Чистым, теплым, пушистым покрывалом укрыл снег Тифлис — его дома, деревья, холмы. Смотрела на него в окно и думала, что у них в Черкесии снег бывает таким же ярким, пушистым. Ну вот, этот самый снег как бы стал мостиком между Грузией и Черкесией.

Вся Шабежская крепость, вся округа, теперь, должно быть, укрыты мягким пушистым снегом.

И та поляна, та страшная поляна тоже укрыта белым снежным покрывалом.

И могила Фидура.

Она достала из письменного стола альбом, подаренный ей офицерами полка, раскрыла.

Николай Тришков весело смотрел на нее.

Афипса сердито захлопнула альбом.

Если бы не Тришков со своими солдатами, они ушли бы с Фидуром и теперь жили бы где-нибудь там, в горах, среди своих сородичей подальше от войны, поближе к чистому небу над Черкесией.

А если бы не Махатадзе? Жили бы они всей семьей в своем ауле. А если бы не война, то живы были бы все и теперь тоже готовились встречать новый год...

«Где бы ты ни была, как бы тебе хорошо ни было, не забывай своей Родины, если ей трудно, если тяжесть на нее обрушилась. Не забывай, молись за нее, молись за свою грешную душу» — так ты говорил мне, Фидур. Как я могу забыть, слышишь, Фидур, мою Черкесию, как я могу выбросить из своего сердца отца и мать — грех это, великий грех, Фидур... Здесь радуются близкому концу войны, но разве это мир, разве могут адыги считать это миром, если их выгонят в Турцию, на чужбину. Ты сам говорил, Фидур, — горек хлеб на чужбине, как бы его ни подслащивали, к тебе очень хорошо относились адыги, но ты не мог жить без твоей России. Меня укоряют, что я не радуюсь концу войны, но как я могу радоваться такому концу? Что было бы с Анной Александровной, с Ваню Гивичем, если бы грузин стали выгонять из Грузии, что

было бы с русскими, если бы их изгнали из России? Трудные это вопросы, Фидур, но они есть, от них мне некуда деваться... Анна Александровна и все другие, с кем я живу, говорят, мол, если ты приняла православие, то должна забыть о басурманской земле. Но как, как это сделать, Фидур, как приказать сердцу?! Да и нужно ли такое, не окажусь ли я предательницей?»

Слезы полились из ее глаз.

Она легла на постель, уткнувшись лицом в подушку, и забылась. Именно — забылась, а не уснула.

Раздался стук в дверь.

Анна Александровна, не дождавшись ответа, вошла встревоженная:

— Машенька, Мария Николаевна, никак ты спишь?! Или забыла, какой день сегодня, забыла о предстоящем новогоднем бале?!

— Вовсе не забыла, Анна Александровна.

— Так в чем же дело?! Уж не захворала ты?

— Нет. Я здорова.

— Как не захворала, если вон какая бледная.

— Нет-нет, я здорова.

— Господи, уж не обидел ли тебя кто?

— Никто не обижал, Анна Александровна.

Княгиня обняла Афипсу, крепко прижала к своей груди:

— Однако, что с тобой, моя хорошая, что с тобой, моя милая доченька? Или опять мучаешь себя горькими воспоминаниями, бередишь свое сердечко тяжелыми мыслями? Полно, доченька, успокойся.

Афипса, припав заплаканным лицом к груди Анны Александровны, жаждала успокоения, но получилось обратное: в материнских объятиях она расстроилась еще больше и заплакала навзрыд.

У княгини навернулись слезы на глаза, и она тоже расстроилась, чувствуя боль Афипсы:

— Успокойся, Машенька, успокойся, моя милая. Господь да снизойдет к тебе своею милостью... Вот и хорошо, вот мы и успокаиваемся.

— Простите, Анна Александровна, но я не хотела бы идти на бал, я хотела бы остаться дома.

— Я-то могу тебя простить, Машенька, но, к сожалению, или к счастью, дело далеко не во мне. Думаю, к счастью: на бал придет Великий Князь, наместник Кавказа, милочка!

— Но что мне с того, Анна Александровна?

— Как — что?! — изумилась княгиня. — Да знаешь ли ты, — она перешла на шепот, — что Великий Князь, главным образом, придет ради тебя?!

Горько-горько улыбнулась Афипса, пожала плечиками:

— За какие заслуги мне такая честь, да и на что она мне? Что я стану делать с этой честью?

— Господь с тобой! Такое счастье! Любая из девиц института сочла бы это за бесценный подарок судьбы.

— Пускай, а мне этот подарок ни к чему.

Княгиня возмутилась:

— Разве ты не дочь славного Сорок четвертого драгунского Нижегородского полка, носящего имя наследника Российского престола?!

— Да, Анна Александровна, дочь, — смиренно ответила Афипса.

— Так вот — Великий Князь тоже состоит в этом полку. В твоём полку, милочка! Вы с ним однополчане.

— Но я его ни разу не видела у нас в полку, — удивилась Афипса.

— Он был причислен к этому замечательному полку после твоего отъезда в Тифлис.

— Ну и что? Не обязательно же ему видаться со всеми офицерами полка или рядовыми солдатами. Зачем я ему?

Анна Александровна в изнеможении опустила руки, а потом, взбодрившись, требовательно сказала:

— Мы об этом поговорим потом, а сейчас тебе надо одеваться, до начала бала осталось немногим больше часа. Иди-ка, я заплету твою роскошную косу, а потом наденешь новое праздничное платье, оно тебе так к лицу, просто чудо!

— Хорошо, хорошо, — как-то обреченно согласилась Афипса, — я пойду ради вас на бал, но очень прошу вас, Анна Александровна, не оставлять меня одну.

— Конечно-конечно, я вовсе не собираюсь уходить с бала, но ежели кто-нибудь из офицеров пригласит тебя

на танец, я хотела бы увидеть тебя во всей красе, хотела бы видеть твою грацию.

— Зачем вы всегда вводите меня в смущение такими словами, Анна Александровна?

— Ну, ну! Успокойся, моя хорошая, я больше не буду, но что поделаешь, если природа-мать создала тебя такой... Да, да, создала такой красавицей.

— Анна Александровна!

— Хорошо, хорошо. Садись, займемся твоей косой.

Новогодний бал-маскарад!

В центре актового зала — наряженная елка. В свете многих десятков свечей, зажженных на хрустальных люстрах, переливались, мерцали игрушки, мишура. Мерцали, переливались, чтобы в назначенное время уходящего и наступающего нового года вспыхнуть в бенгальских огнях, пламени новых свечей.

На возвышении гремел оркестр, призывая девиц и офицеров на танцы, на парад грациозности.

Затейливые прически и маски, роскошные, сшитые по последней моде платья. Бриллианты и золото сережек, браслетов, перстней и колье. Блеск глаз, соперничающий с блеском золота и бриллиантов.

И, конечно, — эполеты, ордена храбрых офицеров.

Вихри вальса. Стремительная мазурка.

Торжество молодости и печаль стоявшей в сторонке старости. Папы и мамы любовались своим прошлым, надеялись на будущее счастье своих дочерей. Ну а офицеры, как им и полагалось, были галантными, храбрыми и довольными всем на свете.

Афипса была без маски, не захотела надевать, хотя Анна Александровна заказала лучшему мастеру Тифлиса полумаску для нее. Как знать, возможно, эта открытость еще больше привлекала к ней всех. Как и ожидала Анна Александровна, Афипса пользовалась большим вниманием — к ней образовалась целая очередь желающих танцевать с нею.

Платье, сережки и кольца, хотя и были очень дорогими, но выглядели так скромно, что не мешали природной, естественной красоте Афипсы. И в танцах она держалась

строго, с достоинством, без тени кокетства, без желания кому-то понравиться.

— Дорогая Анна Александровна, — обратилась одна из самых влиятельных дам высшего тифлисского света, — я не могу понять вашей милой воспитанницы...

— Моей дочери, — вежливо поправила княгиня.

— Да, не могу понять вашей дочери — она настолько холодна, серьезна и даже неприступна, что можно подумать, будто она стоит над всеми нами, будто... ну, чуточку нас презирает.

— Что вы, мадам! Мария просто не хочет выглядеть легкомысленной! Скромность — главное украшение девушки, — ответила ей Анна Александровна.

На середину зала вышел распорядитель бала:

— Досточтимые дамы и господа! Его Высочество, наместник Кавказа, Великий Князь Михаил Николаевич приглашает дочь Нижегородского полка Марию Николаевну Нижегородскую на танец! Оркестр, мазурку!

Главнокомандующий войсками, наместник Кавказа, на котором горели золотом эполеты, ордена и аксельбанты, при кинжале с дорогим серебряным наборным поясом, при газырях легкой походкой, почти парадной, подошел к Афипсе, щелкнул каблуками, грациозно поклонился и подставил руку, приглашая к танцу.

— С Богом! Счастье тебе, дитя мое, — задышавшись от восторга, шепнула княгиня Анна Амилахвари и тронула Афипсу за плечо, провожая навстречу Великому Князю.

Грянула музыка.

Михаил Николаевич Романов, младший брат царя, был еще молод, статен, легок в быстром танце. О Марии Николаевне и говорить не приходилось, она, казалось, изящными ножками не касалась блестящего паркета, будто ее носил на своих крыльях веселый легкий ветер.

Засмотрелись, залюбовались великолепной парой и молодые, и пожилые. Некоторые искренни были в своих чувствах, другие, завистливые, притворно восторгались, до того притворно, что княгиня Анна очень возмутилась, быстро и нервно замахала веером, чтобы хоть немного успокоиться.

Великий Князь хорошо знал великосветское общество, его манеры, его тайные пружины, он хотел позлить кое-кого и потому с благоговением смотрел на Марию, словно она была королевской крови. Он что-то рассказывал ей, улыбался, изящными поклонами в ее сторону выказывал свое уважение.

Афипса поняла игру Великого Князя и держалась по отношению к Его Высочеству весьма независимо, как себе позволяют только особы высокого происхождения и положения. Но она не играла, нет, она в самом деле чувствовала себя совершенно независимой от него.

Анна Александровна даже забеспокоилась немного: уж не слишком ли независимо, не слишком ли высоко несет себя Афипса? Спросила себя и сама же ответила: нет, она не Мария Николаевна, а Афипса Дагужи. Как-то к этому отнесется Великий Князь?

Хорошо, прекрасно отнесся. После танца, поддерживая Марию под локоток, Великий Князь подвел ее к Анне Александровне:

— Мила, просто очень мила ваша воспитанница. Я горжусь, что дочь Нижегородского полка сегодня, скажу без преувеличения, является украшением нашего бала. Она истинно княжеского воспитания, — громко, чтобы все слышали, говорил Великий Князь. — От себя лично, от имени командования полка и Высочайшего Двора благодарю вас, княгиня, что вы вложили в Марию свою душу, свое княжеское благородство.

Княгиня с низким реверансом поклонилась:

— Благодарю, Ваше Величество, я старалась и впредь буду стараться с любовью делать доверенное мне дело воспитания этой прелестной девушки. Хочется мне сказать, похоже, в роду Маши были истинно благородные предки, от которых она и унаследовала возвышенность своего характера.

Михаил Николаевич взял за локоток и княгиню Анну, прошелся с ними двумя на виду у всего бала:

— В чем-то вы правы, но только в чем-то... Мне говорили, Мария Николаевна, что вы тоскуете по Черкесии. Конечно, родина она и есть родина, но вы созданы для высшего света Петербурга, а то и Парижа, так что готовь-

тесь к ним. Совсем ни к чему вам, как у нас говорят, эта глухая провинция, эта глушь на полудикой окраине России.

Афипса остановилась. Высвободила свой локоть из руки наместника и так посмотрела на него, что он воскликнул:

— О! Вот это взгляд! Он стоит Петербурга и Парижа, вместе взятых. Они будут вами покорены, я в этом совершенно уверен. Вы просто прелесть. Днями я буду в Нижегородском полку, кому там передать приветы?

Афипса понимала, раз едет в полк Главнокомандующий войсками Кавказа, значит, адыгам не ждать добра. Говорили, чем ближе конец многолетней Кавказской войны, тем жестче она становилась: яростно, насмерть сражались адыги, с отчаянием и яростью дрались царские солдаты.

Афипса подняла взор на Великого Князя, прищурила свои черные красивые глаза, как бы пронзая взглядом наместника, потом улыбнулась:

— Если вы будете так любезны, Ваше Высочество, передайте мои поклоны, мою дочернюю благодарность генералу Граббе Николаю Павловичу, князю Вану Гивичу Амилахвари, доктору Плуталову Сергею Петровичу и уряднику Тришкову Николаю Савельевичу. Всем полку передавайте мой дочерний поклон. — Она низко поклонилась. — Всем пожелайте здоровья, а солдатам — душевной доброты...

— К кому должны проявить доброту наши солдаты, наши храбрые воины? — спросил наместник и подумал, что не надо бы задавать такого вопроса этой прелестной, но своенравной, гордой девушке в такой чудесный праздничный вечер, но в то же время ему хотелось еще раз попытаться остроумие и выдержку черкесской красавицы, коли он выдал ей такую истинно царскую награду на виду высшего общества Тифлиса. Заслуженную награду, он в этом не сомневался, а потому и решил: пусть поломает свою милую головку над щекотливым вопросом.

Афипса не заставила себя ждать, с легкостью ответила:

— В священном писании сказано: возлюби врага своего...

— Ах, какая молодец! Сдаюсь! — воскликнул Михаил Николаевич, — вы на редкость находчивы и хорошо знаете писание. Однако что же это мы задерживаем танцы, кавалеры и барышни совсем истомились, нас ожидаючи. Прошу танцевать! — и ушел.

— У меня что-то кружится голова. Пойдемте сядем, Анна Александровна.

— Что с тобой, милочка, на тебе лица нет, — испугалась княгиня Анна.

— Устала немного, — успокоила Афиписа княгиню, — посидим, немного отдохну и все пройдет.

Посидели на диване, отдохнули, можно бы и снова танцевать — Марию уже ждали офицеры, однако она устало попросила:

— Прошу вас, Анна Александровна, не сердитесь на меня, пойдемте домой. Мне и в самом деле что-то нехорошо.

А дома Афиписа, нахмутив брови, заявила княгине:

— Он — плохой человек.

— Кто? — догадываясь, о ком говорит Афиписа, испугалась княгиня.

— Он совсем не Великий, он нехороший. Не убий, сказано, возлюби врага своего.

— Тише, тише, доченька!

Упав на грудь Анны Александровны, зарыдала Афиписа. Княгиня обняла Афипису, ее глаза заблестели слезами.

Анна Александровна решила, что Афиписа заплакала, испугавшись своих дерзких слов, сказанных о Великом Князе. Но это было не так...

Женщина приходит в мир, чтобы возвеличить его своей красотой, материнской добротой и любовью.

Эта красота, доброта и любовь зарождаются в ней уже во чреве матери, потом с годами крепнет, набирает силу. Девочка становится девушкой, девушка — женщиной. Каждый раз она как бы рождается заново.

Каждое рождение — это радость, но и тревога перед неизвестностью. Кроме того, красота иногда приносит вместе с радостью и беду. Сколько драм, а то и трагедий разыгрывается вокруг прекрасных женщин.

Афиписе не хотелось идти на новогодний бал, да и потом, в зале все было ей чуждым, казалось лишним, тяжестью ложилось ей на душу. Блеск золота и хрусталя, радужные переливы бриллиантов, роскошные, причудливые маскарадные костюмы, звуки праздничной музыки, грациозные женщины и brave офицеры — все это не трогало ее сердца. Она в самом деле почувствовала себя плохо и попросила Анну Александровну проводить ее домой.

Пока Афиписа ехала домой в рессорной коляске, дремотно раскачиваясь в ней, и потом в роскошном доме князя Амилахвари, поняла, что на балу она встречала не только новый год, а совсем новую, совсем иную жизнь.

Там, в хороводе музыки, танцев и предновогодних огней одни из женщин смотрели на нее с завистью и презрением:

— Подумаешь, выскочка!

Другие искренне восхищались:

— Ах, что за прелесть, что за чудо эта девочка!

Третьи смотрели подобострастно, даже с заискиванием:

— Далеко пойдет, высоко взлетит!

Офицеры восхищались не мишурой, а естественной, не тронутой городом красотой, восхищались грацией, данной Афиписе самой природой.

Дивился Великий Князь Михаил Николаевич, не скрывал своего восхищения.

Афиписа вдруг почувствовала силу и власть своей природной красоты.

Надо сказать, от той же матушки природы ей было не занимать статью и гордость, и силу характера. И Афиписа испугалась, как испугалась бы, если бы у нее вдруг выросли крылья.

Не сразу, а исподволь, на балу к ней пришел страх. Он возник рядом с ощущением своей силы над людьми — чужими и чуждыми ей, которые возвысили ее над собою. Она испугалась, но держалась, а приехала домой, не выдержала и разрыдалась на груди Анны Александровны.

Испугалась, искала спасения, как ищут его у матери.

Не разумом все это поняла, а сердцем почувствовала.

Княгиня успокоила ее, как малое дитя, уложила в постель. Вслух помолилась над нею.

Уснула Афипса, как говорится, едва коснувшись щекою подушки.

У нее иногда случались такие сны, что она, проснувшись, не могла потом понять — во сне то было или наяву.

Так случилось и в этот раз.

Только уснула она, как услышала Анну Александровну:

— Вставай, милочка! Поскорее, голубка моя! Нас ждет карета. Карета Его Высочества Великого Князя Михаила! И потеплее одевайся — мы едем в холодный край. В Санкт-Петербург! В прославленную столицу государства Российского!

— Ах, какой еще Петербург! Не беспокойте меня... Я вас очень прошу — так хочется спать. И я никак не могу раскрыть глаза. Правда, не могу и не хочу...

— Ты что, Машенька, ты что, голубка моя! Такое счастье выпадает только раз в жизни и далеко не каждому. Одевайся, одевайся!

С закрытыми глазами поднялась Афипса. Вроде даже не сама, а некая сила подняла ее.

Кто-то накинул ей на плечи мягкую и теплую шубу.

— Соболья, соболья! — шептал кто-то.

— Господи, благослови нас!

— Как мне хочется спать...

— Ничего, это сейчас пройдет. Помолись про себя, и пройдет.

— Отче наш, — прошептала Афипса и запнулась, забыла молитву.

— Ладно, ладно, — торопила Анна Александровна, — я сама помолюсь за тебя.

Они поехали.

По Невскому проспекту поехали.

Памятник Екатерине Великой.

Казанский собор.

А вдали игла Адмиралтейства.

Все это видела Афипса на картинках у доктора Плуталова, у княгини, в институте, но на картинках все было красивое, но мертвое, а сейчас перед нею все было живое,

все светилось изнутри, все пело и звенело, будто в каждом доме находился оркестр духовой музыки.

Нева!

О-о, какая она!

Горные речки — бурные, ворчливые и неширокие, а Нева, будто бесконечное море. И как море — голубая, и как небо над морем — яркая.

— А это?!

Зимний Дворец!

— Боже, как он красив! — воскликнула Афипса и подумала, что он не стоял на земле, а был в воздухе, над Невою.

— Очень красив, — сказала Анна Александровна, — красивее ничего не может и быть. А теперь, деточка, ты совсем-совсем успокойся и, главное, ничего и никого не бойся.

— А я и не боюсь, только не знаю, зачем мы сюда приехали?

— Как не знаешь?! — очень удивилась княгиня. — Разве тебе не объяснили?!

— Нет.

— Не сказали, что ты — избранница?

— Не сказали. Чья избранница? И почему?

— Очень просто. — Анна Александровна, затаив дыхание, склонилась к Афипсе, в самое ухо зашептала: — Первый русский царь Иван Грозный был женат на дочери адыгского князя Темрюка Идаровича, на Гошевной, которая в крещении стала Марией. Теперь поняла?

— Не поняла.

— Ах, голубка моя! Нынешний царь решил возобновить старинную традицию и женить своего наследника на черкешенке. Великий Князь Михаил, когда увидел тебя, когда протанцевал с тобою, сказал: «Я совершенно уверен, что Мария — знатного, великокняжеского происхождения».

Лейбгвардейцы уже расстлали ковровую дорожку, по которой Афипса должна идти во дворец.

Ей хотелось туда идти и не хотелось. Она стояла в нерешительности и услышала:

— Смелее, доченька! Иди сюда, иди ко мне! — это звал ее Федор. Она увидела его в окне дворца.

«Но как же это? Ведь Фидур умер...»

— Иди же, доченька, иди! — настойчиво звал Федор, одетый в белую черкеску. В белой папахе.

И Афипса уже была в белом подвенечном одеянии.

Во дворце была.

— Но где жених мой, Фидур?

— Дальше он, выше. Пойдем...

...Она проснулась от яркого света, бывшего ей в глаза: это за окном бушевал новогодний фейерверк.

Первый день нового года не был праздничным в доме княгини Анны Амилахвари — Афипса не смогла утром подняться с постели. Пробовала встать, но кружилась голова, подкашивались ноги.

Вечером пришел известнейший в Тифлисе доктор Прибыль, которого пригласила Анна Александровна, хотя Афипса противилась, мол, ничего не надо, мол, все само пройдет.

Доктор осмотрел ее, потом долго один на один разговаривал с нею и поставил такой диагноз:

— Девочка очень впечатлительная: с тонкой психикой и, если другие учатся в институте с прохладцей, то Мария Николаевна занимается с полным напряжением сил. Кроме этого, она переживает переломный период, из девочки становится взрослой девушкой. Не только физиологически, но и психологически. В силу сильного темперамента это дается ее организму с большим трудом. А еще... не знаю, как вам это объяснить. Она черкешенка, ей...

— Спасибо, доктор,— остановила его Анна Александровна,— все, что касается этого, я знаю и понимаю.

— Превосходно,— сказал доктор Прибыль,— надо немедленно освободить ее от занятий в институте. Хорошо бы увезти в тихое место, на лоно природы — ей крайне необходим душевный покой. Правда, опять же не знаю, каким образом можно создать Марии Николаевне этот покой. Очень сомневаюсь, что его можно устроить, однако, надо стараться.

И Анна Александровна уехала с Афипсой в Чали:

— У нас здесь такая тишина, такой удивительный покой и красота природы, что ты, моя доченька, быстро, очень быстро поправишься.

Не поправилась.

Шли дни за днями, а Афипсе было все хуже и хуже. Она таяла словно воск, глаза стали глубокими, из них не уходила печаль, а то и вовсе — отстраненность, казалось, будто бы она смотрит и видит вокруг себя пустоту. Только и радовали ее письма из полка. Письма Николая Тришкова, князя Амилахвари, но больше всего радовали письма доктора Плуталова. Сергей Петрович поставил свой диагноз, пожалуй, единственно верный: Афипса страдала ностальгией по Черкесии. Излечить ее можно одним единственным лекарством, которым хотел излечить Федор Данилович и за это поплатился своей жизнью.

Сергей Петрович Плуталов писал Афипсе пространственные письма — о жизни полка, о базарах в станице, куда приезжали торговать и адыги, писал о том, как они с князем Амилахвари не раз ходили на могилу Федора Даниловича, как заказывали в храме панихиду. Сначала он опасался описывать все подробно, как бы этим не бередить ее душевные раны, но вскоре она попросила: «Дорогой Сергей Петрович, пишите мне побольше, обо всем пишите, что там происходит у вас, только о войне не надо. Совсем не надо! На могилку Фидуру, пожалуйста, носите цветы, они должны ему нравиться!»

Спустя некоторое время, поговорив с князем Амилахвари, доктора посоветовали княгине Анне пожить с Афипсой, как тогда говорили, на водах.

— Скоро мы с тобой, моя милая доченька, поедem в Железноводск, на целебные воды. Как только будет готов наш фаэтон, так и поедem,— сказала Анна Александровна.— Полечимся, хорошенько отдохнем.

— Но разве мы здесь не отдыхаем? Разве здесь плохо? — удивилась Афипса.

— Отдыхаем, но там еще и всемирно известные целебные воды.

— А где находится этот Железноводск?

— На Кавказских Минеральных водах, рядом с Пятигорском.

— Тот самый Пятигорск, через который мы ехали сюда?

— Да.

— Это там я видела адыгов! — загорелись ее усталые тоскливые глаза. — Как хорошо! — воскликнула Афиписа, хотела добавить, возможно, я там увижу адыгов, хотела, но сдержалась.

— Недалеко от Железноводска и еще один известный тебе город, — загадочно произнесла княгиня, радуясь, что оживились глаза Афиписы, появился в них интерес.

— Какой же?

— Ставрополь!

— Там живет моя крестная, Ангелина Парамоновна! — еще больше обрадовалась Афиписа. Порозовели ее щеки, плечики распрямились: — Надо скорее туда ехать! Я там быстро выздоровлею!

— Дай Бог, доченька, дай Бог. Конечно поедем.

XXX

Княгиня Анна думала о предстоящей поездке в Железноводск. Она сидела в глубоком кресле у окна, накинув на плечи кашемировую шаль, подаренную ей в прошлом году ко дню рождения ее супругом.

Анна Александровна любила эту шаль, привезенную из далекого Пакистана, за яркую восточную красоту. Они напоминали ей о далекой сказочной стране.

Многое с годами ушло из жизни княгини Анны, а сокровенная любовь к сказкам, любовь к далеким, неизвестным странам, которые она с детства мечтала увидеть, не уходила. Княгиня понимала, что теперь уж ей не удастся побывать на Востоке, поэтому любила читать книги об этих, ставших теперь для нее сказочными, странах. Читать и потом сидеть вот так у окна и, прикрыв глаза, думать о них, попытаться увидеть их жилища, города, лесные чащи, горы, синие моря, руины древних дворцов.

А сегодня она вспоминала первый день своей свадьбы. Князь Гиви Амилахвари, отец ее мужа, обрадовался женитьбе сына и, чтобы показать свой княжеский размах, закатил богатейшую свадьбу. Из Тифлиса были пригла-

шены лучшие музыканты, певцы и танцоры, лучшие кулинары. Столичному пиротехнику заказали фейерверк, какой не видывали в самом Тифлисе... И был такой фейерверк, и была такая свадьба, о которой долго говорили, как о чуде, устроенном князем Гиви Амилахвари в честь женитьбы сына Ваню.

Потом было свадебное путешествие: Париж, Рим, Женева. И все с роскошью великокняжеской. А после жизнь ее стала тускнеть — у Анны и Ваню Амилахвари не было детей. Виной был он, ее муж. Они ездили к знаменитым врачам в Москву, в Петербург, в Берлин, но медицина была бессильна. Ездили на богомолье в Иерусалим, ходили пешком в Мцхети. Ничего не помогало, и супругам оставалось только смириться с судьбой.

И вот Господь послал им Марию, которая для князя и княгини стала благословением Господним, стала их радостью и любовью...

Закатилось за горы, ушло к морю уставшее солнце. Ушло, оставив в небе свой золотой шлейф — вечернюю зарю.

Потом и заря ушла вместе с солнцем в дальние края, в другие города и села, чтобы и там навеять людям успокоение, одарить их тихим сном — благостным венцом трудному дню.

Вечерний полумрак опустился на землю. В углах сгустились и зашевелились фиолетовые тени.

Княгиня затеплила лампадку, опустилась на колени и стала молиться, стала просить у Господа милости к рабе Божьей Марии...

Конечно, и доктор Прибыль, и доктор Плуталов, и князь Амилахвари советовали немедленно ехать им в Железноводск, но как везти туда девочку, если там живут так называемые пятигорские черкесы. То ли пятигорские, то ли моздокские, то ли еще какие, но — черкесы, как они подействуют на Машу, как?

И княгиня Анна считала, что самое надежное место для ее дочери — Грузия. Наверно, поэтому она долго тянула с отъездом в Железноводск.

А потом еще — Ангелина Парамоновна, которую так любила Машенька, о которой с таким восторгом всегда

говорила! Что, княгиня ревновала? Нет, говорила она себе, это глупо — ревновать. Глупо, не глупо, а где-то в глубине души Анне Александровне было неприятно слышать от Марии восторженные рассказы о том, какая прекрасная хозяйка Ангелина Парамоновна, какая удалая казачка и милая вместе с тем женщина.

Четыре года искренних, глубоких переживаний, радостей и печалей связывало Анну Александровну с Марией — это очень много.

В первый же день приезда в Железноводск, как только они устроились с квартирой, Афиписа написала письмо в Ставрополь Ангелине Парамоновне, в котором сообщила о том, как она соскучилась по ней, как хочет видеть ее. «Теперь я живу совсем близко и вы, конечно, приедете к нам. Вот уж мы с вами наговоримся!»

То ли мягкий климат, то ли целебные воды благоприятно сказались на здоровье Афиписы, но оживились, повеселее стали ее глаза, налились румянцем щеки. Может быть, не только это, а то, что где-то рядом жила Ангелина Парамоновна, где-то рядом жили адыги? Может быть.

— Машенька, Маша, где ты? — позвала Анна Александровна, направляясь к калитке особнячка, в котором они жили.

Улыбнулась Афиписа этой наивненькой каждодневной игре княгини:

— Нет меня здесь, я далеко-далеко.

— Ах, ты шалунья! Что же ты сидишь целый день на таком солнцепеке.

— Ну какой же это солнцепек! Очень приятное, ласковое солнышко.

— Все равно нехорошо сидеть девушке одной у калитки — мало ли кто тут ходит!

— Ну, чтобы не было опасно сидеть мне одной, садитесь со мною рядом.

— Сяду, конечно, спасибо за приглашение. Да вот, я думаю, легко сидишь ты так подолгу у калитки, уж не ждешь Ангелину Парамоновну или почтальона с письмом от нее?

— Что ж, такое тоже может случиться.

— Уж больно ты быстрая. Хоть уже и получила твое письмо Ангелина Парамоновна, да не может же она вот так просто бросить дом, семью и мчаться к нам. Да и на почту нашу не очень-то надейся — заплуталось где-нибудь твое письмо.

— Ничего, я терпеливая, дождусь.

— Я пошутила. Конечно, дождемся, но на всякий случай денька через два, если не будет ответа, напишу еще и я ей. Чем сидеть здесь да скучать, не прокатиться ли нам по Железноводску. Наймем фаэтон и поедем. Как ты?

— Очень хорошо! И на базар заедем, что-нибудь интересное купим.

— Ну, Машенька, — укоризненно пропела княгиня, — зачем же нам с тобою ходить на грязный базар. Если что надо, пошлем прислугу.

— А почему базар грязный? Он может быть очень чистеньким, аккуратным.

— Не об этом я, неверно выразилась — это дело холопов, а не господ, тем более — не княжеское.

— Почему холопов? Мы с Фидуром, с доктором Сергеем Петровичем часто ходили на базар в станицу. Это так интересно, весело, там столько всякого насмотришься! А вы говорите — холопы. Это крестьяне?

— Да, и крестьяне.

— Но ведь если бы крестьяне не работали в поле, на скотных дворах, как бы мы с вами жили? Чем же они хуже нас с вами?

— Я не говорю — хуже, я говорю — они другие, у каждого человека есть свое место на земле, свое дело. Вот послушай. Самый лучший крестьянин не может пойти в больницу и лечить, как это делает доктор Плуталов, а доктор может только испортить поле, и мы останемся голодными.

— Но любой крестьянин может выучиться на доктора!

— Может, но тогда он уже не будет крестьянином, его тоже будут называть господином, барином. У вас ведь тоже есть князья и эти...

— Тфокотли.

— Тфокотли, крестьяне — у каждого свое дело, свое место, каждому по его месту и делу честь, положение.

Задумалась Афипса, как бы сама себе сказала:

— Благородные, простонародье. Странно... Странно... Со мною танцевал на балу наместник Кавказа, вы говорите, что я — ваша дочь, но ведь мы, Дагужиевы — крестьяне, мои родители простые, неграмотные люди, но они честные, красивые, даже благородные.

— Но разве я говорю что-то иначе? Среди простых крестьян, среди неграмотных есть много истинно красивых, истинно благородных, а среди господ — бесчестных, развращенных. Можно хорошо возделывать поле и плохо управлять губернией, плохо возделывать поле и хорошо управлять губернией... Твои родители, Дагужиевы, как ты говоришь, простые, неграмотные, а ты — воспитанница института благородных девиц, с тобой раскланивается Великий Князь и сулит будущее в Петербурге, но ты уже совсем не годишься для поля, как твои родители для института, для бала. Ты — княжна, а они крестьяне. Но это совсем не значит, прости, повторяю, что ты хорошая, а они плохие. Вы — разные... Ой! — воскликнула княгиня. — Куда мы с тобой забрались, в какие дебри, в такой прелестный день!.. Ну что, будем нанимать фаэтон?

— Будем, обязательно будем!

Весь Железноводск того времени — это небольшая улица с домишками, с особнячками. Справа — гора Развалка, слева — Железная с лесом и перелесками, с обнаженно-острыми скалами.

Побывали они у источника, попили целебной теплой водички, а потом выехали на тракт, что вел к Пятигорску.

— Видишь, девочка, справа — пятиглавая гора Бештау, слева — знаменитый Машук, где на дуэли погиб поэт Лермонтов.

— Машук?! — воскликнула Афипса. — Машук, Машук!.. — несколько раз повторила она.

Извозчик оглянулся и пояснил:

— Это по-черкесски значит — сын проса. Просяной сын, что ли?

— Слышите, Анна Александровна? Это наша гора! — задыхаясь от восторга, восклицала Афипса и потом произнесла по-адыгски: — Мэ-щы-кьу! Давайте съездим к нему.

Забеспокоилась Анна Александровна: дернуло за язык этого извозчика, вон как разволновалась девочка, вон как загорелись ее глазенки, как бы не случилось с нею худо.

— Это очень далеко, моя милая, — еще более забеспокоилась Анна Александровна, — только кажется, что близко.

Извозчик обернулся, чтобы сказать, мол, это не совсем далеко, мол, давайте съездим, но княгиня погрозила ему пальцем. Он понял:

— Далек, барышня, очень далеко, а за Машуком-то видите красавца?! Это сам Эльбрус, как мы говорим — Его Величество.

— Эльбрус?! Господи, Эльбрус! — еще больше восхитилась Афипса, еще больше возбудилась: — Адыги называют — Ошхамахо, Горой Счастья называют ее адыги! Боже, как он красив, как он велик. Он совсем-совсем к самому небу поднялся! Юшъхьэмаф!.. — а теперь с гордостью по-адыгски прошептала она название горы.

— Любезный, поворачивай обратно! — скомандовала княгиня извозчику. — Фу, какая жарница, фу-у, как душно. Поворачивай!

— Что с вами, Анна Александровна?! — обняла княгиню Афипса, тихо прижалась.

— Ничего-ничего, это пройдет. Только не гони так шибко, любезный, а то ты нас совсем растрясешь на этой поганой каменистой дороге.

— Слушаюсь.

— На повороте к Железноводску навстречу фаэтону выехал всадник в черкеске, в папахе. Он поднял руку, просил остановиться.

— Не надо, не надо останавливаться! — встревоженно приказала княгиня.

— Не бойтесь, ваше сиятельство, это мирный черкес, я его знаю. Он спрашивает, как ближе проехать к Железноводскому базару.

У самого базара им повстречались еще три всадника.

— Ты посмотри, — по-адыгски сказала Афипса, — какие на них хорошие черкески, какие папахи, да и сами черкесы — ничего, статные.

— Что ты там бормочешь, милочка? — обеспокоилась княгиня.

Усмехнулась Афипса:

— По-черкесски сама с собой разговариваю, проверяю, не забыла ли свой родной язык.

— Ты лучше бы немного со мной по-грузински поговорила, — рассердилась Анна Александровна, — а то я тоже могу забыть свой родной язык.

— Но мне трудно по-грузински, — виновато ответила Афипса, — я так мало знаю слов да и боюсь, что плохо их произношу.

— А ты прислушивайся к моему произношению, живешь ты все-таки в Грузии.

— Хорошо, Анна Александровна, я буду стараться. Не сердитесь на меня, пожалуйста. Стой, стой! — закричала вдруг Афипса. — Стой же, тебе говорят! Посмотрите, кто приехал! Посмотрите!..

У калитки на лавочке сидела Ангелина Парамоновна с громадной кошелкой у ног.

— Я же говорила, что она обязательно приедет! — И не дождавшись полной остановки фэтона, Афипса спрыгнула и бросилась к крестной. — Мама Лина, мама Лина, роденькая, ты приехала!

Обнялись они, расплакались.

XXXI

Пребывание Афипсы в Железноводске подходило к концу. Ангелина Парамоновна пробыв с Афипсой три полных дня, уехала к себе в Ставрополь. Но воспоминания об этой встрече еще долго жили в ней: они то и дело приходили чередой неясных образов, обрывками отзвучавших разговоров. И сердце от этого наполнялось теплом и светом...

Афипса осенним утром проснулась очень рано — едва-едва начало светать.

Рассвет был тихий и робкий. Палая листва лежала под деревьями толстой коричневой шубой. От нее исходило легкое сияние. Воздух был теплым и синим. Но в глубине распахнувшихся вдруг далее уже жило ощущение быстро отлетающей осени и неумолимо надвигающегося

предзимья. Терпко пахло сухой листвой и перезревшим боярышником.

Афипса осторожно, чтобы не разбудить никого, умылась и теперь сидела в кресле у окна — смотрела на осенние цветы. Раньше она думала, что только у ее родного аула росли такие цветы, но вот они оказались и здесь. Наверно, растут, подумала, и где-нибудь под Петербургом, который привиделся ей во сне, и под Москвой, по всей земле.

Конечно, растут. А почему бы им не расти. Ведь и там есть земля, небо, солнце. Ведь от земли, неба и от солнца берут цветы красоту.

«Но самые лучшие, самые красивые и душистые — только у нас, в Черкесии».

От цветов ее мысль перекинулась в Петербург, в Москву.

Учитель истории рассказывал о большом старинном черкесском роде Темрюка Идаровича, о его дочери, ставшей женой царя Ивана Грозного. Рассказывал, были из черкесов и бояре, и воевода, и Московский губернатор, и даже первый генералиссимус на Руси. И были они крещеными.

«Ну и пусть, ну и пусть. А я не хочу никаких дворцов, где музыка играет так громко, что начинает болеть голова. Я хочу домой, в Наджикохабль».

— Меланья, иди-ка, голубушка, сюда. — Это уже пробудилась Анна Александровна. — Я сегодня уезжаю по очень важным делам, вернусь поздно вечером, так что уж ты присмотри за Машенькой.

— Не извольте беспокоиться, княгиня, все будет исполнено в наилучшем виде, как и полагается.

— Спасибо, спасибо. Я хочу с тобой посоветоваться. Сегодня в Пятигорске ярмарка. Мне очень хотелось бы, чтобы Машенька побывала там, ведь она еще никогда не видела наших ярмарок, ей будет это очень интересно, да... как ты думаешь, голубушка, это не будет опасно?

— Что вы! Что же опасного?! Вокруг нас живут заморившиеся с нами черкесы, абазины, балкарцы, карачаевцы, ногайцы. Добрые мирные люди. Кроме того, мой Нечипор со своими казаками едет на ярмарку, по приказу атамана

будет там блюсти порядок. Все будет в наилучшем виде. Мы с Машенькой поедem в бестарке, а казаки будут нас сопровождать. Верховые, при оружии. Да и на ярмарке присмотрят.

— Если так, храни вас Господь.

Афипса выбежала и стала обнимать княгиню, Меланью:

— Я так рада, так рада! У меня даже голова перестала болеть. Спасибо вам!

И они поехали.

Меланья и Афипса на бестарке, трое казаков на гнедых кабардинской породы джигитовали вокруг них, показывая свою удаль.

Терские казаки носили черкески и папахи, а потому Афипса, любуясь ими, даже как-то забывала, что это казаки, а не черкесы.

Нечипор — тучный, громоздкий, а джигитовал лучше своих юных товарищей: казалось, он не прыгал, когда его жеребец несся галопом, через коня, с седла на землю и опять в седло, а летал.

Афипса весело смеялась, хлопала в ладоши!

А вот и она — ярмарочная площадь!

Посредине — гладкий столб высотой, может быть, шесть или восемь аршин, на самом его верху висела пара мягких хромовых сапог.

Парни один за другим пытались добраться и сорвать сапоги. Но это пока никому не удавалось.

Хохотали казаки, смеялись озорные девчата, подзадоривали парней!

— Слаб, слаб ты в коленках, придется тебе, милоч, ходить босиком!

— Ахмет, Ахмет! Ну еще немного! Самую малость!

— Э-эх, Ахмет. Попробуй еще разок.

— Пусть немного отдохнет, отдышится, а я тем часом сниму сапожки!

И чуть не снял. Коснулся пальцами и рухнул вниз под хохот толпы.

Полез второй раз Ахмет и тоже только чиркнул пальцем по сапогу и сверзся вниз.

Вокруг столба, вокруг всей площади стояли русские балаганы, карачаевские и черкесские, стоял цыганский шатер, у которого под гитары плясали и пели хозяйева — женщины в ярких и пестрых нарядах, мужчины при иссиня-черных бородах и усах. Полуголые мальчишки и девчонки. Веселые босоногие попрошайки.

— Дядь, а дядь, мальчику-красавчику подай конфетку-бараночку!

— Заработай, тогда и получишь!

— А что! Давай на пузе и на голове станцюю!

— Валяй! Эх, эх, эх, давай-давай-давай! На пузе, на пузе давай! Молодец! Получи на пряники!

У русского балагана под балалайку пели озорные частушки скоморохи, обутые в лыковые лапти, одетые в холщовые до самых колен рубахи.

Дальше за балаганами плясали «Кабардинку» казаки и черкесы. Павами плавали дородные казачки.

И опять не поймешь, кто из них кто — одинаково веселые, одинаково красивые, подумала Афипса, а зачем же воюют, зачем убивают друг друга? Зачем?

А это что?

Шатер — не шатер.

Кибитка!

Рядом с нею — два верблюда.

Боже, что за чудо!

Афипса видела верблюдов только на картинке, а теперь вот они стояли перед нею живыми — большие-большие. Афипса засмотрелась на них.

Они смотрели на нее свысока, с таким достоинством, будто были здесь самыми главными, самыми сильными и, конечно, самыми красивыми.

Это степняки. Калмыки приехали.

Сидя на земле, скрестив под собою ноги, они курили маленькие трубочки. Не только мужчины, а две старые, сморщенные старухи тоже курили.

Афипсе показалось, что калмыки из щелочек узких глаз смотрели на все окружающее их, на людей так, словно бы пронизывали их своими взглядами.

— Тетя Меланья, идите по своим делам, а я поброжу по ярмарке, посмотрю на эти чудеса, а потом приду к столбу с сапогами и буду ждать вас,— сказала Афипса.

Засомневалась Меланья, а потом согласилась: чего бояться — тут все так хорошо, так красиво и мирно, тут столько казаков следят за порядком, что ничего худого случиться не может.

— Хорошо, Машенька. Только ты уж поосторожнее, а паче чаяния — сразу к любому казаку обратись, скажи чья ты, и он поможет. Ну, с Богом, дитя наше хорошее.

Ушла Меланья, затерялась среди по-ярмарочному ярко разодетому люду — веселому, разудалому.

Афипса направилась туда, откуда доносилось ржание и топот лошадей.

У коновязи было много народу — продавцы и покупатели, любители лошадей, просто зеваки. Цыгане, казаки, черкесы, карачаевцы, калмыки, и среди них был какой-то странный господин в широкополой шляпе, в странном сюртуке, Афипса догадалась — иностранец.

Он что-то говорил, отчаянно жестикулируя, восторгался чем-то, широко размахивая руками.

— Господин Смит сказал,— заговорил переводчик,— он не станет скрывать своего восторга, хотя покупатель не должен восторгаться, не должен хвалить товар, который собирается приобретать. Не должен, чтобы купить его выгодно для себя, однако господин Смит не может сдержаться — так ему понравились скакуны чистокровной кабардинской породы. Он хорошо за них заплатит и просит еще раз показать в деле вот эту, эту и эту лошадь.

Рядами стояли повозки с индейками, курами, гусями. Топленое и подсолнечное масло в горшках и бутылках, мука, кукуруза. У повозок табунились овцы, телки, бычки.

Афипса будто через некую пелену смотрела на озорное чудо ярмарки, смотрела так, будто чем-то встревожилась, но чем?

Наконец поняла: ушла Меланья, и Афипса оказалась свободной. Ее и вчера и все это время никто не караулил, не держал, как говорится, на привязи, но сегодня у нее возникло особое ощущение свободы. Той свободы, к которой они стремились с Фидуром.

Вот они черкесы на конях, на повозках, просто бродят по ярмарке, как и она, где-то совсем рядом черкесские аулы...

«О Аллах Всемилостивый, в чем Твоя воля, как узнать мне Твой промысел, чтобы не ошибиться? Помоги мне, Всевеликий, Всемилостивый!.. Не надо так, не надо так, Афипса,— говорила она себе,— не горячись, успокойся. Пойдем, походим, полюбуемся лошадьми. Посмотри на своих единокровных братьев, посмотри на их удаль».

Ровнее стало биться ее сердце, и она пошла к повозкам. Нашла пожилую женщину и решила обратиться к ней, попроситься к ним в аул. И уже совсем подошла,— усомнилась, подумала, надо молодую найти, молодая лучше ее поймет.

Нашла, увидела красавицу. Молоденькая, веселая, улыбочивая.

«Нет,— решила Афипса,— эта счастлива, зачем ей чужое горе, зачем ей чужая беда. Пойду к пожилой, она по-матерински скорее поймет».

Женщина сидела на повозке рядом с двумя белыми ягнятами. Должно, привезла продавать, а может, купила.

Она в черной шали. Лицо строгое, печальное.

«У многих черкесских матерей вот такие печальные, скорбные лица, тоскливые глаза».

Афипса поздоровалась по-адыгски.

Женщина удивленно посмотрела на нее. Недоверчивым взглядом измерила с ног до головы. Помолчала, потом спросила ее:

— Ты черкешенка?

— Да.

— А почему так одета? — насторожилась она.

— Позволь мне ближе подойти к тебе, нана, позволь рассказать, почему я одета в такую одежду.

Женщина долго молчала, настороженность не уходила с ее лица. Наконец она сказала:

— Подойди, дочь моя. Я слушаю тебя.

Афипса подошла к телеге, стала гладить пушистого ягненка. Беленького, мягонького, а потом уткнулась лицом в его спинку и беззвучно заплакала.

Женщина положила свою руку на ее вздрагивающее плечо и терпеливо ждала.

Ее лицо стало печально-горестным.

Она склонилась над странной черкешенкой, своим материнским сердцем чуяла беду.

Женщина ждала.

Успокоилась Афипса и коротко рассказала все о себе, о своем отце и матери.

— Я не могу больше так жить. Я не хочу. Возьмите к себе в аул. Я буду вам доброй дочерью, хорошей послушной работницей.

Женщина плакала.

Ее лицо с глубокими морщинами было неподвижно, даже казалось спокойным — только текли и текли слезы. Скатывались по морщинам крупными, тяжелыми каплями.

Они долго молчали.

Женщина заговорила. Голос ее — печальный, негромкий, хотя раньше, вероятно, был он красивым и сильным.

— У меня было четыре сына. Они погибли на войне. Сейчас я живу с двумя невестками, двумя своими дочерьми и шестью внуками. Я бы взяла тебя к нам — теплый угол и, хоть небольшая, но добрая еда нашлась бы у нас для тебя, мои девочки были бы очень рады. Но ведь тебя знает сам царь, Великий Князь. Они обязательно будут тебя искать. Найдут и скажут, что мы выкрали тебя. Они погубят всю мою несчастную семью. Не только меня, не только мою, но каждого, кто возьмет тебя. А почему бы тебе не жить у них, доченька, почему? Сейчас многие из наших служат у них, живут в больших городах.

— Знаю, но я не могу...

Женщина обняла Афипсу:

— Прости меня, доченька, прости меня грешную. И успокойся. Все будет хорошо. Ты поедешь со мною, мы спрячем и никому не отдадим.

— Мария! А Мария! Ты где, голубушка наша?!

Это Нечипор со своим напарником звал ее.

— Да вот она, дядя Нечипор, вот она, наша барышня!

И они пришпорили своих коней.

— Аллах Всемилостивый, Аллах Всемогущий, во всем Твоя воля,— сказала женщина.— Иди, дочь моя, иди...

В институт Афипса походила еще полгода, да и то не каждый день, а потом и вовсе перестала ходить.

В Железноводске был профессор медицины из Петербурга по своим научным делам. Как-то сходила к нему княгиня Анна, рассказала все о Марии, прося у него совета. Профессор сказал, что ностальгия — это душевная болезнь. Она бывает разной тяжести, у разных людей протекает по-разному. Профессор говорил: иные считают, если человеку вдалеке от родины удалось излечить себя от этой болезни, значит, он сильный. Сам же профессор считал таких людей слабыми, переменчивыми, а потому ненадежными. Люди же, которые до самой смерти своей страдают на чужбине, это и есть истинно сильные натуры, истинно верные, надежные люди.

— Их сущность выше личных интересов. Хорошие они или плохие? Кто такая Мария? Вы ей создали, как говорится, райские условия, а она, видите ли, еще и недовольна. Что за черная неблагодарность такая! — можете воскликнуть вы и, пожалуй, будете правы. А черкесы? Они, конечно, будут считать ее своей героиней, не променявшей свою несчастную родину, не променявшей ее горе на свое личное счастье. Как же — Петербург, царский двор! Так какая же она? Хорошая или плохая? Судья ей лишь один Господь.

— Спасибо за лекарство,— поклонилась княгиня.

— За какое?! — удивился профессор.

— Возлюби ближнего, как самого себя.

— А! Храни вас Господь, княгиня.

Анна Александровна искренне любила Афипсу. Любить, значит, отдавать себя тому, кого любишь, и княгиня до конца отдавала, испытывая при этом удивительное душевное спокойствие.

Видела, чувствовала эту любовь к себе Афипса, и от этого ей труднее жилось, потому что не могла поступать, как хотелось бы Анне Александровне, доктору Плуталову, князю Амилахвари, Николаю Тришкову. А Великий Князь? Он тоже хотел ей счастья, но оно не нужно ей такое. Как же тут быть, как жить, чтобы благодарить за добро, за любовь и в то же время не отступить от самой себя, вернее, не отступить от многострадальной Черкесии, от

того, что живет в ее сердце, не спрашиваясь, что болит, не обещая успокоения ни в Тифлисе, ни в Петербурге, ни даже и в самом Париже.

Афипса очень хотела сделать приятное княгине Анне и стала учиться грузинскому языку, а княгиня, слыша, как Афипса тцится хорошо произносить грузинские слова, казнила себя за то, что сделала ей тогда замечание.

— Маша, доченька, опять тебе два письма пришло.

Афипса хотела приподняться и сесть в постели, но у нее не хватило сил.

— Не вставай, доченька, не надо. Сейчас я подниму твою подушку повыше, и тебе будет удобно... Вот так, вот и хорошо, вот ты и сидишь. Хорошо так?

— Очень хорошо, спасибо,— Афипса щекой прислонилась к руке Анны Александровны,— какая у вас мягкая, какая теплая и добрая рука!.. От кого эти письма?

— Это от Николая Павловича Граббе, а другое от Николая Тришкова.

— Прочтите вслух письмо от Николая Павловича.

— Охотно почитаю,— взволнованно ответила княгиня,— Афипса впервые попросила почитать письмо и этим как бы сказала: «Видите, у меня нет от вас никаких тайн». Княгиня открывала конверт и чувствовала, как дрожат от волнения ее пальцы.— Читаю... «Здравствуй, моя крестная дочь Мария Николаевна, дочь славного Нижегородского полка! Офицеры, нижние чины, все, кто остался жив после войны, шлют свои приветы и самые наилучшие пожелания! Тебя помнят здесь и любят. Два года прошло, как окончилась война, а мы все никак не могли вернуться к себе домой в Тифлис — надо было навести здесь порядок. Теперь у нас тихо, спокойно. Этот райский уголок земли от побережья Черного моря до Арапчая, весь Кавказ окончательно присоединен к Великой России. Сейчас мы готовимся к переезду в Тифлис, вероятно, это произойдет в первый месяц лета. Думаю, ты знаешь, почему я так долго тебе не писал: наш Государь Император ездил с визитом в Германию и брал меня с собой. Много хорошего, интересного увидел я там и, когда приедем в Тифлис, обо всем расскажу тебе. Я слышал, ты немного прихворнула. Не болей. Учись прилежно, в твоей

жизни тебе понадобятся знания. А у нас бушует весна! Все цветет, поет, сияет в лучах благодатного кавказского солнца! Еще раз прими приветы и поклоны всего Нижегородского полка. Передай также привет княгине Анне Александровне. Заканчиваю свое краткое письмо с надеждой и мечтой поскорее увидеться в Тифлисе. Здоровья и счастья желает тебе твой крестный отец Николай Павлович Граббе. 10 апреля 1866 года».

Дослушала письмо Афипса, повторила про себя: «А у нас бушует весна! Все цветет, поет, сияет в лучах благодатного кавказского солнца!» И залилась слезами.

— Милая моя доченька, знала бы я, что ты так расстроишься, не стала бы читать. Не травми свою душу, не поможет тебе это. Успокойся, пожалуйста,— целовала княгиня Афипсу в щеки, целовала ее бледные руки, и у самой блестели слезами глаза.

— Я уже не плачу, мама Анна. Видите, не плачу... Простите меня глупую, что не называла мамой, а вы ведь и в самом деле самый близкий и дорогой мне человек.

— Это ты, моя доченька, прости меня. Может быть, иногда я была холодна к тебе, говорила ненужное, что раздражало тебя, расстраивало. Спасибо, спасибо, дорогая, ты в самом деле — моя дочь, единственная. Бог не сподобил меня детьми, послал тебя.

— Да, да, мама Анна, вы да крестная Лина — самые дорогие мне люди: лучше вас никто меня не понимает. Только прошу вас — не обижайте маму Лину, как вы обидели ее тогда в Железноводске.

— Это когда она увела тебя на базар без моего ведома?

— Крестная была не виновата, это я настояла, я,— отвечала Афипса упрямо.

— Не виню я Ангелину Парамоновну, просто очень боялась за тебя, боялась, как бы кто не обидел тебя на базаре или еще что... Не будем больше ворошить прошлое, я больше никогда не обижу Ангелину Парамоновну. Дай-ка я утру твои слезки. Вот так, вот так, моя хорошая... А что же ты о втором письме забыла? — улыбнувшись, спросила княгиня.

Афипса промолчала.

— Щечки твои немного зарумянились. Пойду я, по хозяйству кое-что надо сделать.

Афипса распечатала конверт, из него выпала засушенная фиалка. Улыбнулась: урядник Тришков и вдруг засушенная фиалка. Значит, он специально ходил в лес, чтобы сорвать цветок, потом сушил, наверно, в книжке...

Над речкой в перелеске сорвал или где-нибудь в другом месте? А может быть, подальше ходил.

И Афипсе увиделась Шабежская крепость, ближние и дальние холмы, снежные вершины гор, услышался шум речки, пенье птиц, легкий шорох летнего ветерка.

Дальше, дальше она уходила от крепости, от прозрачной речки, говорливых ручейков, глубже в горы.

А вот и та злополучная поляна... Вот Махатадзе скачет на коне... Выстрелы...

И снова — крепость. И большой камень-валун на берегу реки. С громким веселым лаем навстречу ей прибежал Мишид, прыгнул на грудь, чуть не свалил с ног.

А это кто?! Фидур! Почему-то грустный, грустный. «Здравствуй, Афипса!» Она даже вздрогнула, таким явственным был его голос.

И забылась. Нет, даже не забылась, а ушла куда-то — далеко-далеко, где ни конца, ни края нет — только мягкий, приятный свет, и теплота, согревшая сердце... Вернулась. Вспомнила о письме Николая. «Горячий привет тебе, Мария, с твоей родной стороны, такой милой и дорогой для тебя.

Я очень сердился, когда вы с Федором Даниловичем разговаривали по-черкесски, когда ты называла Шарика Мишидом, а потом и вовсе, когда вы решили уйти в горы, к черкесам, а теперь, после многолетней моей разлуки с моей станицей, я так тоскую по ней, у меня так болит сердце. Правду говорят, долг платежом красен, вот я и расплачиваюсь за свою глупость. Как, чем мне искупить вину перед тобою? Скажи, чем?

Твое письмо от апреля девятого дня 1866 года от Рождества Христова, хоть и очень короткое, однако ж все равно радостное для меня. Первым долгом, хочу сообщить тебе, что у нас сейчас все спокойно, наконец, перестали стрелять. Во-вторых, у нас стоит такая хорошая, такая красивая

весна, что сердце радуется и ищет ответа. Вот и на меня она подействовала, не обессудь, но я скажу, о чем давно должен был сказать тебе, да все робел, а то и вовсе считал себя недостойным твоего внимания. Конечно, ты понимаешь, о чем я говорю, в чем признаюсь тебе. Не требую от тебя скорого ответа, ведь это на всю жизнь. Месяца через два мы собираемся в Тифлис, так что у тебя есть время поразмыслить над моими чувствами к тебе, над моею надеждой. От твоего ответа зависит моя дальнейшая жизнь.

Все офицеры и нижние чины просили меня передать тебе приветы и поклоны.

А теперь — напиши мне, что бы ты хотела, чего бы привезти тебе с твоей родной земли. Напиши, я обязательно исполню твое желание.

С горячим приветом к тебе недавно произведенный в вахмистры Николай Тришков».

Дважды, а некоторые места из письма и трижды перечитала Афипса. Перечитывала, где Николай говорил о своих чувствах, и слышала, как разливалось тепло по всему ее слабому телу, как учащенно начинало биться сердце.

Еще раз перечитывала: «что бы ты хотела, чего бы привезти тебе с твоей родной земли».

Прочитала и заплакала, сказала так, будто Николай слышал ее:

— Кислую лесную грушу привези, немножечко воды из родничка, что под нашей с Фидуром скалой. Привези хотя бы самую малость нашего горного воздуха.

XXXII

Угасал 1866 год.

Угасала и Афипса.

Совсем она исхудала. Большие глаза в темных глазницах стали огромными и несказанно печальными.

Каких только лекарств не испробовала Анна Александровна — покупала в аптеках, заказывала старушкам целебные разнотравья с гор, с альпийских лугов, из-под самых снегов. За разные снадобья платила большие деньги.

Ничего не помогало.

Сама княгиня тоже исхудала до неузнаваемости. Она хотела хотя бы часть болезни Машеньки взять на себя. Страдала от своей беспомощности, от горя, поселившегося в старинном княжеском доме.

У постели больной собрался консилиум лучших врачей Тифлиса. Обсуждали, спорили, но к единому мнению так и не пришли: чем именно болела Мария, какой недуг поселился в ее уже совсем немощном теле.

Княгине вспомнился Железноводск, вспомнился профессор, который сказал тогда, что болезнь Машеньки — болезнь души, а не тела, что она не излечима никакими лекарствами, кроме одного. Анна Александровна тогда обиделась на него: ведь он намекал, что Машу надо отвезти на ее родину, там она и излечится. Обиделась тогда княгиня на профессора, а теперь понимала, что он был прав.

Нет-нет, не то, чтобы осознала умом, мучилось сердце, именно сердце, а не ум терзали сомнения. Ведь Машеньку — как она теперь называла Афипису — она приняла не через рассуждения о пользе такого поступка для своей души или души иноверки, не через рассуждения об исполнении заповедей любви к ближнему, как повелел бы Господь всякому человеку, она приняла ее в своих чувствах, как-будто омыла кровью своего сердца и сердцем родила себе дочь. Так, будто двойными узами — кровными и духовными одновременно — она привязалась к Маше и стала не только духовной матерью, но и кровной.

Анна Александровна молила Бога о здоровье, о долгой жизни, о земном благополучии для своей дочери и как бы больно ощущала свою причастность к ее несчастью, болезни, страданиям. Увести Марию на ее родину, оставить там одну, без слуг, без большого, богатого княжеского дома, к которому она уже привыкла, оставить на незнакомых ни ей, ни самой Марии людей? Даже если, как прежде, она станет Афиписой, уже ничто не в силах воскресить ее родную, давно умершую мать. Сам Бог повелел Анне Александровне стать ее новой матерью. Почему же господь забирает у нее дочь? Нет, нельзя роптать. Бог милостив, Он избавит ее от этой болезни, которую не могут одолеть врачи.

И об этом Анна Александровна молится день и ночь. И как не гаснет перед образами лампада, так не гаснет и ее надежда. Однако так же, не гаснут и ее страх, сомнения. Может быть, все же надо расстаться с Машенькой и, пока не поздно, увести ее из этого города, из этого дома, из этой чужой для нее жизни?

Она отдает девочке все силы своей души, всю свою привязанность, но, возможно, именно это и губит Машеньку, возможно, ей нужно то святое безрассудство, позволяющее пренебрегать всем второстепенным ради главной цели, как поступил когда-то Федор.

Простой солдат понял, что девочке нужна свобода, и только свобода, родная земля, родные по духу и крови люди. Не зная лучшего, он пошел на нарушение присяги, на преступление, сбежав с Афиписой из крепости. И погиб.

Анна Александровна много думала о старом солдате, о его поступке. Ей теперь казалось, что она понимает Федора. Оправдывала княгиня поступок солдата, но сама решиться на такое не смела. Она — слабая женщина? Нет-нет, она с радостью умерла бы за Машеньку, если бы это помогло ей, но расстаться с нею — было выше ее сил. Уйти и жить вместе с нею там, на чужой стороне? Она так же не решилась бы на это, как не могла Машенька, не могла Афиписа.

Княгиня Анна Александровна стала очень набожной, не пропускала больших служб в церкви, утром и вечером неистово молилась дома перед старинным киотом князей Амилахвари, перед которым теплилась неугасимая лампада.

Каждый новый день был новой тяжестью для княгини, но у нее еще была надежда на Нижегородский полк, который скоро должен прибыть в Тифлис. Приедет Тришков, доктор Плуталов, Николай Павлович, они привезут для Марии рассказы о ее родине, добрые воспоминания, может быть, это поможет несчастной Машеньке, любовь к которой у Анны Александровны затмила все. Ей казалось, что она никогда, никого так не любила, как Машу. Нет, не казалось, а так и было в самом деле. Княгиня в своих молитвах благодарила Господа, что он ниспослал ей такую любовь.

Май был для Афипсы очень тяжелым, Анна Александровна думала, что теплый июнь, благодатное грузинское лето со свежими овощами, фруктами принесут девочке желанное облегчение.

— Маша, ты спишь, моя доченька? — княгиня погладила по плечу Машу, по рассыпанным на подушке волосам. — Я тебя не разбудила? Ну и хорошо, что ты встречаешь ласковое солнышко. Доброе утро.

— Доброе утро, мама Анна.

— Чего ты все лежишь лицом к стенке, повернись ко мне личиком, моя милая, моя славная доченька.

— Мне так удобнее, мама Анна, — ответила Афипса, не оборачиваясь.

— А ты посмотри, чего я тебе с рынка привезла! Самых первых, самых красивых вишен привезла.

— Как — вишен? Неужели они поспели?

— Да! Уже совсем-совсем спелые!

— Странно, — по-прежнему лежа лицом к стене, говорила Афипса, — ведь снег совсем недавно сошел, откуда же вишни?

— Что ты, моя миленькая! Уже июнь на дворе!

— Июнь? Странно... С хвостиками вишни?

— С хвостиками.

— А сдвоенные, как сережки, есть?

— Есть.

— Повесь мне на уши сережки.

— Давай немножко приподнимемся. Вот так, вот так. Какая ты сегодня молодец! Подожди-ка, я тебе еще один пуховичок подложу под спинку, а теперь сережки повесим.

Бледно, едва заметно, но все же улыбнулась Афипса. Увидела на столе полную миску темно-красных вишен.

— Нагнись, мама Анна, — попросила Маша, — я тебе слезы вытру. Не надо, мама Анна, плакать, совсем не надо.

— Я не плачу, они сами...

— У нас во дворе росла большая-пребольшая вишня... Какие крупные, какие сладкие были на ней ягоды.

— Попробуй, эти тоже очень сладкие.

— Сладкие, а наши... не сердись, мама Анна, но наши были слаще, не сердись.

— Я не сержусь. Наверно, наверно, у вас вишни слаще. Может быть, ваше солнце для них лучше, чем наше.

— Да! Если бы ты видела, если бы ты попробовала наши вишни!.. Какие они сладкие, крупные и вкусные!

— Может быть, и попробую, почему же не попробовать. А ты помнишь, в Железноводске мы покупали — тоже были очень крупные и очень сладкие.

— Очень хорошо, но наши, что росли в нашем На-джи-кохабле лучше. Только теперь уже нету ни Бечхабля, ни Заурхабля. Сожгли их.

— Горе горькое, беда страшная — война. Но, слава Богу, она уже кончилась — никто не стреляет, никого не убивают. Ты не думай об этом, тебе надо поскорее выздороветь.

— Скоро нижегородцы приедут, — из глубины темных глазниц заблестели, заискрились глаза Афипсы, — надо выздоравливать.

— Обязательно. Николай Тришков приедет. Говорят, он возмужал, красавец, говорят.

Афипса закрыла глаза:

— Ты знаешь, как по-черкесски вишня называется? Чэрээ. А по-грузински как?

— Алубали.

— А в здешних ваших лесах растут груши?

— Какие? Дички? Но они очень кислые, во рту вяжут. Тихонько-тихонечко засмеялась Афипса:

— Это если они висят на дереве, а если упадут, полежат на солнышке, то становятся такими сладкими, такими душистыми, просто чудо!.. — Сдвинулись красивые черные брови, страдальческим стало бледное лицо, глаза застыли в неподвижности: — Я, нана и тата собирали на поляне... груши. Такие сладкие, такие душистые, таких теперь уже никогда, нигде не будет.

— Будут, обязательно будут, моя милая доченька. Поздней осенью их привезут на базар, но зачем нам базар! Ваню Гивич отвезет нас в чалийский лес, насобираем, сколько нам захочется. Много, много насобираем.

— Неужели они будут такими же вкусными, как наши?

— Обязательно будут, если мы их сами насобираем в лесу.

— Хорошо бы... Помоги мне лечь, мама Анна, устала я.

— Сейчас, моя хорошая, только я прошу тебя: не ложись лицом к стене. Давай лучше вот так ляжем, чтобы ты смотрела в окошко.

— Что это, мама Анна? Музыка?

Прислушалась княгиня:

— Да! Это Великий Князь приказал хорошенько подготовиться к встрече Нижегородского полка. Не сегодня-завтра он прибудет в Тифлис. Николай Павлович придет, князь Амилахвари, доктор Плуталов — многие придут к тебе с подарками, ну и... придет в парадном костюме, при золотых погонах и Николай Тришков.

— Да... Придут. Но не придет Фидур.

— Кто, ты говоришь?

— Фидур. Мой самый добрый, мой самый лучший друг. Его убили... Если бы ты знала, мама Анна, как он мне сейчас нужен.

— Он же, как ты сказала, убит. Зачем же он тебе нужен?! — очень удивилась княгиня. — Зачем?

— Нужен, мама Анна.

— Может быть, надо вызвать Ангелину Парамоновну?

— Не надо ее беспокоить, — сказала Афипса, закрыла глаза и добавила по-адыгски: — Вряд ли она успеет...

— Что ты сказала, доченька? — сердцем почуяв недоброе в черкесских словах, спросила княгиня.

— Устала я, спать хочу.

— Поспи, Машенька, поспи, доченька. Ложись на спинку, так будет легче дышать. Подожди-ка, подушку поправлю. — Поправила подушку, убрала волосы со лба, поцеловала, перекрестила. — Храни тебя Господь.

— Мама Анна, — едва слышно позвала Афипса, — убери, пожалуйста, со стола вишни.

— Зачем, Маша? Отдохнешь, потом поешь.

— Нет. Не хочу. Пожалуйста, убери.

— Хорошо... Я пошла, если понадобится — позови.

В детстве Афипса летала во сне, и было это так здорово, что по утрам она просыпалась счастливой. Когда Афипса рассказывала о своих полетах матери, та говорила: «Растешь, доченька, растешь».

Теперь же полет вызывал у нее совершенно другие ощущения уже хотя бы потому, что тогда земля виделась несказанно красивой и веселой, а теперь горы, леса были почему-то какими-то пустыми, унылыми. Раньше в аулах было так много народу, и все пели, плясали, приветно махали руками, а теперь встретилось всего лишь несколько аулов, и были они совершенно пустыми — ни единого человека. Кругом пепелища, развалины, и такая гарь поднималась, что Афипса задыхалась и торопилась улететь от них, найти что-нибудь поотраднее, но — пусто, дымно. Почему-то не слышно шума горных речек.

А что с морем?! Афипсе показалось, что оно так дышало, будто задыхалось. Волны были тяжелыми, мутными.

Высоко летала Афипса, а еще выше, над нею, летала большая белая птица. Потом она стала спускаться ниже и сказала:

— Афипса Дагужи, тебя ждут Сурет, Джамбеч, Фидур. Они ждут тебя, чтобы помочь. Не волнуйся, все будет очень хорошо.

Проснулась Афипса.

Громко, победно играл духовой оркестр!

— Победа? Чья победа, над кем? — шептала Афипса. — Нана моя родная, тата мой родной, Фидур мой родной... О Аллах, о Всемилостивейший, я хочу к ним, я прошу Тебя... Господи Боже, Пресвятая моя Владычица Богородица, молю Тебя, — она подняла руку, чтобы совершить крестное знамение — прикоснулась сложенными перстами ко лбу, к груди... И правая рука Афипсы безжизненно соскользнула к полу...

В дверях неслышно появилась Анна Александровна:

— Машенька, доченька! Ты слышишь, как торжественно играет оркестр! Это на площади встречают Нижегородский драгунский полк. Его Высочество... Маша, Машенька, почему ты молчишь?! Доченька!.. Господи! — закричала Анна Александровна и упала перед кроватью на колени, уронила голову на грудь Афипсы и застыла.

Лицо Афипсы было светлым, спокойным и благостным...

На старом кладбище Тифлиса, поросшем жасмином, боярышником, туей, с разлапистыми вековыми соснами, по чину православной церкви, с воинскими почестями, под грохот ружейных залпов Сорок четвертый драгунский Нижегородский полк хоронил Марию Николаевну Дагужу-Нижегородскую, урожденную Афипсу Дагужи. Сам наместник Кавказа Великий Князь Михаил Николаевич Романов возглавлял похоронную процессию.

Предавали земле прах девушки-черкешенки русские воины. Гремели залпы, а высоко, высоко в синем небе кружила и кружила белая птица...

За оградой могилы на сером гранитном камне православный крест. Под ним надпись:

Здесь покоится прах рабы божией
Марии Николаевны Нижегородской
1850—1866

Сооружено сие 44-м Нижегородским полком.

Когда все покинули кладбище, у могилы остались Анна Александровна и Вано Гивич Амилахвари, Николай Павлович Граббе, Ангелина Парамоновна и Сергей Петрович Плуталовы и Николай Тришков, который изредка покусывал ставшую вдруг соленой щетину усов...

Густо пахло жасмином и разогретой хвоей. Иногда на свежий холмик набегала тень белой птицы и в эту минуту казалось, будто воздух становился по-особенному свежим и прохладным, каким он бывает в зените лета на подступах к близким и далеким вершинам.

СОДЕРЖАНИЕ

Два пленника. Исторический роман. *Перевод Евг. Карпова*. . 5

Исхак Шумафович Машбаш

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в двадцати томах

Том X

Два пленника

Исторический роман

Редактор **Л. З. Гоголева**
Корректор **М. Р. Чамокова**
Компьютерная верстка **Т. А. Косяк**

ИБ № 00

Сдано в набор 00.00.2015. Подписано в печать 00.00.2015. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура шрифта «PetersburgC». Печать офсетная. Усл. п. л. 00,00. Уч.-изд. л. 00,00. Тираж 1000 экз. Заказ 011.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Полиграф-Юг». 385000, РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268. Телефон для справок (88772) 52-23-92.